

В. А. СОЛЛОГУБ



ИЗБРАННАЯ
ПРОЗА

Annotation

40-е годы XIX века – период наибольшей популярности Владимира Соллогуба. В эти годы он создает свои лучшие повести «Большой свет», «Тарантас», «Метель». В них Соллогуб предстает внимательным исследователем различных слоев русского общества, и прежде всего столичного высшего света.

Эти и другие повести вошли в «Избранную прозу».

<http://ruslit.traumlibrary.net>

- [Сережа](#)
 -
 -
- [История двух калош](#)
 -
 - [Предисловие](#)
 - [Приглашение на бал](#)
 - [Детство](#)
 - [Молодость](#)
 - [Княгиня](#)
 - [Борьба](#)
 - [Товарищ](#)
 - [Бал](#)
 - [Настройщик](#)
 - [Визиты](#)
 - [Концерт](#)
 - [Письмо](#)
 - [For Wenige\[18\]](#)
 - [Г-н Федоренко](#)
 - [Одно за одним](#)
 - [Судьба](#)
- [Большой свет](#)
 -
 - [I](#)
 -
 -

-
- [II](#)
-
-
- [Аптекарша](#)
- [Неоконченные повести](#)
- [Тарантас](#)
 -
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [XVI](#)
 - [XVII](#)
 - [XVIII](#)
 - [XIX](#)
 - [XX](#)
- [Собачка](#)
- [Воспитанница\[54\]](#)
- [Метель\[56\]](#)
- [Старушка](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)

- [VI](#)
- [Комментарии](#)
 - [Сережа](#)
 - [История двух калош](#)
 - [Большой свет](#)
 - [Аптекарьша](#)
 - [Неоконченные повести](#)
 - [Собачка](#)
 - [Воспитанница](#)
 - [Метель](#)
 - [Старушка](#)
- [Выходные данные](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)

- [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
 - [48](#)
 - [49](#)
 - [50](#)
 - [51](#)
 - [52](#)
 - [53](#)
 - [54](#)
 - [55](#)
 - [56](#)
 - [57](#)
 - [58](#)
 - [59](#)
 - [60](#)
-

Сереза

Лоскуток из повседневной жизни



(Кн. В.Ф. Одоевскому)

Bonjour!

(Grand monde).[\[1\]](#)

I

Уныло звенел колокольчик; телега медленно тащилась по тряской дороге, а путешественник задумчиво глядел на поля, покрытые уж осенним снегом.

Это было в конце октября, в ту пору недоумения, когда природа колеблется между летом и зимою, когда в Петербурге балов еще нет, а начались уж вечеринки, – время дикой поэзии и озимовых всходов.

Скучно ездить по святой Руси, нечего греха таить, куда как скучно! Все те же станционные смотрители, все те же дилижансы «первоначального заведения», все те же постилы, рыбы, пряники и котлеты. Вот вам валдайские баранки, вот вам сафьянные сапожки, вот вам щи такие ленивые, что их едва из суповой чашки можно вылить. Хотите кушать, хотите ночевать, баранок вам не надо, гусей также; спать? вы не будете, все надоело, все приелось... а ехать далеко» далеко, далеко!.. Ну так вагляните хоть на проезжающих. Сколько их тут! Все военные, да чиновники, да недоросли, да немцы. Вот мчится телега – буйная молодость русских дорог; вот переваливается бричка, как саратовский помещик после обеда; вот гордо выступает широкая карета, как какр\$г нибудь богатый откупщик; вот дормез, вот коляска, а за ними толстый купец-дилижанс, выпив четырнадцать чашек чаю на почтовом дворе, подает милостыню оборванной сидейке.

Это позабавит вас на полчаса. Но вот начинается настоящее вам горе, пропали вы совсем: вы сворачиваете с большой дороги и едете проселком. Горе вам, горе, горе, горе! Дорога делается хуже, вольных лошадей и неволею едва ли придется вам достать. Грязно, скучно, досадно!

* * *

К счастью, путешественник мой был влюблен. Перед ним далеко расстилалось снежное поле, кое-где прикрытое мелким ельником, – картина вам знакомая. Вправо мелькали две-три избенки, согнувшись, как старушки за бостоном. Небо было серое; воздух был холодный.

Телега катилась по тряской дороге, а путешественник терялся в мечтах и... потирал себе бока.

Это Сережа. Он едет в деревню из Петербурга. Он человек военный, хотя не то чтобы военный человек.

Он добрый малый, гвардейский щеголь. Вы его видели везде. Кресла у него в театре всегда в первом ряду, вследствие каких-то особенных знакомств. Лорнет у него складной, бумажный. В театре он

свой человек. Он даже мигал три раза одной корифейкой танцовщице, той именно, которая всегда, идя за гробом Розалии, опускает руку и поднимает ногу. У него и на старом мундире эполеты всегда новые. Он не то чтобы хорош, не то чтобы дурен, не то чтобы умен, не то чтобы глуп, не богат и не беден. В большом свете он занимает какое-то почетное место от особого искусства танцевать постоянно мазурку с модной красавицей и заводить дружбу с первостатейными любезниками и франтами, приехавшими из-за границы блеснуть своей заграничностью в наших гостиных. Сережа кое-чем и занимался. Он читал всего Бальзака и слышал о Шекспире. Что же касается до наук, то он имеет понятие об английском парламенте, о крепости Бильбаб, о свекловичном сахаре, о паровых каретах и о лорде Лондондери.

Но теперь и занятия, и балы, и книги, и театр – все забыто: пять мазурок, три кадрили и два вальса решили навсегда судьбу молодого человека; черные очи, пышные платья, длинные локоны и гранатовые серьги обворожили его гвардейское сердце. Сережа не только уверил самого себя, что он влюблен, но даже умел уверить в том и всех знакомых своих. О Сереже стали жалеть; Сережу начали выставять примером верности.

Сережа вдруг сделался лицом занимательным, предметом разговоров, и точно за нею следил он как тень. Она на бале – и он на бале; она в ложе – и он в партере; она на английских горах – и он ломает себе шею; она гуляет – и он морозит себе пальцы и нос, чтоб пройти молодцом по Невскому в одном сюртучке. О! Такой страсти долго не слыхивали в бесстрастном Петербурге.

И все единогласно хвалили, осуждали, жалели – и не понимали Сережу.

Телега все перекачивалась со стороны на сторону.

Сережа курил, кряхтел и охал, бранил своего человека за то, что дурна дорога, ругал ямщика и мечтал о красавице. Он все припомнил: и продолжительные разговоры, и последнее прощанье, и английское пожатье руки – и улыбка самодовольствия, прерванная толчками телеги, невольно изобразилась на чертах героя незамысловатого рассказа моего.

Долго катилась телега; долго бранился и мечтал Сережа; наконец мелькнули огоньки, потянулся длинный забор, показались крышки.

Сережа въезжал в свои владения и горделиво, с чувством барского достоинства остановился перед нетопленным домом.

II

На больших уродливых креслах сидела молодая женщина у письменного столика, заставленного малахитами и китайцами. Тщательно загибала она углы розовой надушенной бумажки, а на губах ее дрожала золотая облатка с графским вензелем.

Женская розовая записка! Блажен, кто, получив тебя, прижмет тебя к своим губам, и долго будет тебя читать, и долго будет смотреть на тебя! Куда летишь ты, воздушная? Какую тайну любви, какую сердечную грусть поведаешь ты? Много поэзии в твоих нежных листиках, много прекрасной небрежности в твоих мелких бисерных строчках, розовая женская записка!

Молодая женщина схватила китайца за голову и позвонила. Вошел слуга в ливрее английского покроя.

– Отнесите это письмо в театральную дирекцию.

Чтоб непременно у меня была завтра ложа, да спросите, дома ли муж.

Так вот тайна Сережи: она графиня, она замужем, а к тому ж и добродетельна; но неужели страсть молодого гвардейца не могла тронуть женского сердца?

О нет! Она его уважает, она его даже любит, любит искренно, как бального друга, как мазурочного брата; но есть обязанности: есть старый муж, есть грозная молва... Впрочем, Сережа многого не добивался. Три раза в неделю аккуратно он своими взглядами и вздохами компрометировал модную нашу графиню, и так всенародно, так откровенно, что добрая слава красавицы отнюдь от того не страдала: все знали, что любовь его безнадежна. Вчера он уехал, чтоб вылечиться от страсти и долгов. Сказать правду: отъезд его немного расстроил графиню. Для рассеяния она непременно решила ехать в театр; к тому ж дают новую оперу с прекрасными декорациями и великолепным спектаклем.

От скуки она задумалась; немного подумала о жизни, о счастье, которого нет; потом задумалась о чепчике, потом о Сереже...

Хороша моя графиня, нечего сказать, хороша, очень хороша! Вы, верно, ее видели, а если видели, так, верно, думали о ней, когда душа ваша разнеживалась. Маленькой ручкой подпирала она маленькую прелестную головку, а черные глаза, в каком-то задумчивом тумане, рассеянно устремлялись на бронзового китайского уродца, важно сидящего на кучке пакетов, возле колокольчика.

Итак, «она хороша». Это слово подразумевает уже целую повесть. Рассказывать ли вам, как с младенчества ей отравляли чистые наслаждения детства, как всегда перед нею была развита картина большого света, как ее постепенно приготавливали к нравственному, сердечному развращению, для которого она была назначена приличием... Впрочем, она читает тоже Бальзака, но о Шекспире не слыхивала. Свет, которому ею пожертвовали, много подавил в ней хорошего, оковал ее в холодные цепи и бросил в объятия старого мужа, который купил ее ценою своего имения. Она никогда не думает о том, что есть ужасного в ее положении, наряжается и танцует, танцует и наряжается. О любви же она не думает; да время ли думать? Поутру она катается по Невскому проспекту, потом за стол, потом в свою ложу во французский театр. Время летит быстро; платья меняются – и жизнь проходит.

Дверь отворилась. Вошел человек лет пятидесяти, в черном парике; он поцеловал руку у зевавшей красавицы и начал расхаживать по комнате.

– Что, ты каталась?

– Каталась.

– Хорошая погода?

– Да.

– Холодно!

– Да.

– Градусов пятнадцать.

– Право?

– Много было вчера на рауте?

– Да все те же. Adele постарела ужасно. Графиня В. была дурно одета, по обыкновению. Была еще какая-то приезжая из Москвы – сейчас видно. А ты играл?

– Играл.

– Что сделал?

- Проиграл.
- Много?..
- Нет, безделицу.
- А?..
- А-а-а-а!!.
- Хороша погода!
- Да.
- Холодненько... А мне пора. Прощай.
- Прощай.

Старик поцеловал у нее опять руку и ушел.

Такие разговоры повторялись каждое утро.

На другой день графиня была в театре, с прическою из черного бархата. Рядом с ней сидела бессловесная наперсница, девушка лет под сорок, одетая пристойно, под названием *amie d'enfance* ^[2] и дальней родственницы.

В ложе переменились франты в желтых перчатках, бранили оперу, поправляли галстухи и были очень милы.

Сережа был забыт...

А Сережа кряхтел в тележке, бранил человека за то, что дурна дорога, ругал ямщика и со всем тем был влюблен и въезжал в свою деревню.

– Слышь вы, ребята! – говорил нарядчик, стучась в крестьянские окна. – Молодой барин приехал.

– Ой ли? Вишь что!.. – отвечал православный бас.

– Ах ты мой родимый! – запищала баба. – Красное мое солнышко! Как бы поглядеть на родного!

– Ну, смотрите же, с хлебом да с солью, ребята, на поклон.

Взбудоражились мужики, с раннего утра собрались у дверей молодого помещика, кто с яичками, кто с медком, а кто так, с пустыми руками, прошу не прогневаться. Староста расчесал себе бороду и важно упирается на палочку из соседней рощи, палочку, известную многим в деревне. Земский набил нос табаком, второпях криво застегнул жилет и, не выпив ни одной рюмки водки, против обыкновения, хвастает, что барин с ним говорил и даже изволил назвать его дураком за то, что в комнатах холодно. Управляющий с явным волнением ходит перед миром, ласково называет каждого по имени:

«Что, старик Трофим? Здорово! Невесту хочешь? Будет тебе невеста; сыграем свадьбу. Смотрите же, православные, барина отягчать просьбами не надо; он этого не любит. Здорово, Ильюшка! Эким, брат, молодцом!

А, Таврило! Небось леску хочешь? Ну, так и быть, дам тебе леску». Вдруг дверь настежь отворилась; Сережа показался.

Мужики повалились на землю. Это Сереже понравилось, хотя немного и смутило. Он пришел в недоумение, чем начать речь своим подвластным; наконец решился:

– Здравствуйте; здоровы ли вы?..

– Много лет здравствовать твоей милости! Дождались мы наконец батюшку, своего отца родного. Просим принять хлеб-соль нашу крестьянскую. Мы твоею милостью довольны.

– Ну, каковы дела ваши? – Сережа принял вид человека делового.

– Да какие, батюшка, дела? Мы ведь богачи осенние: даст бог хлебца, так и слава тебе господи! А нет – ну, и так проживем.

– А довольны ли вы управляющим?

– Нечего сказать, обиды большой не терпим; ну, иногда и выругает... и поколотит... да ведь вы сами, ваше благородие, знаете... без этого нельзя.

– Благодарю вас за то, что вас любят крестьяне, – сказал важно Сережа, обращаясь к управляющему.

Управляющий почтительно поклонился.

– Смотрите же, – продолжал помещик, – работайте хорошенько, трудитесь, любите друг друга, ходите в церковь, уважайте своего управляющего – и вы все будете счастливы.

Сережа читал m-me Genlis^[3].

Слушатели почесали затылки. Один хотел было что-то сказать, да его дернули за кафтан, – все и замолчали...

Молчали; наконец барин еще сказал:

– Не забывайте же.

– Твои крестьяне, батюшка. Мы дети твои, а ты отец наш.

– Вишь барин какой, – говорили, расходясь, мужики, – добрый барин; бает так гладко, что и не поймешь ничего.

А Сережа обедал, очень довольный собою. Двое дворовых людей – один отставной парикмахер, а другой отставной живописец, служивший, впрочем, некогда в случае нужды и музыкантом, –

ревностно ему прислуживали, наперерыв друг перед другом рассказывали молодому барину разные проказы покойного дедушки.

IV

В наше просвещенное время всякий знает, что есть архитектура. В одном только сельце Зубцове слово это вовсе неизвестно.

Сельцо Зубцово расположено у подошвы небольшой горки, вдоль мутного пруда, на котором изобретательная экономия нашла средство устроить небольшую мельницу с болтливыми колесами, вечно толкующими одно и то же, как многие из наших знакомых. Спускаясь с горки, проезжающий невольно останавливается, пораженный удивительным зрелищем: из-за кустов и деревьев высовывается какая-то неясная, неопределительная громада крышек, углов, труб, досок и окон. Долго не может он себе объяснить, что это такое: недостроенный ли корабль, или феномен какой, или памятник в честь Ноева ковчега; наконец начинает он предполагать, что это, может быть, дом. Подъезжает ближе – дом действительно.

Но что за дом, что за удивительный оригинал между всеми домами! Фасад его вдавился углом, как ноги на третьей позиции танцевального учителя. По стенам, когда-то обитым тесом, разбросаны окошки в явной вражде между собою, то толкая друг друга, то отдаляясь взаимно на благородную дистанцию. К этому фасаду приделаны со всех сторон домики, пристроечки и флигельки с таким же романтическим беспорядком, как разбросаны мебели в гостиной петербургской красавицы, одним словом, представьте себе испанские дела, французские романы, присовокупите к тому весь толкучий рынок нашей литературы – и весь хаос будет еще ничем в сравнении с хаосом зубцовского дома.

Давно-давно, со времени царствования Екатерины Второй, отставной штык-юнкер Карпентов поселился в сельце Зубцове; но тогда дом его далеко не походил на тот, который я хотел вам изобразить; он весь состоял из трех только комнат, а жизнь помещика сосредоточивалась в одной. В этом безроскошном эрмитаже заключались все удовольствия, все привычки, вся жизнь его.

На окошке валялись карты, картузы с табаком; на треножном столике бутылки с настойкой, бутылка с соевым огарком, счеты и засохшая чернильница; в углу – постель, на которой вечно лежала собака; у постели – ружье, сапоги, бритвенница и нагайка. Николай Осипович ходил всегда в нанковом сюртуке и в сафьянном картузике. Он был холост, а поведение его в околотеке ставили за примерное. Каждое воскресенье бывал он у обедни в своем приходе и стоял на клиросе; а хмельным хотя его и видали, но очень редко. Таким образом достиг он до тридцатилетнего возраста, однообразно, лениво и скучно.

Однажды прохаживался он по густому бору, Это было осенью. Листья желтели; все склоняло к грусти.

Карпентов мой задумался... Вдруг тонкое восклицание «Ах! ах!» неожиданно прервало его размышления. Карпентов поднял голову: перед ним стояла румяная девушка, дочь соседа премьер-майора Пуговцова, слышавшая первой красавицей всего уезда.

– Ах! – повторил Николай Осипович. – Ах! ах! Авдотья Бонифантьевна, как это вы здесь?... И одни-с?

– Ничего-с, Николай Осипыч... так-с; я пошла было с девками рыжичков поискать, ан девки по лесу-то и разбежались. Эй, Маланья, Прасковья, где вы?

Пронзительное «ау» раздалось со всех сторон.

– Здоров ли батюшка? – спросил Карпентов в замешательстве.

– Нездоров, Николай Осипыч, выдумал поужинать гусем с груздями: всю ночь не спал.

– Зайду наведаться, сударыня, непременно зайду.

Босые девки сбежались. Карпентов с некоторою светскою обворожительностью приподнял свой картузик, поклонился и пошел домой; он был тронут до глубины сердца. С тех пор все для него переменилось: где бы он ни был – всюду за ним летел очаровательный образ соседки, в кругу своих наперсниц, с рыжиками в руках.

Пуншик в сторону, борзые в сторону, все хозяйские прегрешения в сторону. Штык-юнкер Карпентов хлопнул по столу и решительно воскликнул: «Пора мужику обабиться!»

Вскоре весь уезд узнал о его помолвке. Но тут появились новые затеи. Для молодой жены мало скромного уголка, в котором помещался Карпентов; для нее нужны все утонченности роскоши: нужны диванная, чайная, а в особенности боскетная. Николай

Осипович созвал плотников и начал, говоря слогом помещичьим, пристраиваться. Вскоре появилась боскетная с ужасными растениями, спальня, чайная и девичья. Счастливый Николай Осипович ввел свою супругу в новые чертоги; но и тут дом скоро стал тесен: у Николая Осиповича родился сын – опять нужна пристройка; у Николая Осиповича родилась дочь – опять нужна пристройка! Таким образом, дом помещика рос вместе с его семейством, и когда у него стало налицо огромное множество детей, с присовокуплением разных мадам и мамзелей, то дом его принял этот фантастический вид [4], котообый так удивляет проезжающих.

V

Я наскоро набросал вам биографию Николая Осиповича, изобразившуюся уродливым иероглифом на проселочной дороге, ведущей к уездному городу. Теперь пора продолжать. Извините, если в рассказе вымысла мало: то, что я пишу теперь, не есть повесть; повесть я напишу еще когда-нибудь; это присказка, а сказка будет впереди. Впрочем, для порядка вещей и постепенности в происшествиях, я надеюсь, что вы догадались, что деревня Сережи находилась в близком расстоянии от деревни Николая Осиповича; без любви не обойдется.

В то время, как Сережа появился в свои владения, Николаю Осиповичу было шестьдесят пять лет. Смиранный послушник, давным-давно преклонил он уже свою буйную голову под иго своей одюжевшей супруги; а Авдотья Бонифантьевна лишилась многого, что имела, и многое приобрела, чего прежде и в помине не бывало.

Авдотья Бонифантьевна начала сердиться и солить рыжики, начала нюхать табак, начала бить своих девок, бранить своих дочерей и раскладывать пасьянец засаленными картами. Не считая мелких девочек и шалунов мальчишек, которым и счет был потерян, у четы Карпентовой было налицо три дочери-невесты: Олимпиада, Авдотья и Поликсена. Олимпиада – музыкантша, Авдотья – хозяйка, а Поликсена – плутовка. Олимпиада – высокая, худая, чувствительная, поющая разные романсы и читающая разные романы; Авдотья – плотная, румяная, знающая одну только расходную книгу, имеющая исключительным занятием выдавать весом все домашние провизии и

чрезвычайно много кушать; Поликсена – девочка лет четырнадцати, с распущенными волосами *à l'enfant* [5]; Поликсена трунит над целым домом, сшибает очки с носа старой няньки Акулины, выдергивает стулья у задумчивой Олимпиады и сочиняет злодейские эпиграммы и стишки.

Вот в каком соседстве поселился Сережа и курил целый день табак. В один день обошел он все свои хозяйственные принадлежности, видел гумно, скотный двор, птичник и кирпичный завод. Сережа вздохнул, сложил руки и начал курить. К счастью, на третий день его приезда поутру явился в прихожую старый буфетчик в овчинном тулупе и просил доложить его милости, что Николай, дескать, Осипович и Авдотья, дескать, Бонифантьевна Карпентовы покорно просят барина приехать расхлебать вместе с ними щей деревенских. Узнав, что у означенных соседей числилось три барышни-невесты, Сережа обрадовался, нарядился, завился, на помадился, надушился и в дедовских дрожках отправился к Карпентовым, о которых в Петербурге он и от своего лакея слышать бы не захотел.

Так-то обстоятельства меняют людей!.. Размышление сие вам, вероятно, покажется не новым, но оно из числа тех, которые нехотя приходят ежедневно на ум при виде наших грешных мирских слабостей.

Итак, в жилище рода Карпентовых, обыкновенно мрачном и тихом, вдруг появилась какая-то торжественность. Казачку велели заштопать локти и панталоны; на кухне готовятся два лишние блюда; за стол подадут вино сотерн и домашнюю наливку. Авдотья целый день перебегает из кладовых в столовую. Николай Осипович надел что-то похожее на фрак, а Авдотья Бонифантьевна – нечто сходное с чепчиком. Дочери в белых платьях – цвет невинности и душевного спокойствия.

Шаркает Сережа, кланяется и хозяину и хозяйке и спрашивает у всех о здоровье.

– А каковы у вас озими? – говорит старик.

– Слава богу, здоровы, – отвечает Сережа. – Очень благодарен.

– Прошу, батюшка, нас жаловать, – продолжает Николай Осипович. – Покойный дедушка частехонько нас навещал – царствие ему небесное! Куда какой проказник был! Бывало, только входит в

двери и кричит мой родной: «Ты, Осипыч, каналья, братец, скотина, настоящая скотина! Три дня у меня уж не был; а у меня дворовые новый концерт выучили; жаль, что только без кларнета: я кларнету лоб забрил. Ну-ка, ну-ка, сэови-ка, брат, своих девок да заставь спеть что-нибудь». Куда какой шутник был покойник! Царствие ему небесное. Сам станет бабам подтягивать, а коли в духе, так и плясать начнет. Нет, уж таких стариков теперь нет!..

– Милости просим садиться, – говорит Авдотья Бонифантьевна.

Начинается разговор вялый и глупый. Дочери шепчутся в углу; Сережа на них поглядывает и говорит комплименты Авдотье Бонифантьевне, которая скромно потупляет глаза.

Подают обед. Сережа сидит подле Олимпиады. Она то вздыхает, то расспрашивает о «Фенелле». Сережа, обрадованный, что есть люди, которые не видали ее пятьдесят раз сряду, объявляет, что, кроме «Фенеллы» есть еще «Норма». «Норма», удивительная опера известного Беллини, дается в Петербурге в последнем совершенстве.

– Вы музыкант? – тихо спрашивает Олимпиада; а Сережа отвечает казенною фразой:

– Нет, я не музыкант, а очень люблю музыку.

Против него Авдотья беззаботно пользуется сытным обедом, а Поликсена швыряет в нее украдкою хлебными шариками.

Кончился стол.

– Олимпиада, спой что-нибудь.

– Мaman, я охрипши.

– Ничего, мой друг, мы люди нестрогие.

Сережа кланяется, подает стул, и Олимпиада просит свою маменьку самым жалобным голосом «не шить ей красного сарафана».

– *Charmante voix!* [6] Bravo! – говорит Сережа. – Прекрасная метода. Жаль, что не изволили слышать «Нормы».

Олимпиада вздыхает.

После музыки начались карты. Стали играть в ламуш по грошу, и всем было очень весело. Сережа врал до невероятия. Барышни хохотали. Время летело. К вечеру были обещаны новые романсы, стихи в альбом и конфекты от Рязанова.

Сережа уехал, а Николай Осипович и Авдотья Бонифантьевна долго между собою толковали, гася восковые свечи и зажигая сальные;

а сестры перебрались между собой, и вся дворня собралась у буфетчика толковать о новом госте и ожидаемых переворотах.

Один только казачок заснул весело и спокойно. Из всего им виденного заключил он, что ему сошьют новые панталоны.

VI

Провинция! Провинция! Помню я тебя, с твоими уездными городами, с твоими отставными генералами, с твоим вистиком, с твоим бостончиком, со всеми твоими затеями. Помню и казенный колокольчик дворянского заседателя, приводящий в трепет целое селение. Помню и незабвенные твои балы – драгоценные воспоминания уездных барышень!..

Почти в каждом уездном городе, как вам известно, есть нечто сходное с дворянским собранием. Заключается оно обыкновенно в самой большой комнате города, иногда в гостинице, иногда у аптекаря, иногда на станции, иногда в уездном училище – как случится. Тут во время праздников собираются женихи и невесты, помещики и помещицы, должностные и неслужащие. Тут рождаются толки о столицах; тут городничий играет в вист, тогда как жена его манерится во французской кадриле; тут затеваются свадьбы; тут продается яровое; тут иногда бывает очень весело...

Вы помните, что я начал свой рассказ концом октября, порой недоумения, когда природа колеблется между летом и зимой. Вскоре зима взяла свое: снег привалил громадою; ноябрь пробежал, декабрь начал выставлять свои праздники. Барышни Карпентовы давно уже заготавливали фантастические цветы и розовые платья для крещенских удовольствий. Сережа бывал у них каждый день. Мало-помалу он начал привыкать к семейству, принявшему его с таким добродушием. Скоро и старики перестали с ним церемониться: Авдотья Бонифантьевна сняла свой чепчик, а Николай Осипович надел свой сюртук. Вы, может быть, уже заметили, что главная черта характера моего Сережи – бесхарактерность. Привычка была его второй природой. У Карпентовых бывал он каждый день – не оттого, чтоб он их любил, а оттого, что он к ним начал привыкать. Из барышень же более всех нравилась ему Олимпиада. Мудрено ли, что Олимпиада

предалась ему душою? Без развлечения, без светского образования, без всякого участия в делах мирских, в любви видела она единственное занятие, звезду своей жизни. Везде преследовал ее образ милого гвардейца с его блестящими эполетами, с его звучными шпорами, и петербургское наречие сводило бедную девушку с ума.

Сережа все это очень хорошо знал и, не имея никакой цели, неприметным образом стал приближаться к молодой девушке и воспалять более и более ее воображение. К тому ж она была недурна собою, а волшебство истинной страсти невольно очаровывало Сережу.

Вскоре отправились Карпентовы в уездный город, а Сережа за ними вслед. В уездном городе Сережа – важничал, пил шампанское, рассказывал про Петербург, начинал мазурку с Олимпиадой Карпентовой и любезничал со всеми уездными невестами, Вскоре по целой губернии о нем пошла молва, вскоре все матушки, плядя на него и Олимпиаду, начали качать головами и улыбаться значительно. Одним словом: он был уже провозглашен женихом Олимпиады Карпентовой, когда отнюдь о том еще не помышлял. Увидим, что будет далее.

VII

– Вы меня обманете, – говорила Олимпиада, опустив руку свою в руку Сережи, – вы меня обманете – и я умру.

Это было три месяца после возвращения из уездного города. Они сидели на скамейке в саду: Сережа в белой фуражке, с хлыстом в руке, Олимпиада опустив голову на плечо его. Сережа давно уже носил на жилете бисерный снурочек, а в жилете шелковый кошелек. Потом, сам не зная каким образом, начал он говорить обиняками; потом, еще менее зная почему и как, очутился он однажды утром в саду на скамейке, слушая с смущением, как Олимпиада тихо ему говорила:

– Вы меня обманете – и я умру.

Олимпиада, как я говорил вам уже выше, бледная, худая, романтическая, со всем тем она недурна. Одушевленная огнем первой страсти, она вдруг возвысилась над миром глупой прозы, в котором суждено ей было жить.

Вдруг открылась для деревенской девушки новая жизнь, новая сфера, что-то величественное и необъятное. Румянец заиграл на ее щеках. Душа ее, как ласточка, взлелеянная в душном гнезде, не зная еще ничего в мире, взвилась прямо к небу.

Сережа, глядя на нее, не мог быть равнодушен; голова его по возможности разгоралась. Он не мог понять возвышенности чувств молодой девушки. Со всем тем графиня была давно забыта. Страсть модная, аристократическая, в готическом кабинете на узорчатых коврах, показалась ему вдруг так ничтожной в его одиночестве, сидящему под сенью дерев, подле девушки, высказывающей ему с простодушием все любимые тайны своей души.

Новая мысль блеснула в его голове: «Жениться? Да почему ж нет? Жить в деревне, жить с природой, жить с любимой женой, с детьми...»

Решено: Сережа женится... А Петербург с его заманчивыми прелестями? А острова? А все блестящее знакомство? Со всем должно проститься навсегда! Нельзя же ему рассылать визитных карточек: «Олимпиада Николаевна ***, урожденная Карпентова...» Он взглянул на нее: слезы дрожали на глазах ее. Я вам говорил: Сережа был добрый мальчик; он схватил ее руку и жарко поцеловал.

– Завтра, – сказал он, – все будет кончено. Я докажу, – прибавил он про себя, – я докажу, что я не дорожу мнением толпы. Бедная девушка меня полюбила; я должен с гордостью принять этот дар провидения. Завтра буду просить ее руки и, если на то пойдет, повезу жену в Петербург, покажу ее всем, возьму для нее ложу во французском театре и сяду с нею рядом.

– Завтра, – говорила Олимпиада, – завтра!.. Не обманывайте меня, Сергей Дмитрич. Я не должна, может быть, говорить вам того, но я не умею скрывать своих мыслей. Не обманывайте меня, если не хотите моей смерти.

– Итак, вы любите меня? – закричал Сережа. – Не правда ли, что вы меня любите?

Олимпиада улыбнулась.

– Завтра, завтра! – прошептала она, встав со скамейки.

– А что, Сергей Дмитрич, не хотите ли табачку?

У меня a la rose ^[7], сам делаю. – Старик Карпентов приближался к чете и прервал их разговор.

«Добрый человек, – подумал Сережа, – будет моим тестем... отучу его нюхать табак а la rose, а буду для него выписывать французский».

За аллеей показалась Авдотья Бонифантьевна в седых растрепанных волосах.

– Горячее на столе! – кричала она. – Где это вы пропадаете?

«Славная женщина! – подумал Сережа. – Не худо бы ей выучиться носить чепчики».

Сережа не хотел оставаться обедать: в душе его боролось слишком много различных чувств... Он выразительно взглянул на Олимпиаду и ускакал на лихой тройке домой.

Отчего, скажите, в жизни все так перемешано: красота с безобразием, высокое с смешным, радость с печалью? Нет ни одного чувства совершенно полного, ни одной мысли совсем самостоятельной; все сливается в какое-то сомнение, в беспредельность душевную, источник сплина и жизненной усталости. Любовь! Слово святое, душа целой вселенной, отрада нашей бедственной жизни – и ты не всегда освещаешь преданную тебе душу. Прекрасна ты, но и тебе нужны формы, как нужны формы в какой-нибудь канцелярии. Скажи: зачем ты восхитительна в пируэтах Сильфиды и неуместна в семействе Карпентовых – любовь, чувство святое, душа целой вселенной?..

Когда Сережа возвратился домой, ему доложили, что его в гостиной кто-то ожидает.

Сережа вбежал в гостиную: перед Сережей стоял Саша.

Саша, в общественном значении почти то же самое, что Сережа, с тем различием, что он служит в другом полку и слывет в обществе опасным человеком и злым языком благодаря особому его умению давать всем своим знакомым смешные и колкие названия. С громким смехом приветствовал он Сережу:

– С какими ты, брат, скотами здесь познакомился?

Спрашиваю у людей: «Где Сережа?» – «У Карпентовых». – «А где был вчера?» – «У Карпентовых». – «А что эти Карпентовы – богатые люди?» – «Душ восемьдесят с небольшим будет». Ха-ха-ха-ха! Ну уж нашел, нечего сказать!..

– Полно, брат. Вечно шутишь!

– А ты, брат, настоящий Бальзак, подпоручик Бальзак: все сочиняешь романы. Чего доброго, не влюблен ли ты в какую-нибудь

птичницу?

– Перестань, братец.

– Я тебя знаю. В деревне молоко, природа, сметана, чистая любовь у ручейка, за обедом ватрушки – жизнь патриархальная. Это все очень трогательно.

– Полно, Саша. Расскажи-ка лучше что-нибудь про Петербург.

– Да что, брат, тебе рассказывать? Петербург что день, то лучше, то многолюдней, то славней. Магазинов новых пропасть, домов также. На улицах газ, а в театре танцует мамзель Круазет. Ты не видал Круазет?

– Нет, – отвечал, краснея, Сережа.

– Это, брат, чистая поэзия, выраженная ногами.

Каждое ее движение – картина, чудесная картина; удивительно танцует, то есть как бы я тебе ни рассказывал, никакого понятия о ней нельзя тебе дать: надо видеть.

– А что в большом свете?

– Да все по-старому. Петруша женится, берет сорок тысяч чистого дохода, да, кроме того, есть надежда, что тещь его скоро умрет, так будет вдвое, – каков Петруша? Да кстати: графиня тебе кланяется; она теперь кокетничает с новым франтом, приехавшим из Парижа.

– Быть не может! – закричал, вспыхнув, Сережа. – Верь ты этим женщинам! А что говорят обо мне в Петербурге?

– О тебе? Ничего не говорят. В Петербурге никогда ни о ком не говорят, кроме тех, которые беспрестанно под глазами вертятся. Да бишь: Вельский просил тебя прислать ему деньги, которые ты проиграл ему в экарте.

Кроме того, я видел Adele... Она на тебя жалуется, ты знаешь... потому что... тс-тс!

Прятели начали говорить вполголоса. Разговор их был продолжителен. В одиннадцать часов вечера Сережа приказал своему камердинеру укладываться, написал наскоро довольно учтивое извинение Николаю Осиповичу и чем свет был уж с своим приятелем на большой петербургской дороге.

Прекрасная гостиная, готическая, с резьбою Гамбса.

Чехлы сняты. Разряженная хозяйка сидит на канапе и ждет гостей.

Нынче не то что бал, да и не то что вечеринка, а так, запросто: горят одни лампы; свечей не зажигали; будет весь город.

Толстый швейцар с дубиной стоит у подъезда. На лестнице ковер и горшки будто бы с цветами. Вот зазвенел колокольчик; съезжаются гости. Дамы лет пожилых (известно, что старух в большом свете не бывает) садятся За вист в гостиной. В соседней комнате играют генерал-аншефы и тайные советники. Молодые девушки садятся на четверугольный канапе посреди комнаты или перелистывают давно знакомые картинки. К ним придвигают стулья секретари посольств и камер-юнкеры и начинают разговаривать. Разговор самый занимательный.

– Что, можно сесть подле вас?

– Можно.

– Были вы вчера в «Норме»?

– Хотите мороженого?

– Как жарко!

– Охота хозяйке давать вечера с этакой фигурой.

– Как вы злы! Bon jour. Bon jour. Bon-jour.

– Знаете, что Сережа приехал?

– Право?

– Да вот и он.

– Тысячу лет не видали.

– Где вы были?

– В дересне хозяйничал. Ха-ха-ха! Не взыщите: мы люди деревенские... Ха-ха-ха!.. Bon-soir [8]. Bon-soir.

– Ну, что скажете?.. Вы не знаете, где нынче графиня?..

– А, да вот она сама! Bonjour. Bon-jour.

Сережа вскочил со стула. В гостиную вошла графиня, всегда прекрасная, всегда ослепляющая роскошью и красотой. Густые локоны падали до пышных плеч, а на лбу золотой обруч с брильянтом. От нее веяло какой-то светской приманкой. Все было в ней обворожительно и прекрасно. Величественно подошла она к хозяйке, улыбнулась знакомым, села на место и увидела Сережу, стоявшего перед ней.

– Madame la comtesse... [9]

– Bon-jour. Когда приехали?

– Сейчас.

– Что, вы женаты?

– Помилуйте, графиня, зачем шутить?

– Да что же вы делали в деревне?

– Я занимался, читал и думал.

– А соседей у вас не было?

– Какие там соседи! Был какой-то капитан, да, признаюсь вам, мне было не до того.

Он выразительно поглядел на графиню.

– Что, вы мужа моего видели?

– Нет еще.

– Ну, ступайте же с ним здороваться, – продолжала, смеясь, графиня. – Завтра у меня танцуют.

– Что, вы мне дадите мазурку?

– Так и быть...

Летит время. Всё то же да то же: ноги устали, сердце пусто, мыслей мало, чувства нет.

Саша женился на богатой вдове и начал давать обеды. Сережа танцевал по-старому мазурку, вздыхал под ложкой графини, но начинал уж чувствовать, что он променял счастье жизни на приманки малодушного тщеславия. Нередко мучила его и та мысль, что он был причиною гибели бедной девушки, которая, как известно ему было от одного помещика, встретившего его в театре, чахла и страдала после его отъезда и, вероятно, давно уж умерла. Несколько лет промчалось уж после поездки его в деревню; угрызения совести не оставляли его, но дополняли его бытие. Он уважал в себе человека, сделавшегося некоторым образом преступным, и вспоминал о любви своей к Олимпиаде, как о самой светлой точке своей жизни, утонувшей навеки в бессмысленном тумане его настоящего бытия. Однажды сидел он у своего камина. Воображение живо рисовало ему черты незабвенной девушки с распущенными волосами, с глазами, исполненными неги и любви. В эту минуту вошел человек с письмом. Сережа наскоро распечатал и прочел следующее.

«Милостивый государь Сергей Дмитриевич. Вот уже пять лет как вы не изволили быть в поместьях ваших, в пяти верстах от сельца Зубцова, как известно вам, отстоящих. По отъезде вашем батюшка с матушкой отдали меня замуж за

служащего по выборам уездного суда заседателя Крапитинникова, с коим, благодаря бога, я и живу в счастливом супружестве уже четвертый год и была бы довольна судьбою, если б не следующий случай. Муж мой, отставной армии штабс-капитан, прослужил уж три трехлетия по выборам дворянства и, не будучи замечен ни в каких дурных поступках, был представлен начальством к следующей ему награде. Несмотря на то, мой муж никакого награждения не получил, тогда как того же суда заседатель Бутыргин, замеченный в нетрезвом поведении, за коим по разным следствиям считается до 200 с лишком дел нерешенных, и женатый на поповской дочери, получил на днях орден св. Анны для ношения в петлице. Не имев никаких покровительств в Петербурге и зная, что вы имеете там знакомство в высшем кругу, я решилась, зная всегдашнее расположение ваше к нашему семейству, просить вас не отказать нам в ходатайстве вашем у важных особ о скорейшем назначении мужу моему следующего ему ордена.

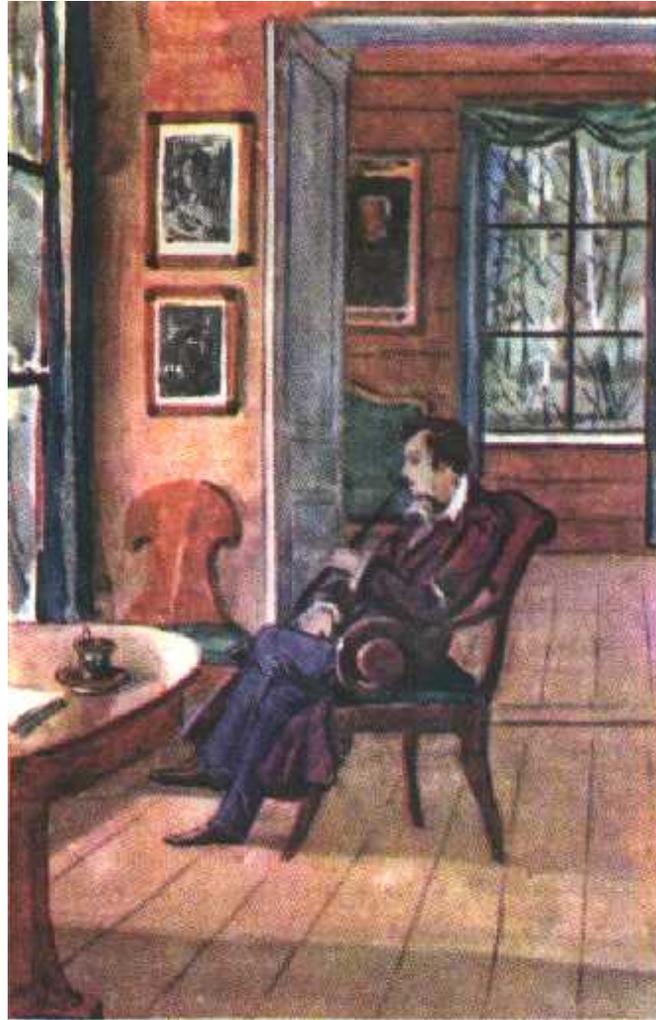
Батюшка мой жалуется, что вы его забыли. Он теперь опять пристроивает небольшой флигелек к дому своему для меня и детей моих, на случай, когда дела наши позволяют нам отлучаться из уездного города.

Сестры мои вышли замуж: Авдотья за комиссариатского чиновника Бирюкдина, а Поликсена за учителя немецкого языка Шмитцдорфа. Муж мой свидетельствует вам свое глубочайшее почтение, а вместе с ним и покорная вам Олимпиада Крапитинникова».

Письмо выпало из рук Сережи; слезы навернулись на глазах его. «Одна минута поэзии, – подумал он, – была в моей жизни, и та была горькой глупостью!».

Бедный Сережа! Ему пришлось проститься с своим раскаяньем и сделаться снова невинным гвардейским офицером. И все пошло, и все идет опять по-старому: графиня наряжается и танцует; Сережа ездит в театр.

И все то же да то же: ноги устали, сердце пусто, мыслей мало, чувства нет...



История двух калош

(Посвящено М. Ф. Козловой)



Предисловие

Pereant qui ante nos nostra dixerunt.

Goethe [10].

Я так много в жизни свое ходил пешком, я столько в жизни своей переносил калош, что невольно вселилась в душе моей какая-то особенная нежность ко всем калошам. Не говоря уже о неоспоримой их пользе, как не быть тронутым их скромностью, как не пожалеть о горькой их участи? Бедные калоши! Люди, которые исключительно им обязаны тем, что они находятся на приличной ноге в большом свете, прячут их со стыдом и неблагодарностью в уголках передней; а там они, бедные, лежат забрызганные, затапанные, в обществе лакеев, без всякого уважения. И как, скажите, не позавидовать им блестящей участи своих однослуживок, счастьем избалованных лайковых перчаток? Их то и дело что на руках носят; им слава и почтение; они жмут в мазурке чудную ручку, они обхватывают в вальсе стройный стан, и не они ли отличают в большом свете истинное достоинство каждого человека и степень его аристократизма? О перчатках говорят в лучших обществах между погодою и театром, говорят дамы, говорят графини, говорят княгини, молодые и старые, а более молодые.

О бедных калошах никто не говорит, или изредка замолвит о них стыдливое словечко бедный чиновник на ухо товарищу, подняв шинель и шагая по грязи...

Ей-богу, меня всякий раз досада разбирает, когда я подумаю, как странно все разделено на свете! Сколько людей... Сколько калош, хотел я сказать, затапанных и забытых, тогда как лайковые перчатки с своею блестящею наружностью, с своею ничтожною пользою блаженствуют вполне!

Многие прежде меня писали мелкие биографии разных вещей: булавочек, лорнетов, шалей и тому подобного. Но они или приписывали им нежные чувства, весьма неуместные в булавках и лорнетах, или вооружали их испытующим оком, сердито следящим за грешными мирскими слабостями. Цель моя другая. Я не представлю вам разрозненных листков журнала какой-нибудь калоши

сантиментальной, непонятой каким-нибудь жестокосердым сапогом. Я не стану описывать вам похождения калоши сардонической, наблюдающей все нравы без исключения, даже нравы тех гостиных, куда ее не пускают. Будьте спокойны! Это все слишком старо и было бы в подражательном вкусе; а век наш, в особенности век молодых литераторов, самостоятелен и нов. Я расскажу вам просто историю двух калош кожаных.

Приглашение на бал

Иоганн-Петер-Аугуст-Мариа Мюллер, «сапожных дел мастер», по вывеске «приехавший из Парижа», а действительно из окрестностей Риги, проснулся однажды очень рано, протянул руки, поправил бумажный колпак, упавший ему на нос, и толкнул жену под бок.

– Вставай, Марья Карловна! Дай мне бритвы, да черные брюки, да белую манишку. Надо отнести надворному советнику Федоренке пару калош, которые обещал я ему к пятнице (а эта пятница была тому две недели).

Я побреюсь, а ты вели подмастерье Ваньке вычистить калоши почище, как зеркало. Слышишь ли? – прибавил с гордостью сапожник. – Пусть полюбуется да посмотрит: работа не русская какая-нибудь, работа чисто немецкая, без ошибки и фальши; не будь я Иоганн-ПетерАугуст...

Он не успел окончить, как Марья Карловна уже возвратилась с ужасом на лице, с калошами в руках.

– Ванька был пьян вчера, – кричала она, – калоши испорчены!

Бритва упала из рук Мюллера.

– Cott schwer Noth! ^[11] Калоши надворного советника! Solche allerliebste Kaloschen!..^[12] – Он их выхватил из рук жены. Действительно, делать было нечего. Калоши были испорчены. Правая подрезана сбоку и проколота шилом, а левая облита чем-то нехорошим.

Мюллер был в бешенстве.

– Ванька! – закричал он громовым голосом. – Что это такое?..

Полуглупая-полулукавая фигура Ваньки с заспанными глазами, в затрапезном халате показалась в дверях, почесывая затылок.

– Что это такое? – продолжал грозный сапожник, указывая на калоши.

– Не могу знать.

– Как «не могу знать»? Я говорю, что такое?

– А почему же я знаю?

Мюллер, вне себя от гнева, ударил трижды калошами по щекам Ваньки. Ванька завыл, как теленок; Мюллер успокоился.

«Ну, что же мне делать? – подумал он. – Не бросить же калоши! Надворному советнику Федоренке отнести их невозможно: он знаток. Даром пропадут... Хотя бы сбыть кому-нибудь... Да бишь! Онамедни приходил музыкант заказывать калоши. Разве ему отнести? Да! да ведь эти музыканты... с них денежек не жди: народ известный! А!.. – заключил сапожник, хлопнув себя по лбу. – В воскресенье рождение Марьи Карловны».

Он завернул калоши в бумажный платок, бросил их под мышку и, надев шляпу набок, потому что он между всеми сапожниками слыл щеголем, вышел на улицу.

С Малой Морской, где жил Мюллер, он поворотил к Синему мосту и пошел в Коломну. В Коломне остановился он у высокого дома с нечистыми воротами, перед которыми дворник играл на балалайке.

– Здесь живет господин Шульц? – спросил Мюллер.

Дворник посмотрел на немца и, отворотившись, отвечал:

– Таких нет.

– Господин Шульц, музыкант.

– Есть какой-то немец, музыкант, что ли, кто их там разберет, этих всех музыкантов! Ступайте в самый верх. Он – так он, а не то ищите в другом месте.

Вскарабкавшись по узкой лестнице под самую крышу дома, Мюллер остановился у дверей, на которых была прибита бумажка с надписью: «Karl Schultz, musicus» [\[13\]](#).

Мюллер отворил двери.

Молодой человек с бледным лицом и впалыми глазами сидел, опершись обоими локтями на столик простого дерева, и руками держался за голову. На столике лежало несколько книг и писанные ноты. В комнате все было пусто, лишь в углу несколько соломенных стульев изображали кровать. Стены, когда-то выбеленные, наклонялись под скат крыши. Впрочем, в комнате было пусто и мрачно: тут была нищета, нищета ужасная, во всей своей наготе. Неожиданная картина поразила Мюллера. Он остановился у дверей и не понимал, какое им овладело чувство. Добрый немец, пораженный такою бедностью, оробел и с усилием прошептал вполголоса:

– Калоши ваши готовы...

Молодой человек обернулся и печально посмотрел на сапожника.

– Я вам говорил, – отвечал он, – что я сам за ними зайду. Теперь у меня нет денег.

– Помилуйте, господин Шульц. Зачем вам себя беспокоить? Сочтемся после. А теперь погода сырая, калоши нужны...

Бедный музыкант встал с своего места и взял Мюллера за руку.

– Вы добрый человек! – сказал он.

Мюллер смешался. Совесть его мучила. Он хотел бежать от искушенья. Однако как быть? В воскресенье рождение Марьи Карловны. Будут гости.

– Господин Шульц, – прошептал он опять, повертывая шляпу в руках, – у меня... до вас... просьба. В воскресенье рождение жены моей, Марьи Карловны. У нас будут гости. Я желал бы доставить им приятное занятие.

Марья Карловна очень любит танцевать, а играть у нас некому. А так, без танцев, время проходит скучно. Да вот и сапожника Премфефера жена без танцев жить не может.

– В котором часу? – спросил Шульц.

– Да часов в шесть, – продолжал, кланяясь, Мюллер, – часов в шесть. Мы постараемся, чтобы вам не было скучно. А об калошах, пожалуйста, не думайте. Это безделица!.. Ну уж будет сюрприз Марье Карловне!

Обрадованный Мюллер побежал в восторге домой и во всю дорогу напевал разные вальсы и перигурдины.

А бедный музыкант упал на соломенный свой стул, закрыл лицо руками и горько заплакал. «Вот до чего я дожил! – подумал он. – Из пары калош должен я целый вечер играть на именинах у сапожника!..»

Детство

Карл Шульц родился в Германии. Отец его, зажиточный дворянин с немецкою спесью, жил недалеко от Дюссельдорфа в своем имении, где на старости лет он, от нечего делать, сделался хозяином. Жена его давно уже скончалась, а домом управляла ключница, сердитая и злая, под названием Маргариты. Вообще, как нет ничего глупее глупого француза, так нет ничего злее и хуже сердитой немки. Маргарита была женщина лет сорока, высокая, худая, с багровыми щеками, гроза целого дома.

Главное очарование ее для старого Шульца составляло особое искусство стряпать разные кушанья с изюмом и черносливом, до которых старик был большой охотник.

Мало-помалу прибрала она все хозяйство в руки, сделалась госпожой в доме и выслала всех своих противников.

Но в особенности не любила Маргарита маленького Карла, как живое препятствие, которое всех труднее было отстранить. Карл учился в Дюссельдорфе в городском училище, и учился, сказать правду, довольно дурно, как все дети с пылким воображением. Признаться, скучно затверживать глаголы, склонять имена существительные и марать грифельные доски, когда в голове вертятся волшебные замки, рыцари в золотых латах и все чудные видения ребяческой мечты. Карл учился дурно: учителя жаловались; Маргарита уверяла старого Шульца, что сын его негодяй, повеса, годный только для виселицы.

Возвращаясь из школы своей, Карл только и слышал, что толки о картофеле да крупную брань. Это ему надоело: он был одарен душой любящей и нежной; но в то же время гордость его доходила до упрямства. Он был из числа тех характеров, над которыми всеильно слово любви, а угроза немошна.

Чем более его бранили, тем более он отвращался от наук, и слова Маргариты действительно бы оправдались, если б странный случай не открыл ему нового направления.

Однажды он шел по дюссельдорфским улицам с заплаканными глазами: отец ударил его поутру палкой, а Маргарита вытолкала его из дома! Бедный мальчик, с грамматикой под мышкой, остановился перед

церковью и призадумался. Участь его была горька: он был один в начале жизни, а душа его просила опоры. Что делать бедному мальчику? Кто сжалится над ним? Невольно вошел он в церковь, чтоб рассеять свое горе, сел на лавку и начал слушать проповедь. Проповедь кончилась. Орган величественно зазвучал. Мальчик поднял голову и начал слушать. Новое чувство обдало его невыразимой теплотой. Мало-помалу перед ним начал разворачиваться новый, необъятный мир. Голова его терялась. Ему показалось, что в душе его стало широко, что будто ум его ребяческий мужал с каждым звуком. Он задрожал и заплакал. Назначение его ему было открыто, утешение найдено, цель достигнута: он был музыкантом.

Обедня кончилась. Карл дождался на паперти, пока маленький органист, в напудренном парике, с очками и бесконечным носом, выкарабкался с верха по крутой лестнице. Карл его остановил.

– Вы играли?

– Я.

– Вы славно играли!

Старичок засмеялся. Нос его показался еще длиннее, а очки на носу запрыгали.

– Я хочу учиться музыке! – подхватил Карл.

– Учись.

– Где вы живете?

– Рядом.

– Я пойду с вами, пойду к вам, буду учиться у вас.

Вы меня сделаете музыкантом?

Большой нос опять засмеялся. Карл пошел за ним.

Органист, смеясь, посадил его за маленькие клавикорды – единственное украшение безроскошной комнатки – и начал объяснять ему музыкальные интервалы и все сухое предисловие поэзии звуков. Мальчик едва переводил дыхание; слова органиста врезывались в его памяти; он слушал с почтением и вдруг вскочил с своего стула и обнял старика с большим носом, как он никогда еще никого не обнимал. Старик был тронут. Он был тоже одинок; ему тоже было не с кем душу отвести.

Странное сходство сблизило старика с ребенком. Оба были отчуждены от света – один в начале своей жизни, другой уже при конце; в их положении было что-то взаимное и родственное. Старичок

прижал мальчика к сердцу своему, как отец, долго не выдавший своего сына.

С тех пор они были неразлучны; с тех пор маленький Карл каждый день находил средства убежать из школы, чтобы посетить своего учителя, чтобы послушаться, чтобы надышаться его восторженною речью. Старичок был из числа тех людей, которые, пристрастясь к одной мысли, породнившись с одним чувством, ими только дышат и живут: музыка была его мир, его собственность – то, что воздух для птицы. О ней говорил он с почтением, как о таинстве, с любовью, как о верном друге. Но никогда старичок так не воспламенялся, никогда очки так высоко не прыгали на бесконечном носу его, как когда он заговаривал об ученом своем друге, о великом Бетховене. Они учились вместе у Фан-Эндена, жили вместе, были вместе молоды, а потом расстались для того, чтобы бедному органисту умереть в неизвестности, в уголке своей церкви, для того, чтобы Бетховену умереть в горе и нищете, увенчанному двойным венком несчастья и славы. Это благоговение к имени великого музыканта, эту чистую страсть к возвышенной музыке старичок вполне передал Карлу. Посвященный в новое таинство, Карл выучился читать на невидимых скрижалях, говорить языком, доступным не для многих, и возвышать душу до сверхземных созерцаний. С тех пор жизнь его приняла новое направление, с тех пор школьная жизнь показалась ему еще более несносною и отвратительною.

Бедный мальчик был жертвою избытка сил своей души. Он подумал, что одной поэзии для жизни достаточно; он подавил ум чувством, существенность – воображением. Он ошибочно понял свое значение – и погубил себя в будущем. Учители его с новым негодованием объявили старику Шульцу, что сын его по целым дням пропадает без вести и что тетради его вместо латинских переводов и рассуждений о римской истории все исписаны диезами и бемолями. Маргарита торжествовала.

Старик Шульц запретил Карлу показываться ему на глаза. С тех пор возврат на дольную стезю был для мальчика невозможен. Я говорил выше: слово любви могло бы остановить его, переломить его упрямство; угроза только более и более его раздражала: он не просил прощения, он не обещал исправиться – бросил книги в окно и сделался музыкантом.

Молодость

Так прошло несколько лет.

Мальчик сделался юношей, органист сделался дряхлым стариком. Жизненные силы его постепенно стали ослабевать; кончина его приближалась. Наконец, после одного большого праздника, где он непременно хотел сам играть на органе и где играл он с глубоким вдохновением, принесли его без чувств домой, и через несколько часов Карл стоял уже, задумчивый и бледный, над его охладевшим трупом. Смерть органиста была вторая торжественная минута в жизни Карла. После первого восторга наступила первая задумчивость. Задумался Карл о бренности земной, об этом странном составе огня и грязи, который называют человеком. В первый раз он с удивлением и ужасом заметил, что в жизни нет ничего существенного, что жизнь сама по себе ничто, что она только тень, тень неосязаемая чего-то невидимого и непонятного. Ему стало холодно и страшно...

О, как дорого дал бы он тогда, чтобы поплакать на груди существа любимого, чтоб утопить в слезах любви новое, ядовитое чувство, которое начало вкрадываться в его душу! Он был снова один, совершенно один. Мысль эта его душила. Он понимал, что в минуту скорби одно только и есть утешение – это созвучие другой души, которая страдает одиноким горем. Он вспомнил тогда об отце своем; он побежал к отцу, чтоб броситься к его ногам, чтобы просить его пощады и благословения, чтоб вымолить его отеческую любовь, чтобы выплакать его отеческую ласку. В доме у отца нашел он торжественную суматоху: по лестнице бегали слуги, в гостиной играла музыка; старик праздновал свадьбу свою с Маргаритой. Он выслал сыну небольшой мешок с деньгами и запрещение к нему показываться.

Что делать Карлу? С сердцем, глубоко уязвленным, он убежал от родительского дома, и убежал далеко от Дюссельдорфа, без цели и желаний.

В жизни бывают бедствия двоякого рода: бедствия положительные и бедствия отрицательные. Первые доступны всем, понятны всякому: потеря имения, смерть ближнего, сердитая жена, мучительная болезнь. Но есть другие бедствия, бедствия, никем не видимые и непонятные, которые сжимают душу, которые уязвляют сердце, давят как камень и

душат как домовой. Это бедствия отрицательные, в которых нельзя отдать отчета, которые скрываешь от всех. Мы стараемся и сами укрыться от них, как от хищного зверя; мы призываем в помощь все, что прежде нам ярко сияло, все, что мы горячо и свято любили; мы обращаемся ко всем верованиям нашей души, ко всем светлым нашим воспоминаниям...

Шульц вспомнил о Бетховене. Благодаря покойному органисту Бетховен был для него венцом создания, высшим выражением всего, что только может быть музыкального и поэтического на земле. Он мысленно окружал его лазурным сиянием; он веровал в его славу, как в молитву. Он хотел повергнуться в прах пред чудной его силой и ожидать от неё назначения своему бытию.

Шульц отправился в Вену.

Шум городской, быт столичный, все позолоченные погребушки имели мало для него прелести. Он везде спрашивал о Бетховене; но его и не знали, или знали только понаслышке, как человека, имеющего порядочный бас. «Что ж это? – думал Шульц. – Где храмы, воздвигнутые гению? Где же скрывается сам гений?..»

Наконец, проходя однажды по узкому переулку, увидел он вдали старичка, писавшего что-то углем на стене.

Кругом мальчишки указывали на старика пальцем, дергали его за кафтан и хохотали между собою. Старичок не замечал ничего и продолжал писать. Наружность его была самая странная: седые волосы падали в беспорядке до плеч; кафтан коричневого цвета был изношен до невероятности; красный платок, обвитый около его шеи, придавал какой-то фантастический оттенок пубоким его морщинам и седым волосам. Дрожащей рукой набрасывал он знаки на ветхой стене и вдруг останавливался и наклонял ухо, как будто прислушивался к чему-то.

Шульц принял его за сумасшедшего. Наконец старичок задумчиво улыбнулся и продолжал путь свой вдоль по переулку, опустив голову и в сопровождении веселой толпы, которая прыгала и кувыркалась вокруг него.

Карл взглянул на стену, и чувство музыкальное закипело в груди. В этих безобразных знаках увидел он новую оригинальную мелодию, что-то небывалое и гениальное.

– Кто этот старичок? – закричал он проходящему.

– Музыкант Бетховен.

«Бетховен!..» Шульц бросился за стариком. Старичок был уже на конце переулка и медленно, медленно скрывался за стеною. В эту минуту Шульцу показалось, что вся слава земная промелькнула перед ним тихо и таинственно, как какая-то страшная тень в рубище. Бетховен скрылся – и более Шульцу не привелось его видеть. Бетховену недолго оставалось жить, и мысль его, теряясь в необъятном, уже стряхнула с себя все земное.

Какие звуки непостижимые и невыражаемые должны были раздаваться тогда в душе его! Казалось, он был лишен слуха для того, чтоб лучше и полнее прислушиваться к внутреннему голосу гения своего, чтобы в восторге внутреннего песнопения окончить жизнь свою, как последний возглас гимна чудного, никем не слыханного...

И тогда один только Шульц в этой роскошной Вене, столь славной своей любовью к искусству, один Шульц понял, что было великого в кончине великого мужа.

Княгиня

Извините меня, строгая моя читательница, если я так скоро перебегаю от одного впечатления к другому, переносу вас так быстро от одного портрета к другому портрету. Мысль моя скачет на почтовых, а перо тащится на долгих; не знаю, право, как их согласить. Впрочем вы, добрая читательница, вы привыкли видеть, как все в жизни переменчиво и сбивчиво. Зачем же ожидать вам от повести моей более толка? Не правда ли?..

В одном доме с Карлом жила в бельэтаже русская княгиня, приехавшая из Петербурга. Княгиня Г. (назовем ее хоть этой буквой) имела большое состояние и была известна своей любовью к искусствам. О живописи говорила она с восхищением, о музыке едва не с нервными припадками. В целой Европе слыла она женщиной поэтической. Ей было сорок лет.

В сорок лет, что ни говори- Бальзак, женщина в неприятном положении. До сорока лет ей достаточно ее лица; в сорок лет ей нужно особое значение, особенный характер: ей нужно прославиться какой-нибудь индивидуальностью, чтоб избежать общей, пошлой участи всех великочепечных бостонных игриц. В нынешнее время выбор этой индивидуальности весьма затруднителен.

Ханжество утомительно; остроумие опасно; политика не нужна; литература *mauvais genre* ^[14]: остается любовь к изящному. Княгиня ею вооружилась и по ней составила себе особый род жизни. Гостиная ее сделалась сборищем всех талантов и всех знаний. В ней живописец давал руку герцогу, виолончелист дружил с флейтою, актер спорил с поэтом. Знатность и достоинство, дипломатия и музыка сталкивались каждый вечер на художественном базаре русской путешественницы. Сказать правду, княгиня была нрава положительного, сухого, совершенно в противоположность роли, которую она играла; у нее все было обдуманно и начертано наперед, и энтузиазм ее был заготовлен, и каждый ее поступок был рассчитан заранее. Таким образом, она решила, что для аспазийского ее салона необходима вывеска. Вывеской, как известно вам, моя читательница, называется хорошенькое личико с пышными локонами, которое разливает чай и улыбается. Выбор княгини пал на Генриетту***. Бедная Генриетта вступила в это

несчастное звание, среднее, между дочерью и горничной, которое называется *demoiselle de compagnie* [15].

У нее не было родных, не было состояния. Тетка, у которой она жила в Петербурге, с радостью приняла блестящее предложение и отпустила племянницу свою в дальнейшее путешествие с русской княгиней. Бедная Генриетта долго плакала: ей жалко было оставить маленький домик, где были все ее воспоминания, где мать ее, добрая немка, благословила ее на смертном одре, где отец ее, бедный чиновник, трудился и долго ждал лучшей участи. Она очутилась в новом мире, где все ей было дико. В гостиной, где посадили ее за серебряным самоваром, услышала она новый язык, увидела новые лица и наряды, познакомилась с новыми понятиями и страстями, дотоле ей вовсе неизвестными. Расчет княгини был верен: молодые люди начали вертеться около Генриетты и любезничать слегка, как любезничают молодые люди большого света, посвятившие себя удовольствию. Генриетта слушала их с досадой: она понимала, что она была для них игрушкой, забавным препровождением времени, но что ни одно теплое чувство сожаления или преданности к ней не заронилось в эти груди, затянутые модными жилетами. В этом общем равнодушии, господствующем в большом свете, музыка была ее единственною отрадою. Княгиня умела и тем воспользоваться. Каждый вечер, когда гостиная ее наполнялась гостями, она обращалась к Генриетте и ласково просила ее сыграть вариации Герца или концерт Калкбреннера.

Бедная девушка, которая отдала бы все на свете, чтоб скрыться от этого шумного сборища, садилась за рояль и терпеливо слушала все выученные комплименты, которые сыпались около нее.

Однажды вечером, когда, окончив блистательное *capriccio*, испещренное всеми трудностями и скачками новейших фортепьянистов, сидела она, потупив голову и опустив руки на колени, услышала она подле себя следующий вопрос:

– Что думаете вы об этой музыке, господин Шульц?

– Я думаю, что это не музыка, – отвечал он хладнокровно.

Генриетта невольно подняла голову: высокий рост, бледное лицо и неуместность отзыва показались ей так странными, так неприличными, что женское ее любопытство невольно разыгралось.

– Когда актер, – продолжал Шульц, – выступает на сцену и красноречивым искусством выражает вам все человеческие страсти,

неужели не отдадите вы ему преимущества над бессмысленным прыгуном, который кувырывается перед толпой? Когда живописец, свыше вдохновенный, изобразил вам святой лик Мадонны, неужели вы станете восхищаться карикатурами? Отчего же вы думаете, что в музыке нет подобных степеней, что в музыке нет прыгунов, нет жалких карикатур? Поверьте мне: все эти концертные фокусы не что иное, как карикатуры.

Генриетта была вся внимание. В первый раз слышала она речь смелую, слова убеждения, а не щегольского пустословия.

– Вы любите музыку? – сказала она, поворотившись к Шульцу. Шульц смутился. Я говорил: Генриетта была собою прекрасна. Большие голубые глаза отражали чистое небо ее души; волосы светло-белокурые вились пышными кольцами до плеч. Шульц загляделся. Она повторила свой вопрос.

– Я чувствую музыку, – отвечал, запинаясь, Шульц, – и учусь ее понимать.

В эту минуту княгиня к ним подошла.

– Господин Шульц! – сказала она своим ласковым тоном. – По праву соседства, которым вынудила я ваше знакомство, буду я просить вас сыграть нам что-нибудь.

Приятель мой, который вас слышал и вас ко мне притащил насильно, только и бредит вашею игрою.

Карл хотел извиняться. Генриетта взглянула на него умоляющими глазами. Новое, незнакомое ощущение овладело Карлом. Он сел за рояль и не понимал, что с ним делалось. Подле него стояло существо чудное, обвитое белою пеленою, осеняя свои прозрачные кудри прозрачным облаком голубого покрывала. Оно парило над ним гением благодатным, нашептывающим ему небесные обещания. Вдруг жизнь показалась ему прекрасною; вдруг надежда загорелась яркой звездой в душе его. Он ударил по клавишам рояля и начал играть...

Когда на вас слетает вдохновенье, не выражайте его словами: для живой мысли мало мертвого слова. Одна, быть может, музыка, как нечто среднее между душой и словом, между небом и землей, может выразить в слабом оттенке часть невыражаемого восторга, который хоть раз в жизни осеняет свыше каждого человека.

Но все то, что можно было выразить и пересказать, пересказал красноречиво Шульц в своей пламенной игре. Весь пышный раут

княгини вскочил со своего места. Похвалы посыпались градом. Генриетта молчала: для нее Шульц казался выше человека.

Княгиня была в восхищении.

– Господин Шульц! – говорила она. – Вечер этот не изгладится из моей памяти. Я счастлива, что могу первая принести скромный листок в венец лавровый, который должен венчать вашу голову. Я горжусь вашим знакомством. Располагайте мною всегда и везде, как вашей искренней приятельницей.

В гостиной была торжественная суматоха. Пятьдесят рук протянулись к руке Шульца; пятьдесят приглашений, пятьдесят уверений раздавались за ним вслед. Карл благодарил холодно и скрылся. Слава земная казалась ему ничтожной с тех пор, как предчувствовал он целое небо. Несмотря на то, на другой день весь город только и говорил, что о новом артисте; на третий день говорили о нем меньше, на четвертый он был совершенно забыт.

Такова судьба молвы в больших городах.

Если б Шульц на другой день обегал всех своих новых знакомых, и кланялся бы, и выпрашивал покровительства, то он мог бы выхлопотать себе прочнейшую известность; но он остался спокоен в своем уголке – и был забыт. Да что было ему до этого! Благодаря княгине он сделался учителем Генриетты.

Молодость! молодость! Неумолимая, неуловимая!

Как быстро несешься ты! Как скоро ты летишь! Ты летишь окрыленная, а на крыльях твоих радужных сидит, согнувшись, насмешливый опыт и немилосердною рукою свеваает с дороги толпящиеся мечты. Кидай ему, молодость, цветы твои на голову – не перехитрит тебя сердитый старик! Ты бросишь ему цветы многих очарований: и ландыш смиренный и лавр боевой; но розу любви ты крепко, крепко прижми к своему сердцу, не отдавай ее лукавым сединам; сохрани ее для себя, и когда роза иссохнет от пламени сердца – и тут не кидай ее в укор старику, а возьми ее с собою в могилу и схорони ее с собой!

Для Шульца наступили торжественные минуты.

Каждый день он спускался из своей комнатки в щегольские покои княгини и благодаря праву всех учителей вообще оставался наедине с Генриеттой.

Для Шульца Генриетта была не женщина, а существо высшее, неземное, гений его фантазии, идеал его вдохновения. Шульц полюбил как юноша, как артист, пылкий и молодой.

И Генриетта предалась Шульцу сердцем и жизнью, и для нее Шульц не был существо обыкновенное, и она тоже смотрела на него с чувством какого-то благоговения. Она полюбила, как дитя забытое и брошенное любит человека, который его призрел и взлелеял.

Хороша была Генриетта, очаровательна всей красотой женщины, которая любит. Она обратила в любовь все силы своей души; она создала себе новый мир, мир глубокого чувства, преддверие небесного рая. Благодаря бедственной молодости все ощущения ее были сильны. Любовь для нее не была занятием мазурки или модного безделья: она загорелась в душе звездой неугасаемой.

Каждый день, говорил я, они были вместе, и музыку освящали они любовью, и любовь освящали они музыкой.

Шульц учил восторженно и красноречиво. Генриетта слушала с любовью. Как радовался он ее вопросам! Как любила она его ответы!

К несчастью, любовь их была из тех, которым не суждено земное счастье. Она касалась облаков, а для счастья земного нужно оставаться на земле. Быть может, если б, не забывшись во взаимном созерцании друг друга, они огляделись вокруг себя, оценили бы и жизнь и свет, — то они могли бы упрочить себе жизнь безмятежную и тихую, покоренную вполне законам сущности. Но ни Шульц, ни Генриетта того не знали: ему не было еще двадцати, ей едва минуло семнадцать лет.

Они любили молодо и горячо. Они давно уже поняли, что розно для них нет счастья; но ни одно слово любви не выронилось между ними. В невинности своей Шульц не думал, чтобы можно было выговаривать их иначе, как перед брачным алтарем. Да к чему слова?..

Три месяца пролетели стрелой. Все шло своим порядком. Княгиня приглашала Шульца. на свои вечера, куда он редко показывался и где более не играл. Аспазийские сборища шли своим чередом.

Однажды Шульц пришел, по обыкновению, в час урока и остановился с изумлением у дверей. Генриетта сидела у рояля и плакала.

– Что с вами? – закричал он.

– Мы завтра едем в Италию, – отвечала Генриетта.

Карл опустил голову. Он был подобен человеку, который, упав с высокой башни, не может собрать еще ни чувств своих, ни мыслей.

– Не забывайте меня, не забывайте меня! Я вам многим обязана. Я век вас буду помнить.

– Генриетта! – сказал он. – Я бедный музыкант, вы это знаете; отец меня прогнал; хотите ли разделить мою участь? хотите ли быть моей женой?

Генриетта молча протянула ему руку.

– Нет, не теперь, – отвечал с чувством Шульц, – не теперь! Дайте мне прославить себя, дайте мне моей славой выпросить отцовское благословение и милость, и тогда я предстану пред вами, и тогда я скажу вам: невеста бедного Шульца, я пришел за вашим словом!

– Я буду ждать вас в Италии, – тихо отвечала Генриетта, снимая с руки своей кольцо. – Я ваша невеста...

В эту минуту вошла княгиня и вручила Шульцу запечатанный пакет.

– Мы едем завтра, – сказала она ласково. – Приезжайте ко мне в Петербург: я всегда рада буду вас видеть.

Шульц поклонился и в невыражаемом волнении побежал в свою комнату.

Там он распечатал пакет.

В пакете лежали деньги и записка следующего содержания: «Считая по талеру за урок, за три месяца – 90 талеров».

Борьба

Шульц был снова без душевного приюта, но цель жизни ему была открыта. Он заперся в своей комнате и начал сочинять. Известность модного концертиста ему была неприятна и противна. Происки, поклонения, музыкальные спекуляции были ему незнакомы. Он хотел вступить на поприще как жрец искусства, а не как бедный проситель; он хотел бросить на суждение толпы свое творение и ждать ее приговора. Он начал писать большую симфонию на целый оркестр. Шесть месяцев пробежали. Он жил уединенно и забытый, с одной мыслию в голове, с одним воспоминанием в сердце. Труд его был кончен...

Вдруг получил он записку от одного дюссельдорфского приятеля:

«Отец ваш умирает. Перед смертью он хочет вас видеть и вас простить. Духовное завещание уже сделано в вашу пользу. Поспешайте!»

Шульц бросил все и поспешил к отцу. Было поздно, когда он приехал: отец уже умер. Духовное завещание в пользу сына не было нигде отыскано. Вместо того Маргарита представила завещание, в силу которого она сделана наследницей всего имущества покойника. Шульцу сказала она, что он как виновник смерти своего родителя никакого пособия от нее ожидать не должен. Делать было нечего. Шульц горько поплакал на свежей могиле и, взяв опять свой страннический посох, отправился снова в Вену. В Вене два известия поразили его: Бетховен умер, княгиня воротилась из Италии и уехала в Россию.

Артист оставался один. Надежда на будущее-становилась ему каждый день туманнее и темнее. Он показал свое творение венским артистам. Артисты его хвалили и советовали Шульцу не оставаться в Вене, а ехать в Петербург. Несколько рекомендательных писем к петербургским артистам были ему вручены. Привлеченный тайной мыслию, Шульц послушался коварных советов; он покинул свою Вену, где ярко блеснули для него два чудные метеора: гений – в чертах Бетховена, любовь – в очаровательном образе Генриетты. Он собрал в одну сумму все свое скудное состояние и отправился на холодный север, в сырой Петербург – попытать, не блеснут ли ему там опять, хоть в

северном сиянии, два метеора, им боготворимые, – гений и любовь. Но пора его прошла.

Небосклон остался сыроват и туманен. Генриетты и княгини в Петербурге не было: они, как узнал Шульц, уехали в Одессу. Шульц вручил петербургским артистам свои рекомендательные письма. Первая скрипка приняла его величаво и решительно отказала в пособии. Прочие ей последовали. У иного был брат фортепьянист, у другого дядя, третий сам играл на фортепьяно. «Концерты давать трудно, – говорили они, – для них много нужно издержек, а покрыть их нечем. Фортепьяно – инструмент такой обыкновенный». Если б Шульц играл на трубе, или на пятнадцати барабанах, или на каком-нибудь неслыханном инструменте, или если б он был слепым или уродом, то успеха ожидать бы можно, а фортепьяно можно найти в каждой кондитерской. Всего лучше, советовали ему самые благонамеренные, учить маленьких детей или играть для танцев. Шульц заговорил о своих сочинениях. Тогда его почли за сумасшедшего и перестали о нем заботиться. Принужденный необходимостью, Карл искал уроков, но, кроме одной толстой купеческой дочери и маленького сына квартального надзирателя, он не мог найти учеников. Эти два урока составляли весь его доход, и более трех лет уже жил он безропотно на своем чердаке, куда в известное нам утро Мюллер принес ему пару испорченных калош и приглашение на именины к Марье Карловне. Вы помните, что этим начинается мой рассказ.

Товарищ

Когда сапожник ушел, Шульц долго сидел еще на своем стуле перед столиком, подперши голову руками, и думал... О чем?.. Бог его знает. Только ему было тяжело и душно.

Дверь вдруг опять растворилась. Вошел молодой черноволосый человек, в старом изношенном сюртуке.

Тихонько приблизился он к Шульцу, наклонился над его головою и шепнул ему на ухо:

– Терпенье!

Шульц поднял голову.

– А там слава!

Шульц засмеялся.

– Слава, товарищ, слава! Видишь отсюда? Толпа, покорная пред именем твоим, волнуется перед тобой, всюду гремит молва о твоей славе. Слава, слава тебе!

Женщины кидают тебе венки; мужчины с завистью рукоплещут тебе; бедный артист сделался владыкой толпы; гений возьмет свое место; музыка восторжествует.

«Молодость!» – подумал Шульц.

– А я, – продолжал молодой человек, – а я смиренно пойду за тобой и буду кидать цветы на славный путь твой. Бедный студент сочетает имя свое с именем великого музыканта, так как души их уже сочетали вдохновение слов с вдохновением звуков. Да, товарищ, гений твой сделал меня поэтом! Мысли твои заставили меня думать, чувства твои заставили меня чувствовать – чувствовать горячо. Слава тебе, мой друг, слава и мне, твоему другу в нищете, который первый тебя понял! Слава нам обоим!

– Ты, кажется, пьян, – сказал с удивлением Шульц.

Студент покраснел и потупил голову. Мгновенный огонь его погас. Он сурово огляделся.

– Итак, неудача? – продолжал Шульц.

– Стыд и поношение, – сказал бывший студент дрожащим голосом. – Стыд!.. Ты видел, сколько бессонных ночей проводил я за своим творением. Вот год, как мы живем дверь об дверь: ты с своей музыкой, а я с своей поэзией – оба бедные, оба с одной целью. Когда я

был в Казанском университете, мне душно было оковывать свой ум в правила сухой науки: назначение мое было быть поэтом.

«Молодость! – подумал Шульц. – Я верю поэзии, а не поэтам».

– Я бросил свой университет... Обман и стыд! Глупая сущность начала меня давить!

Шульц проткнул молча руку молодому человеку и крепко пожал ее.

– Да что тебе рассказывать! Я объяснял тебе все – листки моего романа, я читал тебе и толковал тебе мои стихи – и одобрение твое мне было лестнее всех бессмысленных похвал ничтожной толпы, которая аплодирует прыжкам Турньера громче, чем творениям великого Шекспира. И со всем тем, знаешь, в мысли о славе есть какая-то чудная отравка, какая-то невыразимая сила!

Она похожа на вероломную женщину, которую можно любить страстно и вовсе не уважать.

– Ты был у книгопродавца? – спросил Шульц.

– Бедность моя была не в тягость, потому что впереди я видел надежду. Рукописи мои вчера окончены.

Я был у книгопродавца.

– И он Отказал?

– Я вошел в славную лавку, уставленную шкафами красного дерева. Все это устроено с большою роскошью.

В углу за красивым бюро стоял какой-то господин в очках и писал в толстой книге. Я с трепетом к нему подошел. «У меня есть рукопись, которую я желал бы напечатать», – сказал я вполголоса. «Мы рукописей от неизвестных сочинителей не принимаем», – отвечал мне, не поднимая головы с книги и продолжая писать, господин, зарезавший меня своим равнодушным ответом.

«Так вы и прочесть не хотите?» Господин усмехнулся.

«Много у нас есть времени читать! Впрочем, мы теперь больше ничего не печатаем». – «Да печатают же других?» – «Редко; да это дело другое. Большею частью печатают на свой счет, или, если сочинители уже известны, как покойник Пушкин, например, то мы даем хорошие деньги». – «А если сочинение мое точно хорошо?» – «Быть может. Вот если, например, господин А.Б. или господин В.Г. поручается, что ваше сочинение понравится публике, то со временем,

может быть... Впрочем, мы теперь вовсе не печатаем». С этими словами он повернулся ко мне спиной и ушел в другую комнату.

– Послушай, брат, – сказал Шульц, – поверь моему совету: у тебя есть в твоих степях старушка мать, ты мне о ней часто говорил. Поезжай к ней. Вступай в службу там, где она живет. У вас это легко. Будь честным человеком, исполни свой долг. Это лучше всякой славы:

к презрительной женщине привязываться стыдно. Не обманывай себя ложным назначением. Ты поэт, потому что беден. Был бы ты богат, ты не был бы поэтом. Я тебе говорил уже это прежде: поэзия – как любовь, любовь – как поэзия; чувства спокойные торжественны, а не болезненны: они свет, а не пламень, согревают, а не жгут. Поверь мне, поезжай в степи. Это добрый совет.

Шульц говорил напрасно. Молодой человек все более и более волновался; черные глаза его сверкали, губы дрожали, волосы рассыпались в беспорядке.

В исступлении выбежал он из комнаты и побежал на улицу.

К ночи он не возвращался. Полицейские служители, увидев на улице, по-видимому, пьяного человека, отвели его на съезжий двор, откуда он и был выпущен только на другое утро...

В жизни бывают иногда странные сближения. В одном доме, на одном чердаке встретились две родственные природы, два брата по бедности и по душе. Оба обманутые одними надеждами, оба последовавшие первому порыву обманчивой молодости, оба удрученные одним горем.

Но Шульц был старше: борьба с жизнью его более утомила, чем пылкого его товарища, и притом он так долго боролся, что силы его уже ослабевали. Постоянное горе, как непрерывное счастье, приводит к равнодушию; отчаяние делается привычкой жизни и налагает какую-то страшную преждевременную смерть на душу. Шульц доживал до этой эпохи. Сострадалец его был еще в цвете молодости: ощущения его были живы, резки: он переходил поминутно из одной крайности в другую, то плакал, то смеялся, то строил воздушные замки, то предавался совершенному отчаянию. Шульц был спокоен.

Бал

Воскресенье наступило. Верный своему слову, спустя три дня после визита Мюллера Шульц отправился в Малую Морскую на именины Марьи Карловны. Праздник был хоть куда. Сапожная лавка превратилась в танцевальную залу. В углу стоял принесенный от приятеля-настройщика большой рояль. Из спальни вынесли кровать и поставили там два ломберные стола и стол круглый с самоваром и чашками. Ванька, во фраке по колено, был приставлен к блюдечкам с пастилою и конфетами.

Когда Шульц вошел, хозяев в комнате не было. Гостей была пропасть: настройщик, владетель рояля, с женою и маленьким сыном, портной Брейтфус с двумя дочерьми, вдова Шмиденкопф с зятем, сапожник Премфефер и жена его, охотница до танцев, три или четыре родственницы, четыре сапожника, трое портных, аптекарь и почетный гость – купец, приезжий из Риги. Шульц остановился у дверей и ждал хозяев. Через несколько минут вошла Марья Карловна с разгоревшимся лицом, в новом чепчике с большими голубыми бантами. За нею пришел Мюллер с трубками и сигарками.

– Willkommen! Willkommen! ^[16] – закричал он, увидев Шульца. – Что дело, то дело. Господа и дамы! Мне хотелось для именин Марьи Карловны сделать маленький сюрприз: я и пригласил музыканта, чтоб нам играть разные танцы.

– Я уж это предвидела, – сказала, улыбаясь, Марья Карловна. – Да как же нам танцевать? У меня не все еще в кухне готово.

– Мы вам пособим! – закричали в один голос все дамы. Марья Карловна с благодарностью приняла их помощь и в сопровождении двух приятельниц возвратилась в свою кухню. В это время самовар закипел, трубки задымились. Ванька начал носить пунш для кавалеров и шоколад для дам. Рижский купец с почетными ремесленниками сел играть в вист.

– Кончено! – закричала Марья Карловна. – Теперь экоссеэ; я танцую с мужем.

Все кавалеры наскоро допили свой пунш и бросились ангажировать дам.

Шульц молча придвинул стул к роялю. Пары образовались.

– Los! ^[17] – закричал Мюллер.

Шульц вспомнил какой-то экосез, игранный им в детстве, и терпеливо принялся его наигрывать. Сапожники начали прыгать и делать ногами разные бряканья ко всеобщему удовольствию и хохоту. Марья Карловна носилась со своим Мюллером между двойным строем танцующих. Мадам Премфефер была вне себя от восхищения. Экосез кончился. Кавалеры стали отирать лицо платками, а дамы скрылись в другую комнату.

– Пуншу, Ванька! – кричал Мюллер. – Пуншу и конфет для дам!

Надобно заметить, что когда Мюллер что делал, то он любил делать уже хорошо и не жалел лишней копейки для полного угощения своих гостей.

– Ну, теперь англес! – сказала Марья Карловна, отдохнув от недавних трудов своих.

– Англес, англес! – закричали все кавалеры. Пары вновь устроились. Шульц сел опять за рояль, но не играл ничего: он ни одного англеса не помнил и не знал, как его играть.

– Не может ли кто-нибудь из дам, – спросил он, – указать мне, как играть англес и каким тактом. Я так давно не танцевал, – прибавил он, – что я и забыл, как играют танцы.

Дамы взглянули друг на друга. Госпожа Премфефер бросилась к роялю и двумя пальцами пробренчала какой-то старинный мотив. Шульц сыграл его за нею; пары стали вновь по местам; танец начался.

Сыграв несколько тактов, Шульц соскучился однозвучностью старого мотива и неприметно, мало-помалу удалился от своей темы и начал импровизировать. Никогда не был он еще унижен в своей артистической душе!.. Ему делалось душно. Досада его мучила, давила и наконец вылилась в его игре. Негодование, негодование обиженного художника, загремело в диких раздирающих звуках. Вдохновение поблекшей молодости вдруг разгорелось опять на щеках его; глаза его опять заблестали, сердце забилося; казалось, он собрал опять все силы своей молодости, чтобы побороть свою судьбу, чтоб прославить и оправдать величие артиста. Пальцы его бегали, как будто повинуюсь сверхъестественной силе. Он играл не пальцами, а душой поэта, душой глубоко обиженной. Кругом его все исчезло: он не знал, где он, кто он, с кем он; он весь перешел в чувство; даже мысли его смешались, память исчезла, времени для него не было...

Когда он поднял голову, все немцы стояли с благоговением около рояля и молчаливо, с каким-то инстинктивным сочувствием внимали красноречивой повести непонятных страданий. В их внимании было что-то почтительное: они все поняли, как далек был от них бедный музыкант, нанятый для их забавы; они боялись оскорбить его похвалой и слушали его не переводя дыхания.

Даже Марья Карловна забыла свой ужин. У рояля стоял Мюллер и о чем-то горестно думал, а настройщик сидел в уголку, потупив голову и закрыв глаза.

Шульц ударил пронзительный аккорд и, увидев, что танец от его рассеянности был прерван, поклонился и заиграл опять англес госпожи Премфефер. Общее восклицание его остановило. Настройщик вскочил с своего места и схватил его за руку; Мюллер в замешательстве начал перед ним извиняться.

– Г-и Шульц! – говорил он. – Я простой мастеровой, я небогатый человек, г-и Шульц... Я честный человек, г-и Шульц... Мне стыдно, г-и Шульц, что я смел просить вас играть у меня... Извините меня, г-и Шульц...

Располагайте мною, г-и Шульц... Требуйте от меня чего хотите, г-и Шульц...

– Г-и Мюллер, я прошу у вас позволения удалиться.

Я не очень здоров, – отвечал Шульц.

– Как вам угодно, г-и Шульц, как вам угодно! Мы не смеем вас удерживать...

Они вышли в переднюю. Шульц отыскал свою шинель и калоши. Добрый Мюллер при виде калош сгорел от стыда. Он начал шарить в своих карманах и отыскал небольшую черепаховую табакерку с золотым ободочком.

Эту табакерку подарила ему Марья Карловна, когда он еще был женихом; он почитал ее большою драгоценностью и, несмотря на то, хотел отдать ее музыканту, чтоб загладить свою вину.

– Я небогатый человек, – сказал он, подавая Шульцу свою табакерку, – но я честный человек. Если вы не хотите меня обидеть смертельно, вы не откажетесь принять в знак памяти удовольствия, которое вы нам доставили, эту безделицу. Она будет для вас залогом уважения бедных ремесленников к вашему великому таланту.

Шульц посмотрел на него с удивлением... Наконец он был понят. Но где? и кем?.. Он взял табакерку Мюллера и крепко пожал ему руку.

– Я принимаю ваш подарок, – сказал он, – как залог того, что искусство находит еще отголосок в душах неиспорченных. Эта мысль для меня утешительна, а я начинал и в ней сомневаться. Табакерка ваша мне будет напоминать, когда я захочу презирать всех людей, что есть люди добрые, как вы, г-н Мюллер. Спасибо вам!

Настройщик

Никто на бале у сапожника не был так глубоко тронут игрою Шульца, как старый настройщик, о котором мы упоминали выше. Он был благодаря долговременному опыту человек жизни практической, который, разорившись, играя на роялях, принялся их делать и настраивать и тем составил себе небольшое состояние. Он жил давно уже в Петербурге и лучше всех знал, как добывается на свете музыкальная слава; наглядевшись на все глазами горького опыта, он мигом разгадал Шульца и решил ему помочь.

Чем свет сидел настройщик на чердаке, нам знакомом, держал Шульца за руки и с жаром ему говорил:

– Удовольствие, которое вы мне доставили, невыразимо. Оно врезалось в душу моей, как одна из лучших минут моей жизни. Я бедный настройщик, но я также понимаю искусство. Оно одно дает только цвет моей жизни.

Шульц глубоко вздохнул.

– Знаете что? – продолжал настройщик. – С вами надо познакомить нашу публику. Дайте концерт!

Шульц покачал головою.

– Знаю, знаю... Не вы первый, не вы последний. Затруднения, издержки, зависть, зависть самая постыдная, самая низкая – зависть артистов между собой. Сколько истинных талантов задушила эта змея! Сколько видел я таких случаев на своем веку!.. Скажите мне, к кому обращались вы, желая познакомить публику с вашим талантом?

– Я имел, – отвечал Шульц, – несколько рекомендательных писем к здешним первым музыкантам.

Настройщик посмотрел на него с удивлением, а потом засмеялся.

– И вы у них просили помощи, известности?

– Да от кого же было мне ожидать ее?

– Помилуйте! не то, совсем не то! Вы поступили как неопытный ребенок. Вам прежде всего надобно было подделаться под общее направление нашего времени.

Вам надобно было отпустить волосы до плеч, да усы, да бороду, чтоб не?льного по наружности походить на рассеянного, на восторженного или на сумасшедшего. Вам надобно было

познакомиться с какими-нибудь важными барынями и поиграв у них раза по три на вечеринках даром. Вам надобно было говорить громко, бранить донельзя всех здешних музыкантов, чтоб внушить им к себе почтение и страх, а наконец из милости согласиться дать один только концерт, который вы могли бы впоследствии повторять несколько раз в год, наваливая вашим господам по сотни билетов, которые они, с своей стороны, стали бы навязывать тем несчастным, которые в «их нуждаются. Таким образом вы вошли бы в моду.

– Я думал, – подхватил Шульц, – что для искусства не нужно моды.

– Помилуйте! Бросьте ваши предрассудки! Мы живем в веке поддельном. Ныне под все можно подделаться, даже под искусство.

– Как это? – спросил Шульц.

– А вот как: искра, падшая с неба, мала-; не в каждом сердце она загорится, не каждому душу она освятит; а механизм дается всякому, у кого только рука да воля. Мы доживаем до того, что искусство делается ремеслом; скоро оно станет ниже ремесла. Немногие умеют их отличать друг от друга.

Оба замолчали.

– Что ж мне делать? – спросил Шульц.

– Последуйте моему совету. Я готов вам помогать, хоть и должен вам сознаться, что вы свое дело уже испортили. Вам остается дать музыкальное утро в заде какой-нибудь дамы, у графини Б***? у графини З***, у княгини Г***.

– Княгиня Г. в Петербурге? – вскричал Карл.

– Да уже с год как приехала из. Одессы. Вы ее знаете?

– Я бывал у нее каждый день в Вене. Она страстно любит музыку и живопись. Вот женщина! – продолжал с жаром Шульц. – Вот женщина, которая в преклонных летах, в чадку светской жизни умела сохранить чистую любовь к высокому!

Настройщик усмехнулся.

– Вас ничем не исправишь, – сказал он, – однако и то хорошо: княгиня вас знает. Я ее настройщик. Пойдемте к ней. По праву старого знакомства попросите у нее большой залы для вашего музыкального утра.

– Вы видели воспитанницу княгини? – спросил, запинаясь, Шульц.

Настройщик пристально на него посмотрел.

– У княгини нет воспитанницы, – сказал он протяжно, – впрочем, у нее вы, может быть, узнаете то, что хотите. Пойдемте.

Они отправились.

Визиты

В богатых сенях толпилось несколько старух, известных в Петербурге под названием салопниц. У каждой было по огромной бумаге в руках и на искаженных устах вертелась довольно неприличная брань, сдерживаемая присутствием швейцарской булавы. Настройщик порхнул мимо ливрейного привратника вверх по узорчатому ковру лестницы: швейцар пропустил его, как собачку, не обращая никакого внимания на столь ничтожное лицо.

Шульца он остановил.

– От кого вы? Есть ли у вас письмо? Княгиня без рекомендации нищих не принимает!

Глаза Шульца засверкали.

– Я хочу видеть княгиню как старый знакомый, а не как нищий. Доложите ей, что приехал Карл Шульц, фортепьянист из Вены.

Швейцар взглянул на него с недоверчивостью и потащился по лестнице. Через полчаса Шульца просили войти.

Княгиня сидела в голубой штофной комнате, перед камином. Направо от нее стоял стол, заваленный бумагами и разными филантропическими планами.

– Г-и Шульц! – сказала она, не изменяя ледяного выражения своего лица. – Очень рада вас видеть. Садитесь. Что доставляет мне удовольствие вашего посещения?

– Я принял смелость, княгиня, беспокоить вас, знал всегдашнюю любовь вашу к музыке...

– К музыке? Да, я люблю музыку. Да теперь времени у меня нет думать о ней: вечером я должна быть в свете, а утром у меня дела. Больные, сироты надоели мне до крайности: отнимают все время, а делать нечего!

«Странная благотворительность!» – подумал Шульц.

– Чем могу я быть вам полезна? – продолжала княгиня.

– Мне советуют дать музыкальное утро. Я надеялся, что вы, княгиня, по прежней благосклонности ко мне, не откажете мне в вашей зале.

Княгиня немного нахмурилась, но отвечала с своею холодною учтивостью:

– Я вам должна признаться, что всегда отказывала подобным просьбам. Но вам, по старому знакомству, я отказать не могу. Зала на будущей неделе к вашим услугам.

Княгиня позвонила. Вошел слуга.

– Прикажите этому несносному настройщику перестать и приходить, когда меня нет дома. Теперь я занята. Кроме княгини Варвары Васильевны, не принимать никого.

Шульц встал. Он хотел спросить о Генриетте и не мог собраться с духом. Княгиня молчанием своим указывала ему дверь. Он это почувствовал, извинился, поблагодарил и вышел.

В сенях он нашел настройщика, который его дожидался.

– Дана вам зала? – спросил он.

– Дана, – отвечал мрачно Шульц.

– Ну, теперь пойдете к артистам, которые вам должны помогать. Концерта одному дать нельзя.

– Да они меня все знают, и все отказали в помощи.

– Не бойтесь, не бойтесь. Ступайте со мной.

Они пришли к первой скрипке, той самой, которая более всех напугала Шульца в его первом предприятий.

Первая скрипка сидела в халате в покойных креслах и едва привстала при виде посетителей. Рот ее сжался отрицательным знаком, а на губах зашевелилось: «Что вам угодно?»

– Мы сейчас от княгини Г***, – сказал развязно настройщик.

Первая скрипка сделалась милостивее и просила их садиться.

– Княгиня Г***, – продолжал настройщик, – непременно хочет, чтоб приятель мой, Карл Шульц, дал музыкальное утро в ее зале.

Скрипка улыбнулась Шульцу.

– Княгиня Г*** знала приятеля моего, Карла Шульца. еще в Вене, где он был в большой моде.

– Право? – сказала скрипка.

– Княгине Г*** будет очень приятно, если вы согласитесь участвовать в концерте, который будет дан в ее зале. Зала прекрасная для концертов.

– Я очень рад, г-и Шульц, быть вам полезным.

Шульц не говорил ничего. Он был похож на мученика.

– Я сам скоро намерен дать концерт, – подхватила первая скрипка, – и надеюсь, что господин Шульц не откажет сделать мне

честь... будет в нем участвовать.

– Очень рад, – отвечал Шульц.

Они встали; скрипка провожала их до передней и низко кланялась.

Покровительство княгини Г*** была цель всех ее желаний, но, с тех пор как княгиня от музыки перешла к благотворительности, она потеряла уже надежду на эту полновесную подпору. Теперь путь был открыт:

скрипка торжествовала.

На улице Шульц начал упрекать своего товарища.

– Бедный человек! – отвечал он. – г Ты овца между волками; хочешь успеха? Брось совесть.

– Неужели, – сказал музыкант, – мы живем в веке до того развращенном, что, кроме эгоизма, нет более никакого чувства, нет никакого, хоть невольного, доброго движения? Неужели все люди презрительны и низки? – Машинально схватился он за карман: в кармане лежала табакерка – подарок Мюллера. Он вынул ее, посмотрел на нее – и душе его стало легче.

В эту минуту два пальца протянулись к его табакерке.

– Позвольте-с! Надворный советник...

Шульц поднял голову. Перед ним стоял маленький чопорный господчик в голубых очках, с носом вверх, с видом весьма самодовольным. Господчик протягивал руку к табакерке, приговаривая: «позвольте-с», а потом, указывая на себя, повторял с гордостью: «надворный советник...»

Шульц никак не понимал, отчего надворный советник имеет более другого права нюхать табак.

– Что Вам угодно? – сказал он наконец..

– Табачку-с... надворный советник...

– Я не нюхаю, – отвечал хладнокровно Шульц и положил табакерку в карман.

Лицо господчика переменялось.

– Странно! – забормотал он. – Странно! Неучтиво! Очень неучтиво! Князь Борис Петрович, граф Андрей Ильич, князь Василий Андреевич мне сами всегда говорят: «Любезный! Не хочешь ли моего?...»

Шульц был уже далеко.

Господчик пошел сердито по улице и ворчал себе под нос:

– Неучтиво, очень неучтиво!.. Князь Борис Петрович, князь Василий Андреевич... Очень неучтиво! – Вдруг он весь изменился: по улице шел какой-то вельможа и кивнул ему головою. Господчик согнулся крючком, опустил шляпу до земли; лицо его просияло отблеском какого-то невыразимого чувства.

Концерт

Через несколько дней петербургские охотники до афиш читали следующее объявление:

«С дозволения правительства в среду, 16-го апреля, в зале ее сиятельства княгини Г *** Карл Шульц, фортепьянист из Вены, будет иметь честь дать большое инструментальное и вокальное музыкальное утро.

Часть 1

1. Увертюра Моцарта.
2. Концерт Бетховена (Г-и Шульц).
3. Ария из Фрейшюца (Г-и Н ***).
4. Концерт Вебера (Г-и Шульц).

Часть 2

5. Соло с колокольчиками для скрипки (Г-и Х ***),
6. Дуэт из Нормы (Г-да Г *** и Г ***).
7. Концерт Мендельсона-Вартольди (Г-и Шульц).

Цена билетам 10 рублей

Билеты получают в музыкальном магазине г. Пеца и у настройщика, живущего в Малой Морской, в доме под № 42, а в день музыкального утра – при входе в залу».

Цену назначил настройщик вопреки мнению Шульца, который находил ее весьма высокою. Настройщик утверждал, что о достоинстве артистов заключают по цене их билетов, и потому спустить цену – значит поставить себя ниже других.

Настала середина. Зала была вычищена. Ряды стульев поставлены обыкновенным порядком. Два часа пробило.

Начали съезжаться. Шульц был в соседней комнате и ожидал очереди своей явиться перед почтеннейшей публикой. Почтеннейшей публики было немного: несколько записных посетителей концертов, несколько барышень, умеющих брэнчать на фортепьянах, несколько франтов, не знающих, куда деваться в длинное утро; во втором ряду дама в розовой шляпке подле чопорного господчика в голубых очках; в пятом ряду Марья Карловна в новом своем чепчике с голубыми

бантами, рядом с своим Мюллером; в последнем ряду студент, знакомец наш, товарищ Шульца. Прибавьте к этому человек двадцать, которые находятся везде – из удовольствия или обязанности, но с которыми вы незнакомы, – и опись будет кончена. Всего можно было насчитать человек до шестидесяти. Княгини в зале не было. Она взяла пять билетов и приказала извиниться по случаю каких-то дел.

Увертюра кончилась. Настройщик придвинул немного рояль, поднял крышку, подставил под нее подставку и отошел в сторону. Шульц показался. Почтеннейшая публика, по обыкновению, захлопала. Шульц приблизился, хотел поклониться – и вдруг остановился на своем месте. Взгляд его встретился со взглядом дамы в розовой шляпке. Мороз пробежал по его жилам, огонь бросился ему в голову. Он узнал Генриетту, а подле Генриетты сидел человек в голубых очках и злобно улыбался.

Шульцу показалось, что он эту фигуру где-то видел.

Генриетта была спокойна; черты лица ее не изменялись, только нижняя губа ее как будто судорожно дрожала.

Публика ожидала. Настройщик кашлял. Марья Карловна привстала с своего стула. Студент перекрестился.

Шульц поклонился наконец и машинально сел перед роялем. Руки его дрожали, мысли его были взволнованы.

Он сбивался беспрестанно и играл без выражения; в одном пассаже даже совершенно ошибся. Первая скрипка улыбнулась; контрабас покачал головой; критик, бывший в числе зрителей и заплативший, против обыкновения, на этот раз за свой билет, громко изъявил свое неудовольствие; два франта вышли из залы.

Музыкальное имя Шульца было потеряно навек.

Концерт продолжался. Соло с колокольчиками первой скрипки имело успех неимоверный. Певец и певица пели, по обыкновению, фальшиво, но, по старому знакомству, публика к ним привыкла и провожала их с рукоплесканиями. Шульц начал концерт Мендельсона. Страстная музыка еврея согласовалась вполне с бурным состоянием его души. Какое-то дикое, отчаянное вдохновение вдруг овладело им: он был красноречив и прекрасен в своей игре. К несчастью, почтеннейшей публике некогда было слушать: стулья зашевелились: господчик в голубых очках надел шаль на Генриетту; все начали разъезжаться.

Когда Шульц окончил последний аккорд, в зале было пусто; только три человека начали аплодировать: настройщик, Мюллер и студент. Они окружили бедного музыканта и старались утешить его.

Шульц благодарил их молча, молча пошел он по улице со студентом, втащился на свой чердак и бросился на свою убогую постель. Члены его тряслись от лихорадки; душа его была убита.

Ночь провел он ужасную, в бреду и в беспомощности.

На другой день, когда он вошел в себя, студент сидел у его изголовья и держал в руках письмо. Письмо от Генриетты.

Письмо

«Простите меня, Карл, не презирайте меня, не проклиняйте меня! Я замужем – и не забыла моей клятвы принадлежать вам. Я замужем – и не должна бы к вам писать, а я пишу к вам.

Я надеялась вас встретить еще раз на земле – встретить вас счастливого, прославленного. О, тогда бы вы не услышали моего голоса! Величие ваше отбросило бы довольно счастья, довольно утешения на всю бедную жизнь мою.

Но я встретила вас одинокого, жалкого, непонятого. Черты лица вашего изменились от страданий. Бедное мое женское сердце разорвалось на части. Я видела, я поняла, что вы не забыли меня, что вероломство мое поразило вас ударом ужасным. Я решилась оправдаться перед вами. Бог меня простит!

Вы знаете, Карл, я была бедная девушка. Отец и мать оставили меня в мире сиротою. Я жила у тетки, у которой были свои дети, свои дочери. Я в доме у ней была лишняя. Тетка моя была небогтая женщина. Для нее составляла я что-то неприятное, что-то сливавшее с мыслью о лишнем платье, о лишнем блюде, горестное воспоминание о потере брата. Она была со мной неприязненно добра, никогда не говорила мне, что я была ей в тягость, но всячески давала это чувствовать. Положение мое было тем горестнее, что я не была вправе называть себя несчастливою.

В то время княгиня Г*** искала себе собеседницы.

Тетка с радостью сбывла меня с рук. Я перешла в пышные покои своей покровительницы, которая приняла меня прекрасно, сделала мне много обещаний и взяла с собою путешествовать.

В Вене мы с вами встретились. Мы поняли друг друга... Это время для меня незабвенно и свято! Когда мы с вами расстались, я все рассказала княгине: и обещания наши, и надежды. Княгиня улыбнулась. Два года прошло. Мы приехали уже в Россию. Княгиня каждый день была в свете, но я замечала в ней странные изменения.

Она охладевала к музыке, делалась равнодушною к живописи. Она переменяла круг знакомства. Наконец, любовь ее к искусствам совершенно исчезла. Тогда только догадалась я, что она играла роль, что у этой женщины ни одного прямого чувства не было, что все

основано было у нее на светских расчетах. Тогда была мода на благотворение. Княгиня сейчас рассудила, что слава благотворительницы гораздо пристойнее женщине в ее летах, чем слава Аспазии, с которой всегда сопряжено «что-то изысканное и театральное». Это ее слова: я их помню.

Тогда все артисты, которые привыкли на нее надеяться, получили от швейцара сухие отказы; тогда передняя ее наполнилась нищими, присланными ей от князей и графов, как трофеев ее благотворительности. Но и благотворительность ее была притворство, как и любовь к изящному была притворство.

Я ей не была более нужна. Однажды призвала она меня к себе и объявила, что господин Федоренко просит моей руки. Я решительно отказала. Княгиня была очень недовольна, говорила о вас с презрением и выхваляла богатство господина Федоренки. Я поняла тогда, сколько было глубокого эгоизма в этой душе.

Я не говорила вам, Карл, еще о сыне княгини, который жил в одном доме с нами. Он был светский человек в полном смысле слова, с последней вестью, с большим искусством танцевать мазурку и притворяться влюбленным – один из тех молодых людей, которыми наполнены большие города. Теперь он в отставке и за границей.

Однажды, Карл, однажды... не могу без стыда вспомнить этой минуты... он открылся мне в какой-то притворной любви. Он предложил мне сердце свое, но не предлагал руки.

Я плакала долго над собой, над своим несчастным званием, которое подвергало меня таким оскорблениям.

И точно, что же я была? – немного более горничной, кукла, которую можно было заставить играть, молчать по желанию; за это меня кормили и давали мне платья, иногда уже изношенные.

Княгиня прислала за мною и осыпала меня упреками.

«Я знаю все, – говорила она, – отчего вы отказываетесь от блестящей партии: вы хотите заманить сына моего в свои сети; вы хотите, чтоб он женился на вас.

Он сам мне в этом сознался. Не стыдно ли вам, нищей, которую я подняла на улице, платить такой неблагодарностью?..»

О! тогда – простите меня, Карл, – я на все решилась... Федоренко явился подзову княгини.

Я осталась с ним одна.

«Если вы хотите, – сказала я ему, – я буду вашей женой; но я не люблю вас: я люблю другого, я люблю Карла Шульца».

«Этого не говорят мужьям», – отвечал он, смеясь.

«Я не хотела вас обманывать... Я буду верна вам... но любви моей не требуйте».

Он смотрел на меня, Карл, и не понял меня. О, это было для меня утешенье. Я убедилась, что души наши никогда не будут иметь ничего общего.

Ему нужно было покровительство княгини; княгине нужно было отделаться от ненужной собеседницы.

Вот отчего я жена Федоренки!

Карл! Простите меня, не проклиняйте меня. Вы видите сами: меня бросили, беззащитную, в пропасть большого света, где владычествуют притворство и эгоизм; Притворство и эгоизм погубили меня. Виновата ли я? Не проклиняйте Генриетту, Карл, простите ее!»

На другой день Генриетта получила следующую записку в ответ на свое письмо:

«Генриетта! Я был на краю гроба: зачем удержали вы меня? К чему воспоминания? Они – насмешка над настоящим. Забудьте меня! Я не тот, что был: вы не узнаете меня. Теперь я нищий, совершенно нищий: нищий достоянием, нищий твердостью, нищий мыслию и чувством. Одно сокровище храню я еще в душе моей:

это – любовь к вам, моя Генриетта, это – любовь к тебе, моя невеста. Я унесу ее с собой... Настанет жизнь, где наши жизни сольются в одном солнечном луче, тогда мы будем счастливы... Прощайте!»

Генриетта была женщина. Чем более Карл казался ей жалким и безнадеемым, тем более любовь ее усиливалась, тем ничтожнее казались ей условия приличия, тем сильнее вкоренялось в ней желание утешить страдальца. Она бросилась к письменному столику и дрожащею рукой набросала несколько слов:

«Завтра вечером, в восемь часов, я жду вас».

Давно ли они были оба так молоды, так полны надежд! – Давно ли они сидели друг подле друга, давно ли... они веровали в будущее!.. А теперь все для них изменилось: Генриетта была замужем; Шульц прошел по всем ступеням разочарований художника. Кумиры его расшибились в прах. Он ждал свидания с радостью и страхом.

В этот день шел проливной дождь. В восемь часов Шульц, окутанный плащом, звонил у дверей Федоренки.

Ключ повернулся в замке; дверь отворилась; Генриетта стояла перед Карлом. Сердца их сильно бились: они не смели глядеть друг на друга.

Молча вошли они в гостиную. – Простите меня, – сказала Генриетта.

– Вам простить! – тихо отвечал бедный музыкант. – А какое право имею я укорять вас? Сдержал ли я свое обещание? Так ли я должен был прийти за вашим словом? Я нищий, нищий, повторяю вам, что я нищий! Дайте мне милостыню и прогоните меня...

Глаза Генриетты наполнились слезами.

– Вы несправедливы, – говорила она, – вы жестоки ко мне!

– Я вам говорю, что я нищий, – продолжал Шульц, – я вам говорю, что я нищий. Я учу грамоте детей, я забавляю мастеровых, я лгу и кланяюсь; я кланяюсь, когда меня толкают и бьют... Я вам говорю, что я нищий...

– Прежде вы были тверды против бедствия.

– Да, таков был я прежде, когда все прекрасное находило в сердце моем отголосок. Тогда я летал на крыльях поэзии в мире чудном, где все было чисто и светло. Теперь я устал: крылья подогнулись, я упал на землю.

– Оставайтесь на земле, Карл! На земле вы найдете бедную женщину, которая не менее вас страдала, женщину, которая предлагает вам, взамен прошедших обольщений, небесное возмездие возвышенного чувства. Вы не светский человек, Карл, вы поймете, что можно найти удовлетворение своим желанием в чувстве возвышенном, а не в преступной связи. Я не могу, я не хочу забывать своего супружеского долга – не оттого, чтоб я дорожила мнением толпы, не оттого, чтоб я боялась гнева этого ничтожного человека, которому меня бросили; но оттого, что я не хочу опорочить нашего страдания, которое должно остаться между нами чисто и свято; но для того, что я хочу остаться для вас вашим светлым вдохновением и сохранить вас для себя, как небесную отраду.

Шульц молча стал перед ней на колени.

– Неужели, – продолжала Генриетта, – неужели мы до того малы и ничтожны, что равнодушный расчет существа бездушного может отнять у нас все счастье наше, все наши горячие верования? Неправда, не верьте этому! Пускай свет нас оковывает в свои внешние формы, пускай он налагает на нас, бедных женщин, пятно чужого, ненавистного имени: у нас остается в глубине души святилище сокровенное, куда, без нашего согласия, никто проникнуть не может. Оно наше, наша собственность, наш мир, наше уединение от шума и волнения мирского. Никто не может располагать им без нас; никто не может отнять его у нас. Вы это поняли, Карл, потому что в записке вашей ко мне вы называли меня своей невестой.

– Да будет ваша воля! – сказал тихо Карл. – Вами моя жизнь, может быть, еще поддержится. Я был очень болен, Генриетта. Вчера мне казалось, что голова моя расстроивалась; мне вдруг становилось

душно, и странные видения шалили в моей голове. Но это рассеялось теперь от вашего присутствия, как рассеиваются тучи от солнечных лучей. Не отнимайте у меня моего солнца, дайте погреть мне им душу! Без вас, я чувствую, жизни для меня нет.

– Приходите ко мне вечером, – отвечала Генриетта, – завтра, а там послезавтра, и каждый день. Свидания наши должны быть тайною; мы скроем их от всех, как преступление. Чувство наше должно быть полнее дружбы, выше любви. Оно немногим, весьма немногим было бы понятно. Мы его скроем как святыню – хотите ли?

Шульц сделался совершенным ребенком: то плакал, то смеялся. Радость и горе смешивались в голове его. Он глядел на Генриетту – и душа его таяла от какого-то горестного счастья.

Так прошел целый вечер.

Г-н Федоренко

Есть на свете особый класс людей: маленькие, пронырливые, они служили когда-то в отдаленных губерниях. Как они служили и что они делали в отдаленных губерниях – неизвестно; известно только, что они начали службу с десятью рублями и кончили с полумильоном.

Окончив таким образом осторожно свое наживание, выходят они в предостерегательную отставку и ищут покровительства, чтоб не подвергнуться каким-либо неприятным напоминаниям; большею частью женятся они на воспитанницах знатных барынь и заживают припеваючи.

Муж Генриетты исключительно принадлежал этому сословию.

Он родился в Л... от коренного приказного и тринадцати лет был записан писцом в уездном суде. После способности его развились на обширнейшем поприще. Он уехал в Сибирь; там был и стряпчий, и советником, и в командировках, и менял места, и наконец, запутавшись в одном деле, угрожавшем ему неизбежным уголовным судом, свалил всю беду на своего сослуживца, а сам, за болезнью, вышел в отставку. Состояние было нажито.

Он искал связей. Случай сблизил его с княгиней. Мы видели, как он женился.

Человек более деликатный не довольствовался бы холодным обращением жены своей, но Федоренко был так доволен собой, что не обращал внимания на такие мелочи. Знать вскружила ему голову; восхищение его было невыразимо, когда ему случалось сидеть в театре подле генерала или играть в вист с вельможею. Он нарочно поселился подле княгини и каждый вечер, когда недоставало четвертого, имел честь играть с ее сиятельством и всячески старался проигрывать для поддержания ее благосклонности. Генриетта оставалась одна.

С некоторого времени он в особенности сделался чрезвычайно доволен и важен. Он сторговал – разумеется, как водится, на имя жены своей – прекрасное имение в Малороссии, то самое, где отец его, до вступления в приказные, был дворовым человеком. Это имение было всегда целью его желаний, и по торгам оно оставалось уже за ним. День переторжки был назначен. Федоренко наскоро оделся, вышел в переднюю, надел байковый сюртук и начал надевать галоши.

– Тьфу ты, пропасть! – закричал он вдруг. – Что за дрянь! Калоши проколотые, испорченные... Чьи это калоши? Был здесь кто-нибудь?

– Никак нет, – отвечал человек.

Федоренко смутился. «Калоши мои, кажется: на ноге сидят хорошо. Да кто же их испортил? Неприятно! Я гадости этой не надену. Пойду без калош – ноги замочу; можно простудиться, схватить насморк, кашель, пожалуй... Очень неприятно!»

Федоренко нанял извозчика и был очень недоволен целый день, тем более что переторжку отсрочили.

Одно за одним

А Шульц?.. А Генриетта?... Что было с ними? Они как будто ожили новою жизнью, и души их с новой силой вооружились против враждебной судьбы. Каждый вечер, когда Федоренко отправлялся к княгине поиграть или повертеться около ее виста, Генриетта отсылала свою горничную, дрожащею рукою отпирала дверь заднего крыльца – и Шульц с трепетом прокрадывался в ее уединенную комнату, и дверь за ними затворялась, и они оставались одни.

Но беседа их была чиста и безгрешна. Модный человек насмеялся бы вдоволь, глядя на них. Иногда они молчали оба; иногда Шульц рассказывал про свое детство, про старичка органиста своего незабвенного, иногда Генриетта припоминала и прежнюю жизнь свою, и первое знакомство с Шульцем, и посвящение свое в таинство музыки. Тогда Шульц садился у ног ее на скамейке и, глядя на нее с благоговением, сливал свой огненный взор с ее небесным взором. И в этом длинном, упоительном взгляде выражались и скорбь прошедшего, и счастье настоящего, и какое-то неясное упование на лучшую, неизвестную участь.

С тех пор как они сблизились, они ничего не желали:

жизнь для них остановилась, все было забыто, кроме счастья видеть друг друга.

А между тем в Петербурге пронесся слух, что княгиня Г*** занемогла весьма опасно и что на консилиуме уже приговорили ее к смерти...

А между тем Федоренко с некоторого времени был очень встревожен и потирал себе голову. Имение на имя жены было куплено; казалось, все ему удавалось; одно его беспокоило: непрерывное превращение его калош – они то и дело что менялись в темном коридоре, где было его платье. И точно, это было очень странно: захочет ли он поутру в сырую погоду, например, идти погулять – вместо новых, прекрасных калош человек подает ему калоши испорченные и проколотые, а калоши, по-видимому, сделаны для него; разбранит ли он человека и прикажет выбросить дрянь эту из окна, а на другое утро человек приносит ему калоши блестящие, светлые,

чистые, во всей первобытной красоте... Это его мучило; он сделался подозрителен.

Однажды Шульц сидел у ног Генриетты и держал ее руку. Лицо его было светло.

– Генриетта! – говорил он. – Никакое земное чувство не должно помрачить нашу любовь. Ее начала поэзия и перенесла в небо. Но мне как-то стало страшно:

быть может, нам недолго оставаться вместе; а я не слышал еще из уст ваших слов любви; я боюсь умереть, не имея этого утешения. Вы помните, когда мы были в Вене, вы мне обещали и сердце и руку вашу. Вот и кольцо, которым мы обручились. Но ни раза не выговорили вы священных слов, которых жаждет душа, ни раза вы не сказали еще мне: «Карл, я люблю тебя...»

Генриетта задумалась.

– Если б что-нибудь земное, – сказала она, – вкралось между нами, вы никогда бы не узнали порога моей комнаты. Я достойна была понять вас, потому что я поняла вас. Но с нашей любовью... слова любви несовместны.

Они замолчали и взглянули друг на друга.

В эту минуту дверь настежь отворилась, и две калоши, влетев в комнату, с шумом ударились об пол. В дверях стоял Федоренко, багровый от гнева. Шульц вскочил с своего места. Генриетта закрыла лицо руками.

Федоренко злобно улыбнулся и подошел к музыканту.

– У каждого своя фантазия, – сказал он. – Вы не любите, чтоб нюхали из вашей табакерки табак, я не люблю, чтоб носили мои калоши, – слышите?.. Вы любите давать какие-то скверные концерты и ходить к чужим женам, а я люблю выпроваживать нахалов в окно – слышите ли?

– Стойте! – закричал Шульц. – Если дорожите жизнью!..

Генриетта бросилась между ними.

– Бррр... Дуэли, пистолеты – слуга покорный! Я с такими вертопрахами разведываюсь иначе. Дворника да кучера – вот вам и дуэль. Вон отсюда!

– Послушайте! – сказал задыхающимся голосом Шульц. – Выслушайте меня. Клянусь вам памятью моей матери, клянусь всем, что есть святого в мире, что жена ваша непорочна.

– Бррр... Знаем мы эти шутки, господин музыкант!

Мне сорок осьмой год. Старого воробья не надуешь!

Генриетта с гордостью взглянула на мужа и обратилась к Шульцу.

– Карл! – сказала она тихо и торжественно. – Я люблю тебя!

Слезы брызнули из глаз Шульца.

– Я люблю тебя, потому что ты не изменил себе, потому что ты душою был таким, каким быть должно: и прост и велик. Теперь мы больше не увидимся, но с чистою совестью я могу сказать тебе торжественно и свято перед этим человеком, которому меня продали: «Я люблю тебя!» Теперь, Карл, будь тверд: мы должны расстаться!

Она медленно приблизилась к Шульцу и коснулась чела его прощальным поцелуем. В голосе, в поступи Генриетты было что-то столь величественное, что Федоренко был как бы пригвожден к своему месту и молча пыхтел от злобы и досады.

Лицо Шульца покрылось смертною бледностью. Он дико осмотрелся и выбежал из комнаты.

– Убирайся к черту, музыкант проклятый! – промычал Федоренко. – А вы, сударыня, не стыдно ли вам?.. И выбрать кого же, нищего музыканта, бродягу какого-то безыменного? Вот если б князя N... Не хорошо бы, а все-таки лучше.

– Я любила Шульца еще в Вене. Я говорила вам это перед нашей свадьбой.

– А-а-а! Так вот он, голубчик! Стыдно вам, сударыня! Полно вам с музыкантами тарабарить. В деревню, в деревню!

Дверь опять растворилась. Вбежал слуга в смущении с важным известием:

– Княгиня изволила скончаться!

«Вот те на! – подумал Федоренко. – Час от часу не легче! Одно за одним! Кто бы мог ожидать – а?.. Княгиня приказала долго жить. Теперь что в ней? Теперь, пожалуй, порастревожат кое-какие старые делишки – походатайствовать некому! Теперь того и гляди, чтоб наострить лыжи да убраться поскорее восвояси...»

– Сударыня! – сказал он громко. – После того, что я видел, мне бы должно было прогнать вас без обиняков, тем более что теперь ваша княгиня... что в ней? Да дело в том, что бес меня подстрекнул купить на ваше имя имение. Теперь я с вами связан, а вы со мною. Хотите не хотите, а вы со мною будете жить. Я заставлю вас жить со мною –

слышите? Извольте укладываться: вы со мною едете в новую деревню, в Малороссию. Впрочем, не бойтесь: там народ музыкальный, можно набрать там хоть целый оркестр.

Генриетта не отвечала ни слова: она лежала в обмороке.

Судьба

Дня три спустя, ночью, ветер уныло выл по опустевшим петербургским улицам. Кое-где мелькали фонари в сырой пелене осеннего дождя. В окнах огни уже погасли. Из одних ворот выезжала дорожная карета.

У ворот стоял, сложив руки на груди, молодой человек в порыве сильной лихорадки. Дождь лился градом по его шляпе и платью, но он стоял неподвижен.

Когда карета с ним поравнялась, луч каретного фонаря упал на его обезображенное лицо; в карете послышался слабый женский крик; молодой человек хотел откликнуться – голос остановился в его груди. Карета медленно удалилась, ударяя мерно по мостовой. Стук колес становился все менее и менее слышен; наконец он исчез.

Все силы молодого человека, казалось, с ним вместе исчезли: он опустил голову и пошел.

Проходя мимо дома княгини, он невольно остановился. Подъезд был освещен; дверь открыта настежь. Он взшел. По черному сукну тускло освещенной лестницы добрался он до верха. Первая комната была вся обтянута черным сукном с княжескими гербами. В углу какой-то родственник крепко спал на стуле, а дьячок молча тушил лишние свечи. Посреди комнаты стоял под бархатным катафалком малиновый гроб. В гробе лежала княгиня с открытым лицом.

Молодой человек был как будто под влиянием ужасного продолжительного сна. Он подошел к гробу, сел на ступеньки пышного катафалка, у самых ног покойницы, опустил голову на руку и призадумался. По какому-то странному смещению мыслей он перешел воспоминаниями в ту комнату, где так быстро мелькнули лучшие мгновения его жизни, где он сидел, вдохновенный и страстный, подле своей избранной. Он как будто забыл все, что случилось с тех пор. Сердце его вновь наполнилось любовью. Генриетта предстала пред ним во всем чудном

Очаровании первой молодости, первой пылкой страсти,

она глядела на него умилительно своими голубыми, небесными глазами, воздушная, прекрасная. Он мысленно загляделся и залюбовался ею.

Дьячок, увидев постороннего человека, опрометью бросился читать вполголоса свой псалтирь. Печальный погребальный говор дико согласовался с страстными мечтами Шульца. Свечи тускло теплились вокруг катафалка.

Картина была самая странная...

Родственник проснулся и подошел к Шульцу с беспокойным видом отчаянного наследника.

– Вы очень любили покойницу? – спросил он боязливо...

– Да, я любил покойницу, я люблю покойницу, – отвечал Шульц, очнувшись. – Я люблю покойницу, только не эту покойницу... Да простит бог вашу покойницу!

Родственник глядел на него с удивлением.

– Знаете что? Она... вот эта княгиня... княгиня она, что ли? Знаете, что она хотела со мной сделать?... Она из груди моей хотела вынуть мое же сердце... какова-а?... О, да она прехитрая! Хотела опять притвориться и украсть его потихоньку. Да нет, я это притворство знаю; я знаю этих светских людей. Вы думаете, что она вас любит?

Неправда, притворяется, все притворяется. Скажите мне правду: вы думаете, что она умерла? Неправда! Притворяется, притворяется! Все это притворство! И герб, и гроб, и катафалк, и вы сами... – все это притворство, все притворство!.. Прочь отсюда!

Шульц засмеялся и убежал.

Как испугался студент, когда увидел на рассвете товарища своего, изнуренного страданием и сильным бредом. Шульц ощупью дотащился до своей кровати и упал.

Члены его тряслись от лихорадки; несвязные видения душили его. То вдруг казалось ему, что злая Маргарита наклонялась над ним и грозила ему сжатым кулаком; то видел он вдали тень седого старика с красным платком около шеи, который мигал ему и, как фантазмагорическое явление, то отдалялся, то подходил близко и таинственно к себе манил. Вдруг показалось ему, что он перед какимто огромным амфитеатром, на который собралась вся вселенная. И вот от имени всех Генриетта с улыбкой любви на устах, с потупленным взором подает ему венок лавровый – и в эту минуту амфитеатр

рушится, а вместо зрителей толпятся черепа в калошах, которые мигают и шепчутся между собой... И вдруг все превращается в странный неясный хаос, среди которого Мюллер с своими сапожниками, княгиня с своим раутом и весь Петербург кружатся в каком-то адском, неистовом танце...

Так прошел целый день. Мучение час от часу становилось сильнее. Студента в комнате давно уже не было: он убежал за доктором. К вечеру явился доктор с студентом, бегавшим за ним целый день.

Доктор был человек веселый. Он взял Шульца за руку:

– Что, брат-приятель? Видно, плоха шутка, придется прогуляться в Елисейские! Жаль, что вы прежде не пришли, – сказал он, обратившись к студенту.

– Да я был у вас с самого утра, – отвечал студент.

– Да что же, брат, делать? На вашу братью не напасешься. У меня и поважнее вас, да ждут. Впрочем, тут делать нечего, – продолжал он протяжно, понюхивая табак. – *Inflammatio cerebri* [19] в высшей степени. Если б часа за два кровь открыть, то молодца можно было бы поставить на ноги. А теперь – шабаш! К утру он умрет.

И точно, к утру конвульсии Шульца стали мало-помалу утихать, дыхание его сделалось реже. Студент держал его на своих руках. Наконец он сделался спокоен, голова его покатила на грудь... Все было кончено; студент перекрестился и закрыл страдальцу глаза.

В эту минуту кто-то постучался в дверях.

– Кто там? – закричал студент.

В дверях просунулась фигура Мюллера с узелком в руках: он принес новые, блестящие калоши, взамен первых, о которых он подумать не смел. Узел выпал у него из рук.

– Боже мой! Что это такое? – закричал он.

– Судьба! – глухо промолвил студент.

Мюллер подошел к постели, упал на колени и поцеловал руку усопшего.

В комнате было долгое, глубокое, таинственное молчание.

Наконец Мюллер встал, отошел с студентом в сторону и спросил у него с участием:

– Что, вы тоже музыкант?

– Нет! Я хотел посвятить себя литературе, да...

– Да что же?

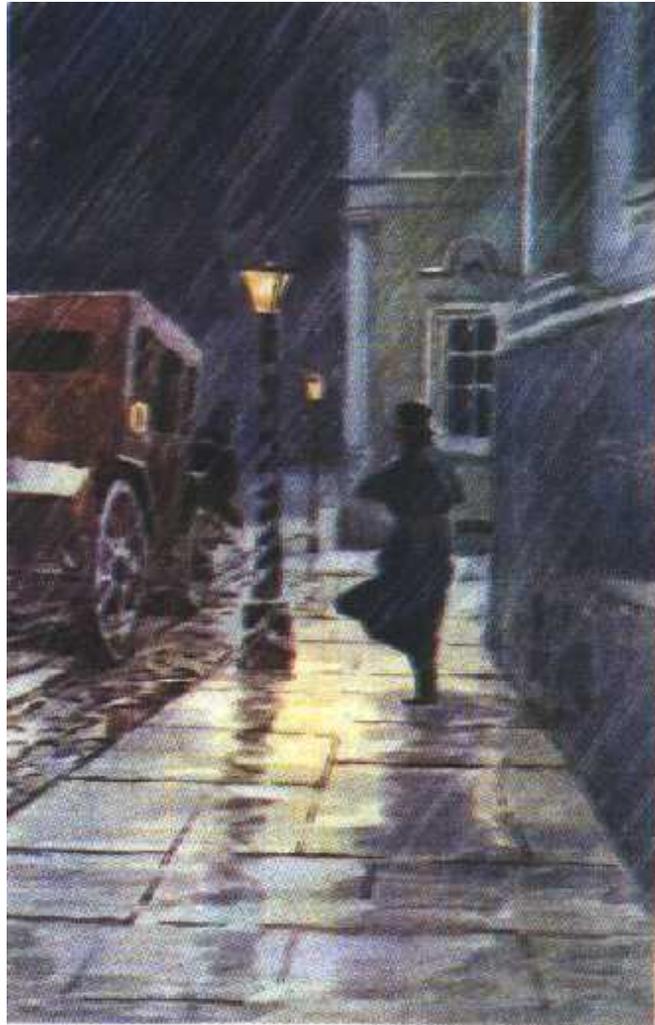
Молодой человек печально покачал головой и показал на покойника.

– Что ж вы хотите делать?..

– Я схороню его...

– А потом?

– А потом... уеду к матушке в Оренбург.



Большой свет

Повесть в двух танцах



Посвящение

Три звезды на небе,
Три звезды в душе
Сверкают и блещут
Отрадою нам.
То края родного
России звезда.
Звезда то поэзии,

Звезда красоты.
Пусть ведает каждый,
Что их я лучом,
Гордясь, осеняю
Смиранный свой труд,
И каждый узнает
От сердца как раз,
Кому я с смущеньем
Свой труд посвятил.

Гр. В. Соллогуб

I Попурри

Je te connais, beau masque.

(Bal masque)^[20].

I

В Большом театре был маскарад. Бенуары красовались нарядными дамами в беретах и бархатных шляпках с перьями. Облокотившись к бенуарам, несколько генералов, поддерживая рукой венецианки, шутили и любезничали с молодыми красавицами.

В углублении гремела музыка при шумном говоре фонтана. В зале и по лестницам толпились фраки в круглых шляпах, мундиры с пестрыми султанами, а вокруг их вертелись и пищали маски всех цветов и видов.

Было шумно и весело.

Среди общего говора и смеха, среди буйных ликований веселой святочной ночи два человека казались довольно равнодушными к общему удовольствию. Один – высокого роста, уже не первой молодости, с пальцем, заложенным за жилет, в лондонском черном фраке; другой – в гусарском армейском мундире, с одной звездочкой на эполетах.

Первый, казалось, пренебрегал маскарадом оттого, что он всего насмотрелся досыта. В глазах его видно было, что он точно так же глядел на карнавал Венеции, на балы Большой оперы в Париже и что всякий напрасный шум казался ему привычным и скучным. На устах его выражалась колкая улыбка, от приближения его становилось холодно.

Товарищ его, в цвете молодости, скучал по другой причине. Он недавно только что был прикомандирован из армии к одному из гвардейских полков и, после шестимесячного пребывания в

Петербурге, в первый раз был в маскараде. Все, что он видел, было ему незнакомо и дико.

Черное домино, уединенно гулявшее по зале, подошло к ним и, поклонившись, обратилось к старшему:

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Я вас знаю.

– Мудреного нет.

– Вы г-н Сафьев.

– Отгадали.

Черное домино обратилось к младшему:

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Я вас знаю.

– Быть может.

– Вы г-н Леонин.

– Так точно.

– А вы меня не узнали?

– Нет.

– Как? право, не узнали?

– Нет.

– Ну, право, так и не узнали?

– Да нет.

Сафьев расхохотался во все горло.

– Удивительно, как у нас, на севере, скоро постигают дух маскирования! Я воображаю, как всем этим господам и барыням должно быть весело: ходят, несчастные, будто по Невскому, да кланяются знакомым, называя каждого по имени.

– Что же веселого в маскарадах? – спросил простодушно Леонин.

– О юноша, юноша! – отвечал насмешливо Сафьев. – Как много еще для тебя сокрытого и непроницаемого на свете! Тайна маскарадов – тайна женская. Для женщин маскарад великое дело. Что ж ты на меня так смотришь? Слушай. Много здесь женщин и первого сословия, и второстепенных сословий, и таких, которые ни к какому сословию не принадлежат. Иные здесь вовсе без цели – это самые несносные; ты сейчас видел образчик подобных, большею частью добродетельных матерей семейств. Другие здесь с каким-нибудь любовным замыслом:

та – чтоб побесить мужа, та – чтоб изобличить предательного капуцина или отмстить вероломной летучей мышью. Большею частью у них у всех есть какая»

нибудь зазноба. Они ищут здесь только тех, кого им надобно, а о нас, душа моя, они мало заботятся. Наконец, есть малое число таких, которые вертятся здесь из одних только честолюбивых видов.

– Как это? – спросил Леонин.

– Это самые знатные. У них, видишь, братец, у всех есть мужья. Они хоть мужей-то и не очень любят, да дело в том, что по мужьям и им почесть. Под маской можно сказать многое, чего с открытым лицом сказать нельзя. В маскараде острыми шутками, нежными намеками можно достигнуть покровительства какого-нибудь важного человека. Взгляни на этих черных атласных барынь, которые вцепились под руки этих вельмож и уверяют их в своей любви: поверь, что вся их любезность не что иное, как последствие их дальновидности. Ты еще не знаешь, о юноша мой скромный! о идиллический мой пастушок! сколько веса имеют женщины в образованном обществе и сколько расчета в их улыбках.

– Это грустно, – заметил Леонин.

– Что ж делать, везде так!

В эту минуту к ним подошла маска в прекрасном домино, обшитом черным кружевом, с букетом настоящих цветов в руке. Она погрозила Сафьеву.

– Здравствуй, Мефистофель, переложенный на русские нравы! Кого бранил ты теперь?

– Тебя, прекрасная маска.

– Ты не справишься, Мефистофель, ты вечно останешься неумолимым, насмешливым, холодным. Всегда ли ты был таков, Мефистофель? не обманула ли тебя какая-нибудь женщина?

Сафьев закусил губу.

– Меня женщина обмануть не может, – сказал он.

– Не верьте ему, – продолжала маска, обращаясь к Леонину, – он сердитый человек, он обманет вас; он не позволит вам верить во все хорошее. Побудьте с ним еще – и белокурые волосы и голубые глаза потеряют для вас всю свою прелесть.

– Голубые глаза? – сказал с удивлением Леонин.

– Ну да, вы знаете, те, что вчера были в театре, во втором ярусе с правой стороны, те, что светят в Коломне и так нежно глядят на вас каждое воскресенье во время мазурки...

«Удивительно!» – подумал Леонин.

– Вы в прошлом месяце хотели на ней жениться, да бабушка ваша писала вам из Орла, что вы слишком молоды и что она несогласна. Прекрасно сделала ваша бабушка! Жениться такому молодому человеку – большая неосторожность...

– Да как это вы все знаете? – спросил Леонин.

Домино засмеялось под маской.

– О, это мое дело! Впрочем, если хотите, я вам скажу, что я приехала из Орла, где мне рассказали вашу историю. Я сама живу в деревне около Курска.

Домино продолжало смеяться и, схватив под руку толстого господина с звездой, скрылось с ним в волнуемой толпе.

– Кто эта маска? – спросил в замешательстве Леонин.

Сафьев посмотрел на него с усмешкой и отвечал протяжно:

– Графиня Во-ро-тын-ская.

– Не может быть: она меня не знает.

– И, брат, кого эти барыни не знают? Им только и дела, что затверживать чужие имена да узнавать, кто в кого влюблен и кто кого не любит. Это, может быть, самая занимательная сторона их жизни.

«Странное дело, – подумал Лгонин. – Графиня, одна из первых петербургских дам, известная красотой своей и любезностью, и огромным богатством, и высоким значением в свете, бросила взгляд на меня, бедного офицера. Она меня заметила, она знает, что я хочу жениться!. Странно! очень странно! Какое ей до того дело?

Я в знатный круг не езжу, сижу себе дома в свободное от ученья время да по воскресеньям вечером бываю в Коломне у Арמידкной. Да графиня-то к ним не ездит.

Какое же ей до меня дело?»

Леонин невольно приободрился и, положив венецияику на руку, с необычайной решимостью начал ходить по театру, взглядывая храбро на сидящих в бенуарах красавиц, которые, по обозрению его армейского мундира, равнодушно отводили глаза.

Сафьев стоял, сложив руки, спиною к пустой ложе и о чем-то грустно размышлял.

Толпы все мерно волновались вокруг залы. Большая часть масок важно расхаживала одноцветными фалангами и крепким молчанием доказывала свое неоспоримее ничтожество. Другие пищали и бегали, в сопровождении веселой молодежи. В побочных залах множество мужчин и несколько женщин расположились за плохим ужином, и пробки шампанского хлопали об потолок.

Было три часа ночи. Толпы начали приметно редеть.

Кое-где на эстрадах виднелись еще кавалеры и маски попарно, да молодые безбрадые юноши горделиво влачили под руку утомленных собеседниц. Маскарад клонился к концу. Леонин в двадцатый раз обмерял шагами все залы – и все напрасно: никто с ним не останавливался, никто не обращал на него внимания. Ноги его подкашивались от усталости. Ему было душно и становилось досадно. Он собирался уже ехать домой, вспомнив, что рано утром у него ученье, что вставать ему надо с светом, что спать ему придется мало. Лоб его сморщился, брови нахмурились. Вдруг в длинном ряду кресел мелькнуло пред ним черное домино с кружевом.

Отчего, скажите, в воздухе, окружающем прекрасную женщину, есть какая-то магнетическая сила, обнаруживающая присутствие красоты? Сердце Леонина разом отгадало под маской графиню. В каждой складке ее наряда была какая-то щегольская прелесть; маленькой ручкой упирала она голову, с видом очаровательно утомленным, и в наклонении ее на спинку кресел, во всей прелестной лени ее существа была невыразимая гармония...

Леонин трепетно к ней приблизился.

– Вы одни? – спросил он с робостью.

– Да. Я устала, ужасно устала.

Оба замолчали.

– Вы на меня сердитесь? – прибавила графиня.

– О нет, напротив!

Леонин смутился и проклинал свою робость. Мысли как будто нарочно съежились в его голове. В таких случаях первое слово всегда бывает глупость. Так и было.

– Здесь ужасно жарко! – сказал он.

– Да, – продолжала графиня, – здесь жарко, здесь душно. Меня воздух этот давит, меня люди эти давят...

Жизнь моя нестерпима. Мне душно. Все те же лица, все те же разговоры. Вчера как нынче, нынче как вчера. Вы говорите по-французски?

– Говорю, – отвечал Леонин в смущении»

Графиня продолжала по-французски:

– Мы, бедные женщины, самые жалкие существа в мире: мы должны скрывать лучшие чувства души; мы не смеем обнаружить лучших наших движений; мы все отдаем свету, все значению, которое нам дано в свете.

И жить-мы должны с людьми ненавистными, и слушать должны мы слова без чувства и без мысли. Ах! если б вы знали, если б вы знали, как надоели мне все эти женщины, все эти мужчины – мужчины такие низкие, женщины такие нарумяненные, и весь этот хаос блестящий меня тяготит и душит. И о нас же говорят, что мы ни чувствовать, ни любить не можем. Но там, где каждый думает о себе, можно ли чувствовать что-нибудь? можно ли любить кого-нибудь?

– Да, – с смущением сказал Леонин, – там, где думает каждый о себе, нельзя любить. Однако ж, мне кажется... я думаю, я уверен... Зачем думать только о себе? Не все люди такие испорченные. Надо избирать людей... Есть души пламенные, которые выше других.

Любовь истинную найти можно; иначе жизнь была бы противоречие божьему велению. Если вы думаете, граф... если вы думаете, сударыня, что нет, что не может быть истинного чувства, вы себя обманываете.

Маска, казалось, слушала молодого человека с удивлением. Или слова его казались ей странными и необыкновенными, или новая мысль занимала ее, только она казалась в порыве сильного внутреннего волнения.

– Вы себя обманываете, – продолжал офицер, – в жизни много хорошего, много отрад... Живопись и музыка – творения гениев, примеры веков... В жизни много хорошего... Правда, я молод еще, но на земле я видел уже много утешительного. Во-первых, женщины... что лучше женщины?

– Женщина, – прервала маска, – хороша только тогда, когда она молода и нравится мужчинам. Женщина – кумир, когда красота наружная придает ей ценность в глазах света. Красота исчезает – и кумир падает, осмеянный своими же поклонниками, и что ж остается

тогда? – ничего, ничего, и нас же бранят, о нас же говорят, что мы ни чувствовать, ни любить не можем.

– Но вас же любит кто-нибудь? – сказал робко Леонин.

– Я не думаю, хотя многие стараются меня любить.

Вы меня не знаете, и я могу говорить откровенно; этого давно со мной не случалось... Да, меня многие хотят любить, да я-то им не верю. У всех есть свои причины, свои расчеты... Во-первых, я замужем. Муж меня любит, потому что я ему нужна для общества и света. Потом, один адъютант меня любит, потому что он чрез меня надеется выйти в люди. Потом, любит меня один дипломат, потому что это ему дает особое значение в обществе. Потом, несколько человек меня любят потому, что им делать нечего, потому что они несносны. Вы понимаете, что с такими чувствами мало остается в мире наслаждений.

Мне свет гадок, невероятно гадок; мне душно и тяжело... а нынче в особенности. Я и сама не знаю, что со мной.

Эта музыка, этот шум – все это расположило меня к безотчетной грусти... Вы меня никогда не узнаете; но я рада, что могла хоть раз высказать свою душу, а вы еще так молоды, что меня поймете... Мое положение ужасно! Быть молодой, иметь сердце теплое, готовое на все нежные ощущения, и предугадывать небо – и быть прикованной вечно на земле с людьми хладнокровными и бездушными, и не иметь где приютить своего сердца!

И нынче как вчера, и вчера как нынче – и не иметь права жаловаться... Я вам кажусь странною, не правда ли?

Что ж делать? Мне только под этой маской и можно говорить откровенно. Завтра на мне будет другая маска, и той маски мне не велено снимать никогда, никогда...

– И неужели, – спросил с участием Леонин, – неужели никогда в мечтах своих вы не подумали о возможности встретить на земле душу созвучную, сердце братское, человека, который бы с восторгом посвятил вам, вам одной всю жизнь свою и был бы вашим сокрытым провидением, и любил бы вас, как любят маленького ребенка, и обожал бы вас с благоговением, как обожают существо неземное?

Маска взяла Леонина за руку и крепко ее пожала.

– То, что вы говорите, – сказала она, – прекрасно...

Кто из нас не мечтал о подобном счастье? Но где найти его? где встретить его? где найти человека, который был бы выше всех мелочных расчетов, наполняющих жизнь, и сохранил бы в общем холоде пламень своей души, и мог бы утешить сердце бедной женщины, и мог бы посвятить ей всю жизнь свою неизменно, безропотно?.. Для такого человека можно всем пожертвовать в жизни и в любви его найти отраду от тяжких горестей. Но есть ли такие люди?.. Я перестала верить, чтоб это было возможно.

– Напрасно! – с жаром подхватил Леонин. – Я сужу по себе. Я не воображаю счастья выше того, как выбрать себе на туманном небе бытия одно отрадное светило. А это светило должно быть и пламень и свет: оно должно согреть душу и освещать трудный путь жизни; к нему прильнешь всеми лучшими помышлениями, ему отдашь все свои силы. Звезда путеводительная, маяк целого существования, оно высоко и небесно; к нему нельзя прикоснуться земною мыслью, но от него ниспадают лучи утешительные, и эти лучи озаряют и живут до гробового мрака.

– А хороша Армидина? – спросила маска голосом, исполненным женского кокетства.

Ведро холодной воды плеснуло на воспламененного корнета.

– Армидина... Почему Армидина?.. отчего Армидина? отчего вы это у меня спрашиваете?

– Да вы влюблены в нее.

– Я влюблен... нет... да... впрочем... я не знаю...

– Я ее, кажется, видела вчера в театре – там, наверху. Белокурая, кажется...

– Белокурая, – отвечал Леонин.

– Как гадок свет! как жалки люди!

Леонин был, без сомнения, прекрасный молодой человек. Сердце его иногда доходило до поэзии, а ум до завлекательности и до остроумия, и что же? От одного прикосновения светской женщины чувство светской суеты начало мутить его воображение! Он вспомнил, бедный, об Армидиных с каким-то пренебрежением. Состояние недостаточное, квартира в Коломне, претензии на прием гостей; мать толстая, по названию Нимфодора Терентьевна; для прислуги казачок и старый буфетчик из дворовых, который вечно кроил в передней разные платья для домашнего потребления, – все это мелькнуло вдруг перед

ним карикатурным явлением волшебного фонаря. С другой стороны, блеснул перед ним богатый дворец графини, наполненный всеми причудами роскоши, и в этом дворце, среди роскошных причуд, он увидел графиню прекрасную, нежную, избалованную...

– И я вас более никогда не увижу? – спросил он с грустью.

– Никогда.

– И надеяться нельзя?

– Нельзя.

– Дайте мне хоть что-нибудь на память, вашего знакомства.

Маска протянула букет и встала с своего места.

– Прощайте, – сказала она. – Будьте всегда так молоды, как теперь. И если вы когда-нибудь будете в большом свете, не забывайте, что светские женщины много имеют на сердце горя и что их бранить не надо, потому что они жалки. О, если б вы знали, чем бы они не пожертвовали, чтобы от тревожного шума перейти к жизни сердца! повторяю вам, чем бы они не пожертвовали...

– Ничем! – громко сказал подле них голос.

Маска обернулась. Сафьев стоял подле нее с своей вечной улыбкой.

– Четвертый час, сударыня, – сказал он, – дожидаться вам, кажется, нечего. Прекрасного вашего князя более не будет. Что ж делать! не все ожидания сбываются.

Маска судорожно приложила пальцы к губам и, кликнув бессловесную наперсницу, уединенно дремавшую на стуле, поспешно скрылась в боковую дверь.

Леонин остался против Сафьева.

– Что? – спросил последний. – Не говорила ли она, что ее не понимают, что она ищет высоких наслаждений, что светская женщина жалка, потому что она должна скрывать свои лучшие чувства?

– Ну, так что ж?

Сафьев посмотрел на него с сожалением, а потом засмеялся.

Леонин рассердился и, наняв извозчика, уехал домой.

Если б я писал повесть по своему выбору, я избирал бы себе в герои человека с рыцарскими качествами, с волей сильной и твердой, как камень, но с ужасной, таинственной страстью, которая сделала бы его крайне интересным в глазах всех чувствительных губернских барышень. Он любил бы долго и долго. Красавица любила бы его долго и долго. Все шло бы своим чередом. Вот и ручеек, вот и отвесистое дерево, вот и нежные свидания! Тут кстати все, что говорится о любви да о природе. И вдруг вдали нависла бы туча, загремела бы буря:

явился бы отец-злодей, или мать-злодейка, или свирепый опекун, или просто какой-нибудь злодей. Пошли бы препятствия одно за другим, своим классическим порядком, и вот к самому концу, перед последней страницей, небо прояснилось бы, потому что трогательные окончания чрезвычайно приелись публике и не возбуждают более должного сожаления. Злодей вдруг бы усмирился, чета моя обвенчалась. Начался бы свадебный бал – и все были бы счастливы, и я бы очень был доволен собой.

Но увы! я должен выбирать лица своего рассказа не из вымышленного мира, не из небывалых людей, а среди вас, друзья мои, с которыми я вижу и встречаюсь каждый день, нынче в Михайловском театре, завтра на железной дороге, а на Невском проспекте всегда.

Вы, добрые молодые люди, друзья мои, вы хорошие товарищи, но вы не рыцари древней чувствительности, вы не герои нынешних романов. Вы обедаете у Дюмё, вы вызываете Тальони, вы танцуете с приданым молодых девушек или с значением молодых кокеток. Вы похожи на всех людей, и, сказать правду, таинственности, романтизма я не вижу в вас! Вы – добрые молодые люди, друзья мои, больше ничего! Истина, грозная истина, которой я не смею послушаться, приказывает мне без ложных прикрас изобразить вас в моем правдивом рассказе.

Было поздно, когда Леонин возвратился из маскарада. Сальная свеча догорала в узенькой передней. Тимофей, слуга его, дремал на стуле.

– Есть что для меня? – спросил Леонин.

– Приказ вашему благородию: ученье в семь часов.

Леонин нахмурился.

– Еще что?..

- Письмо по почте, кажись, от Настасьи Александровны.
- Приезжал кто без меня?
- Приезжал князь Щетинин.
- Хорошо.

Комнатки гусарского офицера, прикомандированного из армии к гвардейскому полку, описывать недолго»

Седла, мундштуки, несколько литографий Греведона, бронзовая чернильница, маленький коврик, статуэтка Тальони, кровать – да и все тут.

Леонин закурил трубку и распечатал письмо.

– От бабушки, – сказал он.

Он начал читать:

«Милый Миша! вот четыре недели, как от тебя ни строчки, ни весточки. Уж не болен ли ты, друг мой? Уж не под арестом ли? Смотри, Миша, не ходи против формы. Оно ведь одно и то же, кажется, что по форме, что не по форме, так зачем же понапрасну казаться виноватым перед старшими? да и славу нехорошую заслужишь.

Слушайся начальников, Миша, берегись дурных советов и дурной компании: дурные люди хорошему не научат...»

Леонин остановился и задумался. «Какое до меня дело графине? К чему это она мне все говорила? Может быть, она заметила, что в театре вчера я плядел на ее ложу, где сидел Щетинин. Верно, я ей понравился, что она говорила со мной, как будто с старинным другом, и подарила свой букет. Таких вещей не дарят людям, к которым совершенно равнодушны. Непостижимо!..»

Леонин продолжал читать.

«Не думай, Миша, что мы, старые люди, таки совсем из ума выжили и говорим один только вздор. Совет наш всегда хорош, даже когда он вам. молодым людям, и не нравится. Вот, например, тому назад два месяца, ты сердился на меня, что я не позволила тебе жениться. Ты пишешь мне, что девушка прелестная, и лицо ангельское, и доброта душевная, и тонкая талия, и волосы прекрасные – все так, да ты-то, Миша, что? Когда бедная моя Оленька, твоя мать, скончалась, а отец твой, не в укор будь ему сказано, промотал женино имение, умер вскоре после нее, вы остались на руках моих: брат твой старший, да ты, мальчик пятилетний, да двухнедельная сестра. Вот и принялась я за

хозяйство на старости лет, чтоб устроить вам состояньице, чтоб был у вас свой кусок хлеба впереди. Да память-то у меня слаба; дело мое женское и старое: как ни старалась я, а все-таки, и с моим имением, всего у нас душ четыреста с небольшим. Много ли придется тебе, на твою долю? Откуда же прикажешь мне брать доходы, чтоб ты мог жить прилично с женою, как следует дворянину? Да ей всего бы нашего дохода на одни наряды не стало. Ведь я даром что стара, а знаю, что такое жить в столице: и того хочется, и другого хочется. Отчего у того карета, а у меня нет кареты? отчего у той робронд атласный, а у меня нет атласного робронда? Я верю, что девушка прекрасная...»

«Прекрасная, – подумал, вздохнув, Леонин, – что за волосы! Я никогда таких волос не видал. А как говорит, как улыбается! Глаза только, кажется, у нее маленькие... да, точно маленькие. Вот у графини, так удивительные глаза, черные как смоль, блестящие, как звезды... Что пишет еще бабушка?»

«...Девушка... прекрасна... А знаешь ли ты, любит ли она тебя точно? Не мундир ли твой, не наружность ли твоя ей понравилась? Ведь ты, Миша, красавец...»

«И точно, кажется, я очень не дурен, – радостно вспомнил Леонин. – Я и не одной Армидиной могу понравиться. Что еще?»

«Выйдет она за тебя замуж; ты ей приглядишься...

будет вам скучно, а потом, чего боже сохрани!.. Нет, Миша, не проси позволения жениться... Не то я позволю, и на старости лет буду плакать над вами...»

«Добрая бабушка! – подумал Леонин. – Вижу ее отсюда, в ее низеньком домике, в ее больших креслах, исхудалую, с очками на чепчике; вижу отсюда, как она медленно перелистывает библию или тихо ведет беседу с сельским нашим священником, отцом Иоанном... Добрая бабушка!.. Да какое графине-то до меня дело? Она знает, что бабушка не позволила мне жениться и знает, что я влюблен в Армидину... Впрочем, влюблен ли я?

Быть может, любовь моя не что иное, как обман воображения. А что? Ведь точно может быть...»

Он читал далее:

«Я иногда думаю, Миша, что меня бог накажет за то, что я тебя любила и баловала больше твоего брата и сестры. Брат твой был уже взрослый мальчик, а сестра еще в колыбели, когда я вас взяла к себе в

дом. А ты бегал уже в красной рубашечке, кудри твои вились от природы по плечикам, и ты обнимал меня и сидел у меня на коленях, и целовал меня, и говорил мне: «Я вам, бабушка, помощник!» В то время у соседки моей и доброй приятельницы Гориной родилась вторая дочь, Наденька, и мы, шутя, просватали вас друг за друга. После стали говорить об этом чаще и обменялись словами. Года два назад бедная Горина скончалась – дай бог ей царствие небесное! Перед смертью я навестила ее, и мы разговорились о «ас. «Поручаю тебе мою Наденьку, – сказала она. – Пускай выбирает она себе мужа по сердцу – это мое последнее приказание. Если Миша твой ей слюбится, пусть будут они счастливы. Богатства для нее не надо.

Все мое имение ей. Сестра ее богата и дорого купила свое богатство; но была ее воля: я дочерей своих ни к чему не принуждала».

Ты был тогда в губернской гимназии, Миша; после ты вступил в полк и давно не видал моей Наденьки.

А Наденьку с нянькой Савишной взяла теперь в Петербург сестра ее, которая там за каким-то знатным. Вот тебе невеста, Миша, так невеста! Ей было тринадцать лет, когда она от нас уехала; собой красавица; дочь моего друга; имение небольшое, но прекрасное, незаложенное, и нрав прекрасный, и неизбалованная, и непричудливая.

Вот невеста тебе, Миша! Ты видишь, что все счастье мое состоит в твоём счастье. Не пеняй на меня, если порой придется выговорить тебе неприятное слово. Поверь, мой друг, все это к твоему же добру. Теперь послужи, а женитьба не уйдет. Берегись дурных людей, а пуще всего карточной игры. Ходи по праздникам и по воскресеньям к обеду. Не ходить к обеду – грех: не бери его на душу. Хотелось бы и мне съездить помолиться за вас в Киев, Печерской богородицы, да в Воронеж, святому угоднику... Не знаю, как соберусь силами да деньжонками. Годы, сам ты знаешь, какие: рига сгорела, яровых как не бывало. Ты служишь в Петербурге, тебе нужна лошадка верховая, и санки, и все, как прилично офицеру; сестра твоя не нынче, завтра невеста: не с пустыми же руками отпустить ее в чужой дом. Брату твоему старшему в отставке скучно; пришло ему на мысль завестись в деревне охотой: на все деньги, а делать нечего, надо же молодому человеку чем-нибудь потешиться. Я было уговаривала его еще послужить, да он отвечает, что служба ему не годится.

Впрочем, все у нас благополучно, все идет по-старому. В воскресенье был у нас храмовой праздник. Ожидали преосвященного, только он не пожаловал. За обедней отец Иоанн, который тебе кланяется, говорил нам трогательную проповедь своего сочинения. После молебна обедали у меня соседи Лидарины, Митровихины да старушка Бобылева; был также судья, отставной капитан-лейтенант, прекрасный человек, был в Америке и все рассказывает о морской жизни.

Вот тебе все мои новости, Миша; у нас, деревенских, много не наслышишься. Целую тебя заочно. Посылаю тебе родительское благословение. Дай бог тебе быть веселым и здоровым. Берегись простуды, молись богу и не забывай старушку бабушку твою Настасью Свербину».

«Почему уговаривала меня графиня, – думал Леонин, – пожалуй о светских женщинах, если я буду в большом свете? Следовательно, я могу быть в большом свете? Да для чего же нет?.. Собою я, говорят, хорош, танцую весьма порядочно, да и в обществе я довольно ловок: в мазурке у Армидиных меня то и дело что выбирают... Что, если б я точно графине понравился – вот было бы счастье! На меня смотрели бы с завистью все гвардейские франты, все парижские фраки, которые так сильно около нее увиваются... И я, бедный, забытый офицер, с одного бы шага стал выше всех их... Стоит попросить только Щетинина: он представит меня во все лучшие дома... И там я буду видеть графиню...»

С сладкою мечтою лег он спать, но долго глаза его не смыкались.

Он не был еще до того возвращен или опытен, чтобы желать сделать себе из женщины пьедестал для своего возвышения. В графине прежде всего видел он ее красоту, ни с каким из сновидений его не сравнимую. Глаза ее жгли сердце его. Звучный, тихий голос ее волновал воображение его. Он был молод, он был влюбчив...

Уже звезда Армидиной тихо закатывалась на небосклоне его помышлений и величественно подымалось на нем яркое светило очарований графини, озаряя его новым, незнакомым светом. И вдруг от нового светила пала на его сердце одна искра и глубоко заронила в него. Увы! то была искра честолюбия. Как ни совестно мне сознаваться в слабостях моего героя, а истины не смею утаить. Не знаю, почему с образом графини свилась в голове пылкого корнета завлекательная

мысль о возвышениях и отличиях. Быть может, это оттого, что он засыпал, но ему казалось, что графиня ему улыбалась, что он с любовью устремил на нее свои взоры и тихо на нее упирался, и что все она была хороша, и пышна, и очаровательна, и все ему тихо улыбалась, и что уж он был адъютантом у бригадного, а там флигель-адъютантом и полковником с крестами на шее... и вот произведен он в генералы, в генерал-лейтенанты, в генерал-адъютанты, в генерал-губернаторы, в министры...

Андреевская лента величаво покоилась на его плече, когда он заснул...

Тщетно Тимофей тащил его за ноги и кричал ему на ухо, что семь часов, что пора одеваться и, ехать на ученье. Полусонный, он вытолкал Тимофея в двери и заснул крепко-накрепко, с чувством какого-то нового достоинства.

Пробуждение было довольно неприятное...

Вестовой из полка принес приказание: «Корнету Леонину немедленно явиться в полковую канцелярию для объяснения по делам службы». Объяснение было самое краткое: полковой командир, не допустив виновного до себя, отправил его на три дня под арест.

Скучно под арестом! Голые стены, истертые кожаные кресла, по углам шаркают крысы; в другой комнате крупно насоленные шутки солдат; жизнь вседневная останавливается, а шум людской дразнит за окошком.

Леонину стало грустно. К вечеру он тихо дремал, опершись на раскрытую книгу... Вдруг громкий хохот разбудил его: Щетинин в лядунке через плечо и в шарфе, как дежурный, вел за собой Сафьева, оба смеялись.

Сафьева вы уже знаете; с Щетининым позвольте вас познакомить.

III

В Петербурге почти все молодые люди похожи друг на друга: у всех одинакие привычки, одинакие ухватки, один и тот же портной; одна и та же прическа, те же разговоры, то же образование, почти тот же ум.

Заметьте в мазурке, при некоем повороте: все одинаково как-то прихлопывают каблуками, и во французской кадрили все как-то одинаково непринужденно машут правой рукой.

В большом свете все они чрезвычайно приличны.

С математической точностью знают они, где стать, где сесть, где поклониться, где говорить и где молчать. Тактикой гостиных обладают они вполне. Между товарищами – дело другое: фраки долой, мундиры нараспашку.

Тут стараются они выказываться добрыми малыми. Карты на стол – подавай лишь шампанского. Тут все добрые малые, с первого до последнего.

И что всего страннее: тот же самый франт, который, за полчаса пред тем, в перетянutom мундире или в перекрахмаленном галстуке казался робок и неприступен, как красная девица, вдруг делается отчаянным крикуном, бранит принужденность гостиных и шумит один за трех армейских майоров.

Все они разделяются на два класса: военных и статских. В Москве есть еще один класс, который и не военный и не статский, который ходит в усах, в шпорах, в военной фуражке и в венгерке, но это до нас не касается: мы говорим единственно о молодых людях петербургских. Степень взаимного уважения, разумеется, светского, определяется, как и следует, между ними большим или меньшим богатством. Если один из них имеет свою карету, собственного повара, щегольски отделанную квартиру и абонированное кресло, то он может быть уверен, при порядочном имени, что займет почетное место среди петербургской молодежи.

Таковыми преимуществами Щетинин обладал вполне.

К тому же отец, бывший некогда посланником, оставил ему большое достояние, никем не оспариваемое, а природа одарила его прекрасной наружностью и пылким, прямым умом. С детства попал он в стихию большого света, воспитывался за границей, приехал потом в Петербург и с первого шага занял между великосветскими юношами одно из первых мест. Свет был для него дело обыкновенное, к которому он привык; свет был ему и непротивен и неувлекателен, и не удивлял его, только часто не находил он в нем многого, а чего именно – долго не постигал.

Зато никто не умел так почтительно кланяться старым дамам, так откровенно шутить и смеяться с молодыми. Каламбуры его повторялись во всех гостиных.

Приглашения на пышно-дружеские обеды сыпались на него дождем. Все невесты улыбались ему приветливо, иные даже – спаси меня господи от прегрешения и клеветы! – вертясь с ним, в минуту рассеянности тихо пожимали ему руку. Замужние дамы имели всегда для него на бале местечко подле себя за ужином; одним словом?

он был предводителем всех кавалеристов северной столицы.

Между товарищами, кроме должного богатству его уважения, он был искренне любим и был действительно добрый малый, иногда даже слишком добрый малый, потому что пылкая природа заносила его слишком далеко. Ни в какой шалости не отставал он от своих однослуживцев. В карты мог он играть по целым ночам сряду, бутылку шампанского – извините за историческую точность – мог выпивать, хотя-нёхотя, но с одного раза; а как пойдут удалые анекдоты и беранжеровские песни, то громкий хохот товарищей возглашал ему всегда торжественное одобрение.

Но был ли он доволен собой в чаду своих успехов – не знаю. По крайней мере, нередко находила на него хандра неописанная. Тогда догадывался он, что в дружбе друзей его промелькивала зависть; что в приветствиях молодых девушек скрывалась тайная мысль о выгодном женихе; что светские дамы заманивали его в свои сети»

потому что он в моде; что он родня целому свету и что подобная победа заставила бы всех соперниц по чепчикам и по красоте умереть с досады. Тогда голова его склонялась от пустоты и усталости; тогда хватался он за грудь и чувствовал, что в ней билось сердце, созданное не для шума и блеска, а для жизни иной, для высшего таинства, – и тяжело было ему тогда, и хандра налагала на него свои острые когти. Но он, стыдясь ее, с сердцем, ноющим от скуки и горя неразгаданного, продолжал вести с товарищами жизнь разгульную и молодецкую, а в свете любезничать с дамами и щеголять напропалую.

Так прошло много лет. Щетинин дожил до той неприятной эпохи, где человек замечает, что он начинает стареть. Он влюблялся как мог и где мог, но он столько знал свет и жизнь, что не мог влюбиться не на шутку, и по истертой колее продолжал путь своей жизни, иногда забывая о нем, иногда проклиная его от души.

Однажды (это было летом) на маленькой даче, примыкающей к пышной даче графини Воротынской, был шумный холостой обед; смех и вино оживляли собеседников. После обеда сели играть в карты, заварили сженку. Нагрянула новая молодежь – и пошла потеха.

Щетинин сидел на первом месте, пил, что наливали, и проигрывал более всех. Долго тянулась игра. Всю ночь напролет тряслись окошки от шумной беседы; всю ночь были слышны песни и восклицания пирующих. Когда все расстались, на дворе было совершенно светло.

Щетинин, желая освежиться прохладой утреннего воздуха, отправился на свою дачу пешком.

Утро было чудное. Солнце, тихо поднимаясь, весело играло утренними лучами по пестрым крышам припевских дач. Деревья едва колыхали вершинами. Птички перелетали с ветки на ветку. Цветы, распускаясь, улыбались сквозь слезы росы. Воздух был свеж и чист и благоуханен. Вправо, на зеленой лужайке, паслось пестрое стадо. Вдали шли крестьяне на дневную работу, да священник шел к ранней обедне.

Щетинину стало совестно. С досадой вспомнил он глупую свою ночь, вспомнил раскрасневшиеся лица своих приятелей и жадность, с которой они кидались на мелки, чтоб записывать его проигрыш. Целый вечер, проведенный в разгульном забытии, показался ему так гадок, так унизителен перед величественной, божественной картиной, которая развивалась в глазах его.

В эту минуту порхнула перед ним девочка лет тринадцати, которая весело неслась за бабочкой. Прелестное ее личико разгорелось от бега, волосы развевались по ветру; она смеялась и прыгала, и кружилась легче мотылька, своего воздушного соперника. Никогда Щетинин не видел ничего лучше, свежее этого полужемного существа. Оно как будто слетело с полотна Рафаэля, из толпы его ангелов, и смешалось с цветами весны, с лучами утреннего солнца, для общего празднования природы.

Душа Щетинина стала светлее и как будто расширилась.

Слеза повисла на его реснице; долго он стоял очарованный и с жадностью следил, как милое дитя прыгало и несло все далее и далее, и мелькало вдали среди душистых кустов.

Есть минуты в жизни, которые не знаменуются ни сильными переворотами и никакими внешними особенностями, со всем тем они

делаются для нас точками светлыми, незабвенными, неизгладимыми.

Отрадные впечатления чудного утра врезались в душе Щетинина; он сохранил их, как святыню, которую прячешь от неверующих. Правда, он никому в том не сознался и ни за какие сокровища в мире не открылся бы он лучшему другу. Как человек светский, всего более страшился он насмешек, а ничто их так не навлекает, как простосердечное сознание в истинном, сердечном впечатлении, и с той поры Щетинин сблизился с графиней Воротынской, и скоро молва назначила его в числе ее поклонников. Графиня сперва с ним пококетничала, а потом, уверившись в его постоянстве и не теряя его из виду, обратилась к другим с своими невинными нападениями.

Но модный князь искал другого, искал лучшего и не мог отдать себе отчета в странном чувстве, которое им овладевало. Он – владыка моды, пред которым трепетали люди женатые от страха, люди холостые – от зависти; он, ничему и никому не веривший, он, ничего и никого не любивший, он, князь Щетинин, выжидал, с нет выразимым волнением и трепетом, минутных, редких появлений маленькой девочки в белом платье, в черном передничке, с необходимым приседанием, с неизбежной гувернанткой, и чувствовал сам, не понимая почему, как, при виде ее, душа отдыхала от тяжелой усталости.

Девочка, явившаяся ему в светлое утро, была сестра графини!!

В минуты шумных наслаждений света он сам иногда смеялся над собою, но когда ему было грустно, когда он уединялся в своих мыслях, он всегда призывал милое видение, и тогда тихо над ним веял детский образ, который нечаянно дополнил ему в незабвенное утро все красоты природы и все отрады Провидения.

Так между двойственной жизнью провел он быстро два года. Никто не подозревал и никому на мысль не приходило подозревать его тайну. Впрочем, он продолжал свой прежний род жизни: ездил в общества и не отставал от товарищей. Мы остановились на том, как пришел он с Сафьевым навестить Леонина под арестом.

IV

Allwissend bin ich nicht, doch viel ist mir bewußt.

(*Mephistophelles. Faust. 1 Aufz.*)^[21].

– Что, брат, попался?

– Видишь, братец, сижу... Делать нечего. Был вчера в маскараде, а нынче проспал ученье.

– Вольно же тебе ездить в маскарады! По-моему, нет ничего скучнее: ходишь себе на рассвете с какой-нибудь старушонкой да удивляешься своему счастью...

– Зато, – прибавил насмешливо Сафьев, – вы, может быть, душа моя, сделались поверенным важных дамских секретов.

– Послушай, Щетинин, – спросил Леонин, – ты член английских гор?

– Да. Хочешь, я тебя запишу?

– Сделай одолжение.

– Хорошо. Да к чему оно тебе? Холод пристрашный; того и гляди, что заморозишь пальцы или какойнибудь ловкий барин сломает тебе шею.

– Все равно. Скажи, пожалуйста, какие теперь визитные карточки в моде: с гербами или без гербов?

– И, братец! Будто не одно и то же?

– Кажется, что с гербом и золотыми буквами: оно красивее. Их, кажется, у Беггрова заказывают?

– У Беггрова.

– Послушай, не хочешь ли, как меня выпустят, поехать со мной по Невскому верхом?

– Нет, брат, слуга покорный: боюсь простуды.

– Ты бываешь у графини Б. на ее раутах?..

– Бываю.

– А у английского посланника ты бываешь?

– Бываю.

– Как бы перейти мне в гвардию?

– А что?

– Да так... Меня, может быть, пригласят на бал во дворец.

– Может быть.

– Скажи, пожалуйста, ты видел, как я танцую мазурку?

– Не помню, право.

– А что ты думаешь, можно мне будет пуститься в мазурку?

Щетинин посмотрел на Леонина с удивлением.

– Что это с тобой? Откуда эта светскость? Уж не вздумал ли ты пуститься в свет?

– А что?.. А что?.. разве это невозможно? Разве ты находишь, что я недостойн? А я думал, что ты еще поможешь мне: у тебя так много родни и знакомых. Тебе бы легко было меня представить в лучшие дома.

Щетинин покачал немного головой.

– Не советовал бы я тебе...

– Ты отказываешься? – прервал Леонин полуобожженным тоном.

– О, нет! представить могу я тебя кому хочешь; во-первых, всем моим кузинам. Надобно тебе сказать, что в Петербурге у меня кузин целая пропасть: княгиня Галинская, княгиня Красносельская, графиня Воротынская...

– Графиня!.. – закричал Леонин, и весь жар молодости отразился на его щеках. – Ты повезешь меня к ней – она примет меня? Я буду ее видеть? Я буду говорить с ней?

Щетинин улыбнулся. Оба начали курить, и оба задумались.

О чем могли они думать, молодые люди, – нетрудно отгадать. Когда молодой человек курит и думает, то верно положить можно, что в тумане беглых помышлений его мелькают и блещут кудри шелковые, глаза томные, ножки сильфидины – все прелести, все очарования.

Графиня во всем блеске своей красоты являлась Леонину, прекрасная и лучезарная, и как будто манила его за собой в раззолоченные чертоги петербургских вельмож. Леонин мысленно горделиво любовался ею...

О чем же думал Щетинин? Нам, которые нескромно подняли кончик завесы тайны его, догадаться нетрудно.

Он видел перед собой белое платье, волосы, приглаженные за ушами, черный передник, пальчик немного в чернилах, взор потупленный и стыдливый, девочку в пятнадцать лет, в той поре, когда она уже не дитя и еще не женщина, в той поре, когда ей надобно еще учиться, а уже хочется на бал.

Сафьев нетерпеливо барабанил пальцами по окошку; наконец, с взглядом истинного сожаления, обратился он к Леонину:

– Итак, душа мой, вы пускаетесь решительно в свет? Скоро вы решились... Берегитесь, молодой человек: плохо вам будет; у вас нет

ни знатного батюшки, ни знатной матушки, которые могли бы вас выдвинуть вперед...

– Я не прошу увещания, – сказал Леонин.

– Бог тебе судья! – сказал Сафьев. – Но я так давно шатаюсь по свету и по светам разных столиц, что по этой части мои советы могут только принести большую пользу всякому дебютанту. Вот тебе мое родительское наставление и необходимые правила до вступления твоего в санкт-петербургский Faubourg St. Germain [22]. Во-первых, вальсируй мастерски: в свете для бедного человека это единственное средство выйти в люди; волочись всегда за самыми первыми и важными красавицами – слышишь ли? Бог тебя сохрани из неуместной скромности стать в мазурке с каким-нибудь уродом в газовом платье; это могут себе позволить лишь устарелые мазуристы. Для начинающего подобная неосторожность может быть пагубна... Не говори почти ничего или говори вещи самые обыкновенные. Пускай думают, что ты немного глуп: это тебе не повредит, напротив... Будь всегда одет по строгой форме; не позволяй себе ни цепочек, ни лорнетов, никаких вычур армейских франтов, ничего, одним словом, что б заставило тебя заметить. Светской моды ты никогда не достигнешь, но ты можешь достигнуть привычки, то есть к тебе привыкнут, и место твое навсегда будет тебе назначено в четвертой или пятой паре всех мазурок, а имя твое смешано с теми, о которых вспоминают накануне бала и которые забываются на другой день...

Главное дело: не кажись искательным, не торопись знакомиться со всеми; не кланяйся никому низко; танцуй себе да молчи. Знакомства и приглашения придут сами по себе постепенно, тем более, что какая-нибудь дама возьмет тебя под свое покровительство, а прочие пожелают отнять тебя у нее. Но помни одно: цель твоя не может быть та, чтоб о тебе говорили: *c'est in jeune homme distingue* [23]. Оставь это людям богатым и людям с истинным гением. Вся цель твоя заключается в том, чтобы молодые дамы говорили о тебе: *il est vraiment gentil* [24], а чтоб мужья отвечали им, беспечно зевая: *oui... c'est un joli danseur pour un bal* [25]. Когда же ты укоренишься на своем месте, всё вообще прозовут тебя! *e petit* [26] Леонин, и ты, мой бедный *petit* Леонин, будешь *petit* Леонин до восьмидесяти лет. Вот тебе вся карьера твоя. Засим даю тебе мое родительское благословение!

Делай как знаешь. Пора мне ехать домой пообедать.

У меня вино чудесное, а ростбиф такой, что в Лондоне бы на диво. Поедем, Щетинин, обедать.

– Нет, брат, я отозван.

– Как досадно, душа моя! Я не могу обедать один.

Это единственная минута, в которую я имею надобность в людях.

Он взял шляпу и ушел.

– Эгоист! – сказал Леонин.

– Чудак! – сказал Щетинин. – А говорит правду.

Впрочем, я от своего слова не отступаюсь... На будущей неделе у тетки моей большой бал. Если хочешь, я могу достать тебе приглашение.

– Ты меня много обяжешь, – сказал Леонин, пожав ему руку, а потом прибавил мысленно: «Я ее увижу... а там... что будет, то будет...»

V

Представьте себе теперь комнатку Наденьки, комнатку маленькую, о двух окошках с белыми занавесками.

В углу несколько кукол подле толстых лексиконов; у стенки столик с тетрадами и маленьким альбомом. Рядом ширмы и зеркало, а за ширмами кровать.

Неправда ли, в этой комнатке веет какой-то душевной прохладой? В ней, кажется, воздух чище, свет светлее. Все носит в ней отпечаток таких свежих, непорочных впечатлений...

На креслах сидела Наденька и задумчиво перебирала иссохшие цветы, высушенные ею в «Русской грамматике» Греча.

У дверей стояла старушка Савишна, с повязанным на голове платком, и молча глядела на задумчивое личико своей барышни.

Девочка к ней обернулась.

– Что, нянюшка?

– Ничего, сударыня... так... поглядеть пришла на вас. Мадам-то, видно, в гости уехала. Да какое им другое дело, нанятым, прости их господи, как только что по гостям рыскать; а о том не подумает, что вас одних оставляет. Хороши они все!.. Пришла понаведать вас, сударыня, не нужно ли чего...

– Мне скучно!.. – сказала девочка и грустно взглянула на старуху.

– То-то, родная моя!.. А мне-то какво?.. Жила себе век в деревне, с своими, по-своему, и вот на старости лет перетащили меня, старуху неразумную, в Питер, в знатный дом, где все на иностранный лад, и люди-то все иностранцы. Да еще по-немецки хотели меня нарядить.

Видно, и к летам-то почтения нет никакого. Статочное ли это дело?.. Намедни еще графинины горничные так и пристают, чтоб я чепчик надела. Нет, уж как им угодно, а этакого стыда я на себе не допущу.

– В деревне было лучше? – сказала девочка.

– Как не лучше, сударыня? То ли дело: там все свое. Была бы охота, а работы вдоволь; скуки не узнаешь. И в амбар-г-о, и на птичник, и на кухню, и рыжики-то солить, и варенье-то варить, и наливки-то настаивать... Что и говорить! В деревне – там житье; а здесь сидишь себе, сложив руки, как негодная какая, да хлеб только даром ешь.

«В деревне было лучше, – думала Наденька, – в деревне можно было бегать без позволения гувернантки.

В деревне весной распускались деревья. В деревне было весело и свободно. В деревне был свой маленький садик, свои цветы; была своя лошадь, была своя коричневая Корова...»

– Няня, ты помнишь мою коричневую корову?

– Как, сударыня, не помнить! с белыми пятнами...

Чай, присмотра за ней теперь нет никакого. И в доме-то, я думаю, все повытаскали да поломали. Да что и говорить! Все пошло вверх дном с тех пор, как скончалась матушка-барыня – дай бог ей царствие небесное и жизнь вечную!

Нянюшка вздохнула и перекрестилась. Девочка не отвечала ничего: на глазах ее навернулись слезы.

– Ну, и было всегда с кем слово молвить, – продолжала нянька, – не так, как здесь, с этими лакеями, что в позументах ходят да о театрах толкуют... Пойдешь, бывало, к пономарихе или к дьячихе побеседовать; дьячиха-то такая веселая, не видишь, как время проходит; а потом, в праздник, поедешь в гости к соседям, вот хоть к Фоминишне, что у Свербиной в ключницах. Сидишь себе да разговариваешь; иной раз и сама старая барыня выйдет: «А! Савишна! здорово, мать моя...» – «Здравствуйте, матушка Настасья Александровна». – «А что, Савишна, все ли у вас здоровы?» – «Слава

богу, матушка Настасья Александровна». – «Ну, смотрите ж: напоите Савишну чаем. Она у меня гостья». – «Много довольна, матушка Настасья Александровна, благодарим покорно за ласковое слово...» Вот барыня так барыня, не так, как здешние, прости господи! Русская барыня, набожная, нами, бедными людьми, не брезгает. Дай бог ей много лет здравствовать!..

Наденька задумчиво перебирала иссохшие цветы. Перед ней тоже развивалась картина прошедшей деревенской жизни.

Там, на берегу реки, перед густой рощей, серенький домик с зелеными ставнями... В том домике началась ее жизнь. Маленькая, помнила она, что у нее была старшая сестра, и что все говорили, что сестра ее красавица, и что точно она была красавица. Потом, помнила она, что много к ним ездило военных офицеров, но один чаще всех. Вдруг приехал какой-то господин в карете.

Сестра ее три дня плакала. Офицер сердился и кричал, а потом уехал и не возвращался более. После церковь была освещена. Господин стал с сестрой перед налоем.

Ей сказали, что это свадьба. Потом сестра села с господином в карету, и уехала, и с тех пор осталась она одна с матерью своей, и жизнь их была тихая. Езжали они иногда к Свербиной по соседству, а больше оставались дома; и были у нее свои овечки, своя лошадка, своя коричневая коровка с белыми пятнами, и был у нее свежий воздух, и сельская свобода, и жила она жизнью полей.

И минуло ей двенадцать лет. О, это она живо помнила! На дворе была осень. Снег бил хлопьями об тусклые окна. Было грустно везде. Мать ее сделалась больна...

Погода сделалась хуже... Мать ее слегла в постель. Долго ходила она за ней, долго подавала она ей лекарства и не спала ночей у ее изголовья... Зима наступила; такой ужасной зимы она не видывала... Мать подозвала ее к себе, положила ей на голову исхудалую руку, благословила и начала дышать тяжело. Потом занавесили в комнате зеркало, поставили среди комнаты стол, на стол положили ее заснувшую мать, бездвижную и холодную. Пришел священник в черной рясе. Положили мертвую в гроб, унесли ее и положили в землю, и в сером домике осталась девочка одна-одинехонька с нянькой Савишной, которая повязала голову черным платком и каждый день ходила с девочкой в церковь молиться и плакать над свежей могилой.

При этой мысли Наденька взглянула с невыразимым чувством детской любви на старую няньку.

– Ты меня не оставила, няня! – сказала она. – Ты приехала со мною в Петербург, когда сестра меня к себе вытребовала. Ты не хотела со мной расстаться!

– Что ты, что ты, сударыня?.. грех какой! Покойница меня даром, что ли, жаловала? Что я, неблагодарная разве какая? Нет, как мне подчас и ни приходится скорбно, а все-таки от тебя, мое красное солнышко, ни на шаг не отстану.

«И на что променяла я свою прежнюю жизнь! – думала Наденька. – На душную комнату, где окошки занавешены, где нет мне простора. Едва летом, на даче, могу подышать свободно и весело, да и тут мешает мне теперь madame Pointue: все ходит за мной и говорит:

«Держитесь прямо. Не смейтесь. Не говорите громко. Не ходите скоро. Не ходите тихо. Опускайте глаза...» Да к чему это?.. Хоть бы поскорей быть совсем большой!

Когда я буду большая, – сестра мне говорила, – я с ней буду ездить в большой свет. Там должно быть очень весело: уж, верно, весело, потому что сестра каждый день туда ездит. Буду я в театре, буду на балах, буду танцевать с военными кавалерами. А хотела бы я знать, о чем говорят они, когда танцуют?.. Верно, все о любопытном...»

– Няня, дома сестра?

– Кажись дома, сударыня. В колокольчик ударили:

ничто, видно, гость какой наверху.

Наденьке запрещено было ходить к сестре, когда были гости, но ей так на одном месте соскучилось!.. Madame Pointue не было дома. Лицо ее развеселилось, и, легкая, как птичка, она выпорхнула из комнаты.

Графиня сидела на диване у мраморного камина, уставленного бронзами. Кругом ее, на столиках, на этажерках разбросаны все роскошные безделки моды: старый саксонский фарфор, малахиты, веера, дантановские бюсты, кипсеки и целая куча воспоминаний о Карлсбаде, о Вене, о Париже, в виде альбомов, граненых стаканов, китайцев и чернильниц без чернил.

Комната вообще отделана с великолепом. В окна вставлены настоящие стекла средних веков с изображениями из католических легенд и рыцарской жизни; роскошные обои покрыты картинами знаменитых художников; на мягком ковре разбросаны в разных

направлениях гениальные творения Гамбса; наконец, на письменном столике, украшенном письменными излишествами венского мастера, разбросано несколько французских романов и, прошу заметить, единая русская книга, весьма удивленная тем, что находится впервые в столь блестящих чертогах.

Против дивана, на котором небрежно наклонилась графиня, на маленькой кушетке в виде буквы S, полусидел, полулежал Щетинин, в сюртуке, и занимался с графиней светской болтовней...

– Что нового?

– Да говорят, С. к празднику будет камергером. До сих пор многие двери были для него закрыты: авось ключ их откроет.

– Еще что?

– Свадьба в городе. Княжна Б*** решается выйти за своего постоянного обожателя.

– Да она терпеть его не может и два года смеется над ним!

– Это ничего не значит. Он получил наследство, а княжна обогатилась годами. Вчера была помолвка, а нынче она так страстно влюблена, что не надивятся.

– Бедная княжна! Впрочем, свадьба во всех отношениях приличная.

– Поговаривают еще о другой свадьбе, – продолжал Щетинин, – говорят, что два миллиона приданого выходят за приятеля моего, князя Чудина.

Графиня злобно взглянула на Щетинина, а потом улыбнулась.

– Неправда. Это пустые толки. Он и не думает о том:

– Кстати, – сказал Щетинин, – поздравляю вас с новой победой.

– Кто такой?

– Приятель мой, Леонин, который, кажется, с ума сходит... Вы помните, тот самый армейский, к нам прикомандированный, о котором вы намеренно спрашивали с таким любопытством. Он не дает мне покоя, все упрасивает, чтоб я его втолкнул в свет и в знать. Коломенская страсть забыта, ТЛ при вашем имени он смущается и краснеет, как школьник.

«Леонин... – говорила про себя графиня. – Леонин.

Так это точно он... внук Свербиной...»

Она вынула из черного ларчика несколько писем старинного и вовсе не щегольского почерка и, разбирая их, вздохнула глубоко.

– Что это за нежная переписка? – спросил Щетинин. – Неосторожно такие вещи читать при свидетелях.

– Это письма покойной матушки, – отвечала печально графиня, – это последняя ее воля.

Щетинин опустил голову и замолчал, но светская его веселость вскоре опять взяла верх.

– Что же прикажете мне делать с Леониным? – спросил он.

– Привезите его непременно на бал в пятницу и представьте мне. Мне нужно узнать его покороче...

– О-о-о! – сказал Щетинин. – Куда девать вам их всех? И без того у вас целое стадо безнадежных вздыхателей.

– Полноте шутить! Я прошу вас о том не в шутку.

– Слушаю, очаровательная кузина! Вы знаете, что для вас я готов все сделать. Хотите, я поеду обедать к Ф. и буду разбирать с ним каждое блюдо поодиночке?

Хотите, я целый день проведу с устаревшими поклонниками вашими, из которых один открыл Англию, а другой Италию? Хотите, я поеду в русский театр? Хотите, я буду играть в вист с вашей глухой тетушкой, а потом поеду слушать стихи Л... и повести С-ба?.. Все жертвы готов я вам принести. Прикажете только – и я буду танцевать... что я говорю, танцевать! я буду влюбляться во всех уродов, которыми так расточительно изобилует наш прекрасный Петербург...

Щетинин вдруг остановился в порыве своего светского злоречия...

Малиновая занавес двери тихонько приподнялась, а за нею показалась прелестная головка Наденьки, которая боязливо озиралась вокруг. Щетинин вскочил с своего места. Все мишурное его красноречие исчезло; он смутился и молчал.

Графиня с неудовольствием взглянула на сестру. Появление Наденьки рушило одно из ее заблуждений.

Чтоб это вполне истолковать, надо сперва вникнуть в сущность жизни светской красавицы. Тесный круг, в котором она сияет, – ее царство, красота ее – венец, толпа обожателей – ее подданные. Потому все другие женщины ей – соперницы, а другие красавицы – природные враги, которые силою прелестей грозят отнять у нее и царство и подданных.

Графиня не любила Щетинина и, как всем и всякому было известно, явно кокетничала с князем Чудиным, но не менее того князь

Щетинин, как мы видели выше, был лестным достоянием для модной женщины. Графиня видела его у ног своих с чувством особого удовлетворенного самолюбия – и вдруг истина обнаружилась; при первом движении Щетинина, с этим инстинктом, которым одарены одни женщины, она разом отгадала его тайну, а притом заметила, в первый раз, что сестра ее уже не ребенок и что скоро, очень скоро, Наденька затмит ее своей красотой.

– Надина, madame Pointue уехала?

– Уехала, маменька.

Наденька называла сестру свою маменькой.

– Поди-ка сюда да сядь с нами. Вы, князь, сестры моей не знаете?

Позвольте мне вам ее представить.

Щетинин неловко поклонился.

– Я имел уже честь...

– И, полноте!.. Она еще ребенок... Я думала, что вы еще ее не видали.

Графиня пристально взглянула на Щетинина. Щетинин покраснел.

«Черт побери эту женщину! – подумал он. – От нее ничего не скроешь!»

Наденька простодушно глядела на офицера и припоминала, как она встретила его однажды, в одно прекрасное утро, на даче, где ей привелось побегать еще по-прежнему.

Графине было чрезвычайно досадно.

– Вы удивительно расположены нынче, – сказала она, – всем досаждают. Ваша шутка уничтожает, как ножик; против нее нет защиты. Недаром прослыли вы таким злым человеком! Осмеять друзей своих, родных – для вас ничего не значит! Да и то правда, вы никого не любите?..

– Я люблю друзей своих, – отвечал вспыльчиво Щетинин, – вот хоть князя Чудина, например. Поверьте, что все советы мои могут только клониться к его пользе.

– Надина, прикажи, чтоб закладывали карету, да ступай одеваться: я возьму тебя нынче с собой.

Наденька вышла.

– Не правда ли, что она очень хороша? – спросила с улыбкой графиня.

Щетинин, в знак согласия, кивнул головой.

- Еще дитя, кажется, а вообразите, уж помолвлена...
- Помолвлена! – воскликнул Щетинин.
- Да. Это тайна, разумеется; но вам, как родному, ее можно поверить. Не говорите только о том никому...
- А что, Тальони танцует сегодня?..
- Танцует... кажется...
- Приходите ко мне в ложу...
- Оба встали.
- В это время Наденька тихо возвращалась в свою комнату.
- Няня! – спросила она. – Ты знаешь князя Щетинина, который бывает у сестры?
- Видала, кажется, чернобровый такой.
- Няня, говорят, что он злой человек.
- Быть может; да какое нам, матушка, до них дело?
- Жалко, няня!
- И, матушка, Христос с ними!

VI

Ах, ma chere [\[27\]](#), какая она жантильная!

(Институтский Словарь)

M-me Armidine, первая красавица целой Коломенской части, была точно очень недурна собой. Влюбчивые флотские капитан-лейтенанты рассказывали о ней в Кронштадте товарищам с удивительным жаром; многие столоначальники, даже несколько начальников отделения нередко задумывались о ней, согнувшись над делом и забывая нужную для доклада справку. О ней и в Измайловском полку поговаривали с удивлением; о ней и на Васильевском Острове упоминали с завистью. Она точно была очень недурна собою, но, сказать по секрету, красоте ее вредила какая-то странная жеманность и принужденность в обращении. Она говорила с ужимками, делала маленький ротик, щурила глаза, притворялась слабонервной и чувствительной, одним словом, всячески старалась подражать обветшалым манерам, которые она предполагала в дамах высшего круга.

Мать ее, Нимфодора Терентьевна, вдова промотавшегося откупщика, была добрая, толстая женщина, созданная гораздо более для Москвы, чем для Петербурга.

Верная старине своей, она не изменила костромского образа жизни и не заразилась заморскими причудами: ела за обедом огромные кулебяки, пила после обеда квас, бранилась за картами и, по преданию всех матерей, имеющих товар, готовый для сбыта, давала каждое воскресенье вечеринки для сбора женихов – хитрость старинная, не всегда удачная, но в большом употреблении в Коломне и в Москве.

В Петербурге, как, может быть, известно вам, образованный класс (я разумею людей чиновных, дворян, служащих и отставных, одним словом, сословие более или менее классное) разделяется на различные слои. Высший присвоил себе название хорошего общества, а прочие гнезятся около него и всячески, как *m-lle Armidine*, стараются ему подражать. Эти второстепенные общества как будто карикатуры первого: они тоже имеют своих красавиц, своих франтов – все то же, только в другом размере. Малодушное тщеславие, которое в высшем обществе прячется под золото одежды и мишуру разговора, тут явственнее и досадней: тут только и речи, что о знати да о чинах, да о знатном родстве, да о будущих милостях; о том, кто получит ленту, о той, кто будет к празднику фрейлиной, да о платье такой-то графини, о парике такого-то князя; одним словом: все хочет казаться значительнее того, чем бог создал. Со всем тем вы тут найдете ту же зависть, те же расчеты, которые господствуют в первом обществе, но не найдете того лоска образованности, той непринужденности *de bon ton* [28] – извините за слово, – которые исключительно отличают избранных высшего круга.

Леонин, проведший детство свое под крылышком бабушки, а потом в губернской гимназии, не имел понятия о подобных подразделениях. Быв, при самом приезде в Петербург, представлен в дом Нимфодоры Терентьевны одним из своих товарищей, он был чрезвычайно счастлив, что мог влюбиться в существо столь отличное, столь идеальное, как *m-lle Armidine*. Она была такая очаровательная, она так мило выговаривала *monsieur... Leonine*, она так мило рисовалась поэтической, воздушной, неземной... Корнетское воображение разгорелось, и Леонин каждое воскресенье выпрашивал себе мазурку и, облакачиваясь на стул коломенской Сильфиды, тихо

шептал ей о счастье супружества, о рае взаимной любви. Тогда речь его была восторженна, мечты пылкого сердца изливались звучными словами, и он яркими красками изображал, как сладко любить в жизни и как сладко жить вдвоем.

Но был ли он влюблен точно?

Я, по известным причинам обязанный знать все его тайны, должен откровенно сознаться, что нет. Чувство его было какое-то тревожное, полуребяческое, девятнадцатилетнее, которое в каждой хорошенькой женщине ищет осуществления своей мечты; к тому же вкрадывалось и лестное очарование удовлетворенного самолюбия.

Хотя m-lle Armidine была до крайности воздушна, но не менее того мысль о замужестве имела для нее, как и для всех барышень, особую завлекательность. Она глядела иногда на Леонина так томно, так томно, а потом вздыхала... И лучшая ее улыбка была для него, и самое задумчивое слово было для него... «Бедная девушка, как она влюблена! – думал Леонин. – Она мне неограниченно отдала свое сердце, она любит меня до безумия... и неужели я буду неблагодарен? Нет, вопреки бабушке, вопреки целому свету я должен оправдать ее доверие... Я женюсь на ней, я хочу на ней жениться, я должен на ней жениться!..»

Так прошло несколько месяцев. А пока... молодой корнет опяделся, получил понятие о другой сфере, сделал некоторые знакомства, между прочим, с Сафьевым, который, по необыкновенной в таком человеке странности, чрезвычайно полюбил его и начал объяснять ему жизнь по-своему.

И вдруг на вечеринках в Коломне не стало моего Леонина... Прошло несколько воскресений сряду – и стул подле m-lle Armidine не был уже занят пламенным корнетом. M-lle Armidine была расстроена и смеялась еще принужденнее, чем прежде.

А Леонин, неблагодарный Леонин, переставал постепенно о ней думать. Развлечения Петербурга все более и более его увлекали, заглушая внутренний голос совести, укоряющей его грозно в предосудительном поступке с семейством, где он был обласкан и принят как родной. Знакомство с графиней довершило неблагодарность.

Он представил себе, как сладостно, как неизмеримо упоительно быть втайне любимым подобной женщиной и быть ей светлою отрадой

между блестящих мучений и улыбающегося горя великосветского быта!

Приглашение на бал княгини было доставлено Щетининым. Наступил день бала.

VII

Галантерейное обхождение...

(«Ревизор», д. II, явл. I)

Выразить ли вам, с каким трепетом он подъезжал, в своей наемной карете, к иллюминированному крыльцу?

Для него начиналась новая жизнь, и он чувствовал, что новая жизнь его будет не без трудов, не без огорчения; но вдали, между яркими приманками, сиял чудный лик графини, и он с гордостью чувствовал в себе столько страсти, столько любви, чтоб всем пренебречь и утешить ее в светском одиночестве. Он живо припомнил всю страстную исповедь ее бесстрастной жизни. Он мысленно повторял слово в слово все, что он слышал от нее во время маскарада, когда душа ее, вся непонятная ее душа выражалась тихими жалобами и просила высших наслаждений, и просилась к чудному небу любви непонятной и бесконечной.

Карета подъехала.

У подъезда стоял квартальный и толпился народ.

Лестница, устланная пестрым ковром, была с низа до верха покрыта душистым лесом растений и цветов – целое лето среди трескучих морозов. На ступеньках чинно стояли по два в ряд разряженные лакеи в бархатных ливреях, с княжескими гербами. Леонин прошел далее.

Залы штофные, мраморные сияли одна за другой тытячами огней. Вельможи, в звездах, толпились около карточных столов. Вдали раздавались увлекательные порывы бальной музыки. Женщины, покрытые брильянтами, увенчанные цветами, в тканях прозрачных и воздушных, порхали по зеркальному паркету под шумный говор пестрой толпы, среди целого хаоса перьев, аксельбантов, орденов, лорнетов и довольных лиц.

Северные красавицы! петербургские красавицы! светлые воспоминания! зачем останавливаются имена ваши на устах моих и я не смею изобразить вашу стройную толпу в моем рассказе? Сколько вас на бале! одна подле другой, одна лучше, другая прекраснее! Глаза разбегаются, сердце рвется на части, а душа всех вас обнимает... Тут и вы, черноокая краса севера: на вас забываешь смотреть, чтоб вас слушать, забываешь вас слушать, чтоб на вас посмотреть! Тут и вы, Эсмеральда, воздушная, как мысль, беззаботная, как счастье! Тут и вы, краса Германии, – и вы, царица пения, отголосок юга на севере, – и вы, волшебница красоты, чарующая в волшебном своем замке, – и вы, с которою я вальсировал так много прежде, – и вы, которую я любить не смел, – и вы, которую я звал настоящей, потому что соперниц не могло вам быть! – все вы тут, все прекрасные, незабвенные – и бедный мечтатель стоит пораженный перед вами, с любовью и благоговением.

Каково же было Леонину?..

Из маленькой комнаты Армидиных, где шесть пар приезжих из губерний барышень прихрамывали кое-как в контрдансе, под звук уныло расстроенных фортепьян, вдруг перейти в идеальный мир волшебства, где все – цветы и золото, и красота, где все для глаз, все для чувств, все для наслаждения.

Он не помнил, как Щетинин подвел его к хозяйке, не помнил, что он ей поклонился, что она ему сухо кивнула головой и что он отошел в сторону; он помнил одно...

Глаза его среди пестрой толпы остановились на графине. Подле графини стоял Щетинин.

Щетинин казался чрезвычайно весел и, схватив Леониного под руку, подошел с ним к красавице.

– Очаровательная кузина! – вот вам рекрут, приятель мой Леонин.

Как хороша была графиня! Как прозрачен газовый тюник, удержанный на пышном белом платье цветами и изумрудами! На груди брильянты вокруг огромных изумрудов; над полуспущенными перчатками блестящие браслеты; на голове изумруды и цветы.

Леонин оробел и снова, как и в первый раз, чувствовал себя смешным и неловким.

Графиня прелестно улыбнулась... Какая женщина не чувствует своего могущества? Она сказала несколько слов про жар, про давку, про усталость и число ожидаемых балов, и сказала так весело, так мило,

что бедный корнет не верил своим ушам. Перед ним стояла та самая женщина, которой сердечный вопль так сильно потряс его душу. Судя по недавним впечатлениям, он воображал ее неловко-грустною и рассеянною в общем шуме, с тяжким горем в душе – а в ней ничто не обнаруживало ни малейшего волнения; она была вся олицетворенный бал, без скрытой мысли, довольная настоящим, не видя ничего далее первого вальса, ничего выше стен бальной залы. Он уже думал, как говорить ей о возмездиях любви небесной, а она беззаботно играла веером и говорила ему шутливо:

– Хотите танцевать со мной третью?..

Леонин вспомнил тогда об окружающей толпе. Он взял графиню за руку и с трудом упрочил себе местечко, где едва, следуя правилам кадрили, мог он повернуться с своей дамой. При появлении его легкий шепот пробежал по строю танцующих:

– Кто этот офицер?

– С кем танцует графиня?

– Откуда он?

– Что он?

– Кто его представил?

– Представил его князь Щетинин. Зовут его т-г Leonine.

– А что такое т-г Leonine?

– М-г Leonine – больше ничего.

– А!!.

Кадриль началась. Леонин приободрился и начал говорить с графиней о зимних удовольствиях, о балах, о маскарадах...

– Вы любите маскарады?.. – спросил он тихо.

– Я? – сказала графиня, взглянув на него с простодушием ребенка. – Вообразите, что я не знаю, что такое маскарад. Я боюсь масок и сама, как меня ни уговаривали, никогда не могла решиться надеть маску... Это настоящее ребячество.

Леонин изумился. Голос, который с ним говорил, был, без сомнения, голос незабвенного домино. «Неужели, – подумал он, – владеет графиня до такой степени способностью откровенно говорить неправду?»

За ним раздался голос.

– Здравствуйте, графиня!..

Генерал, обвешанный орденами, со шляпой, закинутой под мышку, подошел к красавице, закручивая усы.

Леонин обмер: это был начальник его, который, говоря военным слогом, распекал его на всяком ученье. Он уже хотел было отступить, но генерал дружески потрепал его по руке, скромно спросив:

– Я не мешаю?

– О, напротив!

– Никак нет, ваше превосходительство!

– Знаю, прекрасная дама: вы хотели бы видеть здесь не меня, седого старика, – продолжал генерал, приосанившись молодцом.

Графиня вспыхнула.

– Не бойтесь... Скромность – достоинство стариков... Ваш наряд нынче удивителен, как всегда. Моды и сердца признают вас своей повелительницей. Кроме одного человека, здесь, кажется, все одного мнения.

– Право?

– Все, кроме одного, – Кроме кого же?

– Разумеется, кроме вашего мужа, – отвечал, рассмеявшись, генерал.

– У меня до вас просьба, генерал, – сказала графиня.

– Прикажите только. Вы знаете, что я покорный раб ваших повелений.

– Приезжайте ко мне завтра. Если вас не пугает быть со мной наедине, то я жду вас перед обедом.

– Ради стараться!

Генерал с видом весьма довольным закрутил усы и скрылся в толпе.

– Вам надо перейти в гвардию, – сказала графиня.

– Да, мне обещано... Только, говорят, очень трудно.

– Я попрошу его завтра об этом. Хотите мне поверить ваши деда?

– Как, вы хотите быть столько добры?..

Леонин взглянул на графиню с упоением.

«Как хороша! – подумал он сперва, а потом прибавил: – А я буду в гвардии».

В эту минуту кто-то взял его за руку.

– Здравствуйте, душа моя!..

– Сафьев...

Графиня поспешно отвернулась. Сафьев стоял перед ней с своей вечной улыбкой, с пальцем, задетым за жилет. Кадриль кончилась. Сафьев взял корнета за руку, и оба вышли в боковую гостиную, где они уединенно расположились на штофной кушетке.

– Мне кажется, душа моя, – сказал Сафьев, – что ты действительно глуп. Как можно бегать за светской женщиной, да еще избалованной и прекрасной! Чего ты хочешь? чего ты ищешь?.. Да знаешь ли ты, что такое светская женщина? – существо равнодушное, полуплатье и получепчик. Она живет только поддельным светом, украшается поддельными цветами, говорит поддельным языком и любит поддельною любовью. Поверь мне, братец, все это вздор! Влюбиться в Петербурге, в обществе бесстрастном – непростительно...

– Что ж делать! – отвечал Леонин. – Я чувствую себя под влиянием какой-то сверхъестественной силы.

Я вижу, что графиня не то, что я воображал прежде, и не менее того она мне еще больше нравится, чем когда-нибудь. Судьба моя – любить графиню... Не смейся надо мною. Мне и сладостно и горько, но я чувствую, что я не могу ее не любить.

– Но взгляни вокруг себя. Как, неужели не приходило тебе на ум, что любовь в гостиной имеет что-то карикатурное? Вообрази себе пышную комнату с ковром, с обоями и картинами; на штофных креслах сидит дама – хорошенькая, правда, немного подрумяненная, с узкими рукавами, в перьях, в брильянтах... против нее, на других штофных креслах, сидит франт, сорвавшись с последней модной картинки, в высоком галстухе, в желтых перчатках, с лорнетом, с головой завитой, как пудель... и вот они говорят о-бенефисе, говорят о свадьбах, о новостях, а потом слегка коснутся до непонятных чувств сердца – и это любовь? и это не опротивело тебе, душа моя? и ты храбро принял на себя плаксивую роль вздыхателя? И чего ты надеешься?.. Думаешь ли ты постоянством дойти до того, что любовь твоя проникнет сквозь блонды и бархат в сердце той, которую ты любишь?

Вздор опять. Здешние женщины взволнованы все какой-то беспокойной заботливостью. Подойди к любой, скажи ей несколько слов и наблюдай за ней – она отвечает тебе и улыбается тебе, а глаза ее разбегаются по пестрой толпе и ищут новых взоров, новых впечатлений. Все они похожи друг на друга. Улыбка тебе, и то

мгновенно, а желание или болезнь нравиться не для тебя, бедного франта, с твоею любовью, с твоим постоянством, а для всех – слышишь ли? для всех желтых перчаток, для всех аксельбантов, для всех эполет...

Тут Сафьев заметил, что Леонин не слушал его более.

Бал горел ослепительным светом, пары кружились в шумной мазурке. Наступала пора, когда все лица оживляются, когда взоры становятся нежнее, разговоры выразительнее. Лядов заливался чудными звуками на своей скрипке. В воздухе было что-то теплое и бальзамическое.

Казалось, жизнь развертывалась во всей красоте.

– Любили ли вы когда? – говорил на ухо графине высокий адъютант, играя кончиком своего аксельбанта. – Любили ли вы когда? – повторил он, поглаживая усы... – Любили ли...

Молодая женщина прижала веер к губам, рассеянно бросила взгляд на свой наряд и отвечала вполголоса:

– Не знаю.

Адъютант провел рукой по воротнику.

– Как, – сказал он, – это не ответ!

– Вот что, – прервала графиня, – вы несносны с вашими вопросами. Я с вами никогда танцевать не буду.

Какое вам дело, любила я или нет? Скажите мне лучше что-нибудь новенькое. Где вы были сегодня? кого видели?

– Я дежурный нынче. Кроме просителей, не видел никого.

– А нынешний год нет английских гор?

– Нет. А вы любите английские горы?

– Без памяти. Отчего их нет нынешний год?

– Не знаю. А жаль!

– Очень жаль... Как... жарко!

– Очень жарко.

– Кто начнет мазурку?

– Саша Г.

– Нам делать фигуру.

Графиня выбрала Леонина, который, стоя в уголку, пожирал ее глазами.

Бал все более оживлялся. Северные красавицы порхали по паркету; гвардейские мундиры и черные фраки скользили подле них,

нашептывали им бальные речи; несколько генералов толпились у дверей, держась за рукоятку сабли и приложив лорнеты к правому глазу.

Опершись у колонны, высокий молодой человек, разряженный со всей изысканностью английского денди, смотрел довольно презрительно на окружающую толпу; сардоническая улыбка сжимала его уста. Он в мазурке не участвовал.

– Сомнение или надежда? – сказал вдруг флигель-адъютант, подводя ему двух дам.

– Сомнение, – отвечал он небрежно.

Выбранная дама улыбнулась.

– Вы, кажется, сантиментальничаете с вашим адъютантом, – сказал насмешливо князь Чудин, едва шагая по паркету. – Берегитесь: он человек ужасный.

– Он надоел мне, – отвечала графиня, – он такой скучный.

– А скажите, пожалуйста: кто этот робкий юноша, в первый раз показавшийся нынче в свет под вашим крылом?

– Прекрасный молодой человек, семейный наш приятель. Он чрезвычайно мил и умен. М-г Leonine.

– Право?.. радуюсь вашей находке.

«Хитрость моя удалась, – думала графиня: – ему досадно... ему очень досадно!»

Леонин стоял у ее стула.

– Графиня, – сказал он, – вы со мною танцевать больше не будете?

– Попурри хотите?.. – сказала она.

«Я счастлив, невероятно счастлив! – думал, отходя, Леонин. – Я ей понравился».

Мазурка превратилась уж в вальс. Локоны развились по плечам. Многие разъехались. Двери ужинной залы распахнулись.

Лядов опять заиграл... Начался поপুরри.

В зале было тогда свежо. Немного пар кружилось в упоительном вальсе. Леонин несся, как будто не касаясь земли. Графиня легко упиралась на его руку, и оба, трепещущие от удовольствия, оживленные своею молодостью, неслись весело на паркете. И Леонину было так хорошо, так сладостно, что голова его терялась, и ему чудилось, что он перенесся в другой мир, где упоительные звуки подымали душу его выше облаков.

II Мазурка

VIII

Vanitas!.. [29].

Промчалось два года. Петербург все весел и танцует по-прежнему. Несколько новых морщин появилось на лицах наших друзей и знакомых. Красавицы наши немного подурнели, франты наши поистощили немного своей любезности. Несколько особ, к которым мы привыкли по месту их в первом ряду кресел во французском театре, несколько женщин, с которыми мы недавно еще шутили и любезничали на бале, вдруг выбыли из семьи большого света и улеглись на душных могилах в Невской Лавре, оставив по себе лишь несколько условных восклицаний сожаления в устах мгновенно опечаленных друзей. Петербург все весел и танцует по-прежнему. Новые лица, новые женщины заняли опустевшие места в театре и на бале; новые толки, новые сплетни занимают петербургское общество, которое, как парадная свадьба, переносясь каждый вечер из дома в дом, по-старому выказывает свои чепцы и фраки, по-старому оживляется при звуках скрипки или засыпает над бесцветностью светской болтовни.

Случалось ли вам когда-нибудь прислониться к стенке и всматриваться во все эти странные лица, которые, как будто в угоду вам, вертятся перед вами с такими милыми улыбками, с такими чистыми перчатками? Случалось ли вам стараться разгадать все пружины, которые заставляют их двигаться? О! если б вникнуть в судьбу каждого: сколько непонятных тайн вдруг бы обнаружилось! Сколько развернулось бы разительных драм! Что если б, подобно тому, как мы видели в «Хромом колдуне», театр наш вдруг обернулся к вам задом и, вместо пышных декораций, вдруг увидели бы мы одни веревки да грубый холст? Я думаю, что смешно и страшно видеть большой свет наизнанку! Сколько происков, сколько неведомых подарков! сколько родных и племянников!

сколько нищеты щегольской! сколько веселой зависти...

И все идет, все стремится, все бежит вперед...

Вперед, вперед... выше, выше... А куда вперед, куда выше? – неизвестно. Одно слово все живит и двигает.

И такое слово!.. самое бессмысленное – тщеславие!

Итак, тщеславие – вот божество, которому поклоняется столичная толпа! Житель степной деревни не может постигнуть, сколько занятых рублей, сколько грядущих урожаев уничтожается в один вечер для пустой чести занять почетное место между людьми, которых вовсе не любишь, а иногда и не уважаешь. А что еще хуже, сколько людей, которые во всей своей жизни, без своебытности, без достоинства, стремятся к внешним лишь отличиям, занемогают от зависти при повышении в чин своих сверстников и умирают несчастливые, сердитые, недовольные, не достигнув своей недостигаемой цели, которой они пожертвовали всей жизнью, не насытив вполне своего ненасытимого тщеславия!..

Такое общее стремление великосветского сословия легко может объяснить характер нового лица, которого мы не видали еще в моем рассказе. До сего времени я говорил лишь о графине, а о графе ни полслова. Дело обыкновенное: когда глядишь на жену, не хочется думать о муже!

Но теперь, хотя-нѣхотя, а пора нам вызвать графа и посмотреть на графа в частной его жизни.

Вы его, вероятно, знаете или знали в минуту, когда он был перед вами. После вы его забыли, потому что резкого в нем ничего нет. Лицо его обыкновенное, разговор обыкновенный; он самый обыкновенный человек между самыми обыкновенными людьми, но он всегда подле какого-нибудь значительного, как необходимый отблеск светского величия. Он смеется лишь шуткам первых трех классов; он играет в вист только с министрами; он приглашает к обеду одни лишь звезды да толстые эполеты; о нем говорят как о дополнении к прочим лицам, но никто о его единственности никогда не думал.

Граф Воротынский провел первую молодость свою в Петербурге гвардейским офицером старинных времен; потом, когда отец его умер и наследство досталось ему в руки, он из казарменных повес вдруг переродился во фрак, заграничным Ловеласом, и пустился бегать за удовольствиями и хвастать своими победами.

Так прошло несколько лет между чувствительными баронессами карлсбадских вод и закулисными богинями маленьких театров. Усталый от жизни счастливого волокиты, граф возвратился разочарованным щеголем в Петербург.

Тогда заметил он с огорчением, что все сверстники его первой молодости давно уже обогнали его на стезе почестей и отличий и что иные даже говорили ему тоном покровительства.

Граф не был дурной человек, не был человек глупый, но был человек тщеславный. Ему было нестерпимо досадно ничего не значить там, где все значат что-нибудь. Он решился если не догнать своих соперников, то по крайней мере присвоить себе то, для чего еще по-русски нет, слава богу, названия, а что по-французски называется *une position dans le monde* [30]. Случай прекрасно послужил его намерению. Для некоторых хозяйственных распоряжений отправился он в свои деревни и там, в соседстве, увидел красавицу, перед которой он остановился с изумлением и радостью. То не был трепет любви, но опытный расчет прозорливого тщеславия. Как человек много видевший, он высоко ценил могущество прекрасной женщины в свете. Владетель большого родового имения, не вполне еще задавленного долгами, супруг жены-красавицы, с щегольским домом и с хорошим поваром – для него открывалось самое блистательное значение в петербургском обществе. Правда, что аристократическое чувство его немного страдало. Но кому придет в голову в Петербурге расспрашивать: кто был дед его жены, если жена его красавица? А когда она будет носить его имя, разве нельзя будет облечь прошедшее тайной непроницаемой?..

Предложение было сделано. Граф слышал также, правда, стороной, что девушка отдала сердце свое какому-то офицеру, но граф его не боялся. Неужели звучное имя, большие доходы и все приманки света не превозмогут очарований провинциальной любви? К несчастью, он не ошибся. Несколько дней прошло в мучительной борьбе, и наконец бедная девушка отказала своему жениху и согласилась на предложение графа. Скоро их обвенчали, утром, осенью.

В церкви было пусто. В уголку лишь стояла маленькая девочка с нянькой Савишной, и обе плакали – старушка потому, что ей жаль было своей барышни; дитя – потому, что ей жаль было, глядя на

старушку. И в то же утро граф сел с молодой супругой в дорожную карету и навсегда умчал ее из деревни, где она жила так долго, без суетных прихотей и мелких требований света.

Прочь от меня мысль опорочить мою графиню!

Прочь от меня злое намерение оклеймить ее презрением и бросить на суд чувствительных барышень. Увы! все в мире шатко, все в мире непродолжительно! Не браните молодую девушку, которая предпочла блеск и шум тихой семейной жизни. Увы! мы до того жалки, что еще заранее разгадываем будущие судьбы своего сердца... Графиня моя, бедная, не нашла в себе довольно твердости, чтоб счастливо и безропотно провести жизнь свою с армейским майором, в душных избах, на военных квартирах, в кампаентах среди непрерывных беспокойств бедной и бивачной жизни.

Любовь ее была ленива. Она испугалась усталости и плупой сущности. Жизнь по бархату, по золоту лукаво ей улыбнулась. Бедная женщина заплакала и протянула ей руки... Бедная графиня!.. Но я опять забыл о графе, а граф необходим для моего рассказа; делать нечего, войдем в его покои.

Все в них пышно и великолепно, везде бронзы, картины, везде чудеса моды и искусства, но, рассматривая внимательно все драгоценности графского дома, наблюдатель с первого взгляда заметит, что все это собрано в блестящую кучу не для собственного наслаждения хозяев, не для домашнего уюта, а для пустой выставки, для ослепления посетителей, одним словом, для роскоши парадной, самой плупой из всех роскошей.

В прекрасном кабинете, уставленном шкапами с неприкосновенными книгами, на восточном диване лежал граф в бархатном халате и казался очень расстроен. Он перебирал в руках листок парижского журнала, но мысль его была далека от прений французской политики. Казалось, он ожидал кого-то и в беспокойном ожидании невольно бормотал несвязные слова.

– Отказать или не отказать? Человек, как я, не должен компрометироваться. Я откажу, решительно откажу... Просто-таки откажу. Ну, а если хуже будет?

Скажут, что я отказал? Ну, каково же будет, если узнают, что я отказал? Да и жена моя... Что скажут? Не отказать – нельзя, решительно нельзя. Человек, как я...

Люди, как мы... Нельзя...

Вдруг в соседней комнате послышались шаги. Граф вскочил с дивана. Дверь отворилась, и Сафьев вошел в комнату.

Оба поклонились друг другу учтиво, сухо и не говоря ни слова. Графу было как будто неловко, а Сафьев казался важнее обыкновенного.

Наконец он начал.

– Г-и Леонин, – сказал он, – сделал мне честь выбрать меня в свои секунданты.

Граф поклонился и отвечал немного смутившись:

– Вам известно, что я... что мы... что Щетинин просил меня...

– Я для этого и имею честь быть у вас. Наше дело условиться о времени и месте поединка, выбрать пистолеты и поставить молодых людей друг перед другом.

Граф побледнел. Что скажет граф Б.? Что скажет граф Ж.? Человек, как он, замешанный в подобную историю!.. Если о ней узнают, ему навек должно бежать из Петербурга.

– Вы полагаете, – прошептал он с усилием, – что нет возможности помирить молодых людей?

– По-моему, – небрежно отвечал Сафьев, – всякая дуэль – ужасная глупость, во-первых, потому, что нет ни одного человека, который бы стрелялся с отменным удовольствием: обыкновенно оба противника ожидают с нетерпением, чтоб один из них первый струсил; а потом, к чему это ведет? Убью я своего противника – не стоил он таких хлопот. Меня убьют – я же в дураках. И к тому же, извольте видеть, я слишком презираю людей, чтоб с ними стреляться.

Сафьев пристально взглянул на графа. Граф еще более смутился.

– Есть такие обиды, – продолжал Сафьев, – которые превышают все возможные удовлетворения – не правда ли?..

– Может быть.

– Например, отнять невесту. Иной за это полезет стреляться, будет выть, как теленок, и сохнуть, как лист, – не правда ли... я у вас спрашиваю: не правда ли?.. Так... Ну, а по-моему, первая невеста в мире не стоит рюмки вина, разумеется, хорошего! женщин обижать не надо... Впрочем, не о том дело. Я вам должен сказать, что юноша мой очень сердит, не принимает объяснений и хочет стреляться не на живот, а на смерть.

Завтра утром.

– Завтра утром? – повторил граф.

– За Волковым кладбищем, в седьмом часу.

– Но... – прервал граф.

– Барьер в десяти шагах.

– Позвольте... – заметил граф.

– От барьера каждый отходит на пять шагов.

– Однако... – заметил граф.

– Стрелять обоим вместе. Кто даст промах, должен подойти к барьеру. Разумеется, мы будем стараться не давать промахов.

– Но нельзя ли... – завопил граф.

– Насчет пистолетов будьте спокойны: у меня пистолеты удивительные, даром что без шнеллеров по закону, а чудные пистолеты.

Граф был в отчаянии.

Отказаться вовсе от участия в поединке было ему невозможно; с другой стороны, будущность его развертывалась перед ним в самом грустном виде. Вся светская важность его исчезла, и, по мнению света, из людей значащих и горделивых он вдруг делался мальчиком, шалуном, секундантом на дуэлях молодых людей. Во всяком случае, надо было бежать из Петербурга, тогда как обещан ему был золотой мундир и министр два раза приглашал его обедать.

Вдруг дверь распахнулась, и графиня в утреннем наряде, с длинными висячими рукавами, в кружевном маленьком чепчике, всегда прекрасная, всегда пышная, вошла в комнату.

– К вам от министра приехал нарочный, – сказала она, обратясь к мужу. Граф бросился к передней.

Графиня подошла к Сафьеву.

– Завтра, – проговорила она поспешно, – завтра они должны стреляться? Ради бога, помешайте им!

– Славный у вас дом! – отвечал беспечно Сафьев. – Я в первый раз имею счастье быть у вас. А все как следует: лакированный подъезд, толстый швейцар с перевязью и дубиной. Славный швейцар!

Графиня продолжала:

– Ради бога, не допустите их стреляться! Это от вас зависит.

– И к тому ж, – заметил Сафьев, – на лестнице статуи; и ковер очень хорошего выбора. У вас, графиня, много вкуса, я никогда в том не сомневался.

– О, если бы вы знали, как я мучусь! Я всю ночь не спала.

– Несмотря на то, у вас цвет лица прекрасный, и платье у вас удивительное, и чепчик тоже чудо. Надо вам отдать справедливость, графиня, вы славно одеваетесь.

Графиня закрыла лицо руками и заплакала. Сафьев, задев палец за жилет, стоял в молчании подле нее и насмешливо улыбался...

– Что угодно вам от меня? – спросил он наконец, смягчив немного свой голос.

– Помешайте им стреляться! помирите их!

– И, графиня! У нас в Петербурге стреляются много на словах, а на пистолетах немного охотников. Мы, люди степенные, знаем, что это глупость. И к чему заниматься вашему сиятельству такими страшными предметами? У вас, может быть, платье не готово к завтрашнему балу, или, чего боже сохрани, вы, может быть, еще не знаете, какие цветы надеть на голову?

Прекрасные глаза графини засверкали под влагою слез взглядом ненависти и гнева.

– О! – сказала она. – Вы каменный человек! Вы вечно будете неумолимы и безжалостны ко мне!

– Да к чему мне разнеживаться? – отвечал Сафьев. – Я очень рад, что есть модный граф и модная графиня, которые боятся и ненавидят Сафьева. Было время, когда Сафьев был гусарским офицером и влюблялся как ребенок, и любил как ребенок, и верил во все шутовства жизни. Теперь Сафьев не тот: Сафьев понял, что прежде всего на свете нужны деньги, и не для других, а для себя; и Сафьев нажил теперь себе деньги и живет не для других, а для себя. А главное удовольствие его – ездить в большой свет. Зачем же не ездить ему в большой свет? Теперь, кто захочет, может ездить в большой свет. Только Сафьев не танцует, потому что не умеет, да и неловок, да стар уже немного. Только Сафьев ничего не доискивается: ни чина, ни невесты. Ему ничего не надо: у него одна только цель, одно удовольствие... Зачем не иметь ему своего удовольствия? Он одного только хочет: видеть первую красавицу Петербурга, встречать женщину, которая в старину, во время взаимной простоты, клялась ему прекрасными словами и продала его при первом случае первому попавшемуся человеку. Для этой женщины Сафьев – спутник неотвязчивый: она в Петербурге – он в Петербурге, она за границей – он едет за границу, она говорит – он подслушивает ее

слова, она улыбается – он переводит ее улыбку, она плачет – он переводит ее слезы, она под маской – он называет ее под маской; он для нее вечный упрек, вечный судья, вечная, неотвязчивая тень и вечной будет тенью... Что ж делать! Это его удовольствие; у каждого должно быть свое удовольствие – а Сафьев не умеет танцевать!

А графиня боится Сафьева, потому что у ее сиятельства совесть нечиста, и граф боится Сафьева, потому что и у его сиятельства совесть нечиста, а Сафьев ничего не боится, и не стреляется, и не будет стреляться, потому что это плусть.

Пока Сафьев по-своему высказывал неумолимое злопамятство своего уязвленного сердца, графиня принимала более и более ласкательный вид. В глазах ее, еще влажных, выражалась обворожительная нега – и вдруг, почти детским движением, она приподнялась к плечу Сафьева, наклонилась к нему на ухо и шепнула давно не слышанным, но вечно незабвенным голосом:

– Я прошу тебя, если ты меня любил, помири их.

Сафьев дрожал, как будто под влиянием внезапной электрической силы. Твердость его исчезла. Он хотел говорить, хотел отвечать... В эту минуту граф возвратился в комнату. Сафьев улыбнулся.

– Я говорил графине, – сказал он, – что у вас удивительный дом.

– Право? – отвечал граф, обрадованный в своем самолюбии. – Да, недурен. Министр еще намедни хвалил мою малиновую гостиную. Да вы ее, кажется, не знаете? Хотите взглянуть?

– Благодарю покорно; теперь мне некогда; завтра, – прибавил Сафьев шепотом, – за Волковым кладбищем, в седьмом часу утра... не опоздайте. – Он почтительно поклонился графине и вышел. Граф провожал его с поклонами до передней.

«Нечего делать, – подумала графиня, оставшись одна в комнате, – нечего делать, надо будет обратиться к моему генералу».

IX

Вы, вероятно, строгий мой критик, читая, по обязанности служения вашего, беззащитную мою повесть, не раз упрекали уже ее в том, что она не занимательна, не являет никаких разительных

неожиданностей, не изобилует событиями и не трепещет от впечатлений.

Но скажите, критик мой сердитый, много ли в жизни вашей и в глазах ваших разыгралось романических драм? Не прошла ли жизнь ваша, как и наша проходит, в самых обыкновенных действиях жизни?.. Поутру погулять в бекеше, потом пообедать где-нибудь получше, потом побеседовать с какими-нибудь барынями покрасивее, да от времени до времени пописать что бог даст.

К чему же искать нам явлений из жизни небывалой и карабкаться на ходули?

По-моему, отсутствие всяких событий во внешнем быту не только признак, но даже цель жителей большого света, и мне даже хочется заметить, если вы, мой критик, не слишком за то рассердитесь, что в петербургских обществах царствует какая-то вялость, которая отдаляет на почтительную дистанцию всякий поэтический вымысел.

Проведите в молодости вашей веселую зиму в Петербурге, храните воспоминания о ней, как о светлой точке вашей жизни; припоминайте с улыбкой все ваши резвые шалости, все сердечные отношения, которые вы подметили между товарищами вашими и робкими красавицами, взволновавшими впервые ваши юношеские сны, – и вот, лет через десять, усталый от жизненных забот, вы вновь возвращаетесь в Петербург. И что же? Вы опять находите вашу прежнюю жизнь, для вас уже отлившую, но для других неизменяемую, и такую, как вы ее прежде оставили. Вы видите, как ваши прежние товарищи все еще ухаживают по-старому за вашими прежними красавицами, и все на прежнем основании, не подвигаясь ни на шаг ни вперед, ни назад. Вы слышите те же самые шутки, которым вы так весело смеялись; вы слышите те же самые сердечные признания, которым вы верили так неограниченно и о которых вы так искренно, так простосердечно вздыхали.

«Все то же!» – скажете вы. И вам станет досадно, потому что старина ваша вдруг разоблачится перед вами. Десять лет, пробежавшие над вами с трудом и горем, промчались над Петербургом, как десять бальных ночей, между пустословия и комплиментов, между шарканья и мазурок.

Итак, простите меня великодушно, о критик, грозный мой судья! если в рассказе моем, который уже по заглавию своему не должен быть

не что иное, как бедный снимок с бедной картины большого света, вы не найдете ничего, кроме самого обыкновенного и самого вседневного.

Резкие драмы внутренней жизни скрываются в глубине души, в тайне кабинета, подальше от насмешливых взоров, тогда как внешняя жизнь тянется однообразно и прилично, без изменений и страстей.

Не знаю, много ли было различных приключений с Леониным в два года, с тех пор как он вступил на новое поприще; много ли раз он раскланивался с своим генералом на бале и сидел, по приказанию его, под арестом после учения; не знаю, много ли он танцевал мазурок, много ли раз он был в театре, – знаю, что предсказания Сафьева сбылись и что жизнь бедного офицера преисполнилась мелкими, но язвительными огорчениями.

Кто не испытал нужды, кто не постиг вполне нищенской роскоши половины Петербурга, тому страдания Леонина не будут понятны.

Скромный доход, получаемый им от неутомимых трудов бабушки, далеко не доставал на издержки, о которых она и понятия не имела. Бальные мундиры и военное щегольство; концертные билеты, полученные от почтенных дам, любящих награждать артистов чужими деньгами; наемные кареты, пикники, где мужчины платят, а женщины только кокетничают; зимние катания, где должно щегольнуть санями и лошадьми; лотерейные билеты в пользу бедных – одним словом, все, что показалось бы прежде ему неслыханным мотовством, при вступлении его в присяжные поклонники модной красавицы сделалось условием первой необходимости. Бедный Леонин! Тогда познал он нужду, досадливую нужду, которой не знал он до тех пор. В большом свете есть такие вещи, которые нельзя не иметь: скорее сделать дурное дело, скорее украсть, чем остаться без них, скорее умереть со стыда, чем сознаться в своем недостатке! И какими глазами ты будешь смотреть на женщину, которую ты любишь, если она знает, что ты приехал на бал на извозчике за двугривенный, о котором ты торговался; если мундир твой изношен, если перчатки твои нечисты, если где-нибудь в твоей светской жизни промелькивают лохмотья? Какие старания, какие неусыпные труды должно прикладывать, чтоб скрыть от всех горькую истину и выучиться искусству последнюю копейку ставить ребром!

После нужды Леонин познал зависть. И не обидно ли также быть с товарищами одинаких лет, быть с ними в дружбе – и быть гораздо их

беднее? Зависть вкралась в его душу.

После зависти он познал унижение. Он не был то, что называется женихом: матушки с дочерьми на него не глядели. Он вальсировал плохо; его не выбирали. Он не умел себе присвоить выгодное местечко; он не умел напугать своим злоречием. Молодые женщины с ним не кокетничали; его иногда забывали в приглашениях; ему не отдавали визитов; его никогда не звали обедать.

Он все это видел, все понимал, но, по врожденному в человеке чувству, упорствовал, потому что ему хотелось упорствовать.

Он видел графиню почти каждый день и каждый день думал быть накануне победы над ее сердцем. Редко находил он ее одну, но когда это случалось, она томно на него взглядывала, говорила о неумолимых законах света и слегка касалась любви прекрасной и высокой. Все этому Леонин начинал верить менее, но все еще верил, бедный, и в сердечных отношениях своих с графиней оставался вечно на рубеже между надеждой и отчаянием, между равнодушием и любовью. Иногда, когда графиня пожимала его руку или бросала ему будто невольно страстный взгляд, Леонин радовался до безумия. В другой раз она на него не глядела, при нем весело кокетничала с другими – и несчастный Леонин изнывал от досады и ревности бессильной.

Не много лет прошло с тех пор, как графиня была замужем, а уже книга большого света была изучена ею до последней буквы. Она узнала, что обширный круг обожателей – первое условие модной женщины, а потом узнала она, как привлекаются обожатели, и самые первые, самые богатые, самые значащие. Все таинства науки очарований были ею изучены и приложены к жизни практической с удивительным успехом: для иного – такое-то платье, для другого – такие-то цветы; иному – улыбка, другому – сердитый вид. Все оттенки разговоров, все постепенности взглядов, все перемены движений были ею изучены до последней мелочи.

С людьми средних лет была она свободно разговорчива; с молодыми людьми, достигшими второй молодости, расточала она все прелести колкого ума, всю обворожительность своих очей и стана; с молодыми людьми, вступающими только в свет, была она величественна и недоступна, как богиня; одним словом, для каждого оттенка человеческого возраста была у нее особенная тактика.

Леонин все это видел.

Друзья мои! женщина-кокетка пагубна для нас не оттого, что не исполняет своих обещаний, а потому, что она лишает нас многого, охлаждает наши самые горячие верования. Видя, как она весело играет сердечными святынями, мы невольно ей подражаем, стыдясь своей пасторальной простоты, и не чувствуем мы, как неприметно при ней лучшие цветы жизни увядают в нашей душе.

Впрочем, и на графиню находили иногда минуты настоящей грусти. Раны сердца ее раскрывались, и она действительно жалела о себе самой, и драпировалась, как мантией, своим непонятным горем. Но и со всем тем, как заметил Сафьев, она ни на что бы, подумавши немного, не променяла блестящей аристократической жизни, к которой она привыкла. Деревня, соседи, заседатель, Либарины, Митровихины, Бобылькины являлись в голове ее настоящими чудовищами. Избалованная роскошью, гордая графским гербом, она создана была для большого света, как большой свет был создан для нее.

Одно было в ней странно и непостижимо: не то, что она кокетничала с князем Чудиным, с князем Красносельским – это было в порядке вещей; всех удивляло то, что она на бале танцевала с маленьким Леониным, что le petit Leonine сидел иногда в театре у нее в ложе, что она, казалось, всячески хотела удержать его в своих сетях.

Впрочем, никто не простирает своих заключений слишком далеко; каждый знал, что если графиня и пожелает когда-нибудь любить истинно, то она наверно выберет человека позначительнее Леонина.

Так, как говорил я, прошло два года. Иногда хотел он разом открыть душу свою и уже пламенные слова предвещали бурю сжатых страстей, но графиня ловко от него отшучивалась. Иногда он приходил в отчаяние; графиня ободряла его тогда улыбкой. Граф ему не кланялся и не обращал на него внимания. Время шло...

Однажды утром вдруг вспомнил он об Армидиной.

Графиня накануне целый вечер ходила в маскараде под руку с князем Чудиным. Леонин ее узнал, а она от него отвернулась и не заметила даже, что он сидел, печальный, на тех самых креслах, на которых он слышал ее исповедь.

«Бедная Армидина, – подумал он. – Что за волосы! У графини нет таких волос, и притом Армидиной восемнадцать лет, а графиня, хотя и, хороша, а все-таки уж... начинает... немножко... гм, гм... Армидина меня любила, а графиня, кажется, никого не любила. Я обманул

бедную девушку; я обольстил ее воображение; я неблагодарный, я преступник, я изверг!..» Леонин ужаснулся вдруг самого себя и с твердым намерением снова утешить покинутую красавицу решил в первое воскресенье снова отправиться в Коломну и поговорить по-старому о счастье любить на земле и жить на земле вдвоем.

X

Как человек модный, он приехал поздно. Тускло освещенная передняя была завалена шубами. Полусонный казачок снял с него шинель и повесил на вешалку.

Леонин принял на себя приличный вид и, поправив волосы, вошел в комнату, где танцевали. В комнате было по обыкновению темно. В углу наемщик трудился на фортепьянах. Танцевали мазурку. В первой паре сидела m-lle Armidine с каким-то огромным кирасиром, который поминутно поправлял свои ужасные усы и бакенбарды.

Леонин легко поклонился и мастерски проскользнул в другую комнату, где Нимфодора Терентьевна играла в бостон с тремя старушками. При появлении его старушки подняли чепцы свои вверх, с свойственным подобным старушкам удивлением. Нимфодора Терентьевна прищурилась на молодого человека и поклонилась довольно сухо, примолвив:

– А! здравствуй, батюшка. Каким ветром занесло?

Так изважничался, что и глаз к нам не кажешь! Говорят, сделался шематоном... Шесть в сюрсах!.. Как это к нам пожаловал? Мы люди неважные, мы играем без кадилей.

Леонин повернулся на одной ноге и, довольно смущенный, отправился в комнату, где танцевали. Несколько прежних товарищей окружили его и начали душить вопросами:

– Откуда ты? Что это ты пропадал?. Хочешь *visa-vis*?

Всех более надоел ему маленький франтик с мужицкой прической, с цепочкой, с лорнетом, который не давал ему покоя.

– А! *bonjour*. Очень рад вас здесь встретить. Мы в театре очень часто видимся. Кто вам больше нравится:

Allan или Taglioni? Вообразите, я видел пятнадцать раз сряду «Гитану», Я всегда во французском театре. Что делать?.. люблю Allan;

нас в театре несколько человек всегда вместе. Петруша, Ваня... Вы знаете Петрушу, графа Петра В... и Ваню, князя Ивана? – славные ребята!

Я с ними неразлучен; обедаем каждый день почти вместе у Кулона или у Legrand. Как по-вашему, кто лучше, Legrand или Coulon? Хорош Legrand! Дорог, нечего сказать, а мастер своего дела. Вы много ездите в свет, слышал я: скажите, пожалуйста, эт ву коню авек ле Чуфырин э ле Курмицын? [31] – Нет.

– Жалко! Очень у них весело! Уж не такие вечера, – продолжал он, наклоняясь на ухо Леонина и улыбаясь лукаво, – уж не такие вечера, как здесь, почище, гораздо почище. В комнатах освещено прекрасно, а за ужином не подают черт знает что. Курмицыны долго были за границей и живут совершенно на иностранный genre [32]. Славные вечера! Я очень хорош в доме. Хотите, я вас представлю? Я с ними очень дружен...

Леонин повернулся к нему спиной и трепетно приблизился к m-lle Armidine. M-lle Armidine легко кивнула ему головой. В глазах ее не было ни радости, ни досады.

Исполинский кирасир косо взглянул на Леонина и закрутил дремучий лес своих усов.

– Я не нахожу слов для извинения своего, – сказал Леонин.

– Для какого извинения? – спросила m-lle Armidine хладнокровно.

– Я так давно не был у вас.

– А, для этого-то! Правда, вы, кажется, давно у нее не были.

«О! – подумал Леонин, – как ничтожны мужчины в науке притворства!»

Мазурка продолжалась. Леонин стоял незамеченный в уголку; его ни разу не выбрали, а m-lle Armidine была все прекрасна и воздушна по-прежнему. Белокурые кудри, пышнее чем когда-нибудь, вились по ее плечам, и она задумчиво вздыхала и поднимала к небу глаза свои.

Кирасир наклонился к ней на стул и шептал ей на ухо страстные слова... о чем неизвестно, а вероятно, о счастье любить на земле и жить на земле вдвоем.

У дверей стоял толстый чиновник в вицмундире, с огромной сердоликовой печатью на часах.

Франтик опять подошел к Леонину.

– Эт ву коню авек m-г Кривухин [33], вот, что в дверях стоит? Кажется, гаденький такой; думаешь, бедняк, чиновник какой-нибудь; он начальник отделения, и у него, вообразите, в шкатулке тысяч триста чистоганчиком – каково? приятно, не правда ли? не похож на то, совсем не похож. Жаль, что в карты не играет! Вы играете в карты? Я люблю вист по маленькой. Мы иногда с Петрушей, с Ваней режемся часа четыре сряду – славные ребята! хотели было меня потащить с собой в большой свет, к Р... к Б... к графине К... да я не хочу:

там этикет и скука. Пойду лучше посмотреть на Тальони или на Allan. Люблю Allan! Что это за удивительная актриса! Впрочем, надо сказать правду, и Асенкова недурна, особливо в гусарском костюме. Мы с Петрушей и Ваней всегда ее вызываем.

Леонин бросился к дверям и, с трудом отыскав свою шинель, уехал домой.

Ему было невероятно грустно.

Опять заблуждение одно от него отлетело; опять заметил он, что по себе был он ничем, а что его ласкали из видов и замыслов и что только он отлучился – о нем никто и не заботился. Он не любил m-lle Armidine и чувствовал, что все ее ужимки менее чем когда-нибудь теперь могли иметь на него действие, и со всем тем, по странному противоречию человеческого сердца, огромная фигура кирасира казалась ему противна и ненавистна.

Спустя неделю узнал он, что m-lle Armidine была помолвлена за начальника отделения.

XI

А пока старушка Савишна была в больших попыхах, Наденьку собирались представить в свет; Наденьке уже было семнадцать лет. Она была не так хороша, как графиня, но она была лучше, она более нравилась. Она вполне обладала тремя главными женскими добродетелями: во-первых, наружностью, все более и более привлекающей, потом нравом скромным и как будто просящим опоры любимой, наконец, тою неопределятельною щеголеватостью движений и существа, которая составляет одно из главных очарований женщины.

Савишна была в больших хлопотах: то гладила она бальное платье, в котором Наденька в первый раз должна была явиться на суд светских знатоков; то сердилась она, что не принимали ее советов насчет головного убора; то вздыхала и крестилась, вспоминая о доброй своей барыне, которая давно лежала в могиле и не будет, бедная, любоваться своей дочерью в бальном ее наряде.

Следуя аристократическому обычаю петербургской знати, Наденька тщательно скрывалась от всех глаз до роковой минуты вступления в свет. Минута эта наступила, и она ожидала ее без боязни и без восторга.

Быть может, в девственных мечтах ее, меж цветов и бальных звуков, и слышался ей неведомый шепот, и чудились ей предугадываемые чувства... Кто проникнет в сердечные грезы молодой девушки? Кто поймет неиспорченным сердцем первые думы, первую задумчивость и неясные откровения души девственной, души, открытой всему прекрасному?

Дом старой княгини, тетки Щетинина, был назначен для первого выезда Наденьки.

Наступил день бала.

Все по-старому пышно и хорошо. Кареты тянулись длинною нитью у ярко освещенного подъезда. Дверцы поминутно хлопали, и из карет выпархивали разряженные девушки, одюжевшие матушки, вышаркивали камерюнкеры.

И Леонин явился, по привычке, на бал. Поутру заимодавцы не давали ему покоя. Начальник его обещал ему, за нерадение к службе, отсылку в армию. Графиня не приняла его, извиняясь головою болью, хотя трое саней стояло у ее подъезда.

Ему было неимоверно душно. Лицо его было бледно, глаза неподвижны. Все на бале его видели, и никто не заметил.

А бал был прекрасный. Бальные речи шумели шумным говором. Женщины, украшенные цветами, сверкавшие очами и брильянтами, наклонялись на кавалеров и кружились с ними в упоительном вальсе.

Леонину все это стало противно. На роскошь праздника он взгляда не бросил, и ко всем окружавшим он Почувствовал неодолимое отвращение.

В эту минуту в большую залу вошла графиня. Парчовый тюрбан увивался около ее головы; темно-бархатное платье чудно выказывало

удивительную белизну ее плеч. В зале сделалось невольное движение.

За графиней шла молоденькая девушка в белом платье с голубыми цветками.

«Сестра графини!» – раздалось шепотом повсюду.

Все кинули на нее испытующий взгляд; даже старые сановники, занятые в штофной гостиной вистом, невольно удостоили ее мгновенным и одобрительным осмотром; даже женщины взглянули на нее благосклонно.

Леонин видел ее несколько раз мельком у графини, но едва лишь заметил. И точно, что значит девочка в простом платье, с потупленным взором в сравнении с графиней, расточающей все прелести своего кокетства, все роскошные изобретения парижских мод! Теперь Леонину показалось, что он видит Наденьку в первый раз. Глядя на нее, ему как-то отраднее стало, и он невольно к ней приблизился и очутился с ней во французской кадрили.

– Ну, что, – спросил он, – какое впечатление делает на вас ваш первый бал?

– Хорошо, – отвечала Наденька, – хорошо; только я думала, что будет лучше. Я думала, что мне будет очень весело.

– Что же, вам не весело?

– Нет, не то, чтоб и скучно, а как-то странно... Все осматривают меня с ног до головы. Боюсь, чтоб платье мое кто-нибудь из кавалеров не изорвал... Да жарко здесь очень!

– Да, – сказал Леонин, – здесь жарко, здесь душно. В свете всегда душно!.. Все те же мужчины, все те же женщины. Мужчины такие низкие, женщины такие нарумяненные.

Он невольно повторил слова, слышанные им некогда в маскараде.

Наденька взглянула на него с удивлением.

– Да нам какое до того дело? Если женщины румянятся, тем хуже для них; если мужчины низки, тем для них стыднее.

«Правда», – подумал Леонин.

– И почему, – продолжала Наденька, – искать в людях одно дурное? В обществе, я уверена, пороки общие, но зато достоинства у каждого человека отдельные и принадлежат ему собственно. Их-то, кажется, должно отыскивать, а не упрекать людей в том, что они живут вместе.

Неопытная девушка объяснила в нескольких словах молодому франту всю тайну большого света.

Следующую кадрили Леонин танцевал с графиней.

– Графиня, – сказал он, – два года назад, во время маскарада, одна маска показалась мне чрезвычайно жалкою. Она не знала меня и обратилась ко мне как к другу, и раскрыла мне все раны своего сердца.

– Право? – рассеянно сказала графиня, приложив веер к губам.

– Она была точно жалка, – сказал Леонин. – Никто ее не любил, а она жаждала счастья найти душу, которая могла бы ее любить. Под маской были вы, графиня, – Вы думаете?..

– Я в том уверен. И с тех пор я бросил всю прежнюю жизнь свою; я оставил всех своих знакомых; я отказался от девушки, которая меня любила; я втерся в новый круг, где я терпел все унижения и все досады, я вышел из пределов моего состояния, я прилепился к следам вашим, для вас одной, и я не просил ничего, и когда я был вам нужен, я был всегда под рукой, и когда вы кокетничали с людьми, мне ненавистными, я молчал...

И я думал тронуть вас своим постоянством и своей любовью, я думал, что в награду всех мучений, которые я претерпел для вас, вы бросите мне взгляд сожаления и будете ко мне равнодушны.

– Чего же вы хотите? – спросила графиня. – Я хочу знать, любите ли вы меня?..

Графиня горделиво подняла голову.

– Вы, кажется, с ума сошли? – сказала она.

В ее голосе было столько презрения, что бедный Леонин, как опьянелый, вышел в другую комнату.

В то же время князь Чудин подошел с другой стороны к графине, перекачиваясь с ноги на ногу.

– Прелестная графиня, – сказал он, – два слова.

Вот два года, как в свете говорят, что я в вас влюблен.

Что вы думаете: правда ли это?

– Не знаю, – сказала графиня смеясь.

– Оно бы, может, и было правда, – сказал fashionable, – да дело в том, что я никак не умею вздыхать, плакать и падать в обморок. Для меня ремесло собачки, которая должна служить и прыгать для своей хозяйки, – нестерпимо. Я люблю действовать решительно и требую решительных ответов: да или нет. Я никому не дам удовольствия

видеть, как я буду сентиментальничать. Это не моя привычка. Угодно вам будет мне отвечать?

– Вы, кажется, с ума сошли! – сказала, рассмеявшись, графиня и протянула ручку свою известному нам генералу, который пожал ее с чувством рыцарской благодарности, а потом уселись они вдвоем на кушетке, в уголку соседней гостиной, и начали разговаривать, не обращая ни на кого внимания. Генерал был очень счастлив. Он вежливо протянул руку проходящему мимо мужу графини, который почтительно мимо него прошаркнул и уселся с некоторыми лицами за карточный стол.

Заиграли мазурку. Пары уселись вдоль стены. Щетинин танцевал с графиней. Он был в самом светском расположении духа, злословил и смеялся. Вообще нет ничего пошлее мазурочных разговоров, даже если и вмешается в них какое-нибудь сердечное отношение. Во-первых, жара, теснота, необходимость вставать поминутно для фигур, усталость и поздняя ночь в состоянии отнять у самого пламенного любовника все его красноречие. Тогда невольно ищешь самых простых слов и самых простых мыслей; тогда женские уста, отверстые невольно для зевоты, смыкаются лишь из приличия улыбкой.

– Графиня, – говорил Щетинин, – замечаете вы в Петербурге новую странность: молодые девушки совершенно забыты? Видите, сколько сидит их по разным углам с недовольными лицами и без надежды на кавалеров? Барышня уничтожается в нашем образованном обществе и остается единственно на попечении своих двоюродных братьев или друзей дома, то есть несноснейших людей в мире. Вы будете в кипсеке?

– Нет. Да этого кипсека никогда не будет.

– Напротив, он скоро должен выйти в свет с изображениями наших красавиц. Вам первое место следует по праву.

– Благодарю покорно. Моего портрета, однако, не будет. Может быть, я недовольно хороша, я недовольно *bon genre* ^[34] для подобной чести.

– Графиня, *bon genre* теперь не говорится более, а говорится *genre fracas* ^[35]: оно новее и выразительнее, не правда ли? Вы были вчера на бале – *fracas*. Вы танцевали мазурку с вашим обожателем – *fracas*! А если вы задумались, если вы вздохнули, если вы хоть слово сказали, – это могло дать подумать, что сердце ваше тронуто, – *fracas*! *fracas*! Все,

что от нас идет и к нам обращается, – все fracas! А где друг мой и приятель m-г Leonine, ваш постоянный обожатель, ваш безнадежный вздыхатель, господин де Грандисон? Вот уж вовсе не fracas.

– Вообразите, – отвечала, смеясь, графиня, – что он не на шутку требовал от меня нынче объяснения; он хотел, чтоб я призналась в любви к нему!.. И теперь он сердится и ходит бледный и сердитый, как тень Гамлета.

– Я очень рад, – продолжал, также смеясь, Щетинин, – я очень рад: авось это отучит вас от страсти собирать около себя целое стадо обожателей – к чему они все вам?

– О! этого я должна была отличать между прочими по обстоятельствам, мне известным. Виновата ли я, что он принял за любовь все, что было лишь приличие? Может быть, я и виновата немного. Да какой женщине, скажите, не хочется нравиться?

– И вы, наверное, знаете, что вы не любите моего рыцаря печального образа?

– О! что до этого, вы можете быть совершенно спокойны. Он не глуп, а все-таки не только не fracas, а просто – mauvais genre ^[36], и тон его, сказать вправду, иногда бывает очень дурен. Если б у меня была склонность, я бы умела ее лучше выбирать.

– О, бедный господин де Грандисон! – смеясь, продолжал Щетинин. – О, сентиментальный юноша!

– Я вам должна признаться, – прибавила графиня, – что ваш приятель бывает иногда чрезмерно скучен: молчит и вздыхает, вздыхает и молчит. И потом, два года назад, он был мне нужен, а теперь бог с ним!

Князь Чудин протянул небрежно руку к графине; она улыбнулась и, встав с своего места, порхнула с князем в пирамидную фигуру.

– Князь! – сказал на ухо Щетинину дрожащий голос. Щетинин обернулся. За стулом стоял Леонин с посиневшими губами, и за Леониным стоял Сафьев, с пальцем, задетым за жилет и с вечной улыбкой.

– Князь, – продолжал Леонин, – в романе господина де Грандисона недостает одной главы – поединка. Вы знаете, что романы без поединка теперь не обходятся. Не угодно ли вам будет дополнить этот недостаток?

– Извольте, – отвечал Щетинин, – желаю, чтоб эта глава была из лучших в вашем романе. Кто секундант ваш?

– Г. Сафьев, – продолжал Леонин, – не правда ли? – По-моему, – сказал Сафьев, – всякая дуэль – большая глупость. Однако, душа моя, как здесь ты немного найдешь охотников, так я, пожалуй, рад быть твоим секундантом. Только вот что: прошу не мешаться ни во что, а все предоставить мне. К кому прикажете, – прибавил он, наклонившись к Щетинину, – явиться мне для нужных переговоров?

– Я буду просить графа Воротынского быть моим секундантом, – отвечал Щетинин.

– Графа, графа! – с удивлением заметил Сафьев. – Ну, да быть так я поеду к графу.

Князь Чудин возвратился к месту графини и, оставив ее у стула, поднял с пола свою шляпу и стал, с лорнетом в руке, в числе нетанцующих.

Князь Щетинин продолжал разговор как бы ни в чем не бывало, но злословил и смеялся больше обыкновенного. Мазурка весело переходила от фигуры пирамид к фигуре замысловатых выборов.

Графиня мигом разгадала все, что было в ее отсутствие, но, как женщина опытная, она не обнаружила своего смущения, напротив, веселость ее сделалась живее, глаза заискрились, румянец заиграл на щеках ее. Она отвечала шутками на шутки, улыбками на улыбки и порхала между танцующими с такой откровенной веселостью, что собой оживила целый бал. Никогда еще, может быть, она не была так привлекательна и прелестна.

Шепот восхищения зажуужал вокруг нее, провозглашая ее единогласно царицею вечера; и точно, нельзя было довольно ею налюбоваться. Стройная, живая, с лихорадочным огнем в глазах и с улыбкой сладострастной на устах, с длинными волосами, распущенными по плечам, она носилась, не касаясь пола своими ножками, осуществляя собой все страстные мечты, все страстные желания юноши. Кругом ее все смешалось и закипело. Молодые люди, молодые женщины начали кружиться и чаще, и быстрее; музыка заиграла громче, свечи засверкали яснее, цветущие кусты распустились ароматнее.

– Славный бал! – говорили старики, оживляясь воспоминанием при веселии молодежи.

– Чудный бал! – говорили молодые дамы, махая веерами.

– Прелестный бал! – говорили юноши, улыбаясь своим успехам.

И среди этого шума, этого хаоса торжествующих лиц одна молодая девушка стояла задумчиво и не радуясь радости, которой она не понимала. Ее большие голубые глаза устремились с скромным удивлением на ликующую толпу. Она чувствовала себя неуместною среди редких порывов светского восторга, и то, что всех восхищало, приводило ее в неодолимое смущение. На всех лицах резко выражалось какое-то торжественное волнение, а на чертах ее изображалось какое-то душевное спокойствие, отблеск небесной непорочности и отсутствия возмутительных мыслей.

Леонин прислонился к двери с горькой думой и окинул взором все собрание, которое прежде так увлекало и ослепляло его. Вдруг взор его остановился на прекрасном и спокойном лице Наденьки – и мысль его приняла другое направление.

Загадка большого света начала перед ним разгадываться. Он понял всю ничтожность светской цели, всю неизмеримую красоту чувства высокого и спокойного.

Он все более и более приковывался взором и сердцем к Наденьке, к ее безмятежному лику, к ее необдуманым движениям. Он долго глядел на нее, он долго любовался ею с какой-то восторженной грустью...

И вдруг, по какому-то магнетическому сочувствию, взоры его встретились с взорами Щетинина, устремились вместе на Наденьку и обменялись взаимно кровавым вызовом, ярким пламенем соперничества и вражды.

XII

Кто бы взглянул при свете каретного фонаря на графиню, когда она ехала с бала с сестрой и мужем, тот, наверно, не узнал бы беззаботной, веселой красавицы, которая одна оживила собой целую чопорную великосветскую толпу. Волосы ее развились и падали в беспорядке около лица, губы побелели, около глаз врезались едва заметные черты, а в глазах отражалось безотчетное утомление. На графиню находила одна из тех минут, которые, как говорил уже я, так

часто отягощают светских людей: жизнь казалась ей противною, люди – гадкими, вся сфера, в которой она жила, – унизительною. Так же, как в тот вечер, когда она познакомилась с Леониным, ею овладела грусть неодолимая. Подле нее сидела Наденька, утомленная шумом, ей непривычным, и тихо склоняла головку свою на атласные подушки кареты. Граф казался очень сердитым, молчал и от времени до времени звучно отдувался; наконец, заметив, что Наденька засыпает безмятежно, он обратился к жене своей с вопросом:

– Объясните мне эту глупую историю. Стою с шведским посланником, с сенатором Петром Александровичем да еще с князем Петром Даниловичем, разговариваем мы о том, как бы в четверг составить нам партию, вдруг выбегает из другой комнаты, как сумасшедший, Щетинин, и прямо ко мне, и таки и не смотрит, с кем я стою, – ничуть не бывало! прямо ко мне и, не извинившись, говорит, – что он имеет сказать мне что-то весьма важное. Я поглядел на него. Щетинин человек порядочный, однако ж все-таки еще молодой человек, и мне показалось это немножко некстати против человека, как я; однако делать нечего, я отошел с ним к стороне.

– Он просил вас быть своим секундантом? – поспешно спросила графиня.

– Так точно-с. Возьмите же, какая глупость для человека с моим званием, с моим именем идти вмешиваться в дела молодых людей, которых я почти не знаю, да и знать вовсе не хочу, черт бы их побрал!

– Вы отказали? – сказала графиня.

– То-то я в большом затруднении. Отказать нельзя Щетинину: он говорит, что он за вас поссорился с Леониным, и ради бога просил не говорить вам о том.

Надобно, чтоб эта история оставалась как можно секретнее; не то он, Леонин, и я, и вы сделаемся предметом всех разговоров и городских сплетней.

– Сохрани бог! – невольно воскликнула графиня.

– Что вы прикажете делать? Идти – глупо, не идти – страшно; а все, сударыня, вы виноваты, – Я? – сказала графиня.

– Да... все вы. Когда я взял вас, в вашей деревушке, что были вы тогда? – ничего; просто деревенская девочка, а теперь что вы? – графиня, жена моя, которой все завидуют.

– О! что до этого, – с досадой отвечала графиня, – мы с вами расплатились. Что были вы прежде? – ничего; человек, который даже танцевать не умел, а теперь вы в связи со всею знатью, потому что я ваша жена.

– Ну, – сказал граф, – зачем же вы не оставались в этом кругу? Что было вам в этом маленьком Леонине, который черт знает что и черт знает откуда и который повсюду вас преследует, как тень ваша? Не ожидал я от вас, что именно через такое ничтожное существо я должен лишиться всего, что мне и вам обещано. Вот, если б князь Чудин, например, так все-таки было бы простительнее...

– А что б вы сказали, – отвечала графиня, – если б, по завещанию матушки, Леонин, вместо того чтоб быть моим поклонником, сделался мужем моей сестры и гостиная ваша наполнилась бы всеми Леонинами, Свербиными и Либаринами Орловской губернии?

– Как? что это? – с удивлением воскликнул граф.

В эту минуту карета подъехала к графскому дому, и рослый лакей, бросившись поспешно к дверцам, остановил начатое объяснение.

Наденька все слышала, и сама испугалась собственных впечатлений. Всю ночь не смогла она сомкнуть глаз.

То становилось ей страшно за Щетинина, который будет драться на пистолетах; то становилось ей досадно на Щетинина, что он с ней не танцевал; то думала она с почтением и горем о матери своей и о Леонине с ней вместе. Прошел день. Савишна с беспокойством взглядывала на свою барышню, и крестила ее издали, и дивилась ее задумчивости... В этот день все было мрачно в доме графини, и Сафьев был у графа. В понедельник утром Наденька задумчиво сидела в больших креслах.

Вошла к ней Савишна.

– Что, няня?

– Да странное, матушка, дело: письмо к вам какое-то принесли.

– Ко мне? быть не может.

Наденька с живостью распечатала поданный ей конверт.

Вот что она прочла:

«Завтра в шесть часов я должен стреляться. Если вы получите это письмо, меня на свете не будет.

Не знаю, право, жалеть ли мне о жизни или радоваться смерти. Только одного мне бы не хотелось, Надина: умереть, не открыв вам

души моей, не простившись с вами, не попросив молитвы вашей над моею могилой.

Вы меня мало знаете. Вы слышали обо мне как о человеке модном, и, может быть, в душе своей вы пренебрегаете моим ничтожеством, вы презираете меня.

Мысль эта для меня нестерпима. Выслушайте меня, прочитайте эти строки. Смерть будет служить мне извинением и убедит вас в истине слов моих.

Я вырос в одиночестве, без родных ласок, которые так сильно привязывают нас мыслью к первым годам нашей жизни. Наемщики наперерыв старались отвращать меня от настоящего и путать в будущем. В целом детстве моем нет ни одной светлой минуты, о которой сладко было бы мне вспомнить, на которую душа моя улыбнулась бы. Я говорю это с истинным, глубоким огорчением. Все детство мне было заточением, где из решетки окна блистали передо мной экипажи, ливреи, балы, театры, брильянты и удовольствия. К ним только устремлялись все мои помышления. Но чистые наслаждения моего возраста оставались мне вечно неизвестными, и только теперь, когда уж седые волосы промелькивают у меня на голове, я понял, как много свежести душевной, не коснувшись до меня, провеяло мимо и утратилось навеки.

Когда я надел эполеты, все было уже мне известно наперед и свет был для меня разгадан. Жизнь рассеянная увлекла меня в вихрь своих удовольствий. Я старался дружить с людьми, которых не любил; я старался влюбляться в женщин, которых не любил, – и в душе моей было пусто и мертво; мной овладело какое-то леденящее равнодушие ко всему. Так долго жил я в чаду бессмысленных наслаждений, изнывая под бременем душевной лени и скуки убийственной.

Однажды на даче я увидел вас. Вы были еще ребенок, но, не знаю по какому сверхъестественному закону, все силы души моей устремились к вам. Я полюбил вас чувством кротким и святым, в котором было что-то отцовское и неземное. Непостижимое противоречие сердца человеческого! Вы – невинная, как мысль небожителей, я – осушивший до дна сосуд страстей человеческих, и со всем тем я чувствовал, что вы проникли светлым лучом в мрак моей жизни и осмыслили мое существование.

И я ношу вас с тех пор в душе моей, и с тех пор я презираю сомнение, и с тех пор много утешительных чувств, которым я не хотел верить, осенили меня свыше.

В вас сосредоточилось мое возрождение, и вам обязан я тем, что пляжу на жизнь без презрения и на смерть без страха.

Но я любил вас безнадежно. Я знал от сестры вашей, что вы помолвлены с детства за другого. Я глубоко скрывал свое горе под личиною равнодушия, и теперь, когда все для меня кончается, мысль эта меня терзает.

Будьте счастливы, но не отдавайте свету святости вашей душевной чистоты! Поверьте замогильному голосу и, когда вам будет грустно, Надина, вспомните о человеке, который вас так долго, так искренно, так неограниченно любил».

– Няня, – закричала Наденька, кидаясь на шею испуганной Савишне, – няня, поедem назад в деревню!

И слезы брызнули ручьем из глаз бедной девушки.

– Няня, увези меня отсюда, я не хочу здесь оставаться. Здесь страшно; здесь все друг против друга.

Его убили нынче... Зачем убили?.. Поедем в деревню.

– Успокойся, матушка. Господь подкрепит тебя!

– Я сама не знаю, что со мною, – продолжала Наденька, – только мне хотелось бы умереть.

В эту минуту графиня отворила дверь и остановилась у порога.

В руках ее была записка.

– Не беспокойся, Наденька, – сказала она, – они драться не будут.

XIII

Еще не рассветало, а щегольская коляска уже промелькнула мимо Волкова кладбища и остановилась у запустелого места, назначенного для поединка. Из коляски вышли Щетинин в шинели с бобровым воротником и граф в бекеше с воротником, поднятым выше ушей, по случаю мороза. Они шли молча, волнуемые каждый различными чувствами. Щетинин думал о Наденьке, о письме, которое она, может быть, получит в девять часов, если он к тому времени не возвратится

домой. Впрочем, он хладнокровно готовился к кровавой встрече. Граф казался очень недовольным и что-то про себя ворчал.

«Мальчики, – говорил он про себя, – мальчики! вздумали тревожить такого человека, как я. Что скажет министр, когда узнает, что я попал в такое сумасбродство?»

А что делать? Щетинину отказать нельзя. Посмотрел бы я, чтоб кто другой пришел звать меня в секунданты, а к Щетинину не пойти, так он так осмеет, что после и глаз показать нигде нельзя будет. Черт бы его побрал!..

К тому же и жена моя тут замешана; я должен поддержать мою репутацию... И что было ей в этом Леонине?

Сколько раз спорил я с ней; был бы он порядочный человек, или француз, а то корнет армейский. Бррр...»

Щетинин остановился.

– Здесь, кажется, – сказал он.

Граф робко огляделся, а потом надменно сказал:

– Какова неучтивость... наших противников до сих пор здесь нет! Могли бы они, однако ж, знать, что люди, как мы, не созданы для того, чтоб дожидаться.

– Не успели, может быть, – сказал Щетинин.

– Не успели? когда они знают, что они имеют честь иметь дело с нами; когда мы им делаем честь с ними стреляться, то они могли бы явиться в настоящее время...

Щетинин сел на случившееся тут бревно и погрузился в размышления. Граф всунул обе руки в карманы своей бекешки и начал прохаживаться взад и вперед, грозно нахмутив брови. Прошло полчаса.

– Бррр... – сказал граф, – холодно! Я думаю, у меня нос побелел. Посмотрите, пожалуйста. Знаете что? поедemте домой. Человек, как я, не ездит для того, чтоб быть на таком холоде.

– Помилуйте, – отвечал Щетинин, – как можно! они сейчас будут.

– Как хотите, я один уеду.

Он опять нахмурился и опять скорее начал ходить взад и вперед. Снова прошло полчаса.

– Ну, ей-богу, уеду! – закричал он. – Просто-таки уеду, сейчас уеду... Что они вправду дурачить нас хотят?

– Ради бога, – сказал Щетинин, – подождите еще немножко!

Между тем уж совершенно рассвело; кругом был снег и белая равнина. Вдали пестрые могилы Волкова кладбища, а за ним уж гудел первый говор пробуждавшегося города.

– Нет! – закричал граф. – Это уж слишком! Прощайте... Я покажу этим молокососам, что значит манкировать такому человеку, как я. Давайте мне их только, уж я их отделаю! уж я их!

Тут граф остановился.

Вдали скакала во всю прыть коляска и быстро к ним устремлялась.

– Наконец! – сказал Щетинин.

– Я думаю, – заметил граф, – что после неучтивости, которую они нам сделали, нам бы следовало уехать и заставить их оставаться на морозе.

Щетинин улыбнулся.

Коляска быстро к ним катилась, и, наконец, покрытые пеною лошади примчали ее к месту поединка. Из нее выскочил Сафьев.

– Один! – закричал граф.

– Один! – сказал с удивлением Щетинин.

Сафьев подошел к Щетинину.

– Князь, – сказал он, – два слова наедине.

Они отошли.

– Вот что, – продолжал он, – Леонин уезжает. Не знаю, каким образом узнали о вашем поединке, только голубчика моего спровадили.

– Я за ним скачу вслед! – закричал Щетинин.

– Не нужно; Леонин драться не будет и не хочет.

Вы не знаете, что он был женихом Надины?

– Как, это он?

– То-то, что он. Он уступает ее вам, он знает, что вы ее любите.

– А кто сказал ему, что я люблю ее?

– Я...

Щетинин стоял неподвижный, устремив удивленный взор свой на Сафьева, который с своей бездушной наружностью отгадал глубокую тайну его души.

– Леонин просил у вас извинения, – продолжал Сафьев. – Жаль мне его: добрый малый, да глуп был сердцем.

– Поедемте к нему! – закричал Щетинин. – Я обниму его перед отъездом и поклянусь ему в вечной дружбе.

– Что до этого, – сказал хладнокровно Сафьев, – это опять пустяки.

Граф, заметив, что никакие смертоносные приготовления не угрожали его спокойствию, почел тут нужным вмешаться в разговор с тоном оскорбленного достоинства.

– Я очень удивляюсь... – сказал он.

Сафьев грозно на него взглянул.

– Мне странно кажется, – продолжал он, – что вы так долго заставляли ждать таких людей, как князь, например, или я, например. Разумеется, тут не было дурного намерения, однако ж все-таки, как бы то ни было, очень бы можно было, даже следовало бы...

– А! – сказал Сафьев. – Ваше сиятельство гневается, что вас понапрасну дожидаться заставили. Так зачем же дело стало? По-моему, всякая дуэль ужасная глупость, однако ж, чтоб сделать вам удовольствие, я готов.

Вы знаете, что, по старинному закону, когда два избранные по какому-либо помешательству не могут стреляться, то их заменяют секунданты их. Не угодно ли будет вам отойти на пятнадцать шагов? Человек, как я, может стреляться с человеком, как вы.

– Нет уж, спасибо, – отвечал граф, рассмеявшись принужденно. – Я так замерз, что теперь только думаю, как бы мне домой. Министр ожидает меня в десять часов. Не правда ли, холод ужасный? Бррр... бррр... бррр...

Тут он повернулся и бросился изо всей силы бежать к своей коляске.

– Поедем к Леонину! – закричал Щетинин. – Дорогой вы мне все объясните.

– Поедем.

И в радости своей Щетинин забыл, что уже девять часов и что верный его камердинер уже отнес к швейцару графини Воротынской письмо, писанное для Наденьки.

XIV

Вот что было два часа пред тем.

На дворе еще темнело, но бледный луч, дрожавший на небосклоне, уже предвещал зимнюю утреннюю зарю.

На улицах царствовало глубокое молчание. В комнате Леонина догоравшая свеча бросала длинные тени на окружающие предметы. Он сидел мрачный и задумчивый перед столом, покрытым бумагами, и от времени до времени пробуждался от грустных размышлений и принимался разбирать письма и вещи свои для последних распоряжений.

«Вот письма бабушки!» – грустно подумал он и, собрав в кучу большие листы, исписанные крупным старинным почерком, обвязал их снурком и поцеловал с почтением.

«Бедная бабушка! в два года я едва вспомнил о вас.

Вы посвятили нам всю жизнь свою, а я, неблагодарный, писал только вам о деньгах и не читал ваших советов, и не обращал внимания на ваши слова! Неблагодарность – вот чем я отплатил за ваши ласки, за ваши попечения, за любовь вашу! Добрая бабушка! Здесь отомстили за вас...

Вот, – продолжал Леонин, – записки графини, раздушенные и обманчивые, как ее жизнь. Вот букет, который она будто забыла в руках моих; вот книга, которую она читала; вот ленты, которые она носила...

Прочь! – закричал он. – Прочь! Все это обман, обман, обман!»

И раздраженный корнет начал рвать в куски записки, терзать букет и книгу, и все прежние талисманы любви его с силою полетели на пол.

В дверях раздался голос:

– Душа моя! к чему эта горячность?

– А, Сафьев, пора! Пистолеты с тобой?

– Со мной; только торопись, душа моя. Дело наше плохо. Графиня написала о нашей истории к твоему начальнику. Я тебе опять предскажу судьбу твою { не прогневайся, душа, тебя пошлют в прежний полк или еще далее; ты во всяком случае можешь готовиться на большое путешествие. Одевайся скорее, чтоб нас не застали.

Слушайся только на месте моих советов. Я тебя так поставлю, что тебя пуля не тронет. По-моему, дуэль ужасная глупость. Только если уж драться, так все-таки лучше убить своего противника, чем быть убитым. Кстати, зачем ты стреляешься?

– За кровную обиду, – сказал Леонин. – Щетинин смеялся надо мной с графиней.

– Только-то, душа моя? Я думал, что это у вас был предлог. Ну, да пора! Готов ты?

– Готов.

В эту минуту что-то скрипнуло у подъезда, и Тимофей, задыхавшись, вбежал в комнату с радостным криком:

– Барыня приехала! барыня приехала!

В передней послышался шум; два человека, в дорожных тулупах, вели под руки маленькую согнутую старушку, которая крестилась и охала от усталости и приговаривала дряхлым голосом:

– Миша, Миша! где мой Миша?..

– Бабушка!.. – закричал Леонин. – Бабушка!.. – и взволнованный юноша упал к ногам старухи.

– Миша, Миша, Миша! Господи помилуй, господи помилуй! Слава тебе, господи! Благодарю тебя, небесный владыко! Встань, Миша. Что это с тобой?.. Насилу доехала, ужасно устала. Ну, привелось мне тебя опять увидеть!

Странная была картина. При слабом мерцанье свечки и начинающейся зари молодой человек у ног согнутой старушки, которая его благословляла; подле них высокая фигура Сафьева, с пистолетами в руках; к стене несколько слуг; в это время принесли запечатанный пакет.

– А! – сказал Сафьев. – Я это предвидел. Ну, теперь делать нечего. А дело твое я как-нибудь улажу с Щетининым.

Старушка с удивлением осмотрелась кругом и поклонилась Сафьеву.

– Здравствуйте, Сергей Александрович! Сколько лет, сколько зим не видались мы с вами! Попеременились, батюшка, оба... Года идут...

– Идут, Настасья Александровна.

– Ты знаешь бабушку? – спросил Леонин с удивлением.

– Да, когда я служил в гусарах, я стоял у бабушки твоей в деревне.

– Миша! – сказала старушка. – Знаешь ли, зачем я приехала? Завтра моей Наденьке семнадцать лет, и в семнадцать лет она должна, по воле покойной матери, объявить: хочет ли она быть твоей женой.

– О! – воскликнул Сафьев. – Теперь я все понял!

Леонин распечатал пакет.

– Так точно, – сказал он, – вот приказание немедленно отправиться. Бабушка, опять вам от меня горе! я должен сейчас ехать...

– Да что это такое? – спросила старушка. – Объясните мне; ума не приложу. Миша, скажи мне всю правду... Судьбы господни неисповедимы!

– Я все вам объясню, – сказал Сафьев, – пойдете только в другую комнату. Вы говорите, – продолжал Сафьев, когда они вышли в другую комнату, – вы говорите, что сестра графини – невеста Леонина!

– Да, батюшка Сергей Александрыч, это была воля покойной матушки моей Наденьки; когда минет семнадцать лет, наша Наденька должна выйти замуж за моего Мишу, если у него другой склонности не будет.

В выборе графиня не должна иметь права вмешиваться, потому что мать ее всегда говаривала, что она продаст сестру, как сама себя продала. Да что вам говорить, вы сами лучше моего, Сергей Александрыч, это знаете. Добрая моя приятельница – дай бог ей царствие небесное! – все имение свое отдала своей Наденьке и моему Мише, которого она с детства любила, как своего сына. «Дочь моя, графиня (говаривала она), богата: все, что я имею, – нашим детям». Все это, батюшка, должно быть тайною между нами до совершеннолетия Наденьки, да я как-то раз проговорила в письме к Мише, года два назад.

Леонин закрыл лицо руками. Письма его бабушки лежали у него до того времени без внимания и едва прочитанные...

– Теперь, – продолжал Сафьев, – я все понял: у графини были письма покойной матери и приказание не вмешиваться в замужество сестры своей, а только объявить ей, когда ей минет семнадцать лет, что покойная мать выбрала ей в женихи Леонина, и желала, умирая, чтоб он ей понравился, – не так ли?

– Так, батюшка.

– Извините меня, Настасья Александровна, я буду говорить языком вам понятным. Леонин, внук ваш, хороший и добрый мальчик, но в свете, Настасья Александровна, он ничего не значит; он не что иное, как маленький Леонин, офицерчик из армии, довольно бедный, никому не родня; имя его – Леонин, похоже на водевильное и вовсе ничего не

имеет аристократического, то есть знатного, одним словом, Миша ваш в свете менее нуля.

Я говорил ему все это прежде, да он не хотел мне верить. Графиня же, Настасья Александровна, которую мы с вами знали милой, бедной девушкой, сделалась такою знатною, такой разборчивой, такой светской дамой, что мысль быть сестрой г-жи Леониной, супруги маленького Леонина, ее может убить. Вообще все женщины, попавшие из скромной семьи в нашу золотую знать, более самых коренных придерживаются всем мелочам гербовой спеси. Я уверен, что графиня, сохраняя в душе своей, еще не совсем испорченной, тайное почтение к приказаниям матери, многое бы отдала, чтобы их изменить, и с истинным сокрушением глядела на свою сестру. Вот что она придумала: так как ей приказано матерью принимать и видеть Леонина, она употребила все женские хитрости свои, чтобы влюбить его в себя и тем отвлечь от сестры.

– Помилуйте! – воскликнула старушка с истинной деревенской простотой. – Да она замужем.

Сафьев улыбнулся.

– Это уж так водится: чем больше у женщины влюбленных вздыхателей, тем более ей завидуют, и потому тем более она в моде. К тому же человек, как Леонин, для женщины, как графиня, – клад: через него она содержит равновесие между своими обожателями. Он – ширмы для ее кокетства... Вы этого не поймете, Настасья Александровна, да зачем вам это понимать?.. Словом, в маскараде начались нападения графини на вашего внука, и он, несмотря на мои советы, поверил всем ее заманкам, влюбился страстно и начал всюду преследовать, тогда как она любила – если она может любить кого-нибудь – известного франта князя Чудина, что было всем известно. Не имея состояния, ни родства, ни связей, ваш внук бросился в большой свет, втерся во все передние, клялся всем толстым барыням, начал пренебрегать службой, наделал целую пропасть долгов, жил в вечной лихорадке и, наконец, после двух лёт мучительной жизни, нынче должен стреляться с своим лучшим приятелем, потому что тот хохотал вместе с графиней над его простотою.

– Миша... – закричала старуха.

– Не бойтесь, он стреляться не будет. Графиня испугалась сама своего проступка, а так как у нее есть обожатели всех званий и

возрастов, она написала к своему генералу письмо. Поединок – дело, запрещенное законом: следовательно, говорить нечего. Внук ваш выпроваживается поделом. – Душа моя! – продолжал Сафьев, обращаясь к Леонину. – Говорил я вам, что плохо вам будет. Теперь делать нечего: поезжайте, а дела ваши предоставьте мне. Уладим как-нибудь. У вас много долгов, я могу вам дать денег взаймы, разумеется, с поручительством бабушки.

Леонин бросился к Сафьеву и хотел прижать его к своему сердцу. Сафьев его хладнокровно остановил.

– По восьми процентов, душа моя. Что касается до свадьбы твоей, жаль, что она не состоится. Твоя Надина, право, кажется, препорядочная. После и она будет как все... а теперь еще нет.

– Я люблю ее! – воскликнул с отчаянием Леонин. – Я чувствую, что я всегда ее буду любить.

– Ну, душа моя, жаль мне тебя, а дело это конченное! Она будет любить не тебя, которого она не знает, а Щетинина, за которого она боится, и потом, душа моя, Щетинин князь, богат, хорош, человек светский и влюбленный, а ты что?.. Поезжай себе: ты ни для графини, ни для Щетинина, ни для повестей светских, ни для чего более не нужен... Поезжай на Кавказ, а я покуда отправлюсь на Волкове поле, где противники наши, чай, бесятся на морозе.

– Послушай, – сказал Леонин, – скажи Щетинину, что я беру свой вызов назад, что я прошу извинения, что я не хочу стреляться... Скажи ему что хочешь. Да пожелай ему счастья с той, которую я вечно буду любить.

Прощай же, Сафьев! Спасибо за твою язвительную дружбу; она лучше светской ласковой ненависти. Я не ворочусь более никогда в Петербург! что мне делать в Петербурге? Если увидишь Надину, скажи ей, что там, далеко, есть человек, который готов за нее умереть... Да нет, не говори ничего... ничего не говори... решительно ничего. Прощай... Тебя ждут. Прощай, Сафьев.

Сафьев молча пожал у Леонина руку и бросился в коляску.

На дворе уже было светло.

Леонин не говорил ни слова. Долго стоял он перед бабушкой своей. Оба потупляли глаза, оба молчали, и вдруг, по внезапному стремлению, старушка и юноша бросились в объятия друг друга...

55-е представление, в котором будет участвовать г-жа Тальони.

Афишки

В тот самый день, вечером, Тальони танцевала в Большом театре: давали новый балет – случай в Петербурге торжественный, Светская фешен, по праву своему присутствовать на первых представлениях, наполняла ложи и кресла. Всюду перья, шляпки, обнаженные плечи, блестящие лорнеты, и общий говор, и поклоны, и киванья из лож в кресла, из кресел в ложи. В воздухе было что-то праздничное; все наряды были наряднее, а толпа гуще, чем когда-нибудь. Все известные вельможи упирались на перила оркестра и разговаривали меж собой, отвечая от времени до времени почтительным поклонам из третьего и четвертого ряда кресел. Все обычные посетители театра были в белых галстуках и казались озабоченнее обыкновенного, перебегая от знакомого к знакомому, как будто виновники или участники в ожидаемом зрелище. Капельдинеры суетились около кресел, и последние пустые ложи первого яруса наполнились после предисловного акта русской оперы, которую слушают одни лишь помещики, приехавшие из деревни, да дети, наклоненные над ложей подле гувернера в очках.

В одной из лож первого яруса сидела, с брильянтами на голове, новобрачная Кривухина, еще недавно пленявшая Коломну под именем мамзель Армидин. Подле нее униженно ежился начальник отделения, с Анной на шее, а между ними, в желтых перчатках, красовался известный нам господчик, который шутил и любезничал как можно громче, надеясь навлечь внимание зевак и выказать себя в первом ярусе лож, подле женщины в брильянтах. Рядом с ложею г-жи Кривухиной сидела графиня Воротынская, всегда пышная, всегда дышащая каким-то невыразимым ароматом щегольства и женской миловидности. Она бросила самую обворожительную улыбку толстому генералу, стоящему у первого ряда кресел, за что обрадованный генерал с рыцарским подобострастием и значительной улыбкой наклонил к ней свою главу.

В ложе графини переменялись ежеминутно молодые франты в мундирах и в желтых перчатках, которые несли светский вздор, спрашивали, зачем сестры графини не было в театре, и шепотом говорили меж себя, что, по дневным слухам, уже помолвили ее за князя Щетинина.

Графиня отвечала полуответами, поправляя свои воздушные рукава и оборачиваясь, чтоб небрежно наводить двойной лорнет свой на ложи и разбирать женские наряды своих дружеских соперниц. О Леонине ни слова, ни ползвуча; жив ли он был, пропал ли, – куда пропал, зачем пропал – никто о том не спрашивал: Леонин был человек слишком ничтожный, чтоб обратить внимание света.

О поединке никто не знал, и никому не было надобности ни узнать, ни рассказывать о нем. Графиня казалась веселою и беззаботливою по обыкновению. Но опытный наблюдатель, по невольному движению ее бровей, легко мог заключить, что ее беспокоило какое-то нестерпимое преследование. И точно: в шестом ряду кресел, с пальцем, задетым за жилет, с вечной улыбкой, стоял Сафьев и неумоимо преследовал графиню своим пронзительным и обнажающим взором. Она чувствовала себя прикованною к магнетическому влиянию неподвижного взгляда, который высказывал насмешку, упрек и ненасытное мщение. Граф скрылся за пышным тюрбаном своей жены, уступив место с ней рядом какому-то важному сановнику. Но вот в театре волнение утихло, оркестр загремел, и балет начался. Публика ожила... Вдруг из боковой кулисы выпорхнула наша воздушная гостя с тамбурином в руках, легкая, как пух, не касаясь земли, порхнула она в три прыжка кругом сцены и вдруг остановилась и приветствовала своих северных поклонников. Толпа, безмолвная дотеле, вдруг встрепенулась, оживилась, и гром рукоплесканий, как бурный поток, разразился громче и громче и потряс своды театра. Все взоры засверкали, и все чувства помолодели, и, как бы оживляясь общим восторгом, Гитана приударила в тамбурин и понеслась резво и весело, то гордо расправляя руки, то как будто изнемогая под сладким бременем неги стыдливой и непонятной...

В это самое время на московской дороге, за Ижорою, тянулась бедная кибитка, при грустном жужжании колокольчика. На облучке сидел денщик, печально повесив голову. В кибитке лежал офицер.

Ночь была темная. Ветер выл по гладкой равнине, вздымая снежную метель, ослеплявшую путников. Лошади едва передвигали ногами. Мрачно было в природе, мрачно было в душе офицера. Он лежал и думал.

Он думал, что ни за что схоронил заживо свою молодость; он думал, что в Петербурге осталась, и не для него, та, которая рождена была для него, та, которую он сам рожден был любить... Чем более он удалялся, тем более им овладевала мысль о Наденьке. Чувство, которое в нем рождалось к ней, не было мелочное, честолюбивое и взволнованное, как любовь его к графине, не было жеманное, как отношение его к Армидиной: оно было тихое, смешанное с глубокой грустью, с сознанием утраты невозвратимой, и в то же время в нем была какая-то мучительная отрада. Таково должно быть впечатление слепого, когда он чувствует, что воздух чист и благоуханен, что солнце греет, и догадывается только, что небо должно быть лазурно и необъятно хорошо. Образ Наденьки, как горестный упрек, врезывался все более и более в воображение молодого человека. Мыслью он был прикован к Петербургу...

А в Петербурге на его квартире, всю ночь горела свечка перед образом. Дрожащий свет, отражаемый золотистым окладом, тускло освещал исхудалую старушку в черном длинном платье, которая, поникнув головою, усердно молилась на коленях. То набожно сжимала она руки, то творила земные поклоны и шептала усердно молитвы, тогда как слезы, крупные слезы, невольно катились из дряхлых очей и сверкали одна за другою, падая по глубоким морщинам.

Аптекарьша



I

Уездный город С. - один из печальнейших городков России. По обеим сторонам единственной грязной улицы тянутся» смиренно наклонившись, темносеро-коричневые домики, едва покрытые полусогнившим тесом, домики, довольно сходные с нищими в лохмотьях, жалобно умоляющими прохожих. Две-три церкви – благородная роскошь русского народа – резко отделяются на темном грунте. Старый деревянный гостиный двор – хранилище гвоздей, муки и сала – грустно глядится в огромную непросыхающую лужу. Из двух-трех низеньких домиков выплывают пьяные рожи канцелярских

тружеников. Налево красуется кабак с заветною елкой, за ним острог с брусяным тыном, а вправо, на полуразвалившемся фронтоне, прибита черная доска с надписью:

«Аптека, Apotheke».

В один из тех печальных дней, когда кажется, что небо хмурится на землю, молодой человек сидел у окна одного из этих убогих домиков и сердито курил сигару.

На голове его была надета, по привычке набекрень, щегольская шапочка с кисточкой. Халат его, сшитый в виде длинного сюртука с бархатными отворотами, свидетельствовал о щеголеватости его привычек, а частые струи дыма в то же время ясно доказывали свирепость его душевного расположения.

Внизу на улице, у самого подъезда, стояла коляска без лошадей и почти до оси в грязи: около коляски нехотя суетился камердинер, вынимал поклажу и ворчал что-то сквозь зубы с самой ожесточенной физиономией.

Кругом собралось несколько мальчиков в немом удивлении, а напротив, на полупровалившемся тротуаре, стояла баба с коромыслом на плече и с вытаращенными глазами.

Молодой человек погрузился невольно в самые досадные размышления. «Теперь, – подумал он, – в павловском вокзале готовится иллюминация. Herrmann играет вальсы, галопады и всякие попури; гусарские песенники поют, дамы ездят верхом; мои товарищи любезничают, а я сижу в этой трущобе; теперь наполнен французский театр, m-me Allan играет; товарищи мои слушают и хлопают, а я сижу в этом захолустье! А в субботу, в субботу бал на водах; там и О... и В... и Б.; товарищи мои будут с ними танцевать, они будут им улыбаться, будут с ними кокетничать, кокет-ни-чать...

с ними будут!.. А я сижу в этой темнице, в этой ссылке, в этом заточении!»

Вдруг необычный шум на улице остановил порывы его негодования. Молодой человек высунулся из окна.

Под окном камердинер его Яков спорил с каким-то господином в пуховой фуражке и в венгерке с снурками и кисточками, что, как известно, явный признак провинциального франта.

– Я тебя спрашиваю, чья коляска? – говорил франт.

– Я вам сказываю, что господская, – сердито отвечал Яков.

– Да чья господская?

– Ну, говорят вам, господская.

– Да чья же?..

– Ну господская. Всё узнаете, скоро состареетесь.

– Что... что?.. Вот я тебя... Да нет, вот... возьми, братец, гривенник, скажи, голубчик, чья коляска?

– Не надо мне вашего гривенника. Любопытны слишком. Ступайте своей дорогой.

– Коляска моя! – закричал молодой человек из окна. – Что вам угодно?

Франт поспешно поднял голову и начал раскланиваться, стоя в грязи:

– Ах! Извините-с. Шел мимо-с. Вижу-с коляску отличной работы-с. Смее спросить: что изволили за нее дать-с?

– Три тысячи пятьсот, – отвечал молодой человек.

– Гм! Деньги хорошие. Смее спросить: с кем имею честь говорить?

– Барон Фиренгейм.

– Ах, помилуйте... Я вашего, должно быть, родственника очень знал-с; вместе в полку были. Позвольте быть знакомым.

И, не ожидая приглашения, франт опрометью бросился к крыльцу, а через мгновение очутился уж в комнате приезжего.

– Позвольте-с спросить: как вам приходится барон Газенкампф, который был у нас ротмистром в полку?

– Моя фамилия не Газенкампф, а Фиренгейм, – отвечал, улыбнувшись, молодой человек.

– Ах! А мне слышалось – Газенкампф. Извините, пожалуйста. Какой у вас хорошенький халат; чато, теперь такие халаты носят в Петербурге.

– Не знаю, право. Как кто хочет.

– Очень хороший фасон. Я попрошу у вас для выкройки. По делам службы изволили, вероятно, к нам приехать?

– Да-с.

– Я вам должен доложить: я с здешними господами служащими никакого дела не имею и в глаза почти не знаю. Городничий наш,

Афанасий Иваныч, – изволите его знать? – добрый человек, только слаб немножко, за купцами ухаживает; впрочем, многого не возьмешь:

у нас купечество себе на уме. Сами так исправно воруют, что любо. Вы их еще не изволите знать? Криворожий, Надулин, Ворышев – лихой народ, нечего сказать. Исправник наш добрый человек, да попивает. Судья так себе, зато уж стряпчий молодец, а впрочем, я их знать не знаю. Что это у вас, часики на столе?.

– Часы.

– Ах, позвольте взглянуть. Какая прелесть! Что за цепочка! Нам, провинциалам, таких вещей и во сне не видать.

– У вас, кажется, тоска нестерпимая в вашем городе?

– Да-с, сказать правду. Хуже быть не может. Вот то ли дело в Т. Сто верст всего отсюда. Дворяне живут в городе, и купечество зажиточное, а здесь просто пустыня; впрочем, в двадцатом году здесь было рекрутское присутствие, так тоже весело жили. Даже, говорят, дворянское собрание было в доме, что нынче аптека. Были балы; помещики съезжались. Очень было весело. Жидовская была музыка. До сих пор вспоминают.

– Как, неужели у вас нет ни одного дома, где бы можно было провести вечер?

– Нет-с, с двадцатого года здесь никто из дворян не живет... Да, бишь, предводитель наезжает иногда.

– Женатый человек? – спросил поспешно барон.

– Нет-с, холостой. Это туалетный прибор у вас на столе?

– Да-с.

– Серебряный или аплике?

– Серебряный.

– Ах, позвольте взглянуть. Как хорошо! Какая работа! Дорого изволили дать?

– Не помню, право.

– Отличная вещица! Я еще такой не видывал. А эти пилочки на что?

– Для ногтей.

– Уж чего теперь не выдумают! Надо сказать правду.

– Да что же вы здесь делаете? – спросил с отчаянием молодой человек.

Господин в венгерке взглянул на него с удивлением.

– Да ничего-с.

– Как же вы здесь живете?

– Да я у помещиков гощу большею частью. Свою деревеньку я продал, так живу себе поневоле иногда в городе, а то в гостях всегда.

– И вы ни с кем здесь не знакомы?

– С служащими я не веду особенного знакомства, а так иногда захожу к Францу Иванычу.

– А кто это Франц Иваныч?

– Франц Иваныч?..

– Да!..

– Наш аптекарь.

– Ученый человек?

– А бог его знает. Человек добрый. Жена у него немочка прехорошенькая, хотя бы в столицу; и там скажут, что недурна.

– Хорошенькая!..

– Очень недурна-с. Только жаль, что по-русски плохо говорит: понимает-то понимает, а уж разговаривать – слуга покорный.

Лицо молодого барона прояснилось. Мысль о хорошенькой женщине так могуча в юные годы! Весь город показался ему не так отвратителен. Изломанные крыши сделались живописными. По грязной улице очертились протоптанные тропинки. Барон вздохнул свободнее. В эту минуту парные дрожки остановились у подъезда.

– Городничий, – сказал с некоторым смущением фронт в венгерке. – Извините, что я вас побеспокоил.

Позвольте быть знакомым.

Засим, поклонившись почтительно барону и еще почтительнее входящему городничему, любопытный провинциал вышел на улицу, осмотрел со всех сторон коляску, запрянул под фартук и отправился домой, сопровождаемый глухою бранью камердинера Якова.

Выпроводив городничего, квартировавшего некогда с полком в Белоруссии и почитавшего непреложною обязанностью с того времени перевозить полк, к явной обиде наших православных дам, молодой барон кликнул Якова и начал одеваться.

Полчаса тому назад он бы и не взглянул на подаваемое ему платье, но теперь он назначил и сюртук, и жилет, и галстук и вынул из дорожного ящика большую жемчужину в золотой лапе, которой лапой он заколот пестрый шарф, обвивающий его шею. Одевшись таким

образом, он вышел прогуляться, подышать свежим воздухом и неприметно отправился прямехонько к аптеке.

Сперва он внимательно осмотрел странную архитектуру дома, где некогда уездное дворянство выплясывало под жидовскую музыку; потом раз пять прочитал надпись:

«Аптека, Apotheke», потом обошел раза два дом со всех сторон, потом пошел далее. У него не доставало храбрости войти в аптеку без причины, и в эту минуту он дорого бы заплатил за какой-нибудь незначительный недуг, принудивший его к требованию врачебных пособий.

У светских людей, несмотря на их наружную неустрашимость, часто бывают минуты подобной нерешительности, в которых они, впрочем, душевно раскаиваются и никогда никому не сознаются. Через полчаса молодой барон, как бы влекомый неодолимым магнитом, опять подошел к аптеке, посмотрел в окна, остановился, хотел завернуть на крыльцо и опять прошел далее. Сердце его билось. Наконец ему стало стыдно самого себя. Как возмущившийся трус, он вдруг повернул назад и натолкнулся на нового своего знакомого франта, который выходил из аптеки.

– А я от Франца Иваныча, – сказал франт, – ходил ему сказывать, что вы приехали. Он говорит, что он в университете был с одним бароном Фиренгеймом, лет шесть назад.

– Это я. Других Фиренгеймов нет.

– Ну, так он вас знает.

– Право?

– Что это у вас, жемчуг в булавке?

– Да.

– Ах! Позвольте взглянуть. Какая работа отличная!

Уж чего не придумают! Давай только денег. Где нам, провинциалам, иметь такие вещи! Вас и Шарлотта Карловна знает.

– Право? – воскликнул барон и опрометью бросился на крыльцо, оставив собеседника в порыве грустного размышления и самопознания.

Аптека была устроена с некоторою щеголеватостью.

Полки по стенам, бутылки и стеклянки с латинскими надписями, ящики где следует, конторка, весы; одним словом, фармацевтическая декорация была самая приличная и доказывала аккуратность

распорядителя. В передней, просто обитой тесом, пожилая баба толкла что-то в ступе, а у самых дверей стояло двое мальчишек, присланных один за бузиной на десять копеек, а другой за ревенем на гривенник.

У конторки сидел аптекарь, небольшой человек с кудрявою рыжею головкою и с самой добродушной физиономией; усердно записывал он расход своим травам и скудный приход выручаемых копеек с такою же отчетливостью, как будто дело шло о миллионах. Подняв нечаянно голову, он вдруг увидел стоящего перед ним столичного щеголя, который, укротив мгновенный пыл своей решительности, стоял в недоумении, не зная, чем начать разговор.

– Что вам угодно? – спросил аптекарь.

Щеголь еще более смешался. Нельзя же было ему сказать, зачем он действительно пришел.

– Я... – отвечал он, – хотел бы содовых порошков.

– У нас, – отвечал аптекарь, – соды не требуют, а оттого мы ее и не держим. Здесь не столица, – прибавил он, улыбнувшись, – требуют только дешевенького.

– Мы, кажется, были вместе в университете, – сказал, приободрившись, барон.

– Да-с... Только мы знакомы не были, а я вас очень помню: вы были ландсманом, а я был буршеншафтером.

К тому же факультеты у нас были различные.

– Точно.

– Я вас на фехтбоденах [\[37\]](#) видел. Только вы так переменились, что я никак бы вас не узнал. Прежде вы ходили совершенным буршем, а теперь вы такой щеголь...

– Живу в другом мире, поневоле переменишься.

– А знаете ли, господин барон, вы никак не ожидаете встретить здесь старую знакомую?

– Как?..

– Вот сейчас увидите. Эй! Шарлотта Карловна, Шарлотта Карловна! Будь так добра и поди сюда.

– Я совсем по-утреннему одета, – отвечал женский голос.

Сердце барона забилося.

– Полно, Шарлотта Карловна, церемониться, здесь знакомый.

Барон невольно уставил глаза в двери. В соседней комнатке слышались шаги, легкий шорох поспешного туалета, наконец шаги

стали приближаться, дверь распахнулась, и у дверей показалась аптекарша...

– Как, вы здесь? – воскликнул барон.

– Да, – сказала аптекарша, покраснев и вздохнув невольно. – Это я. Давно мы с вами не видались, господин барон.

II

Перенесемся теперь в другой городок, в другую землю, к другому времени, за несколько лет перед началом моего рассказа.

Городок, в который я вас хочу перенести, читатель мой благосклонный, совсем не похож на тот, которым я так грустно начал повесть свою об аптекарше. В этом городке все дышит какой-то умственной деятельностью и душевным молодым разгулом. По улицам толпятся молодые люди в коротких плащах и дружно толкуют между собою. Другие, с тетрадями и книгами под мышками, спешат на голос благовествующей науки, тогда как за белыми занавесками хорошенькие личики, с ярким румянцем на щеках, украдкой на них поглядывают.

Университетские годы! Годы молодости, годы невозвратимого братства, когда в каждом товарище видишь друга, в каждой науке видишь достигаемую цель, в каждой женщине – высокое олицетворение мечтаемого идеала! Скоро проходите вы, годы неумолимые; но душа долго на вас оглядывается, долго вами любитесь и хранит вас вечно, как драгоценное свое сокровище, сокровище теплых вдохновений и чистых, высоких помыслов.

Недалеко от деревянного моста, в кривой узенькой улице существует, вероятно, и поныне низенький деревянный домик с большим двором и небольшим надворным строением. В домике немного комнат, и те убраны без роскоши, даже скудно; но в них обитает спокойствие, которого нельзя приманить ни лионскими обоями, ни парчовыми занавесками. Из передней вы входите в гостиную, устроенную по заветному преданию. У главной стены, в математической середине, стоит диван, обитый черной волосяной материей и с выгнутой спинкой красного дерева; перед диваном овальный стол, покрытый клеенкой, на котором стоят два подсвечника

и щипцы; по бокам дивана по три кресла, обтянутые также плетеным волосом; между окнами два ломберных стола; к боковой стене приставлено фортепьяно; с другой стороны несколько стульев; над диваном два литографированные портрета знаменитых германских ученых да с обеих сторон дверей по одной медной лампе, прибитой к стене; пол дощатый, не крашенный, но чисто вымытый; стены просто выбелены – это гостиная. Подите дальше: с пола до потолка со всех четырех сторон поделаны полки простого дерева; на полках громоздятся книги всех видов и переплетов; огромные фолианты, как фундаменты науки, лежат в самом низу; прочие книги укладываются над ними плотной стеной; посреди комнаты письменный стол, заваленный бумагами и книгами, – это кабинет ученого, кабинет немецкого профессора, что обнаруживается педантическим кокетством учености, отличающим главную комнату дома. За этим кабинетом каморка, где отдыхает профессор после дневных трудов своих, а далее небольшая комната его дочери, пятнадцатилетней девочки, только что расцветающей свежеею красотою на радость отцу и обожание студентам.

В надворном строении, против окон молодой девушки, поделаны расчетливым хозяйством небольшие комнаты, нанимаемые студентами по семестрам за сходную цену. В сравнении с этими комнатами скромное жилище профессора – чудо роскоши!

Если вы были студентом, мой читатель, то вспомните мебель вашей студенческой квартиры – и нехотя вы улыбнетесь и вместе вздохнете, потому что вы готовы отдать всю лавку Гамбса за тот изорванный диван, за те изломанные стулья, на которых вы были молоды, полны надежд и огня, полны любви и восторга. Что за жизнь в студенческой комнате! Сколько значения!

Сколько прекрасного и смешного! Сколько разгульного и глубокого вместе! Тут череп и человеческие кости, там пестрые шапки, огромные трубки, рапиры, карикатуры на стене; с другой стороны громады тетрадей и книг; далее – бутылки и стаканы, карты, дубины, плащи, вассерштифели и большой белый пудель, который, важно выставив морду, глядит на все спокойными глазами хозяйского друга.

В первом семестре 18** года на студентской квартире поселился только что приехавший Maulesel [\[38\]](#), курляндский юноша, барон Фиренгейм. Вскоре, по странной академической терминологии, лошак

превратился в лисицу, то есть из недорослей вступил в звание студента первого семестра и получил право гражданства в этом фантастическом мире, где так много высокого и так много комического, что оба начала срослись вместе и стали нераздельны. Оплядевшись со всех сторон, напившись пьян на приемном торжестве, надев пеструю фуражку, заплатив за коллегии, испытав силу руки своей в махании рапиры, молодой барон рассудил, что, чтоб быть полным студентом, ему оставалось еще одно – влюбиться. Барон был то, что в полках и учебных заведениях называют добрым малым: не отставал ни от кого, с пьяными готов был пить, с рубаками рубиться, с картежниками играть, с трудолюбивыми углубляться в науку, с лентяями ничего не делать. От этой стоворчивости терялась, может быть, самостоятельность его характера и уменьшалась к нему степень уважения товарищей, всегда привлекаемых положительным и резко выраженным нравом; но зато недостаток этот искупался поэтической теплотой сердца, любовью ко всему прекрасному, умом проницательным, которому при напряжении мало оставалось недоступного; одним словом, природа его была благородная, часто возвышенная, но всегда нравственно аристократическая.

Для дополнения своего студенческого бытия молодому барону, казалось бы, идти недалеко: против его окон, с другой стороны двора, белелись две чистенькие занавески, а за ними выплядывало розовое личико пятнадцатилетней девочки, с большими темно-синими глазами, с длинными шелковистыми ресницами, с детской задумчивой головкой. Молодой человек мог следить за всеми ее движениями. Утром мог он видеть, как, надев черный передник и коленкорovou шляпку, она укладывала свои книжки в мешок и отправлялась в школу, стыдливо потупляя глаза от нескромных взоров любопытных студентов. Потом приходила она домой и помогала толстой кухарке в хозяйских распоряжениях. Мать ее уж несколько лет как скончалась, оставив ее ребенком, а отец ее, профессор, старик, погруженный в книги и ученость, во всем на нее полагался. После скромного обеда она садилась за фортепьяно, играла кое-как старинные сонаты и, если сказать правду, пела довольно плохо немецкие романсы из собрания, известного под названием «Arion». Потом она иногда прогуливалась с отцом. Вечером старик закуривал сигару и забавлялся чтением ученых журналов, а она уходила в свою комнату; свечка зажигалась за белыми

занавесками, и уединялась в свое смиренное святилище. Тогда она занималась завтрашним уроком, письмом к приятельнице, узором для вышивания или читала любимого поэта.

Случалось, что перо ее останавливалось, книга выпадала из рук, головка ее, осененная густыми локонами, невольно упиралась на ручку и она задумывалась о чем-то неразгаданном, как будто одолеваемая учителем, но в то же время сладким предчувствием.

Тогда она долго сидела в бездействии: ей было то неясно весело, то неизъяснимо грустно, то улыбка без причины оживляла ее детское личико, то нежданная слеза навертывалась на ее глазах. Она тихо вставала. Стройная тень рисовалась на занавесках. Свечка гасла. В доме профессора водворялась тишина.

Наступала ночь.

Зачем же было идти далее молодому студенту? Неужели хорошенькое личико, пятнадцать лет, скромная поступь, влажный взгляд, неужели поэтический призрак, веющий около германской девушки, не были достаточны, чтоб остановить его внимание, приковать его сердце?

Увы! Студент мой родился бароном, бароном немецким, с гербом в три аршина, прибитым на колоннах старой соборной кирки, во славу его баронского достоинства. Студент мой рожден богатым наследником, что, замечу мимоходом, между немецкими баронами почти неслыханное чудо, совершившееся в его пользу, к великому удивлению и зависти всех соплеменников его.

Эти два обстоятельства, сопряженные с его природным аристократическим свойством, развили в нем какое-то неодолимое, жеманное чувство, гнушающееся всякого жестокого столкновения с существенными подробностями небогатого житейского быта. Бедный молодой человек, на идеальный предмет своих мечтаний, на нежного спутника, парящего на невидимых крыльях в тумане юношеского воображения, он надевал свою баронскую корону, облакал его в модные ткани, подкладывал ему под ноги английские ковры и влагал ему в уста, безрассудный, вместе с выражениями страсти бессмысленные речи светского пустословия.

С такой несчастной склонностью мудрено ли, что он глядел на свою соседку если не совсем равнодушно, то без всякого душевного восторга. Коленкорная шляпка казалась ему чересчур противною

всякому мощному приличию, а камлотовый мешок с книгами разверзлся в его мнении могилой для поэзии. К тому же он видел, как молодая девушка сама по утрам принимала провизию на кухню, взвешивала рыбу, осматривала овощи, а потом долго торговалась и платила медными деньгами; кроме того, он заметил, что на ней по будням было ситцевое платье всегда одно и то же и что по воскресеньям она надевала платье белое перкалевое)

и хотя она была хороша в нем, как ангел, хотя все любовались ею, от мала до велика, от супер-интендента до последнего гимназиста, но молодой барон один припоминал с досадою, что она это платье сама шила, сама гладила и берегла как глаз, потому что другого у нее не было.

А вечером, когда, утомленная учением и хозяйственными заботами, она удалялась в свою комнатку и свечка загоралась за белою занавеской, казалось, как бы не устремиться очами и душой к таинственному свету, казалось, как бы не перелететь вдохновенною мыслью в ее уютный уголок и не повергнуться в прах перед ее ликом, сияющим небесною кротостью. Увы! Барон не мог забыть, что свечка, таинственно освещающая ее комнатку, не что иное, как сальный огарок, что кровать ее из простого некрашеного дерева, что белье ее грубое и что, засыпая, она, вероятно, покрывается изношенным салопом.

Несмотря на то, он воспользовался правом соседа, и, выбрав, как водится, праздничный день, надел черный фрак и белые перчатки и ровно в двенадцать часов отправился к профессору с визитом. При входе он заметил в полузахлопнутой двери любопытную головку профессорской дочери – и ему стало досадно сперва за то, что она показалась, а потом за то, что она спряталась.

– Mein junger Freund ^[39], - сказал ученый доктор *utriusque juris* ^[40], добродушно выдвигая очки и нос из груды запыленных бумаг. – Добро пожаловать. Вы камёралйст, кажется?

– Нет-с, дипломат.

– А!.. – *diplomatiae cultor* ^[41]. Вы слушаете лекция моего ученого друга Беккера?

– Так точно.

– Вы прилежно занимаетесь?

– Иногда-с.

– Занимайтесь, мой молодой друг. В науке – семя всего доброго и высокого. Не тратьте времени по-пустому: время – наш капитал самый драгоценный. Are longa, vita brevis ^[42]. Вы сосед наш, кажется?

– Имею эту честь.

– Прошу быть без церемоний: мы здесь не в столице; а без лишних слов, если я могу вам быть чем полезен, то располагайте мною. У меня есть редкие издания... да-с, сочинения, которые надо поискать, да, поискать, – прибавил профессор с чувством самодовольствия. – Будемте добрыми соседями.

Он протянул руку студенту с непритворным радушием.

«Добрый человек», – подумал барон, невольно тронутый ласковым приемом.

– Знаете что: если вам не скучно с стариком, откушайте с нами.

По странному противоречию, молодой человек сперва обрадовался. «Я ее увижу, – подумал он, а потом присовокупил: – А уж не замышляет ли этот ходячий фолиант сблизить меня с своей дочерью, даже, чего доброго, женить на ней, считая на мое будущее наследство.

Он, верно, знает, что я буду богат».

Но поистине профессор не знал о том ни полслова.

Он любил молодых людей и желал им быть полезным, где только мог. Студент принял приглашение, раскланялся и возвратился через час. Толстая служанка накрывала на стол. Профессор в длинном оливковом сюртуке и в белом батистовом галстуке бодро ходил по комнате, а у окна сидела его дочь и вязала чулок. При входе гостя она покраснела, привстала и присела довольно неловко. Профессор начал говорить о погоде в ученом отношении и пригласил садиться за стол.

Увы! Служанка принесла в миске кашу под названием офен-гриц с молочной прихлебкой. Профессор принялся кушать с наслаждением, дочь его – с явным удовольствием; один барон прихлебывал с горестным чувством. Плохой обед, даже подле существа любимого – дело неприятное, когда есть хочется. Не оттого ли это, что любовь проходит, а аппетит – никогда.

После офен-грица подали кусок говядины, плавающий в масле, с полусырым картофелем; потом блинчики с творогом довершили обед, в продолжение которого не было разговора, кроме потчевания молоком, соусом и мелким сахаром.

– Ну, Шарлотта, – сказал вдруг профессор, – принеси-ка нам бутылочку в честь нашего молодого друга.

Шарлотта вышла и через минуту возвратилась с продолговатой бутылкой отличного рейнвейна, до которого ученый, как все ученые, был большой охотник.

Рейнвейн и сигары были его отдохновением, единственной его роскошью, для доставления которой дочь его, пятнадцатилетний ребенок, круглый год считала и берегла копейки, лишала себя всех прихотей, свойственных ее возрасту, носила все то же ситцевое платье по будням и белое по воскресеньям и торговалась упорно в цене жизненных припасов, но зато сигары выписывались из Гамбурга, а вино – от берегов Рейна, посредством одного ученого друга и великого знатока. Барон всего этого не понял.

За рюмкою вина, в особенности отечественного, немец оживляется, молодеет, рассказывает, и, как дитя тешится игрушкой, он тешится своей стариной. Два часа прошло незаметно. Профессор рассказал свои экзамены, свои труды, свои знакомства с учеными германскими друзьями, свою буйную молодость, свою немую любовь, свою женитьбу, свою тихую и трудолюбивую жизнь и заключил горячей слезой памяти незабвенной подруги.

Студент слушал со вниманием. Добрая сторона души его понимала, что было хорошего в беспорывной жизни немца, и, по невольному переходу, останавливалась на безмятежном лице его дочери. В нем отражалось такое отсутствие суетных волнений, такое эпическое спокойствие, что бунтующая кровь мгновенно при ней утихала и мысли, увлеченные к земному, невольно воспаряли к высшему источнику. Одолеваемый двумя противными чувствами, барон не мог понять самого себя. Смотря на Шарлотту, он чувствовал, что должен бы ее любить.

Смотря на все окружавшее ее, он чувствовал, что он любить ее не мог. Без нее ему было грустно, при ней – досадно. Бывало, он заглядывался на ее темные очи, отуманенные густыми ресницами, и на крыльях воображения переносил ее в дивный мир фантазии, где все гармония, и поэзия, и счастье. И вдруг грустное напоминание жизни разрушало его мечты. Офен-гриц на столе, заплатка на платье, употребление щипцов над сальной свечкой, сожаление о дороговизне капусты обдавали его морозом. Каждый вечер он решительно

намеревался не посещать более профессора, а на другой день он снова был уже у соседей, пил рейнвейн, курил сигары и играл с Шарлоттой сонаты в четыре руки.

Прошло несколько месяцев. По ученому городку, по примеру прочих грешных городков, пошли сплетни и провозгласили, с дополнениями и комментариями, молодого барона женихом. Узнав о том, как водится, последний, он, как добрый малый и честный человек, душевно огорчился. Женитьба казалась ему далекою пристанью после долгого странствования, а он снаряжался еще только в путь. Несмотря на то, мысль, что другой может жениться на Шарлотте, была ему неприятна до чрезвычайности; но надо ему отдать справедливость: он поборол самого себя, быть может, оттого, что был еще молод и пылок для всего хорошего, что, к сожалению, изменяется с возрастом. Он вдруг прекратил свои посещения и для развлечения бросился в полное раздолье студентской жизни.

А студентская жизнь, друзья мои, эта вечно кипящая чаша, кого не рассеет и не утолит? Закутил молодой барон. Пригнул шапку набок, вооружился дубиной и пошел по комершам ^[43] и по фехтбоденам под руку с самыми отчаянными буршами. Вскоре имя его, дотоле почти неизвестное, загремело на всех перекрестках; молодые фуксы стали глядеть на него с почтением, а городские девушки с явным любопытством. Но как он ни желал влюбиться и как ни легко это в его лета, он никак не мог совестливо исполнить своего желания. Та была хороша, да дочь булочника, другая казалась всем привлекательна, да он заметил однажды, что руки ее были недостаточно вымыты; одна была мала слишком, другая слишком велика; одна недовольно черноволоса, другая слишком белокура, словом, проходя по всей шеренге местных красавиц, душа его останавливалась с нежностью только на дочери профессора, но и ту, как мы видели, он мог любить только урывками, оскорбляясь ежеминутно жестокими столкновениями в шероховатостями прозаической жизни.

Что же происходило тогда в сердце молодой девушки? К чему это отгадывать? Она все жила по-прежнему тихо и однообразно, только тщательнее отворачивалась от барона, когда встречала его на улице, и дольше стала засиживаться по вечерам, оставаясь одна в своей комнатке. Барону казалось при редких ее встречах, что она на него сердится, и это было ему досадно.

«С какого права?» – думал он. Однако ему, вероятно, было бы еще досаднее, если бы она не сердилась на него вовсе. Жизнь его катилась в шумном забытии. Поутру он слушал рассеянно какую-нибудь лекцию, потом отправлялся на фехтбоден заниматься, по выражению Языкова, головоломным искусством, потом веселая ватага отправлялась обыкновенно на шульвагенах за город с вином и песнями и ликовала всю ночь с буйными восклицаниями.

Однажды университет праздновал день своего основания. Студенты с бутылками, привешенными к пуговицам сюртуков, отправились по партиям к загородным корчмам. Барон, нарядившись также ходячим погребом, к явному удовольствию своих товарищей, вмешался в буйную толпу и не возвращался целый день. Напрасно дочь профессора украдкой поглядывала из-за занавески, ожидая с трепетом, что бедного ее соседа приведут под руки на квартиру. Наступил вечер. Все окна мигом иллюминировались в честь торжества, под опасением неумолимого разбития. По всем направлениям города начали раздаваться веселые хоры, которые подвигались с факелами к зданию академии и провозглашали ей громогласный *vivat*.

Все городские обыватели стояли у ворот своих домов и с любопытством посматривали на буйную веселость академических именин. Крик, топот, песни не умолкали ни на минуту. К дому профессора прихлынула ватага полупьяных буршей.

– А знаете, – сказал хриплый голос, – он, старый хрыч... был неучтив вчера в коллегии. Право, неучтив.

Право, ну... я шаркать начал... моя воля... Не правда ль, моя воля?.. Так. А он вдруг говорит, старый хрыч, чтоб я не мешал. Мешаю будто другим слушать. Ведь это грубость?

– Грубость, – сказали несколько голосов.

– Ну, так за чем же дело стало, *pereat* ^[44] ему!

– *Pereat!* – закричала толпа с такими ужасными воплями, что стены ближних домов чуть не пошатнулись.

Профессор, сидя спокойно за своим письменным столиком, побледнел. «Уж не мне ли? – подумал он. – Нет, это, верно, моему ученому и бедному другу», – *Silentium* ^[45], бурши! – закричал другой голос, – Грех вам и стыд обижать невинного старика* – Что... что?..

– Притеснял ли он когда-нибудь кого? Выл ли он когда врагом студентов? Не трудился ли он всю жизнь для вас? А вы вместо

благодарности хотите отплатить проклятием. Стыдно, ребята!

– Фиренгейм прав! – сказал кто-то.

– У старика хорошенькая дочь, – заметил другой.

– Виват! – закричали все. – *Vivat! Vivat! Vivat! Crescat, floreat in aeternum!* [46] – Это, господин барон, тебе так не пройдет, – сказал сердито хрипый голос. – Я филистер. Со мной не угодно ли прогуляться в круглых шляпах?

– Хоть на пистолетах, – отвечал Фиренгейм.

– Ну, пожалуй, на пистолетах.

– Нет, – сказал кто-то из старейшин, – на шлегерах!.. Обиды кровной нет.

– *Vivat!* – кричала толпа. – *Vivat! Vivat!*

За окнами показались блуждающие огни. Потом одно окошко поспешно отворилось, показался профессор и смущенным голосом начал благодарить студентов.

Между ними воцарилось глубокое молчание. Профессор описал свою академическую жизнь, свое ученое стремление, свою любовь к студентам и заключил, что, доживая до преклонных лет, лучшей его отрадой была мысль, что труды его не совсем пропали для молодых его друзей. Между тем к толпе почтительно слушающих студентов прихлынули другие. По окончании речи виваты, как трескучий гром, начали перекатываться по воздуху. В одно мгновение факелы брошены в одну груды, и веселый огонь озарил палящими переливами радостный пир молодости и подгулявшей науки. Профессор выкатил весь свой погреб и тешился как дитя.

С сверкающими глазами он жал у всех руки, потчевал непьющих лучшими сигарами и отдал весь рейнвейн свой до последней бутылки.

Через несколько дней Фиренгейма привезли без чувств домой. Грудь его была прорублена до самого плеча.

Когда он начал приходить в себя, в глазах его и в душе было еще темно и туманно; но в неясном тумане обозначались едва заметно нежные черты, и двое влажных очей, как отуманенные звезды, казалось, притягивали его к жизни. Мало-помалу странное видение между существенностью и сном стало определеннее: черты обозначились яснее. Так это она точно, она, дочь профессора, которая с трепетным волнением стояла у изголовья раненого.

– Очнулся! – сказала она шепотом и покраснела до ушей. – Теперь я не должна здесь оставаться.

Бедная Шарлотта вздохнула.

Отец ее, стоявший за ней, посмотрел на раненого опытным взглядом знатока.

– Какой славный удар! – сказал он. – Какая ужасная винкелькварта! Бедный мой друг, если вам захочется супу, то пришлите ко мне.

Барон пролежал три месяца на кровати, и хотя соседка его не осмеливалась к нему войти, но везде была заметна ее нежная заботливость. Легкие кушанья, чистое белье, увеселительные книги, цветы, игрушки, все мелкие наслаждения, неизвестные холостой беспечности, присылались ежечасно от имени профессора и утешали раненого студента. Шарлотта была его невидимым провидением, и он невольно стал переносить к ее образу все нежные мечты своих продолжительных бессонниц. А она до того привыкла к своему попечительству, до того обрадовалась возможности приписать состраданию неясную склонность своего сердца, что когда Фиренгейм оправился и пришел благодарить своих соседей, она почувствовала, что ей чего-то не доставало.

Утомленный студентским разгулом; молодой барон, к явной радости старика профессора, сел за книги и начал заниматься. Строгое прилежание и долгая болезнь скоро выгнали у него из головы его баронскую дурь. Он удостоверился, что подробности существенной жизни значительны и первостатейны только для малодушных людей, а что душевные совершенства лучше приятных форм. Забыв глупые предубеждения, он сблизился с профессором, полюбил его искренно, как отца, а к дочери его привык, как к сестре. Жизнь их была без особых событий и потому не могла раздуть пламени страсти; но они были сотворены друг для друга, и этого-то они не могли не понимать. С ней он занимался музыкой в часы отдохновения и с ней читал любимых поэтов; она любила Шиллера, он предпочитал Гете, и от этого разногласия нередко возникали довольно горячие споры, точь-в-точь как будто между детьми. Привычка их сроднила; но странно было, что, когда она была весела, он сердился; когда он начинал шутить, ей становилось грустно; но что когда они изредка соединялись в одном чувстве, то их сердцу было невыразимо весело и легко, а глазам

хотелось плакать. Барон и этого не понял. Только каждый день, по неодолимому влечению, ходил он к соседям, глядел на Шарлотту, а потом возвращался домой и садился бодро за книги. Это время было самое счастливое в его жизни, и, быть может, оно исправило бы совсем его характер, если б новое обстоятельство опять всего не изменило.

Вдруг получил он известие об ожидаемом богатом наследстве. Он делался владельцем майората. Присутствие его на месте было необходимо, академическая жизнь его оканчивалась.

Богатство, богатство! Рычаг нашего просвещения, нашей гражданской деятельности, нашего семейного счастья, нашей безрассудной жизни, если ты в ведении какого-нибудь демона, то много у этого демона и грехов и дурных мыслей на душе.

Барон начал укладываться уже с чувством холодного эгоизма. Отдаленный звук денег приятно отдавался в его слухе; мысль об отличиях и почестях заманчиво ему вторила. Он в два дня собрался к совершенному отъезду и простился со всеми своими знакомыми. Когда он объявил профессору о перемене своей судьбы и, прощаясь, благодарил его, старик был тронут; быть может, он не думал, что им надобно будет когда-нибудь расстаться. Шарлотты не было дома. Барон просил ей поклониться и сказал, что он вечно будет ее помнить. Она, казалось, умышленно избегала встречи и последнего разговора.

В немецких университетах есть трогательное обыкновение: когда студент отходит от своей братии на шумное поприще гражданской жизни, когда он навек прощается с своим студентским бытом, товарищи провожают его толпой через весь город медленным шагом и грустным хором поют ему во время шествия прощальную песнь.

В этой песне отзывается что-то похоронное, что-то сжимающее сердце, как стук земли, бросаемой в отверстую могилу. И точно, отходящий брат не хоронит ли своей молодости, своей юношеской беспечности, своей лучшей поэзии?.. Наступил день отъезда молодого барона. Так как его вообще любили, то с самого утра на главной площади, откуда должна была начаться процессия, стали собираться студенты со всех сторон. Потом и отъезжающий, в последний раз одетый совершенным студентом, с пестрой шапкой на голове, явился в кругу своих товарищей. Двое из старейшин взяли его под руки и открыли шествие. Густая толпа двинулась за ними вслед, и плавное пение зазвучало по улицам грустными аккордами. Барон шел тихо...

Много мыслей, много чувств теснилось в голове его. Из всех домов кланялись ему знакомые лица: трактирщик, который играл на контрабасе; педель, который призывал его к ректору; лавочник, который верил ему в долг; помещик, у которого он обедал с дамы, с которыми он танцевал, – все ему кланялись, все посылали рукой последнее приветствие, искреннее, добродушное желание успехов и счастья. И вдруг он поднял голову. Они подходили к дому профессора.

У окна стояла девушка в белом платье, как бы принарядившись для печальной церемонии. На щеках ее не было привычного румянца; руки ее, как бы лишенные жизни, опускались вдоль гибкого стана. Студент печально ей поклонился, но она не отвечала на поклон. Смертная бледность покрывала чело ее; глаза неподвижно вперялись в толпу, как бы желая остановить ее каким-нибудь чудом, и слезы градом катились без принуждения по ее безжизненному лицу.

Чувства едкой жалости и позднего откровения молнией пронзили сердце бывшего студента. «Она любила меня», – подумал он и опустил голову. И толпа хлынула далее, и долго слышно еще было по улицам, как терялась вдали прощальная песнь и замерла, наконец, за городской заставой.

III

Кто-то сказал презабавную глупость: немец до двадцати пяти лет Адам Адамович, от двадцати пяти лет – Иван Иванович. В этой глупости, как во многих глупостях, глубокое знание человеческого сердца. Если немец, например, кутил до двадцати пяти лет, то он запьет последнюю минуту своего двадцать четвертого года мертвейшею чашею, а на другой день начнет пить одну лишь воду до самого часа своей смерти; вчера был отчаянным шалуном, завтра будет самым степенным из степенных людей; вчера был разгульным, беззаботным буршем, сорил деньги где мог, завтра будет расчетливым немцем, извлекающим из всего выгоду; одним словом, немецкие страсти распределены по срокам, как неизбежная плата за жизненную квартиру, и каждая вносится своевременно, без задержания или избытка.

Более всего разительна эта противоположность германского характера в минуту окончания студентской жизни. У меня был один товарищ до того отчаянный, что все тело его было изрублено, шапка прострелена; платье свое он проиграл в банк, а выпивал он столько, что содержателю погреба становилось страшно, В день отъезда он напроказил до того, что волосы становились дыбом; но при последнем стакане вина он заливался горькими слезами и сказал три слова: «Прощай, золотая молодость! – Lebe wohl, goldene Jugend!» На другой день он был мирным пастором, учился благословлять, готовил проповеди и вспоминал о своей студентской жизни с тихой улыбкой, как будто бы прошедшие несколько часов были целыми годами.

Почти то же самое случилось с Фиренгеймом. Восторженный студент вдруг сделался расчетливым дипломатом. Он решался жить в Петербурге и рассудил, что для удовлетворения своего тщеславия и честолюбия ему открыты две дороги: служба и большой свет; причем он и не подумал обманывать себя призраками пользы, обязанности или призвания. Он убедился, что отверстое поприще выгодно, а большего и не думал искать.

Мы часто укоряем немцев за то, что на святой Руси они всегда добиваются теплого местечка и достигают именно того, к чему мы стремимся. Но не сами ли мы в том виноваты? Они упорствуют, а мы пренебрегаем; они трудятся неусыпно и без усталости, а мы готовы истратить весь свой пламень на один порыв и пролечь потом всю жизнь. Что же удивительного, коль на пути гражданской жизни они перебивают нам дорогу и занимают у нас под глазами места и должности, которые бы нам весьма по сердцу?

Барон выбрал самую выгодную службу, самый выгодный разряд: отказался от жалованья в пользу повышения, подружился с начальником отделения, полюбился директору и понравился министру. Он как будто родился в вицмундире, в стенах канцелярии, за столом столоначальника. Он был вежлив с казначеем, бухгалтером и журналистом; он дарил щедро швейцара, сторожей и курьеров; одним словом, хотя он многого и не делал, но в скором времени сумел прослыть образцовым чиновником.

В свете он следовал той же тактике; только ручевский фрак и желтые перчатки заменяли вицмундир. Он начал, как следовало, со старух: слушал их с почтительностью и явным вниманием, надевал на

них мантильи и салопы, аккуратно делал им визиты, привозил подарки в день именин, играл с ними в карты и часто проигрывал... Разумеется, подарки и проигрыши соразмерялись со степенью важности старых покровительниц; потом барон обратился к модным красавицам. Сказать правду, они не много ему нравились, но он почел обязанностью казаться с ними в дружеских отношениях, чтоб упрочить свою светскую славу. Он разваливался подле них в мягких креслах, наклонялся к ним на ухо и говорил всякий мелкий вздор вполголоса. Они непременно начинали смеяться, хотя иногда то, что говорил барон, было вовсе не смешно; но так как одна из них рассмеялась, то и всем надо было смеяться, так, как всем надо было носить короткие рукава, гладкие прически и бархатные бурнусы. Поутру начинали посылаться к молодому барону разные душистые записочки с приглашениями и концертными билетами. Наконец, он не только танцевал всегда с признанными светом модными красавицами, но его самого начали модные дамы выбирать поминутно, в танцах во время фигур, потому что он танцевал отлично и принадлежал ко двору. С того времени положение его в большом свете резко обозначилось и ему наперерыв стали завидовать провинциалы, начинающие, боязливые, бедные и уродливые, которые для оттенков картины дополняют петербургские бальные залы. С мужчинами он был учтив, но не искателен; он только соразмерял свою учтивость и поклоны с уменьшением нумера класса и с увеличением знаков отличия, так что Анне с короной он кланялся с развязной улыбкой, а Андрею Первозванному – с чувством глубокого почтения. Но это было не по низкопоклонности его характера, а в силу того внутреннего убеждения, что он исполняет обязанность и воздает каждому должное. В несколько лет он сделался совершенным светским человеком, с жаждой к рассеянию, с ненавистью к занятиям и с холодным расчетом для своих выгод и повышения. При таких обстоятельствах его послали по казенному поручению в уездный город, описанием которого я начал свой рассказ.

Что же было в продолжение того времени с дочерью профессора?

Прекрасная моя читательница, вы, верно, по природной вашей догадливости узнали в аптекарше ту самую Шарлотту, которая так безнадежно любила моего барона. Но как перешла она от мирного отцовского крова в аптеку уездного городка, как, думая о бароне, могла

она выйти за аптекаря? Как... Каким образом? Нехорошо, не правда ли?.. А позвольте у вас, сударыня, спросить: господин ваш супруг был ли единственным предметом ваших помышлений? Неужели до блаженной минуты, когда он повел вас к венцу, пред вами не мелькнули никакие заветные черты и никакое мужественное лицо не оставило в вашем сердце своего неизгладимого портрета? Вспомните хорошенько. Не хотели ли вы когда-нибудь оставаться век в девушках или, чего доброго, в монастырь идти? И что же? Поплакали об одном, улыбнулись другому. Пришла надобность в самопожертвовании – жертва совершилась, и слава богу, вы поживаете здорово и благополучно, хоть вы и разоблачили ваш надоблачный идеал в халат и туфли полузаспанного мужа. Дело в том, что мы любим укорять других, чтоб извинить себя; а быть может, то, что в нас нехорошо, в других извинительно.

Когда Шарлотта, как истая германская девушка, носилась мечтой в идеальном тумане, небольшой студентик с кудрявой рыжей головой аккуратно проходил и вздыхал два раза в день под ее окном. Фиренгейм давно уехал. О нем слышно было, что он веселится в большом свете, волочится, влюбляется, ищет невесты, а над прежней жизнью смеется весьма остро. Половина того была истинна, другая, как водится, прибавлена. Бедная Шарлотта сперва поплакала, потом посердилась, потом и сердиться перестала и вся обратилась в любовь к своему отцу. Любящие души, однажды обманутые, не уничтожают, но переносят только избыток своего небесного огня к лицу более достойному. Дочь профессора старалась забыть себя совершенно и только и думала о том, как бы чем угодить дряхлеющему старику и усладить последние минуты его жизни; а пока небольшой студентик с кудрявой рыжей головой все ходил да ходил под ее окном с такой настойчивостью, что она наконец привыкла к его физиономии, как к чему-то неизбежному. Есть люди, смиренные свойством, которые умеют выжидать и тем одним всегда достигают своей цели.

Когда пришло время, студентик втерся в дом профессора, начал знакомство на латинском языке, выпил рюмку рейнвейна и выкурил две сигары. Старик чрезвычайно полюбил нового друга, хотя и вздохнул невольно о старом, закутившем в петербургском большом свете.

С того дня студентик начал ходить чаще и чаще, а Шарлотта, не обращая на него большого внимания, начала привыкать к его разговорам, как привыкла к его появлениям под окнами. Вскоре он переехал на квартиру Фиренгейма, но Шарлотте не говорил ни о любви, ни о надежде, ни о поэзии, опасаясь повредить своим намерениям, а неприметно стал входить в ее хозяйские распоряжения, советовал ей употреблять для приправы кушаний разные аптекарские травы, настаивал с ней настойки и покупал для нее капусту и грибы. Мало-помалу он сделался в доме необходимым человеком, а время быстрыми шагами все двигалось вперед, неся на плечах болезни, бедствия и смерть. Профессор начал ослабевать. Книги осиротели, сигары заброшены, рейнвейн забыт. Не долго он был болен и встретил кончину, как следовало мужу мудрому, проведшему всю жизнь для благочестия и науки. Студентик ходил за ним как сын, сам готовил лекарства, сам их подавал, и перед смертью старик благословил его зятем и вручил ему свою бездыханную дочь.

Удар, постигший Шарлотту, был до того жесток и поразителен, что она равнодушно узнала о перемене своей судьбы. Жених ее не докучал ей неуместной страстью, а начал распоряжаться в доме хозяйством и готовил все для свадьбы. Таким образом Франц Иванович достиг своей цели.

Вскоре совершился и брак, грустный, холодный, как приношение жертвы над свежей могилой. Во время обряда Франц Иванович казался тронут, но не надоед жене клятвами и уверениями. Он думал об устройстве вещественного благосостояния. Он уже кончил курс, выдержал экзамен на звание фармацевта и, по долгом соображении, решился ехать nach Russland ^[47] наживать деньги. Узнав, что в городе С. не было аптеки, он положил поселиться в нем с молодой женою, надеясь на дешевизну содержания и потребность края в медикаментах. Всего достояния его вместе с скудным наследством профессора едва было достаточно на фармацевтическое обзаведение с склянками, банками и весами в старинном доме, где некогда танцевали дворяне, а что ныне украсился вывеской с известной вам надписью:

«Аптека, Apotheke».

Бедная Шарлотта! Какая жизнь! Какое разочарование! Все та же бедность, но уж без поэзии; все те же заботы, но без утешения; все то

же душевное одиночество, но уж без надежды!.. И некому поверить своей грусти, не с кем поговорить о старине. Франц Иванович, по недостатку средств не имевший провизора, сам с утра до ночи катал пилюли, сушил травы и составлял микстуры. Впрочем, всегда довольный, всегда с улыбочкой, он потряхивал рыжей головкой, думая веселостью своею развеселить, может быть, и свою жену. И надо ему отдать справедливость: он не надоедал ей знаками приторной привязанности, не требовал от нее ложной нежности, а довольствовался тем, что подавал ей нехвастливый пример покорности и терпения. Она радовалась, что он ее не понимает, и бережливо таила от него свои воспоминания и свою печаль. Знакомств у них было немного, и от тех можно было бы охотно отказаться.

Городничий, обожатель полек, да толстая барыня Авдотья Петровна Кривогорская, обожательница сплетней и собачек, делали им изредка дальновидные визиты, надеясь получить подешевле или даже в подарок нужные для домашнего обихода аптекарские припасы.

Всех чаще по утрам заходил к ним от нечего делать отставной помещик в венгерке. Поздоровавшись с Францем Ивановичем, он отправлялся к аптекарше с обыкновенным приветствием:

– Бонжур, мадам. Здоровье ваше гут?

– Gut ^[48], - отвечала, вздыхая, Шарлотта.

– А нельзя ли, мадам, трубочку? Смерть затануться хочется. – При этом слове он красноречиво влагал первый палец в уста.

Ему приносили трубочку... и он начинал дымиться как камин, объявляя притом городские новости.

У купца Ворышева получены новые селетки; только дорого, мошенник, просит. Вчерашний день толстая купчиха Трегубова, шедши в гостиный двор, провалилась на дощатом тротуаре; насилу вытащили. Говорят, хочет подавать просьбу губернатору на городничего за то, что тротуары никогда не исправляют, отчего легко может приключиться смертельный случай. Намедни был праздник у исправника, и Терентий Иваныч, говорят, мастерски отхватывал вприсядку. У часового мастера пропала корова. В бричке поверенного по откупам лопнула рессора...

Потом он начинал любезничать.

– Когда же вы, Шарлотта Карловна, выучитесь говорить по-русски? Скажите-ка, был – «пыль...» Хи-хи!

Как вы этого не умеете, а, кажется, так просто. Пора вам выучиться; или уж я стану учиться по-немецки, а то только и знаю что гут да либ данкен.

Шарлотта грустно улыбалась, а франт, поставив трубку в угол, уходил в сладком самодовольствии. «Хоть бы в столицу, – думал он, – право, хоть бы в столицу, и там скажут, что хорошенькая, а не только в провинции».

И Шарлотта оставалась одна, целый день одна. Как долго сиживала она у своего окошка и в тихом раздумье смотрела на серые тучи, которые неслись грустной вереницей по небу, не предвещая бури, не обещая солнца, а холодные, печальные, свинцовые, как жизнь, которая ее убивала. И что за зрелище под окном? Лужи с утками, грязная зелень, бабы с тряпьем, тарантас с заседателем, домики с разбитыми стеклами, заклеенными бумагой. Все, что в гражданственной жизни есть отвратительного, все, что в человечестве есть жалкого, все, как нарочно, соединялось, чтоб отравить лучшие годы ее жизни.

И к тому же воображение ее в одиночестве разыгралось. Прежние ее мечты определились ясно; призрак любви, но любви мучительной, страстной, бурно волнующей кровь, загорелся пылающей звездой во мгле ее одиночества. Ей хотелось бы убежать на край света и отдать всю жизнь свою за одно неистовое мгновение любви и блаженства.

И к довершению злополучия она не могла ненавидеть, презирать своего мужа. Он, правда, не понимал ее, но он был добрый и честный человек и старался так усердно облегчить для нее бремя домашних хлопот и так неусыпно трудился в своих бедных оборотах, чтоб упрочить для нее в будущем времени сомнительное благосостояние.

Так прошло два года до того утра, когда барон Фиренгейм явился в аптеку за содовыми порошками.

IV

– Давно мы с вами не видались, господин барон, – сказала аптекарша.

– Давно, к искреннему моему сожалению, – отвечал петербургский щеголь, – и, право, я не думал, что поездка, которую я

так от чистого сердца проклинал, делается для меня источником большой радости...

– Какой радости, господин барон?

– Счастья, хотел я сказать, неопisanного счастья встретить вас снова, встретить ту, которая так много значила в моей молодости.

Барон остановился и с недоверчивостью взглянул на аптекаря.

Франц Иванович учтиво поклонился, не поняв, вероятно, замысловатых слов барона.

– Не угодно ли вам в гостиную? Она убрана некрасиво, да в ней живут хорошие люди; а мне позвольте отправить этих мальчишек по принадлежности.

С трепетом вошел барон в комнату молодой женщины. Воспоминания, одно за одним, толпились в голове его: домик профессора, тихие вечерние беседы и неясное видение, осенившее некогда изголовье его страдальческого ложа, живо и ясно нарисовались в его пробужденной душе. Но перед ним стояла уж не худенькая девочка в коленкоровой шляпке, с робкой поступью и боязливым взглядом, а прекрасная, развившаяся женщина в полной зрелости красоты. Быть может, в ней утратилось немного то выражение чистого спокойствия, которое, бывало, хранило ее, как святыня; но зато в ее чертах и взорах разлилась какая-то неясная нега, что-то измученное и страстное, придающее ей новую, опасную прелесть.

Убранство комнатки было действительно самое незавидное. Несколько простых стульев, диван между двумя печками, стол с истертым сукном да маленькое фортепьяно у окна, заставленного бальзаминами, располагались чинно в симметрическом отдалении друг от друга; а в углу, под стеклом поставца, красовалось с дюжину фарфоровых чашек и несколько серебряных ложек, развешанных по всем правилам немецкой аккуратности и мещанского щегольства. Эта нищенская роскошь грустно поразила молодого человека и перенесла невольно мысль в штофные покои петербургских барынь.

Впрочем, чувство это было только минутное. Чем более он жил, тем более привыкал и становился равнодушен к декорациям жизни.

– Думал ли я встретить вас здесь? – сказал он тихо.

Аптекарьша вздохнула.

– И встретить вас... замужем?

Взгляд, исполненный бессильной укоризны, был ответом на грустное напоминание.

– Батюшка ваш здоров?

– Батюшка мой умер.

Барон повесил голову. Он и не знал даже об этом.

Ему стало грустно, но он вдруг рассеялся самым заманчивым, самым светским и порочным рассуждением:

«Отец умер. Она его более не боится. Муж колпак; его провести нетрудно. Она любила меня; а здесь, в этом захолустье, соперников, я думаю, немного... По крайней мере мне будет занятие».

– Вам скучно здесь? – сказал он голосом нежного сострадания.

– Да, – продолжала аптекарша со слезами на глазах. – Батюшка мой умер, умер и оставил меня сиротой.

Бедный мой батюшка! Он часто о вас говаривал; с того времени жизнь моя разорвалась надвое; я на все начала глядеть другими глазами, и, право, я не знаю, как бы я могла прожить одну минуту, если б мне не оставалось воспоминания...

«Так и есть, – подумал барон, – это намек. Ей скучно, следовательно она на все готова... И я буду настоящим школьником, если не сумею воспользоваться случаем».

– Отчего же вы вышли замуж? – спросил он.

– Я вышла замуж потому, что моему покойному отцу это было угодно. Он думал, мой добрый отец, что я буду счастлива с человеком, который будет меня любить и наверно никогда не обманет.

«Это что-то похожее на упрек, – заметил снова про себя барон. – Я не ошибся: она все еще меня любит, и как хороша она к тому! Право, наши светские красавицы не стоят ее мизинца; а как подумаешь, сколько за их пустые разговоры я истратил безвозвратно времени, забот и денег!..»

– Не всякий волен в своей судьбе, – продолжал он вслух с глубоким вздохом. – Ваш муж счастливый человек: ничто не противилось его благополучию – ни родственники, ни обстоятельства, ни даже вы сами, потому что вы, вероятно, его любили.

Аптекарша грустно улыбнулась.

– Муж мой добрый человек, – сказала она, – он искренно посвоему ко мне привязан, и я была бы неблагодарна, если б не умела ценить его достоинств.

«Ну! Тактика обыкновенная. Надо же выдумать какие-нибудь препятствия, трагические угрызения совести и т. и... чтоб потом всем пожертвовать, и требовать благодарности, и иметь чем попрекнуть».

Волнуемый такой лукавой мыслью, барон продолжал:

– Ваш муж счастливый человек: он всегда с вами, всегда подле вас. Ему позволено называть вас нежными именами, прижимать вас к груди своей и забывать все на свете, чтоб надыхаться вашей речью и заплядеться вашей красотой.

Аптекарьша была, очевидно, взволнована.

В это время вошел в комнату аптекарь. – Что за город! – сказал он с досадою. – Просто жить нельзя. Один торгуется, другой в долг просит. Вообразите: у меня по книге рубль, а мне дают полтину, да нельзя ли еще пообождать до праздника. Слуга покорный! Как будто нам тоже пить-есть не надобно. Проклятый город!

– Да зачем вам оставаться здесь? – спросил барон. – Мне кажется, вам всего бы лучше переехать в какую-нибудь столицу, в Петербург например.

– Да-с, оно бы хорошо, только жить там дорого женатому человеку. Вот если б место...

– Что ж, похлопотать можно.

– Помилуйте, к чему вам беспокоиться? Ваше время должно быть дорого. Вы человек светский, где в вашем кругу вспомнить о бедном аптекаре!

– Позвольте-с, вы несправедливы. Я всегда готов стараться за своих друзей.

– Благодарю вас за название. – Надеюсь его заслужить.

– А куда, господин барон, вам должно быть у нас скучно.

– О нет! Напротив.

– Полноте, вы, светские люди, вечно с учтивостями.

Мы вам особенных развлечений предложить не можем.

Театров у нас нет, о балах не слыхивали, а есть стакан чаю, тарелка супу, бутылка пива – все это к вашим услугам.

– И я непременно всем воспользуюсь.

– Ну, так не пожалуйте ли вы к нам в среду откушать? Я думаю, вам в первый раз в жизни придется обедать в аптеке?

– С большим удовольствием.

– За стол не взыщите. Предлагаемое не хитро изготовлено, но предлагается от доброго сердца – не так ли, Шарлотта Карловна?

Шарлотта кивнула молча головой.

– Смотри же, Шарлотта Карловна, подумай, как бы угостить гостя, чтоб он и вперед пожаловал.

Аптекарьша покраснела и отвернулась.

– Вы в котором часу обедаете? – спросил барон.

– Обыкновенно в двенадцать часов. Но так как вы человек столичный, то мы будем обедать ровно в час.

Кажется, это довольно поздно?

– Очень довольно.

Барон ушел домой. Аптекарьша не выходила у него из головы. Он вспомнил поочередно все читанные им соблазнительные романы и решил действовать с неумолимым расчетом опытного обольстителя.

Наступила середина. Барон, насилу дождавшись первого часа, надел пестрый жилет, пестрый галстук, затянулся в парижский сюртучок и отправился, попрыгивая по грязным тропинкам, к жилищу аптекаря. У дверей встретил его хозяин, дружески пожал ему руку и ввел в комнату, где он был накануне. В поставце серебряных ложек уже не было, все было выметено и прибрано начистоту, а посреди комнаты поставлен был стол с четырьмя приборами. В углу сидел помещик в венгерке и курил трубку в ожидании обеда.

– А супруга ваша? – спросил барон у аптекаря.

– Жена моя в кухне, стряпает. У нас ведь нет повара: мы люди небогатые.

Барону стало нестерпимо досадно, что она, которую он собирался любить, хлопотала около кастрюль и, чего доброго, старалась, выходила из сил, чтоб получше изжарить курицу и тем угодить нежному предмету прежней страсти.

– А! Мое почтение, – сказал помещик голосом старинного знакомого. – Каково у нас уживаетесь?

– Очень хорошо-с.

– Каким вы всегда щеголем. Жилетка в Питере, что ли, шита?

– Нет-с, в Париже.

– В Париже!.. Ах, позвольте взглянуть; чай не дешево стоит.

– Не помню.

– Уж эти петербургские щеголи чего не придумают!

А нечего сказать, мастера одеваться.

В эту минуту вошла аптекарша. На ней было белое платье. Два локона, задернутые за уши, висели до плеч, а вокруг головы обвивался черный шелковый снурок, перехваченный золотым бисером. Снурок этот, неизбежное украшение всякой бедной немки, снова раздосадовал барона. Он сухо поклонился и начал говорить о погоде.

Между тем принесли на стол миску, и гости уселись по местам. Крышка мигом слетела, и в миске обнаружился не суп с картофелем, не щи с капустой, а старый знакомый, товарищ молодости, офен-гриц молочный, тот самый, который во время оно по середам и субботам наводил уныние на целый университет. Барон взглянул на Шарлотту; она улыбнулась и покраснела. Есть женщины, которые в самые обыкновенные подробности жизни умеют, когда сердце их задето, отделять немного от поэзии своей души. Барон понял, сколько было скрытого значения в простом блюде, и, быть может, в первый раз в жизни не обратил внимания на прочие подробности стола. Разговор был оживлен. Говорили о Петербурге и о перемещении аптеки. Франц Иванович сокрушался о столичной дороговизне, к чему помещик красноречиво присовокупил, что петербургская жизнь в особенности кусается. Перед окончанием обеда аптекарь с значительною миною вышел в соседнюю комнату и возвратился с бутылкой шампанского, первой употребленной в аптеке со дня ее основания.

Решившись на такую роскошь, он вполне хотел употчевать гостей. Вино было теплое и странного вкуса, но наружность бутылки и пенистое шипенье были самые приличные.

– Здоровье нашего гостя! – возгласил Франц Иванович. – Сто лет жизни!

– И генеральский чин, – прибавил франт.

– И много счастья, – добавила аптекарша.

– Noch! ^[49] – закричал развеселившийся аптекарь. – Еще по рюмочке!..

Когда бутылка опорожнилась, хозяева и гости встали из-за стола. Был четвертый час. Мужчины вооружились сигарами и трубками. Два часа протянулись еще в отрывистом разговоре. Аптекарь о чем-то думал, вероятно о перемещении своей аптеки; барон нетерпеливо поглядывал на часы. Шарлотта, с ярким румянцем на лице, казалась взволнована. Один ex-помещик только беспечно затягивался и

рассматривал потолок. Наконец он вспомнил, что пора идти к почтмейстеру, встал, раскланялся и вышел. За ним Франц Иванович отправился по своим делам. Аптекарша и Фиренгейм остались вдвоем.

На дворе по случаю поздней осени начинало уже смеркаться.

Оба молчали, оба сидели в немом смущении. Проклятая робость вкралась в сердце светского щеголя и туманила его коварные предприятия. Он думал, думал, находил себя и жалким и смешным и вдруг, собравшись с духом, начал разговор:

– Не хотите ли сыграть что-нибудь?

– В четыре руки?

– Да, в четыре руки.

– Я так мало играю...

– И, помилуйте! Вы разве не помните, что мы уж игрывали прежде?

– Помню...

– Так не угодно ли?..

– Извольте.

Они сели рядом у фортепьяно.

– Что ж мы будем играть? – спросила аптекарша.

– Что угодно...

– Мне все равно.

– И мне все равно...

– Вот какие-то ноты... Хотите попробовать?

– Извольте.

– Вы будете играть бас.

– Да, как прежде... как в старину...

Аптекарша вздохнула...

– Извините, если я буду ошибаться.

– Не взыщите, если я ошибусь.

Они начали играть, только нестерпимо дурно: то он опаздывал, то она торопилась. В комнате становилось темнее и темнее.

– Признайтесь, – сказал барон шепотом, – вы на меня сердитесь?

– Зачем сердиться?.. Бог вас простит... У меня тут не то, кажется, написано...

– Нет, – продолжал барон, – нет, дайте мне выслушать выражение вашего гнева, быть может я и оправдаюсь.

– Ах! Извините, я кажется, не ту строку играю.

– А мне так больно, что вы на меня досаждаете.

– На что вам... переверните страницу.

– Мне так дорого ваше участие, оно мне так нужно.

Я так несчастлив...

– Вы несчастливы!..

Они перестали играть.

– Да, Шарлотта, – извините, что я вас называю прежним именем, – я истинно несчастлив. Свет, в котором я живу, сжимает душу, от него веет морозом. Мне негде отдохнуть сердцем. Среди людей я всегда один, никого не удостоиваю своей привязанностью и не верю ни в чье участие.

– Бедный! – сказала аптекарша.

Барон приободрился.

– Но знаете ли, Шарлотта, какое утешение я сохранил с любовью; знаете ли, каким теплым чувством я согреваюсь в ледяной атмосфере большого света?

Знаете ли?..

Аптекарша не отвечала. Грудь ее сильно волновалась.

– Да, Шарлотта, воспоминания о прошлой жизни, воспоминание о вас – вот теперь мое лучшее сокровище.

Как часто, утомленный от бессмысленных мелочей кочеванья по гостиным, я переносусь в тот мирный уголок, где я жил с вами, жил подле вас, и снова я вижу ваше окошечко, вижу тень вашу за белой занавеской. Воображение заменяет действительность. Я счастлив своей мечтой, и сердце мое снова бьется от радости и от любви.

– Ах! – сказала аптекарша. – А мне какво? Мне здесь все дико и неприятно. Нет здесь моих подруг...

Отец мой умер... Я сама живу памятью, а в настоящем мне грустно и тяжело.

– Так, бедная Шарлотта, я в том был уверен. Вы тоже несчастливы. Вас здесь никто не оценит, ни понять не может. А я знаю, ваша душа создана для чувства, для сочувствия, для всех радостей и мучений сердца.

– Не говорите мне этого...

– Но это правда.

– Да, печальная правда. Я долго ждала счастья...

Я видела его даже издали, но оно промелькнуло только для меня и бросило мне лишь сожаление, одиночество.

– Нет, – прервал барон, – судьба бессильна против любви. Мы были бы счастливы вместе... Ваши глаза мне это говорят. Кто же мешает нам быть счастливыми?

– А как?..

– А разве нельзя возвыситься над жалкими условиями жизни? Разве мы не можем любить друг друга и в высоком упоении найти возмездие за все свои страдания?..

– А люди?

– Люди! Что в них? Любовь не целая ли вселенная? Как ничтожно перед ней все земное, и как возвышается, как освящается душа, исполненная любовью!

Барон схватил руку аптекарши; рука ее дрожала.

– А долг? – сказала она задыхающимся голосом.

– Долг выдуман человеческими расчетами. Долг – условие земли, а для нас отверзто небо. Вы видите, не пустой же случай свел нас снова вместе; мы рождены друг для друга. Неужели вы этого не понимаете? А я уже по силе любви своей отгадываю, что и вы должны меня любить...

– И не ошибаетесь, – сказала аптекарша, закрыв лицо руками.

Ощущение неопisanного блаженства освежило душу барона. В комнате было совершенно темно.

– О! Теперь, – сказал он, – я готов умереть для вас; теперь счастье для нас возможно. Но повторите ваши слова, скажите мне: давно ли и как вы меня любите?..

– Да... я все скажу... я не в силах более молчать, – сказала трепетно аптекарша, – да, я всегда думала о вас... да, я не переставала вас...

В эту минуту дверь настежь отворилась, и толстая служанка, босиком, в затрапезном платье, вошла в комнату, держа в руках два медных шандала с сальными свечами. Рука аптекарши выпала из руки барона. На молодого человека неприятно подействовали сальные свечи и нищенский наряд служанки; но для увлеченной женщины блеск внесенного огня был благодетельным светильником и озарил ей мрачную пучину, в которую ввергала ее безумная страсть.

– Нет... нет, жена, – сказала она дрожащим голосом, – должна быть чиста и непорочна. Обольщение чувств обманчиво, а раскаяние неумолимо... Заклинаю вас всем, что вы любите, не возобновлять нынешнего разговора.

В дверях показался Франц Иванович.

– Теперь я свободен, – сказал он, потряхивая головкой. – Я боюсь, что вам было скучно. Не хотите ли пуншику или бостончик составить?

Но расстроенный барон не хотел слушать никаких предложений. Обманутый в ожидании, забыв свои планы, он побежал домой и всю ночь проворочался на кровати. К утру он, коварный светский щеголь, был влюблен в уездную аптекаршу, но влюблен по уши, и без ума и без надежды.

V

А между тем городские обыватели начали толковать да перетолковывать.

– Знаете что, – говорил франт в венгерке на ухо купцу Воряшеву, посещая его в лавке, – Шарлотта-то Карловна наша... гм...

– Быть не может!

– Да и мне кажется странно. Так скажите, пожалуйста, с какой стати барону сиднем сидеть в аптеке?

Ведь он надворный советник, к тому же человек с капиталом, даже богатый. А вещи какие у него – просто загляденье! Намедни я еще видел одно изумрудное кольцо, кольцо-то, знаете, маленькое, а изумруд большой – славная штука: сот пять стоит. Да и в столице, я спрашивал, знаком ли он с министрами, так говорит, что не со всеми, а знаком... Ведь в аптеку хорошо ходить нашему брату время убить, а этакому человеку, кажется, вовсе не черед. Странное дело!

– Совершенная правда-с, – сказал Воряшев и погладил бороду.

– Слышали, – говорил с лукавой улыбкой судья городничему, – слышали, какую наш Франц Иваныч получил обнову?

– Да-с, слышал стороной.

– Какая тут сторона, дело явное. Они открыто живут вместе. Неприлично, совершенно неприлично... Я бы на вашем месте в это дело вмешался. Начальство обязано, как попечительная мать,

вникать в нравственные отношения жителей и указывать на то, чего они должны остерегаться. Ваша обязанность...

– Гм, вы думаете?

– Без сомнения. Вы хранитель городской нравственности.

– Право?

– К тому же наш барон-то, кажется, просто вольнодумец... Он был у вас с визитом?

– Нет.

– Будто?

– Право.

– И у меня не был... Ну, пожалуй, у меня еще ничего, а вы начальник города... А вы к нему ездили?..

– Ездил... почел долгом.

– В мундире?

– Да.

– И он не оплатил за визит?

– Как не оплатил?..

– Ну, то есть сам не явился к вам?

– Нет.

– Да что ж он, в самом деле, о себе думает?.. Право, не худо его проучить.

– А впрочем, – заметил городничий, – я, право, не понимаю, что он нашел в аптекарше? Немочка – и все тут. Вот то ли дело польки! Как мы в Белоруссии стояли, так я на них наглядился: нечего сказать – женщины! Как воспитаны, как танцуют мазурку... Такие все амручки, что просто из рук вон! Что ж, вы полагаете, мне надо поговорить с Францем Иванычем?

– А уж это ваше дело. Поступайте как знаете.

– Вот штука, – шепнул исправник заседателю во время присутствия, пока старый секретарь непонятливо гнусил бесконечный и бестолковый доклад, – штука так штука. Просвещение и до нас добирается. Аптекарь продал свою жену за пять тысяч рублей.

– Поторопился, – сказал, подумав, заседатель. – Мог бы получить больше; ну, и то куш порядочный. Есть же людям счастье!..

– Какая резолюция? – спросил секретарь.

– А как ты думаешь?

– Да, предать суду и воле божией.

– Я согласен.

– И я тоже.

Исправник и заседатель подписали резолюцию и отправились по домам.

– Ну, матушка, – говорила статская советница Кривогорская бедной дворянке, стоявшей перед ней в голодном почтении, – ну, матушка, слышала?.. Мерзость какая! Пфу!

Статская советница отвернулась и плюнула с негодованием.

– Про аптекаршу, что ли, матушка?..

– Про кого же другого? Ведь есть же этакие мерзавки!

– Поистине, грех великий.

– Что-о-о?..

– Грех, матушка, великий.

– Я не велю ее на двор к себе пускать. А ведь он, матушка, говорят, богатый человек... Много дарит, верно. Не слыхала ли?

– Нет, не слыхала-с.

– Экая ты бестолковая. Никогда ничего не узнаешь.

Говорят, собой хорош. Ты его видела?

– Видела.

– Брюнет или блондин?

– Не разглядела хорошенько.

– Что ж ты, слепая, мать моя? Ничего ты таки не знаешь. Ходишь себе болван болваном. Я его дедушку, должно быть, видала в Москве, когда мы с покойником жили на Никитской. Кажется, мог бы вспомнить, что я не бог знает кто; хоть бы плюнуть пришел сюда, так нет. Очень важная особа! Беспокоиться не угодно... Да и хорошо делает. Он уж верно ничего такого у меня не найдет. Экая мерзость! Пфу!!

Несколько дней спустя дрожки городничего остановились у аптеки. Франц Иванович, как человек нечестолубивый, поморщился немного от неожиданного визита, однако ж встретил градоначальника с должною почестью.

Городничий, человек доброжелательный, но глупый, принял за дело данный ему совет вмешаться в семейные дела аптекаря.

– Я имею с вами переговорить об экстренном случае, – сказал он важно.

– Чем могу я вам быть полезен? – отвечал аптекарь. – Девичьей кожи у меня нет, а ромашки не осталось.

– Обязанность моя, – продолжал городничий, – не ограничивается только одним полицейским наблюдением. Начальство обязано, как попечительная мать, вникать в нравственные отношения жителей и указывать на то, чего они должны остерегаться.

– Непременно, – отвечал аптекарь.

– Я очень рад, что вы со мною согласны. Мы с вами люди степенные и можем обсудить дело не горячась – не прайда ли?..

– Точно.

– В старину было иначе. Я скажу хоть про себя:

когда я стоял с полком в Белоруссии – вы знаете, около Динабурга, – я был еще молод, часто влюблялся, могу сказать накутил порядком... Да что за женщины эти польки – загляденье! Панна Дромбиковская, панна Чембулицкая... Наши русские и в подметки им не годятся...

– Да к чему это? – спросил аптекарь.

– Виноват, заговорился. Я хотел только сказать, что я надеюсь, что вы примете как следует то, что я имею вам сообщить.

– О панне Чембулицкой?

– Нет-с, о вашей супруге.

– Об моей жене? – закричал аптекарь таким голосом, что городничий отскочил на два шага.

– Не пугайтесь, это толки, о которых я для пользы вашей хотел вас предупредить.

– Какие толки?..

– Так... ничего... Только многие у нас удивляются...

частым посещениям барона в вашем доме... и делают гнусные сплетни... Вы понимаете?.. Я совсем не этого мнения... Но есть признаки. Надобно быть осторожным...

Аптекарь задрожал всем телом.

– Вы видите это окошко, – сказал он задыхающимся голосом, – скажите всем, которые явятся ко мне с подобными предостережениями, что я их вышвырну вон, как негодную стеклянку. Жена моя чиста как голубь... Она выше клеветы, она выше всех низких сплетней, которыми живет ваш глупый город, господин городничий. Если кто-нибудь коснется хоть словом, хоть намеком до ее репутации, то вы

видите эти руки... я руками разорву его как собаку, пока у меня будет хоть капля крови! Жену мою оскорбить! – кричал аптекарь. – Жену мою! Да это задеть мое сердце раскаленными щипцами. Да знаете ли, что в сравнении с ней весь ваш город... не стоит прошлогодней пилюли. Да я истерзаю, истолку в мелкий порошок всякое животное, которое дотронется только до нее!

В эту минуту аптекарь вырос на два аршина. Городничий пожал плечами и потихоньку выбрался на крыльцо.

Аптекарьша стояла за дверью и все слышала. Когда она отворила дверь, муж ее спокойно уже сидел за конторкой, писал свои счета и потряхивал рыжей головой.

– Что это ты шумел с городничим? – робко спросила Шарлотта.

– Да что, все пристаёт, чтоб я тротуары чинил на свой счет, а из каких доходов?..

Аптекарьшу тронула бескорыстная привязанность ее мужа. Совесть начала ее мучить.

«О! – подумала она. – Отчего мой муж не дурной человек, я была бы спокойнее. Странная моя участь!..

Бедное мое сердце! Я не могу любить человека, который посвятил мне всю жизнь свою, а готова погибнуть для того, который был бедствием моей молодости! Но по крайней мере я не изменю своей обязанности; я останусь верна велениям закона».

Три недели прошли в мучительном упоении. Увлеченная обманчивым рассуждением, аптекарьша предалась вполне преступному чувству. С утра смотрела она у окошка, не идет ли вожделенный, и когда он показывался вдаль, глаза ее радостно сверкали, и когда шаги его отзывались на крыльце, сердце ее билось, страстный румянец пылал на щеках ее; она была счастлива:

и бедный городок, и бедная аптека казались ей раем земным.

А он? Кто вникнет прозорливо вовсе изгибы человеческого сердца с высокими природными началами, но испорченного от прикосновения света? Он тоже увлекался тайною прелестью восторженного сочувствия. Желая быть Фоблазом, он едва не сделался Вертером. Он был влюблен истинно, влюблен как студент, а хотел рассуждать о любви как лев новой школы. Он стыдился иногда искренности своих чувств и всячески старался возвысить себя до окаменения модного изверга. И любовь – эта чистая капля небесной росы – невольно

освежала его коварные замыслы, и оболыщенный оболыститель, ежечасно прерываемый в своих безнравственных предприятиях, должен был поникать головою, играть в четыре руки и слушать наивные рассказы о прежних подругах, о школьных невинных шалостях, о скромном ручейке девичьей жизни, тогда как воображение его возмущалось кипящим ключом. Тщетно старался он возобновить сцену памятного обеда: аптекарша истощала все женские хитрости, чтоб отклонить признания и страстные речи; и когда он сердился и душевно проклинал свою светскую оплошность, она так очаровательно умела ему улыбаться, она так выразительно глядела на него, что чело его снова прояснялось и надежда вкрадывалась в грудь. Иногда бедный барон нападал на самые разочарующие мелочи жизни; иногда аптекарша выходила к нему с озабоченным видом и засученными рукавами: это значило, что в этот день у нее стирали белье; иногда платье ее уж чересчур оскорбляло моду; иногда она прерывала намеки о вечной страсти и поспешно уходила в кухню взглянуть на жареную баранину, составляющую, как известно, важный предмет губернского продовольствия, – в эти минуты барон бесился на себя, на страсть свою и приказывал Якову укладываться. Потом, думал он, что неучтиво же уехать не простясь, и он опять отправлялся в аптеку. Шарлотта сидела задумчиво у окна. В глазах ее отражалось небо глубокого чувства. Она ему улыбалась... Голос ее, звучный, мягкий, отдавался в его сердце, и он снова забывал свою досаду, планы искусного оболыщения и сидел и засиживался по-старому, не наглядевшись и не наслушавшись досыта.

VI

Однажды фронт в венгерке посетил барона, как тот только вставал с постели и распечатывал письмо, принесенное с почты.

– Извините, я вам, кажется, мешаю.

– Ничего-с.

– Ну, если позволите... Прикажете подать трубочку.

– Яков! Подай трубку.

Яков сердито всунул трубку фронту и хлопнул дверью.

Барон прочитал письмо и улыбнулся.

– Из Петербурга изволили получить?

– Да.

– От родственников?

– Нет, от знакомой дамы.

– А! Верно, по-французски?

– Нет, по-русски.

– Ах! Это любопытно; желательно бы знать, как петербургские дамы пишут. Секретов нет-с?

– Никаких.

– Ах! Так позвольте взглянуть.

– Да на что вам?

– Из любопытства-с.

– Читайте, пожалуй.

Франт с жадностью схватил письмо и осмотрел его со всех сторон.

– Как пахнет! – сказал он. – Что за прелесть! Сейчас видно, что из столицы. А в углу это что?

– Герб графини.

– Ах, проказники какие! Чего не выдумают! Бумага с серебром; это графская корона?

– Да.

– Я еще не видывал такой. Очень мило!

Он начал читать.

«Я обещалась писать к вам, но так как письмо – дело опасное, то не взыщите, если я буду вам писать по-русски: оно менее компрометирует, и никто еще, я думаю, не употреблял во зло письма, писанные по-русски.

Спасая таким образом конвенансы, я предаюсь удовольствию писать вам. Мы вас очень сожалеем и грустим, что не можем более вас слышать, говорить и шутить, по обыкновению нашему. Что вы делаете в вашей скучной провинции, грозный наш лев? Мы все о вас плачем. Без вас скучно. Вчера мы танцевали на водах, были ужасные фигуры. То ли бывало в старину! Порядочные кавалеры становятся чрезвычайно редки. Вот до чего мы дожили: львицы окружены чуть ли не детьми. Острова совершенно пусты. Всего нас три или четыре женщины.

Погода хорошая. Что вам еще сказать? В Павловский вокзал ездят теперь что-то немного. Муж мой уехал в деревню хозяйничать и предлагал мне взять меня с собою. Только я ужасно боюсь провинции и

воображаю себе что-то ужасное. Какие, я думаю, там чепцы и шляпки носят – просто надо умереть со смеху, и какие щеголи, всё к ручке подходят, и какие женщины, какие претензии – верно, очень смешно. Приезжайте-ка поскорее да расскажите нам, что вы видели, чтоб было над чем посмеяться, а там поедете за границу, в Париж. Я с нетерпением того ожидаю: нам там будет очень весело вместе. Здешних новостей мало. Ваши знакомые и приятели вздыхают каждый у ног своей красавицы, а я совершенно одна. Может быть, оттого, что вас ожидаю.

Смотрите же, с вашей стороны не влюбитесь в какую-нибудь жену этих монстров, которых Я видела в «Ревизоре». Мы делали на днях *partie de plaisir* [50], ездили все в русский театр. Право, не так дурно играют. Вообразите, я была в первый раз в жизни в русском театре! «Ревизор», сочинение какого то Гоголя. Довольно смешно, только *mauvais genre* [51], как вы себе можете представить.

Прощайте и не забудьте, что мы нетерпеливо вас ожидаем. Я жду от вас письма и, как вы обещались, подробного описания карикатур, с которыми вы живете...»

– Прекрасно написано! – сказал с восторгом франт. – Ведь, кажется, ничего, а прелесть! У этих светских людей все это так кстати, так прилажено – что значит манера! И, верно, красавица-с? – продолжал он, лукаво улыбнувшись...

– То есть не дурна, а впрочем...

– Ну-ну-ну, полноте скромничать! Из всего видно, что должна быть красавицей. Да иначе быть не может.

Ну, счастье вам-с, господин барон.

– Право, ничего нет особенного.

– Да уж вы, разумеется, не расскажете. А позвольте попросить еще трубочку.

Выкурив еще две трубочки и заметив, что нового ему нечего добиваться, франт раскланялся, улыбнулся и отправился прямехонько в аптеку. Там, по-видимому, все было тихо и благополучно. Шарлотта Карловна сидела у окна и смотрела, не идет ли кто по улице, а Франц Иванович в демикотоновом халате читал старую немецкую газету.

– А я сейчас от барона, – сказал франт. – Какой славный молодой человек!

Шарлотта поспешно к нему обернулась; Франц Иванович кивнул головой.

– Да, человек, кажется, хороший!

– Просто чудо, что за малый! И откровенный, веселый какой! Вообразите, мы уж с ним совершенно подружились.

– Право?

– Знаете что, только, пожалуйста, это между нами: он мне признался, что у него в Петербурге есть кое-какие знакомства – понимаете?.. Гм...

– Неправда! – воскликнула, побледнев, аптекарша.

– Неправда? Вот хорошо! А как же я сейчас читал письмецо... Ну уж письмецо! Нечего сказать, прелесть!

– От женщины? – спросила Шарлотта.

– От кого же? Да еще от какой!.. Он мне сам признался, что красавица – понимаете? Столичная красавица, не то что наша какая-нибудь уездная.

– А что ж она пишет? – спросил Франц Иванович.

Аптекарша вся обратилась во внимание и старалась отгадывать то, чего не могла понять.

– Вот в том-то и штука, что пишет. Только, смотрите, чур не пересказывать. Мне-то показано под большим секретом.

– Хорошо, скажите только.

– Во-первых, – сказал таинственно рассказчик, – несколько слов я не понял... Что значит конвенансы?

– Приличия, – сказал аптекарь.

– Ага, вот что! А барон-то, кажется, с дамами мастер своего дела. У! Как они к нему пишут.

– Да письмо... письмо, – сказала умоляющим голосом аптекарша.

– Как бы припомнить... да... «Я не знаю, как спасти конвенанс...», то есть, известное дело, приличие, «но я предаюсь удовольствию к вам писать. Зачем вы уехали?.. Я о вас плачу... Вы лев...» Вероятно, он с ней поступил неделикатно... «То ли было в старину... Там ходят львицы с своими детьми. Поедемте за границу, там мы будем счастливы...» А?.. Каков?.. Не в бровь, а прямо в глаз, просто похищение!.. Да то ли еще. «В вашей провинции должны быть ужасные карикатуры...» Это о нас, кажется... Неучтиво немножко, да ничего... «Приезжайте поскорее, чтоб было чему посмеяться, а

женщины и чепчики у вас там, верно, преуморительные. У других женщин есть свои вздыхатели. Но я вас ожидаю. Не влюбитесь в жену какого-нибудь монстра...» Что такое монстр?

– Чудовище, – сказал аптекарь.

– Это уж я не знаю, на чей счет сказано. «Мы все вас ожидаем...» Каково? О нем там плачут... а он живет себе у нас в уездном городе, как будто наш брат какой; вас иногда навещает, а со мною очень дружен...

Быть может, фронт распространялся с особым удовольствием о мнимых победах барона, досадуя на явную склонность аптекарши, только рассказ его имел странное окончание. Франц Иванович отозвал его в угол и попросил не посещать более его аптеки, а Шарлотта, бледная, расстроенная, все сидела еще у окна, но не смотрела более на улицу и не двигалась, не говорила, как будто потерянная, в самых грустных размышлениях.

Фронт поворчал немного и пошел к исправнику, а оттуда к судье рассказывать содержание прочитанного им письма.

VII

Бедная Шарлотта не могла сомкнуть глаз целую ночь. Что она? – бедная, необразованная, ненарядная, порою прачка, порою кухарка, аптекарша, провинциалка перед блистательными дамами в перьях и кружевах, с которыми знаком барон, – минутная забава, игрушка от скуки. Еще и за то ему спасибо, что он снизошел до нее и соблаговолил вымолвить ей несколько ласковых слов. Но все это было шуткой. Где ему любить аптекаршу: он любил даму, у которой на голове брильянты, а на руках браслеты. Она пишет к нему письма; она ожидает его с нетерпением; а как он вернется, то-то они будут смеяться над аптекой, над аптекаршей и над нежной страстью среди ревеню и хины!

Ревность, жгучая ревность начала душить Шарлотту. «Да, – шептало ей воспламененное воображение, – он любит другую... Она не так хороша, как ты: у нее нет ни свежести твоей, ни яркого твоего румянца, ни твоих густых локонов; но мужчины этого не замечают. У нее все роскошь и изобилие, у тебя все бедность и недостаток; у нее

цветы в комнате, цветы на голове, везде цветы во время зимы и осени, во время целой жизни; у тебя, вокруг тебя грустные принадлежности твоего сословия, медные деньги, сальные свечи, уездная жизнь, запах аптеки, лохмотья и одиночество... Тебе ли любить знатного господина, которому, как он ни старайся, должна быть противна твоя нищенская жизнь?.. Разве ты забыла, разве ты не заметила, как при виде вашего недостатка чело его хмурится и на устах его выражается презрительная улыбка? А ты, послушная раба, ожидаешь только взгляда, взгляда сострадания, а не любви; и ты забыла свою гордость, достоинство твоего пола, чтоб сделаться посмешищем богатой женщины и предметом шалости светского человека, который всегда презирал твою бедность и постыдился быть счастливым с тобою».

На другой день аптекарша была задумчива и бледна.

Франц Иванович посматривал на нее с беспокойством, потчевал ее разными порошками и казался расстроен!

В двенадцать часов, по обыкновению, явился барон.

Аптекарша приняла его сухо, не отвечала почти на вопросы и вскоре скрылась под предлогом домашних хлопот. Барон посердился и ушел домой. Франц Иванович молчал.

На другой день то же; на третий то же; аптекарша бледна и задумчива; ни разу она не улыбнулась, ни разу не вздохнула. Во взоре ее было что-то холодное, мертвое, страшное. Франц Иванович молчал.

Прошла неделя; был вечер; барон, поддерживая голову рукою, сидел в грустном раздумье. Холодность аптекарши лучше всякого умышленного кокетства усилила его страсть. Коварные замыслы исчезли. Он просто любил, как любят молодые люди, пламенно, без покоя, без сна, с малой надеждой и безмерным отчаянием.

Быстрая перемена Шарлотты была для него непостижима. Одна минута объяснения – и все могло бы поправиться, но теперь, как нарочно, проклятый аптекарь ни на шаг от жены не отходит.

Вдруг он поднял голову. Дверь скрипнула. В комнату вошел Франц Иванович.

– Вы здесь?

Франц Иванович был немножечко бледен.

– Я, – сказал он, – пришел к вам, барон, за довольно важным делом. Вы у нас в городе по службе?

– По службе.

- Ваше поручение кончено?
- Кончено..
- Так зачем же вы у нас живете?

Барон смутился.

Аптекарь сложил руки и продолжал:

– До меня дошли гнусные сплетни, на которые я отвечал как следовало. Я так уверен в своей жене, что не оскорблю ее подозрением; однако в маленьком городке злоумышленный слух может иметь самые неприятные последствия, и это-то я обязан отвратить.

– Вам угодно сатисфакции? – сказал, подумав, барон.

– Сатисфакции? – отвечал с достоинством аптекарь. – Не стыдно ли вам, господин барон, и вымолвить такое предложение! Я не студент более и не светский человек. Вы думаете, что для личного неудовольствия, прискорбного лишь моему самолюбию, я готов погубить всю будущую участь своей жены или позволю вам играть со мною в великодушие. Нет, барон, мы с вами уже не мальчики. Я за другим делом пришел к вам.

- Что же вам угодно?
- Поезжайте в Петербург...
- Хорошо... через несколько дней...
- Нынче же...
- Не могу, право... – Не можете?
- Нет...

– В таком случае мы можем сесть, и я вам расскажу маленькую историю. В одном городке жил добрый старичок профессор. У него была единственная дочь... К ним вкрался в дом один бессовестный молодой человек...

– Позвольте! – закричал барон.

– Не перебивайте моей истории. Да, этот молодой человек был без совести, потому что, зная, что он не женится на девушке, он не должен был волновать ее неопытное сердце, не должен был вводить доверчивого старика в заблуждение, не должен был играть своими природными достоинствами и жертвовать для своей забавы спокойствием целого семейства...

Барон опустил голову.

– В том же городке жил другой молодой человек, не блистательный, без состояния, без красивой наружности. Не имея

блестящей будущности, он трудился неутомимо, чтоб со временем достать себе кусок хлеба...

Но и у него было, может быть, сердце молодое, и он мог любить... ну, да не в том дело... Только он ничего не ожидал и ничего не надеялся – понимаете?... Теперь буду говорить без обиняков. Когда вы уехали, все в городе знали, что Шарлотта вас любила. Все думали, по простым нашим понятиям, что, быв как жених в доме, вы скоро приедете к свадьбе. Но я один вас разгадал и пошел знакомиться с профессором. Старик мне рассказал, как он вас любил, как он надеялся и как обманулся. Я предложил ему ехать в Петербург узнать, есть ли еще надежда на ваше возвращение... Я отправился. В то время вы волочились за княжной Красносельской...

– Как, вы знаете? – воскликнул барон.

– Знаю. Она вам отказала. Но для Шарлотты не было надежды. Тогда я на ней женился. Только, видит бог, я не докучал ей страстью, которой она не могла разделять. Я поклялся только быть ее защитником и хранителем. Отец ее умер. Я перевез ее сюда, думая, что ей будет слишком больно оставаться на месте, где столько для нее грустных воспоминаний. Но она все была печальна и несчастлива. Это меня убивало. Вы не знаете, что значит казаться всегда беззаботными веселым и таить тяжелое горе на душе. Вдруг вы приехали. Я думал, что, если жена моя вас все еще любит, мне останется убежать куда-нибудь... потому что я все готов отдать для ее счастья. Или если узнает она, до какой степени вы принадлежите большому свету, то она снова может обрести душевный покой. Так живу я с вашего приезда, не требуя, но ожидая признания. Нынче она мне все рассказала; она просила у меня прощения и защиты, как будто она виновата, как будто я ничего не знал. Она поручила мне – слышите ли, она сама мне поручила вам сказать, что она просит вас удалиться, потому что между светским щеголем и бедной аптекаршей не должно быть ничего общего. Извините меня, если я вас огорчаю, но я исполняю долг свой. Неужели вы не исполните своего?

– Яков! – закричал барон. – Ступай на почту за лошадьми.

Несколько минут ни тот, ни другой не могли вымолвить слова.

– Спасибо вам, – сказал наконец аптекарь. – Вы, однако ж, добрый человек. Свет вас не совсем еще испортил.

– И вы еще меня благодарите! – с чувством отвечал барон. – Вы, перед которым бы я должен был поклониться с благоговением.

Станный разговор их принял тогда другое направление. Они начали вспоминать университетские годы, своих общих товарищей, свою общую любовь. Они были как два человека, которые видят друг друга в первый раз. Аптекарь было жаль барона, а барон, пораженный высокой простотой аптекаря, в благородном порыве чувства признавал все свое ничтожество. В эту минуту между ними было что-то братское, потому что оба были готовы пожертвовать жизнью для одной и той же женщины.

Долго говорили они о прошедшей молодости, о старом профессоре, о коленкоровом платье, об окне с занавеской и о горьком опыте жизни, а между тем Яков радостно перетаскивал чемоданы и пристегивал ремни к дорожной коляске.

Наконец лошади приведены. Все готово. Барон и аптекарь обнялись.

– Поклонитесь ей, – сказал, заплакав, барон.

– Не забывайте нас, – отвечал печально аптекарь.

Они еще раз обнялись.

Кучер махнул кнутом. Коляска покатила.

Когда аптекарь возвратился домой, жена его, бледная, покрытая распущенными волосами, стояла на крыльце со свечой в руке и трепетно ожидала возвращения его.

– Ну, что? – спросила она глухим голосом.

– Уехал, – отвечал задумчиво Франц Иванович. – Теперь ты будешь спокойна.

– Уехал!.. – протяжно сказала аптекарша. – Уехал!..

Свеча выпала из руки ее, и она без чувств покатила на пол.

Прошел год. В русском городке мало перемены. Гостиный двор нагнулся еще более. Кое-где еще несколько крыш развалилось. Ходить по тротуарам стало невозможно.

Однажды утром знакомый нам господин в венгерке, посидев в лавке купца Ворышева, попробовав нового черносливу и старых пряников, пошел к почтовому двору узнать, нет ли проезжающих. Попрыгивая по грязным тропинкам, он заметил идущего к нему навстречу человека. Первым взглядом опытного провинциала он

заклучил, что встречный не из городских, а вторым – что он ему не совсем незнаком. Он подошел поближе и вдруг остановился.

– Ба!.. Барон!

– Здравствуйте.

– Что, вы опять к нам?

– Нет; я только проезжаю.

– А коляска ваша?

– Она у почтового двора. Лошадей запрягают, а пока я пошел прогуляться.

– Так-с... Какой хорошенький у вас платочек носовой! Фуляровый, что ли?

– Да.

– Ах! Позвольте взглянуть. Очень мило!

Барон вдруг остановился и побледнел.

– Скажите, пожалуйста, – спросил он трепетно, – отчего в аптеке снята вывеска?

– Как, вы разве не знаете?

– Нет.

– У нас аптеки нет больше.

– А Франц Иваныч?

– Переехал в губернский город.

– Право? Отчего ж?

– Да так, после несчастья не хотел оставаться.

– После какого несчастья?

– Как, вы и этого не знаете?

– Нет.

– Шарлотта-то Карловна...

– Ну?..

– Долго жить приказала.

– Умерла?!.

– Да вот никак уж четвертый месяц. А я думал, что вы это знаете. Да, умерла бедняжка. Ведь, помните, хорошенькая была! Хоть бы в столице: сказали бы, что хорошенькая, право.

– Она долго была больна?

– Месяцев восемь. Муж, бедный, не отходил от нее ни на шаг. Да что тут делать? Против чахотки нет средств. Вы пробудете день с

нами? Городничий наш женился на польке У него можем отобедать.
Знаете что?

Странность какая! С тех пор как он женился, он совсем перестал
хвалить полек – такой, право. Пойдемте к нему.

– Нет, нет! Я спешу в Петербург. Прощайте!

Из-за угла показалась дорожная коляска.



Неоконченные повести

Быть так! спасибо и за то.

Баратынский



Кто знает Ивана Ивановича или, лучше, кто не знает Ивана Ивановича? Его, верно, все видели и привыкли видеть и, вероятно, никому не пришло в голову спросить, кто он такой. Таких людей много. Какое кому дело до человека без связей и без денег? В обществах Иван Иванович, разумеется, не бывает, но на Невском проспекте он гуляет аккуратно от двух до четырех часов, какая бы ни была погода. В театре и в концертах он также лицо неизбежное, отчего он и пользуется в мнении многих не весьма лестною известностью, хотя в самом деле он только страстный любитель музыки. Даже некоторые молодые люди утверждают решительно, что он игрок и притом самый опасный шулер, выжидающий добычи, тогда как бедный мой Иван Иванович отроду не брал и карт в руки. Иван Иванович одет всегда литератором, то есть очень дурно, гуляет в енотовой шубе, носит широкие черные фраки и длинные белые жилеты, и, как видно, мало заботится о своем наружном украшении. Вообще он слывет человеком опасным, потому что хотя ничего не имеет, но ничего не ищет и не просит.

Те же, которые знают его коротко, любят его от всей души, потому что он в самом деле просто добрый человек.

Я с ним иногда встречаюсь, и люблю слушать резкие его суждения о произведениях нашей литературы. Суждений этих я не повторяю здесь, чтоб никого не обидеть, но в них, как отгадать не трудно, мало утешительного.

Вообще разговоры наши касаются до жалкого состояния у нас искусства, которое не вкоренилось еще в жизнь народную, не составляет необходимой потребности, а большею частью служит для изворотов жалким барышникам; тогда как истинное дарование, изнывая под бременем ненасытного самолюбия, иногда погибает в тени или спивается с круга.

Иван Иванович судит вообще резко и решительно; со всем тем невозможно назвать его положительным человеком; напротив, когда нет свидетелей и разговор касается до чувства, Иван Иванович изумляет меня тонким разложением малейших сердечных оттенков, и тогда этот человек, по-видимому бездушный, совершенно преобразовывается: речь его становится свободнее, душа как будто выплывает из сверкающих глаз, и нетрудно догадаться тогда, глядя на него, что под этой бесчувственной корой бьется сердце, способное к самым глубоким впечатлениям. Но что заставило это сердце сжаться и съежиться под личиной равнодушия? что заставило бедного холостяка вести такую однообразную жизнь и пренебречь плутиками о нем толками? – вот что хотелось мне узнать.

Недавно обедали мы вместе у madame Joseph. Madame Joseph отлично кормит своих приятелей. После обеда мы оба закурили сигарки, и, развалившись на диване, начали разговаривать о том, как молодость утрачивается безвозвратно, оставляя нам лишь одно раскаяние, что мы не умели ею воспользоваться.

– Эта песня давно поется, – сказал Иван Иванович, – и никто от нее не поумнел. И я, как все...

– Кстати, – прервал я, – мне давно хотелось расспросить вас о вашем былом. Знаете ли, теперь, пока мы курим, расскажите-ка мне повесть вашей жизни.

Иван Иванович немного призадумался.

– Жизнь моя, – отвечал он печально, – не может назваться повестью, а разве собранием отдельных не оконченных повестей.

– Как неоконченных?..

– Именно неоконченных. Не знаю, много ли людей могут похвалиться тем, что светлые случаи их жизни достигли всего своего блеска и потом уже мало-помалу начали скрываться в тумане, бросая еще изредка яркие отблески? Со мною было иначе. Романы мои только заманивали мое сердце и потом вдруг прерывались при самой завязке.

– Отчего же так? – спросил я.

– Отчего? Сам не знаю; от случая, от игры обстоятельств. То светское приличие, то нежданная разлука, то собственная оплошность, то смерть все уничтожающая отдаляли меня навек от светлой цели моих желаний.

Иногда одно слово могло бы мне дать блаженство, но слово это, уже готовое на устах, не выговаривалось, и осеняющее уже меня счастье отлетало навеки. Иногда самые ничтожные случаи, забытый визит, короткая поездка, минутная простуда, вздорный поклон, пустой разговор, взгляд один отдаляли жизнь мою навсегда от радостно принятого направления. Вы скажете, что я сам в том виноват. Может быть; но зато я жестоко был наказан, потому что каждая порванная струна моего сердца болезненно отдавалась в целом существе моем; словом, оно, может быть, глупо, только и грустно тоже. Все повести мои остались без конца.

– Как, неужели ничего от них не сохранилось?

– Сохранилось какое-то странное чувство, неопределенное сознание утраченного счастья, сознание горестное, но и сладкое в то же время, похожее на воспоминание о шутливом и веселом друге над его могилой.

– Не понимаю, – сказал я вполголоса, хотя, по странному сочувствию с моим собеседником, какая-то невольная тоска начала сжимать мое сердце, – не понимаю, Иван Иванович.

– Как не понимаете? Припомните вашу молодость, тогда не трудно вам будет понять.

– Всего будет лучше, Иван Иваныч, если вы расскажете мне повесть... нет, я хотел сказать, начало какой-нибудь повести из вашей жизни.

– Извольте... Только с чего начать?

– Начните сначала.

– Ну, так я начну с моей студентской жизни.

Я немного поморщился. Иван Иванович улыбнулся.

– Вам надоели студентские истории, – заметил он. – Будьте покойны: я не намерен обременять вас описанием немецкого студенчества, а только, по желанию вашему, разверну перед вами первую страницу теперь уже оконченной книги моего сердца.

– Я учился в Гейдельберге. В одном доме со мной жили еще двое русских молодых людей, два брата из Харькова. Мы жили дружно, сидели рядом на лекциях и проклинали вместе картофельный суп и черствые котлеты, которыми казнил нас каждый день ничем не умолимый трактирщик. Старшего брата звали Федором. – Он был большой оригинал. Играл целый день на скрипке, терпеть не мог надевать калош и три раза в неделю аккуратно бегал на почту узнавать, нет ли для него писем, хотя писем, сказать правду, он не получал никогда. Такая уж у него была привычка. Впрочем, он был малый тихий и смирный. Брат его, Виктор, имел мало с ним сходства. Шум и разгулье были его стихией. Помучить ли толстого ремесленника, ошибать ли профессора, разбить ли где окна, прокричать ли виват, затеять ли пирушку, рубиться ли, напиться ли, танцевать ли в клубе – Виктор везде был первый; всегда готов, всегда весел. Бывало, голос его раздается во всю площадь и старые студенты весело на него поглядывали, шушукая между собой: «Экой неугомонный!» И молодые девушки приветно ему улыбались, невольно вздыхая о том, что он чаще посещает холостые пирушки, чем их безгрешное общество. Впрочем, оба брата были свойства благородного, не только добрые малые, но добрые люди, и я их полюбил искренно, тем более, что они были русские и что они, как и я, на самом рассвете жизни были отчуждены от всего им близкого.

Мы жили в смежных комнатах. Как теперь помню, однажды сидел я дома нездоровый и расстроенный. Мне было грустно. На дворе была осень. Небо было серое, ветер выл печально, и мелкий дождик стучал в окна. За дверью сосед мой, Федор, немилосердно играл на скрипке какие-то вариации Майзедера. Никогда не забуду я особенно четвертой вариации, которая, несмотря на все усилия и старания, все выходила как-то весьма неудачно.

Надобно вам знать, что вариации эти я терпеливо слушал каждый день по несколько часов и уверен, что во всю жизнь свою я не принес дружбе большей жертвы; но на этот раз хандра до того мною овладела, что терпение мое рушилось.

- Федя, – закричал я, – ты верно забыл, что нынче почтовый день.
- В самом деле, – сказал Федя, – как это я забыл?

Почта верно уж пришла.

Скрипка мигом уложилась в футляр, и вот мой Федя в лайковых сапожках, которыми он, между прочим, очень щеголял, быстро бросился из комнаты и пошел себе попрыгивать под дождем по грязи гейдельбергских улиц.

Я остался один, в печальной задумчивости. Мне было грустно, как бывает грустно в двадцать лет, когда сомнение начинает колебать надежду. Я не знал, чего ожидать мне в жизни, и начинал бояться уж того, что не доживу до светлой отрады понятой любви. Тяжело в молодые годы испытать одиночество, в то время, когда всякая привязанность так чиста, так возвышенна и священна. После не то уж: душа как бы стареется вместе с телом и чистый родник наших чувств тускнеет мало-помалу от грязного прикосновения жизни.

Через полчаса дверь с шумом распахнулась, и Федор вошел ко мне торжественно, с сияющим лицом. Напрасно старался он скрыть восторг свой под личиной важного равнодушия: я разгадал его мигом.

- Ты получил письмо, – сказал я.

Федор не мог удержать невольной улыбки и с значительным видом человека, озабоченного обширной корреспонденцией, показал мне тоненький пакетец с женским почерком на адресе.

- От кого это?

- От сестры, должно быть.

«Счастливый человек, – подумал я, – у него сестра».

Федя медленно распечатал письмо и начал читать.

Я глядел на него и чистосердечно ему завидовал.

- Который ей год? – спросил я снова.

- Кому?

- Да сестре твоей.

– Семнадцать лет. Не мешай только, пожалуйста, братец, ты ведь видишь, что я занят.

- А что, она хороша собой?

- Ну, хороша. Какое тебе дело? Надоел с вопросами!

- Глаза у нее черные?

- Черные, только отвяжись.

Семнадцать лет и черные глаза. Какой молодой человек устоит против такой очаровательной мысли. Я не вытерпел.

– Федя, что она пишет?

– Ну, так слушай же, – отвечал он с притворной досадой, потому что в самом деле ему очень хотелось похвастать передо мною своей перепиской.

Федя начал читать письмо. Оно было наполнено прелестным вздором. В нем выражались все полудетские впечатления молодой беззаботной девушки. Она была на каком-то бале, кажется, в Москве в Дворянском собрании. Ей было так весело, как она еще и не запомнит.

Платье на ней было розовое и очень к лицу, да и цветы на платье были такие, что лучше ни на ком не было. На все танцы без исключения была она ангажирована, а мазурку танцевала она с превеселым кавалергардом.

Сказать правду, она тут немного похитрила. Ее уж заранее приглашал богатый помещик Хохлин. Только Хохлин этот такой дерзкий, лицо у него такое гадкое, что она его обманула и сказала ему, что она уж прежде дала слово другому. Разумеется, таким образом поступать не следует, и совесть ее немножко мучила; только виновата ли она, что у Хохлина наружность такая противная? Затем следовало подробное описание московских удовольствий, московских франтов, оригиналов и красавиц. Через несколько недель она снова уезжала с отцом в Харьков, но до того времени много еще предстояло веселья.

Все это на меня сильно подействовало.

Представьте на убогом чердаке двух молодых людей, наклоненных над столиком и с жадностью читающих все мелочные подробности радужной светской жизни.

Странная мысль зашалила у меня в голове.

– Ты будешь отвечать? – спросил я.

– Разумеется, буду, сегодня же.

– Знаешь что, Федя, поклонись сестре от меня.

Федя вытаращил глаза.

– Что ты врешь, братец, с какой стати?

– А с той стати, что я твой товарищ, что мне скучно, что она улыбнется от моего поклона, а мне это будет приятно. Скажи ей, что ты не один скучаешь на чужбине, а что у тебя есть приятель, который скучает с тобой вместе, даже когда ты не играешь вариаций Майзедера.

Скажи ей, что твой товарищ читал ее письмо и от души желает ей еще долго, долго тешиться и розовым платьем и мазуркой с веселым кавалергардом.

Федя был добрый малый. Он меня понял и принялся писать, громко смеясь над своей шалостью. Ответ отправлен.

С тех пор, я вам должен признаться в своей глупости, семнадцатилетняя девушка с черными глазами, в розовом бальном платье, неотлучно рисовалась в моем воображении. Я вглядывался в нее очами души, и тихо ею любовался и говорил ей невыговариваемые речи. Если вы были молоды, вы меня поймете, и поймете тоже, с каким ребяческим волнением и страхом я ожидал моего соседа, когда, по принятому обыкновению, он бегал на почту узнавать, нет ли для него письма.

Между тем студенческая жизнь шла своим чередом.

Я сделался верным спутником Виктора и с чувством братской дружбы всюду следил за его проказами. Только мало-помалу я заметил в нем странную перемену.

Необузданная его веселость становилась как-то принужденна. Он все еще бил стекла и пил с товарищами, но уж без прежнего разгульного вдохновения. Зато каждый вечер водил он нас к одному серенькому домику с зелеными ставнями. Там, притаившись у забора, когда все безмолвствовало вокруг и добрые немцы спали немецким безмятежным сном, мы начинали петь страстные серенады, и только дрожащий огонек или легкий шорох спущенной занавески обнаруживал нескромно, что наше пение не пропадало даром. Виктор был влюблен. Это не трудно было отгадать, потому что он пел с большим выражением. В сереньком домике жила белокуренькая девушка, с большими голубыми глазами, дочь небогатого помещика.

Как-то встретились они на академическом бале. Знакомство их было самое неромантическое. Он трепетно пригласил ее на английскую кадрили. Она, краснея, согласилась. Он говорил мало и несвязно. Она едва отвечала.

Оба танцевали очень неловко и оба не спали целую ночь. Такова первая любовь. Скоро сделался я наперсником Виктора и, напевая серенады под окнами его Беллы, советовал ему познакомиться с ее отцом. Он долго колебался и не смел решиться на столь отважный подвиг; наконец в один воскресный день трепетно натянул белые

перчатки и в черном парадном фраке утром ровно в двенадцать часов отправился с церемонным вивитом к доброму толстяку, родителю своей возлюбленной. Там приняли его ласково и накормили весьма плохим обедом. Виктор прибежал домой в полном восторге, и не прошло месяца, как он исчез уж из нашего буйного круга, а сидя смиренно подле голубоокой своей красавицы, намазывал тонкие бутерброды и наигрывал с большим чувством на дребезжащих клавикордах последнюю мысль Вебера. В другое время я бы неумолимо над ним посмеялся, но так как я сам не чувствовал себя совершенно безгрешным, в особенности перед ним, то начал чистосердечно принимать участие в его страсти, и долго засиживались мы до полуночи, толкуя о совершенствах его Беллы и о будущих замыслах и надеждах. Главное препятствие его счастью будет отец его, ставящий богатство выше всего; но чего не одолеет сильная страсть и твердая воля? Белла бедна, правда, но зачем богатство, когда есть счастье, и что значат деньги и как жертвовать светлым упоением любви для мелочных условий жизни? Впрочем, я думаю, вы эти детские рассуждения знаете наизусть.

– Увы! – сказал я. – Иван Иваныч, теперь у нас и дети так не рассуждают.

Иван Иванович продолжал:

– Наконец вижу я однажды из окна, что Федор бежит по площади и издали машет мне письмом. Сердце мое вздрогнуло, как будто пред каким-нибудь важным событием. Письмо мигом распечатано. Я точно как бы ожидал решения своей судьбы. Молодая девушка бранила своего брата за то, что он показал ее необдуманное маранье, и грозилась не писать более; однако ж второе письмо было длиннее первого и слог письма был изысканнее и почерк красивее. За поклон мой она была благодарна, жалела о нашей скуке и о том, что ее не было с нами, чтоб развеселить наше одиночество. Меня благодарила она еще за дружбу к ее братьям и желала очень со мной познакомиться, надеясь, что встретимся приятелями. На днях уезжала она снова в Харьков.

В Москве ей было очень весело, только под конец ей надоедал Хохлин, который, как она слышала, человек скупой, злой и гадкий, несмотря уж на то, что дурен как смертный грех. В заключение она снова мне кланялась и просила не оставлять ее любимых братьев. Вы

можете себе представить, с каким жаром, с какою радостью я отвечал ей, что поручение ее свято будет исполнено и что, в минутах безотчетной скорби, мысль о ее участии будет моим лучшим утешением. Следствием этого было то, что между братом и сестрой вдруг завязалась жаркая переписка, и Федор мой уже не робким голосом ходил просить у почтмейстера сомнительного письма, а горделиво подняв голову, являлся уж с положительным требованием. Каждый почтовый день приходил он ко мне с драгоценной добычей и, в счастливом расположении духа, беспощадно пилил свою скрипку несколько часов сряду.

Таким образом между мной и неизвестной мне девушкой установилось постепенно какое-то странное, безыменное отношение. В каждом письме брата ее к ней я высказывал ей часть своей души, а она, в ответах, то, как развивающаяся женщина, давала волю своему нежному воображению, то, как балованное дитя, мучила меня шутками, колко издеваясь над моей восторженной речью.

Иногда мы спорили, даже ссорились, будучи различных мнений, но тогда я просил прощения, и меня прощали, признавая, что я прав. Федор смеялся над нашей шалостью, не подозревая, что эта шалость сделалась заботою моей жизни. Тщетно уверяла она меня, что я воображаю ее лучше, чем она в самом деле, что, при свидании с ней, я буду неприятно разочарован – сердце мое привыкло о ней думать. Не знаю, можно ли назвать любовью то, что я чувствовал, знаю только, что в душе моей не было более пусто; помню только то, что я терпеливо слушал восторженные бредни Виктора и понимал его бессмыслицу.

Виктор тайно мне признался, что он любим. Не знаю, как они объяснились; кажется даже, что они не объяснились вовсе, а так поняли друг друга. Вы знаете, в молодые годы не нужно красноречия: одно слово, один взгляд, одно пожатие руки, одно невольное движение – и тайна сердца обнаружена без опасения и страха, а с одним лишь светлым сознанием долго-ожиданного блаженства. Я радовался счастью Виктора, а сам с трепетом ожидал каждого почтового дня.

Однажды Федор прибежал ко мне с радостным известием. Сестра его объявляла нам, что она отправляется с больной теткой за границу и скоро надеется обнять своих братьев. Тут, по обыкновению, была и для меня приписка, на этот раз только более церемонная, чем прежние, так как она предвещала скорое свидание; но и в этом холодном тоне была

для меня какая-то новая особая прелесть. Сношения наши переставали быть шалостью. Знакомство, давно желанное, должно было скоро осуществиться. Я был счастлив до безумия. Я только и думал, как бы хорошенько ее встретить. Она любит танцевать – мы устроим бал на славу, такой бал, какого в Гейдельберге еще не бывало. Надо было позаботиться о ее квартире. Тетка женщина больная – для нее мы отведем комнату, откуда не слышно будет студентского шума. Племянница ее, верно, любит цветы – мы всю ее комнату украсим цветами, а когда она будет засыпать ночью, мы так согласно и так тихо будем петь наши серенады под ее окном, что, верно, она и вздохнет и улыбнется засыпая... Много наготовил я в голове и славных праздников и страстных стихов для ее приема. Только дни уходили, и опять за ними другие дни... и не было более слуха о вожделенном приезде. Я все еще надеялся, потому что письма прекратились, но надежда моя скоро рушилась.

Однажды Виктор вошел ко мне бледный и расстроенный. Губы его дрожали. Он сел молча на кожаный мой диван и так странно взглянул на меня, что я ужаснулся.

– Не больна ли Белла? – спросил я.

– Нет, здорова.

– Не уехала ли?

– Слава богу, все по-прежнему.

– Так отчего же ты так расстроен?

– Так... ничего... неприятность.

– Какая же?.. Если можно, я помогу тебе.

– Ты не можешь тут помочь. Я завтра еду в Харьков.

– В Харьков? Зачем?..

– Спасти сестру.

– Сестру спасти... от кого?.. от чего?.. И я поеду с тобой... Скажи только, что случилось. Ведь она должна была приехать сюда с теткой.

– Тетка умерла.

– А сестра твоя?

– Выходит замуж.

– Против воли?

– На, читай, – сказал Виктор и, бросив мне измятое письмо, побежал прощаться с Беллой и провести с ней последний вечер.

«Братья мои (писала бедная девушка), помогите мне.

Спасите меня. В вас единственная моя надежда. Мне рано еще умирать. Мне жить еще хочется. Я от жизни надеялась так много хорошего – и все так рано должно погибнуть! Я не переживу своего несчастья. Батюшка выдает меня замуж за Хохлина и слушать не хочет отказа. Я плакала у ног его, я просила его не губить дочери – он посмеялся только надо мной. – «Хохлин богат, – говорит он, поживете вместе, привыкнешь, слюбится». – «Батюшка, да я ненавижу его, да он дурной человек.

Я чувствую, он убьет меня». Батюшка разгневался. «Твое дело, – закричал он, – слушаться. Я дал слово, а двух слов у меня нет. Сегодня же сговор». Братья! меня помолвили, силою помолвили... Я умоляла Хохлина отказаться от меня, и он только что смеется. Брильянты мне какие-то прислал. Он верить не хочет, что я его ненавижу. Что ж мне делать? Кого просить? Кто заступится за меня?.. Я погибла, погибла, если вы не умолите батюшку. Если вы меня любили, если вы меня любите, не дайте погибнуть вашей сестре».

Как все люди решительные, Виктор не думал долго: на другой день он ехал в Харьков. Напрасно Федор и я собирались ехать с ним вместе. «Оставайтесь с Беллой, – говорил он. – А на меня положитесь: не выдам сестры; я один слажу с этим человеком. Или я убью его, или он меня убьет, а уж сестра моя не будет за ним».

Со всем тем видно было, что он старался скрыть свою неодолимую тоску. Хотя он и был твердо намерен возвратиться, но все-таки ему невыразимо больно было расстаться с избранной своей невестой. Рано утром мы проводили его до первой станции. Повозка наша промчалась мимо знакомого нам домика. Ставни были затворены. Казалось, что какая-то мертвая тишина в нем водворилась. Виктор все глядел на него пристально, пока он не скрылся из глаз. Тогда заметил я, что Виктор плачет. На станции мы расстались.

Прошло несколько месяцев. Ни от Виктора, ни от сестры его не было известия. Бедный мой Федор аккуратно бегал три раза в неделю на почту, справлялся, нет ли для него писем, и всякий раз тихо возвращался домой, опустив голову и с пустыми руками. Грустно брался он тогда за свою скрипку и начинал твердить четвертую вариацию Майзедера, но уж не с прежним старанием и рвением, а как-то вяло и рассеянно. И я уже не сердился больше на него за его несчастную страсть к музыке, а терпеливо прислушивался к диким

звукам его скрипки, которые как-то странно согласовывались с расстроенным положением души моей. Белла долго грустила и уехала с отцом в деревню.

Жизнь моя становилась несносна. И разгулье и ученье – все мне опротивело. Наконец я получил от родителей приказание возвратиться в Петербург. Жаль мне только было расстаться с Федором, жаль даже его скрипки, в которой было для меня что-то родное, а ему так еще было тягостнее расставаться со мною.

В Петербурге, я вам должен признаться чистосердечно, я совершенно рассеялся. Столичная жизнь закидала меня тревожными заботами. Все было для меня ново: и роскошь домов, и любезность дам, и заманчивость театров, и вся светская жизнь, посвященная лишь на удовольствие настоящей минуты. Я, как следует, вступил сперва в службу, потом оделся щеголем и начал любезничать. Я был молод, хотел нравиться, имел состояние, и потому меня ласково принимали, и я очень тому радовался, не понимая, что с каждым успехом в большом свете я терял немного своей душевной чистоты и непорочности.

Однажды на каком-то бале, где я танцевал с исступлением щеголя, начинающего прославляться, меня поразило вопрос одного из моих новых приятелей.

– Вы, кажется, учились в Гейдельберге?

– Да.

– Скажите, пожалуйста, не был ли у вас там товарищ какой-то Виктор?

– Разумеется, был. Где он теперь?

– Да он в Петербурге.

– Здесь?

– Он живет у меня в доме, там, на самом верху. Он часто про вас спрашивает. Жалкая история. Вообразите, его как-то дорогою опрокинули с повозкою в озеро. Бедняк простудился и теперь лежит у меня в злой чахотке. Оно для меня неприятно потому, что я не люблю покойников. Вы сделаете доброе дело, если его навестите.

На другой день утром я вскарабкался по узенькой черной лестнице до квартиры Виктора. Я нашел его в маленькой комнате с одним окном, без занавески. Он лежал на бедной кровати и тяжело дышал. Сестра милосердия подавала ему лекарство. Бедный Виктор! Я не узнал его. Где прежняя буйная отвага? Глаза его ввалились и сделались

мутны. Лицо было страшно бледно и искажено. Смерть веяла уж над ним и касалась его своими холодными крыльями. При моем появлении, что-то похожее на улыбку промелькнуло на его устах. Он меня узнал и судорожно пожал мне руку.

– Бедная сестра! – сказал он с усилием.

– Тебе кланяется брат твой Федор, – проговорил я горестно.

– Ты видел Беллу?

– Все хорошо по-прежнему. Все ждет тебя. Выздоровливай только скорее.

Больной перекрестился.

– Теперь все кончено, – прошептал он.

– Не извольте говорить: доктор запретил, – сказала сестра милосердия.

Он взглянул на нее с покорностью и снова пожал мне руку.

Долго, долго сидел я у изголовья его, и с каким-то мрачным любопытством глядел на тяжкую борьбу сильной природы с неумолимым недугом. Наконец мне стало страшно. Я убежал домой, прося, что, если с ним будет хуже, за мной бы тотчас прислали. Ночью меня разбудили. Я наскоро оделся и отправился к нему. На лестнице мне встретился священник с дарами, который уже выходил от умирающего.

– Ну что? – спросил я трепетно.

– Отходит...

Никогда не забуду этой картины: в комнате было почти совершенно темно. Виктор сидел на креслах, скрестив руки свои на стол, на котором положена была подушка. Голова его качалась, как маятник, сверху вниз, и тяжелое дыхание вытеснялось стонами из груди его. За ним несколько человек, как черные образы, стояли в тени. В комнате все безмолвствовало и только слышно было страшное хрипенье умирающего. И вдруг стало оно еще крепче, еще страшнее. Последняя вспышка жизни потрясла все члены страдальца; потом он начал мало-помалу успокаиваться, промежутки между стонами сделались продолжительнее, стоны начали утихать, утихать, и голова осталась неподвижна на подушке. Все было кончено.

Мы стали на колени и начали молиться...

Через три дня мы похоронили Виктора на отдаленном кладбище, и так окончилась внезапно поэтическая повесть его молодости.

Смерть его сильно на меня подействовала: я сделался вдруг равнодушен ко всему, что прежде мне казалось так заманчиво. Я понял всю суетность жизни и долго не мог постигнуть, как можно чего-нибудь надеяться или желать на земле. И в самом деле, к чему ведут все эти напрасные мучения, которыми затрудняем свой путь, когда мы сами без воли и без силы увлекаемся всеокрушающим потоком? Я стал глядеть на все с холодным отвращением. На всех лицах, веселых и болтливых, я высматривал лишь отпечаток смерти. Красавиц, которые мне очаровательно улыбались, я воображал безобразными остовами, и вся земля казалась мне огромной могилой. Так проходили дни мои. А ночью, когда мучила меня бессонница, мне казалось, что умирающий товарищ сидит у моей кровати, скрестив руки на стол, и медленно качает головой; глаза его мутно на меня устремлялись, и в тусклом их взоре выражалась какая-то бессильная жалоба, какой-то неясный упрек, живо напоминавший мне о жалкой участи сестры его.

Такое положение становилось нестерпимо; я решился рассеяться во что бы то ни стало и просил откомандировки. Мне предложили ехать в Одессу, и я с радостью принял предложение. Дорога была через Харьков.

Я наскоро снарядился в путь, как будто предвидя, что мое присутствие могло кому-нибудь быть нужно. Я думаю, никогда жених, трепетно ожидаемый, не спешит так к своей невесте, как я спешил тогда в Харьков, сам не зная почему. Я не знал, увижу ли я там кого, узнаю ли что близкое к сердцу, а так, скакал себе сломя голову.

Я приехал после обеда. Улицы были уже освещены, а перед одним домом горели даже площадки. Насилу дотащился я до гостиницы – так я был утомлен и разбит дорогой. Вы знаете, что такое русская езда на перекладной телеге. Я бросился на трактирный диван и заснул, как спят после шести бессонных суток. Усталость до того даже мною одолела, что я не успел ничего спросить у трактирного слуги, а упал как мертвый. Я проснулся на другой день уж в полдень и с удивлением заметил, что кто-то сидел у меня в ногах, ожидая моего пробуждения. Протираю глаза – Федор.

Вы помните Федора, который все ходил на почту и так усердно играл на скрипке. Он был в трауре и сидел повес я голову.

Мы обнялись как братья.

– Я приехал, – сказал он едва внятно, – я приехал звать тебя на бал.

– На бал? Меня... куда?..

– На свадебный бал, – продолжал он. – Вчера была свадьба моей сестры. Что ж делать? Я сам только что приехал. Правда, сестра умаливала, чтоб не было этого бала, да свекор и вся родня взбудоражились. «Свадьба, говорят, так и пир горой». В городе же сейчас узнали, что приехал петербургский кавалер, и меня послали тебя пригласить.

– Хорошо, – сказал я, – отправляйся к сестре твоей и пригласи ее от меня на мазурку. Так как я петербургский кавалер и человек светский, то я непременно хочу для первого моего дебюта в Харькове танцевать с царицей бала.

– Ты видел смерть брата? – спросил печально Федор.

– О брате твоём жалеть нечего: он умер. Ступай теперь к сестре с моим поручением.

Федор отправился, а я начал готовиться к балу с неодолимым смущением. Наконец я должен был увидеть то воздушное и таинственное существо, которое имело такое странное значение и в моей жизни. Я припомнил все малейшие подробности нашей странной переписки, сперва веселое ребячество ее бальных впечатлений, потом легкие оттенки первой сердечной задумчивости и вдруг пронзительный крик отчаяния. Не видав еще ее, я до того породнился с ее чувствами, что одна мысль о ней сжимала мое сердце, и мне стало так грустно, что я начал готовиться на ее брачный пир, как на похороны.

Ровно в девять часов, одевшись в черное с ног до головы, я отправился. Вся улица была уставлена экипажами. Дом новобрачных сверкал из окон ослепительным светом. Издали слышен уж был гром оркестра. У подъезда толпился народ.

Я вошел, и при самом входе мне встретилось чинное шествие польского. В первой паре шел толстый генерал и вел молодую за руку. Сердце мое ее разом узнало, я едва не вскрикнул. Вообразите себе самое разительное сходство с Виктором и то самое болезненное предсмертное выражение лица, которое произвело на меня столь сильное впечатление накануне его кончины. Как-то странно смешались в голове моей черты бедного товарища с чертами молодой красавицы;

мне становилось душно, голова моя кружилась, я стоял как опьянелый, а польский все тянулся передо мной, как будто тени попарно, на которые я смотрел как во сне.

Она также меня узнала. Я это понял с первого взгляда ее. Но сколько было в этом взгляде! И прошедшая радость, и настоящее горе, и сожаление об обманутых надеждах, и покорность неумолимой судьбе. Когда польский кончился, Федор подвел меня к ней и назвал меня по имени.

Она грустно улыбнулась и сказала мне:

– Мы с вами уж знакомы.

Я отвечал:

– Я вам родня, по дружбе с братьями.

– Вы приехали вчера? – спросила она после короткого молчания.

– Вчера, часов в семь.

Она вздохнула и посмотрела на меня так, что я чуть-чуть с ума не сошел.

– Вчера в семь часов, – сказала она, – меня одевали к венцу.

Я отошел в угол и печально начал любоваться ею. В самом деле она была прекрасна, но какой-то болезненной красотой. В черных глазах ее отражался огонь лихорадки. Лицо ее было матовой белизны, а на голове ее брильянтовая диадема сверкала, как мученический венец. Прошел час времени. Не помню, кто со мной говорил и говорил ли я с кем. Заиграли мазурку. Я снова к ней подошел, придвинул два стула, и мы сели. Разговор наш был сперва несвязен, но мало-помалу он оживился. Я заговорил ей о странной нашей переписке, извинялся в моей смелости, рассказал ей, как мы ожидали ее приезда и с какой жадностью мы читали описание балов, где она танцевала с веселым кавалергардом. Она отвечала мне полушутливо-полупечально, вспоминала все, писанное по моему приказанию, и призналась, что она часто обо мне думала и что я совершенно таков, как она полагала. Тогда просила она меня рассказать о нашей студенческой жизни, и речь наша невольно коснулась покойного брата ее.

– Вы знаете, – сказала она, – я причиною его смерти.

– Нет, – отвечал я, – так судьба хотела. Во всем есть воля Провидения. Смерть не есть несчастье, напротив, смерть конец несчастью. Поверьте, что мне тяжелее нынче на сердце, посреди

нынешнего блеска и веселья, чем в тот мрачный вечер, где бедный мой товарищ умирал на чердаке.

Она еще более побледнела, губы ее задрожали.

– Ради бога, – сказала она шепотом, – не говорите этого, иначе я не выдержу моей пытки.

Федор, сидевший рядом со мной с другой стороны, закрыл лицо руками и, спрятавшись ко мне за спину, заплакал как ребенок.

Мазурка продолжалась. Кавалеры притопывали, дамы, в розовых и голубых платьях, скользили по паркету.

Бал был оживлен и великолепен. Многие играли в вист, другие смеялись и громко шутили над молодыми.

Вдруг она вскочила со своего стула, быстро отряхнув пышные свои локоны.

– Знаете ли, – сказала она почти с безумным выражением, – забудем настоящее, будем же хоть раз еще молоды вместе. Вообразите себе, что вы молодой человек, я – молодая девушка. Я вам нравлюсь, вы мне нравитесь. У нас нет ни забот, ни горя. Мы встретились на бале, которого оба давно ожидали. Мы вместе танцуем.

Пойдемте же, нам начинать.

И, с отчаяньем в глазах, она умчала меня в круг танцующих, и долго мы танцевали вместе почти до упаду в неизъяснимом иступлении. Она была хороша какой-то ужасающей красотой. Волосы ее распустились по плечам; румянец заиграл на щеках, глаза засверкали, грудь сильно взволновалась. Видно было, что она все хотела забыть, все соединить в одну упоительную минуту в последнем прощанье с прежней жизнью. И вдруг муж ее, озабоченный свадебным ужином, махнул музыкантам, чтоб они перестали. Тогда она оборотилась ко мне, и лицо ее снова помертвело.

– Теперь... – сказала она, – все кончено. Не забывайте меня. Вы, надеюсь, нынче едете.

– Сейчас же, – отвечал я, – сейчас.

Она вздохнула и протянула мне руку, а потом сказала еще:

– Когда не будет меня на свете, помолитесь обо Мне.

Из рук ее выпал букет, Я схватил уже увядающие цветы – верное напоминание ее увядающей жизни, и бросился опрометью домой. Нельзя выразить то, что я тогда чувствовал. Я не был влюблен, и любил, однако ж, самой отчаянной, самой безотрадной любовью.

Сожаление, досада, ревность, тоска жгли кровь мою. Я не хотел, я не мог оставаться более в Харькове. Возвратившись в лихорадке домой, я разбудил человека, послал тотчас за лошадьми, и через час я скакал по большой дороге, желая как бы ускакать от самого себя.

И с тех пор я не видал ее ни одного раза, а через год с небольшим получил письмо от одного Федора с черной печатью. Сестры его уж не было на свете. Она тихо угасла и приказала отослать ко мне ее последний предсмертный поклон.

Вы видите, – продолжал печально мой собеседник, – что эта повесть сама по себе ничто – ребяческая переписка, минутное свидание и несколько иссохших цветов.

Стоит ли говорить о том. Роман, едва начатый, оканчивается на первой странице. Но для меня в нем много смысла. В нем первая моя неоконченная повесть, повесть моей молодости, которая долго носила меня по идеальному миру и привела наконец к безотрадной сущности.

Впрочем, и после были еще вспышки поэзии в моей жизни, но они не превращались в светила, а, угасая одна за другой, только дразнили меня своим минутным блеском. Да, точно со мною было еще несколько случаев, за которые сердце мое, жадное любить, зацеплялось с радостью... но, видно, суждено было иначе. И вот что досадно: в каждом из них было бы довольно счастья на всю мою жизнь.

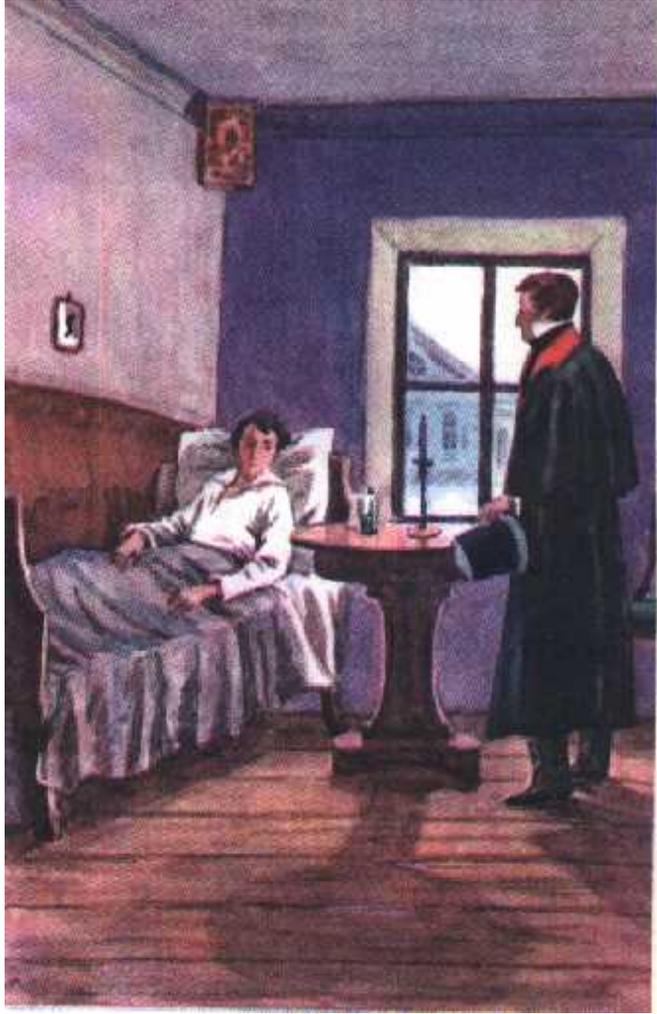
Но счастье, готовое уже осенить меня, отлетало далече, и после узнавал я, но слишком поздно, чего я мог надеяться и что я утратил невооруженно. Выслушайте еще одну историю...

– Нет, Иван Иваныч, в другой раз, а нынче извините, нынче Рубини дает концерт, и я опоздать не намерен.

Впрочем, то, что вы говорите, меня не удивляет. Всякая повесть человеческого сердца большею частью не что иное, как повесть неоконченная. Пойдемте-ка вместе в концерт, там мы найдем, может быть, счастливую развязку вечной повести вечно недовольной жизни.

– Где же? – спросил Иван Иванович.

– В чистом, в высоком наслаждении, в святой любви к искусству.



Тарантас

Путевые впечатления

I

Встреча

Василий Иванович гулял однажды на Тверском бульваре.

Василий Иванович – казанский помещик лет пятидесяти, ростом небольшой, но такой дородности, что глядеть на него весело. Лицо у него широкое и красное, глаза маленькие и серые. Одет он по-помещичьи; на голове белая пуховая фуражка с длинным козырьком; фрак синий с светлыми пуговицами, сшитый еще в Казани кривым портным, которого вывеска уже 40 лет провозглашает недавно приехавшим из Петербурха; панталоны горохового цвета, приятно колеблющиеся живописными складками около сапог. Галстух с огромной пряжкой на затылке; на жилете бисерный снурок светло-небесного цвета.

Василий Иванович шел себе по Тверскому бульвару и довольно лукаво посмеивался при мысли о всех удовольствиях, которыми так расточительно изобилует Москва. В самом деле, как подумаешь, Английский клуб, Немецкий клуб, Коммерческий клуб – и все столы с картами, к которым можно присесть, чтоб посмотреть, как люди играют и большую и малую игру. А там лото, за которым сидят помещики, и бильярд с усатыми игроками и шутливыми маркерами. Что за раздолье!.. А цыгане-то, а комедии-то, а медвежья травля меделянскими мордашками у Рогожской заставы, а гулянье за городом, а театр-то, театр, где пляшут такие красавицы и ногами такие вензеля выделывают, что просто глазам не веришь. Тут Василий Иванович вспомнил про грозную и дородную супругу свою, оставленную за хозяйством в казанской деревне, и решительно улыбнулся с видом отчаянного повесы.

В это самое время на Тверском бульваре гулял также Иван Васильевич. Иван Васильевич – молодой человек, только что вернувшийся из-за границы. На нем английский макинтош без талии; панталоны его сшиты у Шеврёля; палка, на которой он упирается, куплена у Вердье. Волосы его обстрижены по вкусу средних веков, а на подбородке еще видны остатки ужаснейшей бороды.

Прежде, когда русский молодой человек возвращался из Парижа, он привозил с собой наружность парикмахера, несколько ярких жилетов, несколько пошлых остроумий, разные несносные ужимки и нестерпимо решительное хвастовство. Благодаря богу, все это теперь вывелось. Но теперь другая крайность: теперь молодежь наша прикидывается пубокомысленною, изучает политическую экономию, заботится о русской аристократии, хлопочет о государственном благе, и – как бы вы думали? – за границей делается она русскою, даже чересчур русскою, думает только о России, о величии России, о недостатках России и возвращается на родину с каким-то странным восторгом, иногда смешным и неуместным, но по крайней мере извинительным и, во всяком случае, более похвальным, чем прежнее ничтожество. Достойный представитель юной Руси, Иван Васильевич объездил всю Европу, и, вникая в политическую болтовню перемешанных сословий, приглядываясь к мелким страстям, прикрытым громкими именами общей пользы, свободы и просвещения, он понял, как велика и прекрасна во многом его отчизна, и с того времени загорелась в нем жаркая, хотя бессознательная любовь к родине, и с того времени он начал гордиться перед собой и перед целым светом тем, что он родился русским человеком. Независимо, впрочем, от этого чувства, наподобие прочих наших государственных юношей, привез он из-за границы горячий восторг к парижской опере и нежные воспоминания о парижских загородных балах.

Итак, Иван Васильевич шел по Тверскому бульвару, поглядывая с удивлением на яркие наряды московских щеголих, на фантастические ливреи их небритых лакеев и напевая про себя «*Nel furor delia tempesta*», арию чудесную из беллиниевской оперы «*Il Pirata*». «Господи боже мой, – думал он, – как жаль, что так мало здесь движения и жизни... *Nel furor!*.. То ли дело – Париж... *delia tempesta*. Ах, Париж! Париж! Где твои гризетки, твои театры и балы Мюзара?... *Nel furor*. Как вспомнишь: Лаблаш, Гризи, Фанни Эльслер, а здесь только что спрашивают, какой у тебя чин. Скажешь: губернский секретарь – никто на тебя и смотреть не хочет... *delia tempesta!*»

В эту минуту загляделся он на странную громаду в белой фуражке, в гороховых занавесках около ног, которая катилась к нему навстречу. Красный улыбающийся лик показался ему знакомым. «Ба!

да это Василий Иванович, – подумал он, – сосед наш по казанской деревне. Деревня у него Мордасы. Триста душ! Хороший хозяин. Боится жены. На именинных обедах бывает навеселе и поет тогда русские песни, а иногда и приплясывает. Он, верно, видел батюшку».

– Здравствуйте, Василий Иванович, – учтиво сказал, кивая головой, молодой человек.

Василий Иванович остановился и с недоверчивостью на него поглядел.

– Ба-ба-ба! – заревел он наконец громовым голосом. – Ба-ба-ба, Ваня, Ванюша, Ванечка!.. Какими судьбами? – и, схватив испуганного щеголя огромными ладонями, Василий Иванович начал душить его увесистыми поцелуями, не обращая внимания на толпу гуляющих зевак. – Ну, брат, каким же ты чучелом выглядишь! Повернись-ка, пожалуйста...и еще... Вот эндак. Что это, мода у вас, что ли! Ни дать ни взять, куль, куда муку сыпают. Хорош, брат! Очень хорош! Откуда ты?

– Я был за границей.

– Вот-с! А где, коль смею спросить?

– В Париже шесть месяцев.

– Так-с.

– В Германии, в Италии...

– Да, да, да, да... Хорошо... а коли смею спросить, много деньжонок изволил порастрясти?

– Как-с?

– Много ли, брат, промотыжничал?..

– Довольно-с.

– То-то... А батюшка-то твой, мой сосед, что скажет на это? Ведь старики-то не очень сговорчивы на детское мотовство... Да и года-то плохие. Ты, чай, слышал, что у батюшки всю гречиху градом побило?

– Батюшка писал-с. Я сам к нему теперь собираюсь.

– Хорошее дело старика утешить. А... смею спросить, какого чина?

«Так и есть!» – подумал молодой человек.

– Двенадцатого класса, – отвечал он, запинаясь.

– Гм... не важно... А уж в отставке, чай?

– В отставке.

– То-то же! Вы, молодые люди, вбили себе в голову, что надо пренебрегать службой. Умны слишком, изволите видеть, стали! А теперь, коли смею спросить, что вы намерены делать-с? Ась?..

– Да я бы хотел, Василий Иванович, посмотреть на Россию, познакомиться с ней.

– Как-с?

– Я хотел бы изучить свою родину...

– Что? что? что?..

– Я намерен изучить свою родину.

– Позвольте, я не понимаю... Вы хотите изучать?..

– Изучать мою родину... изучать Россию.

– А как это вы, батюшка, будете изучать Россию?..

– Да в двух видах... в отношении ее древности и в отношении ее народности, что, впрочем, тесно связано между собой. Разбирая наши памятники, наши поверья и преданья, прислушиваясь ко всем отголоскам нашей старины, мне удастся... виноват, нам удастся... мы, товарищи и я... мы дойдем до познания народного духа, нрава и требования и будем знать, из какого источника должно возникнуть наше народное просвещение, пользуясь примером Европы, но не принимая его за образец.

– По-моему, – сказал Василий Иванович, – я нашел тебе самое лучшее средство изучать Россию – жениться. Брось пустые слова да поедем-ка, брат, в Казань. Чин у тебя небольшой, однако ж офицерский, имение у вас дворянское: партию ты легко найдешь. На невест у нас, слава богу, урожай... Женись-ка, право, да ступай жить с стариком. Пора и о нем подумать. Эх, брат, право-ну! Ты ведь думаешь в деревне скучно? Ничуть. Поутру в поле, а там закусить, да пообедать, да выспаться, а там к соседям... А именины-то, а псовая охота, а своя музыка, а ярмарка... А?.. Житье, брат... что твой Париж. Да главное, как заведутся у тебя ребятишки, да родится у тебя рожь сам-восемь, да на гумне столько хлеба наберется, что не успеешь молотить, а в кармане столько целковых, что не сочтешь, – так, по-моему, ты славно будешь знать Россию – а?..

– Конечно, – сказал Иван Васильевич. – Оно бы недурно.

– Знаешь что? Ты в Казань едешь?

– В Казань.

– Когда?

- Да чем скорее, тем лучше.
 - Прекрасно! А в чем, коли смею спросить?
 - Я еще сам не знаю.
 - У тебя ведь нет экипажа?
 - Никак нет-с.
 - Бесподобно! Мы поедem вместе.
 - Как-с?
 - Мы вместе поедem. Я отвезу тебя к старику... У тебя ведь, чай, лишних деньжонок нет?
 - Помилуйте... я не понимаю...
 - Полно важничать! Говори правду...
 - Точно немного стеснен теперь.
 - Ну, ну, ну... вот видишь. Давно бы так. Я отвезу тебя, а с отцом мы сочтемся...
 - Позвольте...
 - Что еще?
 - Мне совестно-с.
 - Вот вздор какой! Мы, батюшка, люди русские, Перестань, брат, франтить. Со мной без церемонии. По рукам, что ли?..
 - Я очень буду вам обязан.
 - Ну и хорошо, и прекрасно! А послушай-ка, знаешь ли, в чем мы поедem – а?
 - В карете?
 - Нет.
 - В коляске?
 - Нет.
 - В бричке?
 - И нет.
 - В кибитке?
 - Вовсе нет.
 - Так в чем же?
- Тут Василий Иванович лукаво улыбнулся и провозгласил торжественно:
- В тарантасе!

II

Отъезд

Несколько дней спустя на Собачьей площадке в маленьком деревянном домике происходила необыкновенная суматоха. На дворе ямщик хлопотал около почтовых лошадей; по лестнице бегали и суетились служанки; в комнатах по полу валялись чемоданы, ящики, веревки, сено и всякая дрянь. В мезонине Василий Иванович стоял перед зеркалом и приготавлился к дороге.

Огромный вязаный шарф с радужными отливами – драгоценный признак супружеского долготерпения – обвязывал его мощную шею. На ногах натянуты были белые кенги, а на туловище мохнатый ергак с шерстью снаружи придавал Василию Ивановичу красоту гомерическую. По обеим сторонам его почтительно стояли хозяин дома с рукой за пазухой и хозяйка, толстая купчиха, с пирогом, испеченным для дороги, и оба кланялись тучному помещику, приговаривая с разными ужимками:

– Позвольте проводить вашу милость... и пожелать, вам всякого благополучия. Просим покорнейше... покорнейше просим принять хлеб-соль нашу на дорогу – чем бог послал. Просим не побрезгать, а кушать на здоровье. Путем может пригодиться. Коли бог приведет вашу милость в Москву обратно, нижайше просим нас не обидеть, не проезжать мимо нашей фатеры. Мы, признательно сказать, таким особам очень, по искренности рады. Покорнейше просим.

– Спасибо, хозяин, – отвечал благосклонно Василий Иванович, – спасибо, хозяйюшка. Буду вас помнить и добром поминать. Эй, Сенька! Возьми пирог да уложи хорошенько в ногах, слышишь ли? Авось бог опять приведет свидеться... Смотри, чтоб не искрошился... Мы жили с вами дружно... Тебе, каналья, все равно.

Василий Иванович положил книжник в боковой карман вместе с подорожной, кошелек в шаровары, подвязал ергак кушаком и, перекрестившись перед образом, немного посидев и трижды обнявшись и с хозяином и с хозяйкой, вышел на двор для последних путевых приготовлений.

На дворе во всей степной красоте своей рисовался тарантас.

Но что за тарантас, что за удивительное изобретение ума человеческого!..

Вообразите два длинные шеста, две параллельные дубины, неизмеримые и бесконечные; посреди них как будто брошена нечаянно огромная корзина, округленная по бокам, как исполинский кубок, как чаша преждепотопных обедов; на концах дубин приделаны колеса, и все это странное создание кажется издали каким-то диким порождением фантастического мира, чем-то средним между стрекозой и кибиткой. Но что сказать об искусстве, благодаря коему тарантас в несколько минут вдруг исчез под сундучками, чемоданчиками, ящичками, коробами, коробочками, корзинками, бочонками и всякой всячиной всех родов и видов? Во-первых, в выдолбленном сосуде не было сиденья: огромная перина ввалилась в пропасть и сровняла свои верхние затрапезные полосы с краями отвислых боков. Потом семь пуховых подушек в ситцевых наволочках, нарочно темного цвета для дорожной грязи, возвысились пирамидой на мягком своем основании. В ногах поставлен в рогожном куле дорожный пирог, фляжка с анисовой водкой, разные жареные птицы, завернутые в серой бумаге, ватрушки, ветчина, белые хлебы, калачи и так называемый погребец, неизбежный спутник всякого степного помещика. Этот погребец, обитый снаружи тюленьей шкурой щетиной вверх, перетянутый жестяными обручами, заключает в себе целый чайный прибор – изобретение, без сомнения, полезное, но вовсе не замысловатой отделки. Откройте его: под крышкой поднос, а на подносе перед вами красуется спящая под деревом невинная пастушка, борзо очерченная в трех розовых пятнах решительным взмахом кисти базарного живописца. В ларце, внутри обклеенном обойной бумагой, чинно стоит чайник грязно-белого цвета с золотым ободочком; к нему соседятся стеклянный графин с чаем, другой, подобный ему, с ромом, два стакана, молочник и мелкие принадлежности чайного удовольствия. Впрочем, русский погребец вполне заслуживает наше уважение. Он один у нас, среди общих перемен и усовершенствований, не изменил своего первообразного типа, не увлекся приманками обманчивой красоты, а равнодушно и неприкосновенно прошел через все перевороты времени... Вот каков русский погребец! Кругом всего тарантаса нанизаны кульки и картоны. В одном из них чепчик и пунцовый тюрбан с Кузнецкого моста от мадам Лебур для супруги

Василия Ивановича; в других детские книги, куклы и игрушки для детей Василия Ивановича и сверх того две лампы для дома, несколько посуды для кухни и даже несколько колониальных провизий для стола Василия Ивановича: все купленное по данному из деревни реестру. Наконец, сзади три чудовищных чемодана, набитые всяким хламом и перетянутые веревками, возвышаются луксорским обелиском на задней части нашей путевой колесницы.

Рыжий ямщик начал с недовольным видом впрягать в тарантас трех чахлах лошадей.

В эту минуту въехал на двор на извозчике Иван Васильевич. Воротник макинтоша его был поднят выше ушей; под мышкой был у него небольшой чемоданчик, а в руках держал он шелковый зонтик, дорожный мешок с стальным замочком и прекрасно переплетенную в коричневый сафьян книгу со стальными стежками и тонко очиненным карандашом.

– А, Иван Васильевич! – сказал Василий Иванович. – Пора, батюшка. Да где же кладь твоя?

– У меня ничего нет больше с собой.

– Эва! Да ты, брат, этак в мешке-то своем замерзнешь. Хорошо, что у меня есть лишний тулупчик на заячьем меху... Да бишь, скажи, что под тебя подложить, перину или тюфяк?

– Как? – с ужасом спросил Иван Васильевич.

– Я у тебя спрашиваю, что ты больше любишь, тюфяк или перину?

Иван Васильевич готов был бежать и с отчаянием поглядывал со стороны на сторону. Ему казалось, что вся Европа увидит его в тулупе, в перине и в тарантасе.

– Ну, что же? – спросил Василий Иванович. Иван Васильевич собрался с духом. – Тюфяк! – сказал он едва внятно.

– Ну, хорошо. Сенька, подложи ему тюфячок да пошевеливайся, олух!

Сенька в нагольном тулупе принялся снова за свою циклопическую работу.

Василий Иванович продолжал с довольной улыбкой:

– А каков тарантасик-то? Ась?.. Сущяя колыбель! Не опрокинетесь никогда, и чинить нигде не надо, не то что ваши рессорные экипажи: что шаг, то починка. А мягко-то, как словно в кровати. Знай только

переваливайся себе с боку на бок, завернись потеплее, да и спи себе хоть всю дорогу.

Иван Васильевич плядел довольно грустно на своего спутника, нимало не убеждаясь в возможности предстоящих наслаждений. Но делать было ему нечего. Попромотавшись, как следует русскому человеку, за границей, он, если говорить правду, точно не знал, как добраться до отцовской деревни.

И вот открывался ему прекрасный случай. Василий Иванович, приятель отца его, отвозил его в долг.

Дорогой же он может изучать свою родину. Все бы хорошо. Но эта неблагородная перина, но эти ситцевые подушки, но этот ужасный тарантас!..

Иван Васильевич тяжело вздохнул и глухо примолвил в припев:

– Nel furor delia tempesta... Пора бы ехать.

И точно, пора. Лошади готовы. Кругом тарантаса суетятся хозяева, сидельцы и служанки. Все и помогают, и кланяются, и желают счастливой дороги. Василий Иванович, при общем пособии, подталкивании и подпихивании, вскарабкался наконец на свое место и опустил на перину; за ним влез Иван Васильевич и утонул в подушках. Сенька сел подле кучера.

– Ну готово?

– Готово.

– Ну, смотри же, разбирать дорогу. Под гору сдерживать лошадей. Не скакать и не останавливаться, а ехать рысью... шаг, шаг, шаг... Сенька! не дремать на козлах. Слышишь ли, чучело!.. Как раз свалишься. Ну, с богом, в добрый час, в архангельский... Пошел!..

Тарантас пошатнулся и поплелся себе, переваливаясь с бока на бок...

– Прощайте, хозяева.

– Прощайте, батюшка Василий Иванович... Просим не забывать. Покорнейше просим.

И хозяева, и сидельцы, и служанки – все высыпали за ворота поглазеть вослед тарантасу до того времени, пока он не скрылся наконец из вида. И покатился тарантас по Москве белокаменной и ни в ком не возбудил удивления. А было чему подивиться, глядя на уродливую колымагу с подушками, на которой лежал мохнатый помещик, подобно изнеженному медведю; немало удивления

заслуживал и торчащий подле него франтик в макинтоше и с недовольной физиономией, да в своем роде не менее замечателен был на козлах и Сенька в бараньей шкуре, словно дикарь ледовитых пустынь. Все это в других краях возбудило бы непременно общее любопытство, но в Москве проходящие, привыкнув к подобным картинам, не обращали на тарантас ни малейшего внимания. Одни лишь уличные мальчишки, дергая друг друга за кафтаны, говорили между собой мимоходом:

– Вишь, какой-то едет помещик. Эк его раздуло!

III

Начало путевых впечатлений

Когда путешественники выехали за заставу, между ними завязался разговор.

– Василий Иванович!

– Что, батюшка?

– Знаете ли, о чем я думаю?

– Нет, батюшка, не знаю.

– Я думаю, что так как мы собираемся теперь путешествовать...

– Что, что, батюшка... Какое путешествие?

– Да ведь мы теперь путешествуем.

– Нет, Иван Васильевич, совсем нет. Мы просто едем из Москвы в Мордасы, через Казань.

– Ну, да ведь это тоже путешествие.

– Какое, батюшка, путешествие. Путешествуют там, за границей, в неметчине; а мы что за путешественники? Просто – дворяне, едем себе в деревню.

– Ну, да все равно. Так как мы отправляемся теперь в дорогу...

– А, вот это, пожалуй.

– То мне кажется, что я могу употребить время... нашего, как бы сказать... поезда с пользой.

– Ас какой же, батюшка, пользой? Ума не приложу.

– Извольте видеть: за границей теперь мода издавать свои путевые впечатления. Тут помещается всякая всячина: где ночевал, кого видел, что понял и что угадал, наблюдения о нравах, о просвещении, о степени искусства, о движении торговли, о древности и о современности – одним словом, о целом быте народном. Потом все это собирается и печатается под названием путевых впечатлений.

– Вот-с!

– К сожалению, эти впечатления не всегда носят отпечаток истины и оттого теряют свое достоинство. К тому же все, что можно было сказать о западных государствах, пересказано и перепечатано. Заключение сделаны, мнения определены: наблюдателю негде разгуляться.

– К чему же вы, батюшка мой, речь эту ведете?

– Вот к чему. Путевые впечатления за границей никому не нужны, потому что нового в них ничего быть не может. Но путевые впечатления в России могут много явить любопытного, в особенности если они будут руководствоваться одной истиной. Подумайте, какое обильное поле для изысканий: изучение древних памятников, изучение нашей прекрасной, нашей великой и святой родины. Вы меня понимаете?.

– Нет, брат. Ты все такое мелешь странное.

– Моя надежда, мое желание, моя цель, – продолжал, воспламеняясь, Иван Васильевич, – сделаться хоть чем-нибудь полезным для моих соотечественников. Вот для чего, Василий Иванович, я хочу записывать все, что буду видеть; буду записывать не мудрствуя лукаво, а придерживаясь только правды, одной правды. Со мной дорожная чернильница и толстая тетрадь бумаги, – прибавил он торжественно, указывая на величественную книгу, которая покоилась у него на коленях. – Эта книга должна прославить меня в целой России. Это книга моих путевых впечатлений. Друзья мои будут читать ее, и дай бог, чтоб она внушила им желание вникнуть глубже в те предметы, которые я могу обозначать только мимоходом.

– А что же вы думаете писать в ней? – спросил Василий Иванович.

– Все, что встретится нам дорогой истинно любопытного, истинно достойного внимания. Все, что я могу почерпнуть о русском народе и о его преданиях, о русском мужике и о русском боярине, которых я люблю душевно, точно так, как я душевно ненавижу чиновника и то уродливое безыменное сословие, которое возникло у нас от грязного притязания на какое-то жалкое, непонятное просвещение.

– А отчего же это, батюшка, ненавидите вы чиновников? – спросил Василий Иванович.

– Это не значит, что я ненавижу людей, служащих совестливо и благородно. Напротив, я их уважаю от души. Но я ненавижу тот жалкий тип грубой необразованности, который встречается и между дворянами, и между мещанами, и между купцами и который я называю потому вовсе неточным именем чиновника.

– Отчего же, батюшка?

– Потому что те, которых я так называю, за неимением прочного основания придают себе только наружность просвещения, а в самом

деле гораздо невежественнее самого простого мужика, которого природа еще не испорчена. Потому что в них нет ничего русского: ни нрава, ни обычая; потому что они своей трактирной образованностью, своим самодовольным невежеством, своим грязным щегольством не только останавливают развитие истинного просвещения, но нередко направляют его во вредную сторону. Это создание уродливое, приросшее к народной почве, но совершенно чуждое народной жизни. Взгляните на него: куда девались благородные черты нашего народа? Он дурен собой, он грязен, он пьет запоем, а не в праздники, как мужик; он-то берет взятки, он-то старается всех притеснять и в то же время дуется и гордится перед простым народом тем, что он играет в бильярд и ходит во фраке. Подобное племя – племя испорченное, переродившееся от прекрасного начала. Посмотрите-ка на русского мужика: что может быть его красивее и живописнее? Но по предосудительному равнодушию у нас в высшем кругу мало о нем заботятся или смотрят на него как на дикаря Алеутских островов, а в нем-то и таится зародыш русского богатырского духа, начало нашего отечественного величия.

– Хитрые бывают бестии! – заметил Василий Иванович.

– Хитрые, но потому-то и умные, способные к подражательству, к усвоению нового и, следовательно, к образованию. В других краях крестьянин, что ему ни показывай, все себе будет землю пахать; а у нас: вам только приказать стоит – и он делается музыкантом, мастеровым, механиком, живописцем, управителем – чем угодно.

– Что правда, то правда, – сказал Василий Иванович.

– И к тому ж, – продолжал Иван Васильевич, – в каком народе найдете вы такое инстинктивное понятие о своих обязанностях, такую готовность помочь ближнему, такую веселость, такое радушие, такое смирение и такую силу?

– Лихой народ, нечего сказать! – заметил Василий Иванович.

– А мы гнушаемся его, мы смотрим на него с пренебрежением, как на оброчную статью; и не только мы ничего не делаем для его умственного усовершенствования, но мы всячески стараемся его портить.

– Как это? – спросил Василий Иванович.

– Вот как. Гнусным устройством дворни. Дворовый не что иное, как первый шаг к чиновнику. Дворовый обрит, ходит в длиннополом

сюртуке домашнего сукна. Дворовый служит потехой праздной лени и привыкает к тунеядству и разврату; дворовый же пьянствует и ворует, и важничает и презирает мужика, который за него трудится и платит за него подушные. Потом, при благополучных обстоятельствах, дворовый вступает в конторщики, в вольноотпущенные, в приказные; приказный презирает и дворового, и мужика, и учится уже крючкотворству, и потихоньку от исправника подбирает себе кур да гривенники. У него сюртук нанковый, волосы примазанные. Он обучается уже воровству систематическому. Потом приказный спускается на ступень ниже, делается писцом, повытчиком, секретарем и, наконец, настоящим чиновником. Тогда сфера его увеличивается; тогда получает он другое бытие: презирает и мужика, и дворового, и приказного, потому что они, извольте видеть, люди необразованные. Он имеет уже высшие потребности и потому крадет уже ассигнациями. Ему ведь надо пить донское, курить табак Жукова, играть в банчик, ездить в тарантасе, выписывать для жены чепцы с серебряными колосьями и шелковые платья. Для этого он без малейшего зазрения совести вступает на свое место, как купец вступает в лавку, и торгует своим влиянием, как товаром. Попадается иной, другой... Ничто ему, говорят собратья. Бери, да умей.

– Не все же таковы, – заметил Василий Иванович.

– Разумеется, не все, но исключения не изменяют правила.

– И к тому ж, – прибавил Василий Иванович, – губернские чиновники избираются у нас большею частью дворянством.

– То-то и грустно! – сказал Иван Васильевич. – То, что в других краях предмет домогательства народного, у нас представляется само собой. Мы не должны, мы не можем сметь жаловаться на правительство, которое предоставило нам самим выбор своих уполномоченных для внутреннего распоряжения нашими делами. Греха таить нечего. Во всем виноваты мы, мы, дворяне, мы, помещики, которые шутим и смеемся над тем, что должно было быть предметом глубоких размышлений. В каждой губернии есть и теперь люди образованные, которые при содействии законов могли бы дать благодетельное направление целой области, но все они почти бегают от выборов, как от чумы, предоставляя их козням и расчетам мелких сплетников и губернских крикунов. Большие же владетели, гуляя на Невском проспекте или загулявшись за границей, почти никогда не

заглядывают в свои поместья. Выборы для них – карикатура. Исправник, заседатель – карикатуры, прекрасно выставленные в Ревизоре. И они тешатся над их лысынями, над их брюхами, не думая, что они вверяют им не только свое настоящее благоденствие и благоденствие своих крестьян, но – что страшно вымолвить – и будущую свою судьбу. Да! Если б мы не приняли этого жалкого направления, если б мы не были так непростительно легкомысленны, как хорошо было бы призвание русского дворянства, которому предназначено было идти впереди и указывать целому народу на путь истинного просвещения. Повторяю: виноваты мы сами, мы, помещики, мы, дворяне. Русские бояре могли бы много принести пользы отечеству; а что они сделали?..

– Попромотались, голубчики, – заметил основательно Василий Иванович.

– Да, – продолжал Иван Васильевич. – Попромотались на праздники, на театры, на любовниц, на всякую дрянь. Все старинные имена наши исчезают; гербы наших княжеских домов развалились в прах, потому что не на что их восстановить, и русское дворянство, зажиточное, радушное, хлебосольное, отдало родовые свои вотчины оборотливым купцам, которые в роскошных палатах поделали фабрики. Где же наша аристократия?.. Василий Иванович, что думаете вы о наших аристократах?

– Я думаю, – сказал Василий Иванович, – что нам на станции не будет лошадей.

IV Станция

К несчастью, предвещание Василия Ивановича действительно оправдалось.

Тарантас остановился у низенькой избушки, перед которой четырехугольный пестрый столб означал жилище станционного смотрителя. На дворе было уж темно. Тусклый фонарь едва-едва освещал наружную лестницу, дрожащую под навесом. За избушкой тянулся трехсторонний сарай, крытый соломой, из которого выплядывали лошади, коровы, свиньи и цыплята. Посреди мягкого и влажного двора стоял полуразвалившийся четырехугольный бревенчатый колодезь. У самого подъезда толпились, прибежав с разных сторон, безобразные нищие, безногие, немые, слепые, с высохшими руками, с отвратительными ранами, в лохмотьях, с всклокоченными бородами. Тут были и пьяные старухи, и бледные женщины, и дети в одних рубашонках, вынудившие руки из рукавов и скрестившие их на груди от холода. Грустно было слышать их притворный, выученный голос среди мычанья, моления и взаимной брани уродливой толпы, которая, толкая друг друга, с жадностью бросилась к тарантасу, выказывая раны и протягивая руки.

Между тем, пока наши путники, утомленные от первого перевала, выпутывались из перин и подушек, смотритель в изношенном зеленом мундирном сюртуке вышел на крыльцо и посмотрел на приезжих под руку.

– Тарантас, – сказал он довольно презрительно. – Тройка – подождать могут... Да отвяжитесь вы, анафемы! – закричал он нищим.

Как стая испуганных собак, безобразная толпа разбежалась во все стороны, и приезжие вошли в избу на станцию. Смотритель приветствовал их весьма хладнокровно.

– Как вам угодно, а лошадей у меня нет. Такой разгон, что не дай бог!

– Как лошадей нет! – закричал Иван Васильевич.

– Извольте сами в книге посмотреть. По штату всего девять троек. Утром проехала надворная советница, взяла шесть лошадей, да

тяжелая почта три тройки, да полковник один по казенной надобности – четыре лошади.

– Так все-таки у вас остается восемь лошадей, – сказал Иван Васильевич.

– Никак нет-с, извольте в книге посмотреть.

– Да куда ж девались восемь-то лошадей?

– Курьерские лошади точно есть, да дать-то их я не смею: неравно курьер поедет – сами подумайте.

– Да мы будем жаловаться.

– Извольте, батюшка, жаловаться. Вот вам и книга: извольте записаться, а лошадей у меня нет.

– Между Москвой и Владимиром, – заметил Василий Иванович, – никогда ни на одной станции нет лошадей {В настоящее время это обвинение вовсе несправедливо. (Прим. авт.)}, когда бы ни приехал: видно, разгон такой большой. Никак я здесь тринадцатый раз проезжаю, а все та же история. Что ты станешь делать?

– Можно вольных нанять, – сказал более благосклонным голосом смотритель.

– Вольных! – заревел Василий Иванович. – Знаю я этих архибестий. Иуды, канальи, по полтине с лошади за версту дерут. Три дня здесь проживу, а не найму вольных.

– Известное дело-с, – заметил смотритель, – дешево не свезут. Воля ихняя, впрочем, и кормы теперь дорогие.

– Мошенники! – сказал Василий Иванович.

– Намедни, – продолжал, улыбнувшись, смотритель, – один генерал сыграл с ними славную штуку. У меня, как нарочно, два фельдъегеря проехало, да почта, да проезжающие все такие знатные. Словом, ни одной лошади на конюшне. Вот вдруг вбегает ко мне денщик, высокий такой, с усищами... «Пожалуйте-де к генералу». Я только что успел застегнуть сюртук, выбежал в сени, слышу, генерал кричит: «Лошадей!» Беда такая. Нечего делать. Подошел к коляске. Извините, мол, ваше превосходительство, все лошади в разгоне. «Врешь ты, каналья! – закричал он. – Я тебя в солдаты отдам. Знаешь ли ты, с кем ты говоришь? А?» Разве ты не видишь, кто едет? А? Вижу, мол, ваше превосходительство, рад бы, ей-богу, стараться, да чем же я виноват?.. Долго ли бедного человека погубить. Я туда, сюда... Нет лошадей... К счастью, тут Еремка косою, да Андрюха лысый – народ,

знаете, такой азартный, им все нипочем – подошли себе к коляске и спрашивают: «Не прикажете ли вольных запрячь?» – «Что возьмете?» – спрашивает генерал. Андрюха-то и говорит: «Две беленьких, пятьдесят рублей на ассигнации», – а станция-то всего шестнадцать верст. «Ну, закладывайте! – закричал генерал, – да живет только, растакие-то каналы!» Обрадовались мои ямщики; лихая, знаешь, работа, по первому, вишь, запросу, духом впрягли коней, да и покатали на славу. Пыль столбом. А народ-то завидует: экое людям счастье!.. Вот-с поутру, как вернулись они на станцию, я и поздравляю их с деньгами. Вижу, что-то они почесываются. Какие деньги, – бает Андрюха. Вишь, генерал-то рассчитал их по пяти копеек за версту, да еще на водку ничего не дал. Каков проказник!..

– Ха-ха-ха! – заревел Василий Иванович. – Вот молодец! Вот люблю! Пора их, воров, проучить.

Иван Васильевич грустно занялся рассматриванием жилья станционного смотрителя.

На стенах комнаты, в особенности на печке, заметны еще кое-где сомнительные следы белой краски, стыдливо скрывавшейся под тройным слоем копоти и грязи. У дверей привешена белая расписанная кукушка с гирями и ходячим маятником. В левом углу киот с образами, а под ним длинная лавка около продолговатого стола. На стене расписание почтового начальства и несколько лубочных картин, изображающих нравственно-аллегорические предметы. Между окон красуются изображения Малек-Аделя на разъяренном коне, возвращение блудного сына, портрет графа Платова и жалостный лик Женеьевы Брабантской, немного загаженный мухами. Собственное отделение смотрителя находится на правой стороне. Тут сосредоточиваются все его наклонности и привычки. Подле кровати, покрытой заслуженной байкой, горделиво возвышается на трех ножках, без замков и ручек, лучшее украшение комнаты – комод настоящего красного дерева, покрытый пылью и разными безделками; но что за безделки? Тут и половина очков, и щипцы, и сальные огарки, и баночки без помады, и гребеночка, и стеклянный лебедь с духами и странной пробкой, и модные испачканные картинки, и бутылки с дрей-мадерой, и сигарочный ящик без сигар, и гвозди, и тавлинка, и счеты, и целое собрание разных головных уборов. Во-первых, зеленая фуражка, присвоенная казенному значению смотрителя; потом шляпа черная с

белыми пятнами, которую смотритель надевает, когда он делается светским человеком и отправляется с визитом к целовальнику или к просвиrne; потом шляпа белая с черными пятнами, которая придает ему особую обворожительность, когда он повесничает и волочитя за сельскими красавицами; потом два истертые зимние картуза и, наконец, ермолка первобытно бархатная с висящей полукистью. К комоду придвинута пирамидочка, украшенная тремя чубуками с перышками и кisetом, некогда вышитым по канве.

Иван Васильевич все осмотрел внимательно, и ему стало еще грустнее. О чем он думал – бог его знает.

Между тем комната наполнилась проезжающими. Вошел учитель тобольской гимназии с женой своей, хорошенькой англичанкой, на которой он только что женился и которую он вез на паре из Москвы в Тобольск. Вошел студент в шинели, перевязанный шарфом, с трубкой и собакой. Ввалился веселый майор, который, сбросив медвежью шубу, раскланялся со всеми поочередно, спросил у каждого, с кем он имеет честь говорить, откуда он, куда и зачем, острил над смотрителем, любезничал с ямщиком, просящим у порога на водку, и очень понравился Василию Ивановичу.

От смотрителя был всем один ответ: Лошади теперь в разгоне; как с станции вернутся, задержки от меня не будет.

Делать было нечего. Василий Иванович, как человек бывалый и распорядительный, не терял времени. Уж кипящий самовар бурлил в кругу стаканов и чайных орудий. По сделанному приглашению беседа столпилась около стола, лица оживились, одежды распахнулись, и чай – благовонный чай, отрада русского человека во всех случаях его жизни – начал переходить из рук в руки в чашках, блюдечках и стаканах. Знакомство мало-помалу устроилось. Бранили сперва дорогу, потом жаловались на недостаток в лошадях, потом перешли к посторонним предметам. Студент рассказывал о дупелях и заячьей травле; майор говорил уже всем «ты», сообщил всему обществу, что он выходит в отставку, что у него столько-то денег, что он хотел жениться, но что ему отказали, что он недоволен своею жизнью, словом, без всякого на то вопроса со стороны слушателей он поведал всю историю свою от колыбели до настоящей минуты, с примесью шуточек и прибауток. Василий Иванович смеялся и трепал майора по плечу, приговаривая: «военная косточка». Иван Васильевич расспрашивал

тобольского учителя про Сибирь. Одна только англичанка молчала и выразительно поплядывала на мужа. Вдруг на дворе послышался шум. Чайное общество стало прислушиваться. Сперва подъехал к станции какой-то грузный экипаж; на дворе сделалась суматоха, послышался колокольчик, топот лошадей, и через несколько минут стук колес возвестил отъезд проезжающего.

– Что это такое? – спросил Василий Иванович у вошедшего зрителя.

– Проехал-с тайный советник.

Все присутствующие взглянули друг на друга с грустным негодованием.

– Где же взяли лошадей?

– Вам, господа, – отвечал, пожимая плечами и несколько смутившись, зритель, – угодно было чай кушать, а тайный советник, господа... тайный советник... ну, уж сами изволите знать.

V

Гостиница

Между Москвой и Владимиром, как известно опытным путешественникам, нет ни единой гостиницы, в которой можно было бы покойно оплакивать недостаток в лошадях. Одни только каморки зрителей, ограждающих себя от побоев лестными правами 14-го класса, предлагают свои скамьи для грустных размышлений обманутого ожидания. Василий Иванович успел по нескольку раз в день вынимать погребец свой из тарантаса и упиваться чаем. Иван Васильевич успел вдоволь надуматься о судьбах России и наплядеться на красоту мужиков, которые, сказать правду, уже начали ему надоедать. В книгу записывать было нечего. Везде тот же досадный, прозаический припев: «Лошади все в разгоне». Иван Васильевич взглядывал на Василия Ивановича. Василий Иванович взглядывал на Ивана Васильевича, оба садились дремать друг перед другом по нескольку часов сряду.

К тому же между двумя станциями с ними случилось поразительное несчастье. В минуту сладкого усыпления, когда, утомившись от толчков тарантаса об деревянную мостовую, Василий Иванович звучно отдыхал от житейской суеты, Иван Васильевич воображал себя в Итальянской опере, а Сенька качался, как маятник, на козлах, два чемодана и несколько коробов отрезаны от тарантаса искусными мошенниками. Горе Василия Ивановича было истинное. Между прочими вещами пропали чепчик и пунцовый тюрбан от мадам Лебур с Кузнецкого моста, а чепчик и тюрбан, как известно, были назначены для самой барыни, для Авдотьи Петровны.

Приехав на станцию, он бросился к зрителю с жалобой и просьбой о помощи. Зритель отвечал ему в утешение:

– Будьте совершенно спокойны: ваши вещи пропали. Это уж не в первый раз, вы тут в двенадцати верстах проезжали через деревню, которая тем известна: все шалуны живут.

– Какие шалуны? – спросил Иван Васильевич.

– Известно-с. На большой дороге шалют ночью. Коли заснете, как раз задний чемодан отрежут.

– Да это разбой!

– Нет, не разбой, а шалости.

– Хороши шалости! – уныло говорил Василий Иванович, отправляясь снова в путь. – А что скажет Авдотья Петровна?

– Хоть бы отдохнуть где-нибудь в порядочном трактире, – продолжал не менее плачевно Иван Васильевич, – меня так растрясло, что все кости так и ломит. Ведь мы уже третий день как выехали, Василий Иванович.

– Четвертый день.

– В самом деле?

– Да; зато, брат, на почтовых едем. Вольным мошенникам поживы от нас не было.

– Поскорее бы приехать нам во Владимир: Владимиром я могу прекрасно начать свои путевые впечатления. Владимир – древний город; в нем должно все дышать древней Русью. В нем-то отыскать, верно, всего лучше источник нашего народного православного быта. Я вам уже говорил, Василий Иванович, что я... и не я один, а нас много, мы хотим выпутаться из гнусного просвещения Запада и выдумать своеобытное просвещение Востока.

– Это у вас в книге? – спросил Василий Иванович.

– Нет, в книге у меня еще ничего нет. Посудите сами: можно ли было что писать? Дорога, избы, смотрители – все это так неинтересно, так прозаически скучно. Право, записывать было нечего, даже если б и всю спину не ломало. Да вот мы доедем до Владимира...

– И пообедаем, – заметил Василий Иванович.

– Столица древней Руси.

– Порядочный трактир.

– Золотые ворота.

– Только дорого дерут.

– Ну, пошел же, кучер.

– Э, барин: видишь, как стараюсь. Вишь, дорогу как исковеркало. Ну, сивенькая... Ну, ну... вывези, матушка... Уважь господ... ну!., ну!..

Наконец вдали показался Владимир с куполами и колокольнями, верным признаком русского города.

Сердце Ивана Васильевича забилося. Василий Иванович улыбнулся.

– В гостиницу! – закричал он. Ямщик приосанился.

– Ну, сивенькая... теперь недалечко, эхма!

И ямщик ударил по чахлым клячам, которые по необъяснимому вдохновению, свойственному только русским почтовым лошадям, вдруг вздернули морды и понеслись, как вихрь. Тарантас прыгал по кочкам и рытвинам, подбрасывая улыбающихся седоков. Ямщик, подобрав вожжи в левую руку и махая кнутом правой, покрикивал только, стоя на своем месте; казалось, что он весь забылся на быстром скаку и летел себе напропалую, не слушая ни Василия Ивановича, ни собственного опасения испортить лошадей. Такова уж езда русского народа.

Наконец показались ветряные мельницы, потянулись заборы, появились сперва избы, потом небольшие деревянные домики, потом каменные дома. Путники въехали во Владимир. Тарантас остановился у большого дома на главной улице.

– Гостиница, – сказал ямщик и бросил вожжи.

Бледный половой в запачканной белой рубашке и запачканном переднике встретил приезжих с разными поклонами и трактирными приветствиями и потом проводил их по грязной деревянной лестнице в большую комнату, тоже довольно нечистую, но с большими зеркалами в рамах красного дерева и с расписным потолком. Кругом стен стояли чинно стулья, и перед оборванным диваном возвышался стол, покрытый пожелтевшею скатертью.

– Что есть у вас? – спросил Иван Васильевич у полового.

– Все есть, – отвечал надменно половой.

– Постели есть?

– Никак нет-с.

Иван Васильевич нахмурился.

– А что есть обедать?

– Все есть.

– Как все?

– Щи-с, суп-с. Биштекс можно сделать. Да вот на столе записочка, – прибавил половой, гордо подавая серый лоскуток бумаги.

Иван Васильевич принялся читать:

Обет!

1. Суп. – Липотаж.

2. Говядина. – Телятина с циндроном.

3. Рыба – раки.

4. Соус – Патиша.
5. Жаркое. Курица с рысью.
6. Хлебенное. Желе сапельсинов.

– Ну, давай скорее! – закричал Василий Иванович. Тут половой принялся за разные распоряжения. Сперва снял он со стола скатерть, а на место ее принес другую, точно так же нечистую; потом он принес два прибора; потом принес он солонку; потом, через полчаса, когда проголодавшиеся путники уже брались за ложки, явился с графином с уксусом.

На все нетерпеливые требования Василия Ивановича отвечал он хладнокровно: «сейчас...», и сей час продолжался ровно полтора часа. Сейчас – великое слово на Руси. Наконец явилась вожделенная миска со щами. Василий Иванович открыл огромную пасть и начал упитываться. Иван Васильевич вытащил из тарелки разные несвойственные щам вещества, как-то: волосы, щепки и тому подобное, и принялся со вздохом за свой обед. Василий Иванович казался доволен и молча ел за троих.

Но Иван Васильевич, несмотря на свой голод, едва мог прикоснуться к предлагаемым яствам.

На соус патиша и курицу с рысью взглянул он с истинным ужасом.

– Есть у вас вино? – спросил он у полового.

– Как не быть-с? Все вина есть: шампанское, полушампанское, дри-мадера, лафиты есть. Первейшие вина.

– Дай лафиту, – сказал Иван Васильевич.

Половой пропал на полчаса и наконец возвратился с бутылкой красного уксуса, который он торжественно поставил перед молодым человеком.

– Теперь, – сказал Василий Иванович, – пора на боковую. Сенька! – закричал он. Вошел Сенька.

– Ты обедал, Сенька?

– Похлебал, сударь, селянки.

– Ну, приготовь-ка мне спать. Расставь стулья да принеси перину мне, да подушки, да халат. Видишь, Иван Васильевич, что хорошо все с собой иметь. А ты как ляжешь?

– Да я попрошу, чтоб мне принесли сена, – сказал Иван Васильевич. – Сено есть у вас? – спросил он у полового.

- Никак нет-с.
- Ну достань, братец, я тебе дам на водку.
- Извольте-с, достать можно.

Началось приготовление походной спальни Василия Ивановича. Половина тарантаса перешла в трактирную комнату. Перина уложилась среди сдвинутых стульев.

Василий Иванович разоблачился до самой легкой одежды и тихо склонился на свое пуховое ложе.

Через несколько времени половой возвратился, задыхаясь, с целым возом сена, который он поверг в углу комнаты. Иван Васильевич начал грустно готовиться к ночлегу. Сперва положил он бережно на окно девственную книгу путевых впечатлений вместе с часами и бумажником; потом растянул он свой макинтош на сено и бросился на него с отчаянием. О ужас! Под ним раздался писк, и из клочков сухой травы вдруг выпрыгнула разъяренная кошка, вероятно, заспавшаяся в сенном сарае. С сердитым фырканьем царапнула она раза два испуганного юношу, потом вдруг отскочила в сторону и, перепрыгнув через стулья и через Василия Ивановича, проскользнула в полуотворенную дверь.

- Батюшки светы!.. Что там такое? – кричал Василий Иванович.
- Я лег на кошку, – отвечал жалобно Иван Васильевич.

Василий Иванович засмеялся.

– Зато у тебя, брат, в кровати не будет мышей. Желаю покойной ночи.

Мышей точно не было, но появились животные другого рода, которые заставили наших путников с беспокойством ворочаться со стороны на сторону.

Оба молчали и старались заснуть.

В комнате было темно, и маятник стенных часов уныло стучал среди ночного безмолвия. Прошло полчаса.

- Василий Иванович!
- Что, батюшка?
- Вы спите?
- Нет, не спится что-то с дороги.
- Василий Иванович!
- Что, батюшка?
- Знаете ли, о чем я думаю?

– Нет, батюшка, не знаю.

– Я думаю, какая для меня в том польза, что здесь потолок исписан разными цветочками, персиками и амурами, а на стенах большие уродливые зеркала, в которых никогда никому глядеться не хотелось. Гостиница, кажется, для приезжающих, а о приезжающих никто не заботится. Не лучше ли бы, например, иметь просто чистую комнату без малейшей претензии на грязное щегольство, но где была бы теплая кровать с хорошим бельем и без тараканов; не лучше ли бы было иметь здоровый, чистый, хотя нехитрый русский стол, чем подавать соусы патиша, потчевать полушампанским и укладывать людей на сено, да еще с кошками?

– Правда ваша, – сказал Василий Иванович. – По-моему, хороший постоянный двор лучше всех этих трактиров на немецкий манер.

Иван Васильевич продолжал:

– Я говорил и вечно говорить буду одно: я ничего не ненавижу более полуобразованности. Все жалкие и грязные карикатуры несвойственного нам быта не только противны для меня, но даже отвратительны, как уродливая смесь мишуры с грязью.

– Эва! – заметил Василий Иванович.

– Гостиницы, – продолжал Иван Васильевич, – больше значат в народном быту, чем вы думаете: они выражают общие требования, общие привычки; они способствуют движению и взаимным сношениям различных сословий. Вот этому можно бы поучиться на Западе. Там сперва думают об удобстве, о чистоте, а украшение и потолки – последнее дело... Василий Иванович!

– Что, батюшка?

– Знаете ли, о чем я думаю?

– Нет, батюшка, не знаю.

– Я хотел бы устроить русскую гостиницу по своему вкусу.

– Что же, батюшка, за чем дело стало?

– Это так... предположение, Василий Иванович... но я уверен, что гостиница моя была бы хороша, потому что я старался бы соединить с первобытным характером русского жилья все потребности уюта и мелочной опрятности, без которых просвещенный человек теперь жить не может. Во-первых, все эти испитые, ободранные, пьяные половые – жалкое отродие дворовых, будут изгнаны без милосердия и заменятся услужливыми парнями на хорошем жалованье и под строгим

надзором. Внутри комнат стены будут у меня дубовые, лакированные, с разными украшениями. На полу будут персидские ковры, а кругом стен мягкие диваны... Да, очень не худо, знаете, вот этак против кровати устроить большой восточный диван, – продолжал Иван Васильевич, переваливаясь с беспокойством на колючем сене. – Я очень люблю мягкие диваны. Вообще я думаю, что устройство комнат наших предков имело много сходства с устройством комнат на Востоке... Как вы об этом думаете?..

– Василий Иванович! Василий Иванович! А?.. Что?.. Как?.. Спит, – заключил с досадой Иван Васильевич, – ему хорошо на перине, а мне, пока моя гостиница не будет готова, все-таки должно проваляться всю ночь на сене!

VI

Губернский город

Рано утром, когда Василий Иванович потрясал еще стены своим богатырским храпом, Иван Васильевич отправился отыскивать древнюю Русь. Ревностный отчизнолюбец, он желал, как читатель уже знает, отодвинуть снова свою родину в допетровскую старину и начертать ей новый путь для народного преобразования. Ему это казалось совершенно возможным, во-первых, потому, что несколько приятелей его были одинакового с ним мнения; во-вторых, потому, что он России не знал вовсе. Итак, рано утром, с любимой мыслию в голове, отправился он бродить по Владимиру. Прежде всего он отправился в книжную лавку и, полагая, что у нас, как за границей, ученость продается задешево, потребовал указателя городских древностей и достопримечательностей. На такое требование книгопродавец предложил ему новый перевод Монфермельской молочницы, сочинение Поль де Кока, важнейшую, по его словам, книгу, а если не угодно, так Пещеру разбойников, Кровавое привидение и прочие ужасы новейшей русской словесности.

Не удовлетворенный таким заменом, Иван Васильевич потребовал по крайней мере Виды губернского города. На это книгопродавец отвечал, что виды у него точно есть, и что он их дешево уступит, и что ими останутся довольны, но только они изображают не Владимир, а Царьград. Иван Васильевич пожал плечами и вышел из лавки. Книжный торговец преследовал его до улицы, предлагая попеременно новые парижские карикатуры с русским переводом, «Правила в игру преферанс», «Новейший лечебник» и «Ключ к тайнствам природы».

Бедный Иван Васильевич пошел осматривать город без руководства и невольно изумился своему глубокому невежеству. Даром что он читал некогда историю, но он ничего твердого и определительного удержать из нее не мог. В голове его был какой-то туманный хаос: имена без образов, образы без цвета. Он припомнил и Мономаха, и Всеволода, и Боголюбского, и Александра Невского, и удельное время, и набеги татар, но припомнил, как школьник твердит свой урок. Как они тут жили? что тут делалось? – кто может это теперь

рассказать? Иван Васильевич осмотрел Золотые ворота с белыми стенами и зеленой крышкой, постоял у них, поглядел на них, потом опять постоял да поглядел и пошел далее. Золотые ворота ему ничего не сказали. Потом он пошел в церкви, сперва к Дмитриевской, где подивился необъяснимым ероглифам, потом в собор, помолился усердно, поклонился праху князей... но могилы остались для него закрыты и немые. Он вышел из собора с тяжелою думою, с тяжким сомнением... На площади толпился народ, расхаживали господа в круглых шляпах, дамы с зонтиками; в гостинном дворе, набитом галантерейной дрянью, крикливые сидельцы вцеплялись в проходящих; из огромного здания присутственных мест выплядывали чиновники с перьями за ушами; в каждом окне было по два, по три чиновника, и Ивану Васильевичу показалось, что все они его дразнят... Он понял тогда или начал понимать, что сделанное сделано, что его никакой силой переделать нельзя; он понял, что старина наша не помещается в книжонке, не продается за двугривенный, а должна приобретаться неусыпным изучением целой жизни. И иначе быть не может. Там, где так мало следов и памятников, там в особенности, где нравы изменяются и отрезают историю на две половины, прошедшее не составляет народных воспоминаний, а служит лишь загадкой для ученых. Такая грустная истина останавливала Ивана Васильевича в самом начале великого подвига. Он решился выкинуть из книги путевых впечатлений статью о древностях и пошел рассеяться на городской бульвар. Местоположение этого бульвара прекрасно: на высокой горе, над самой Клязьмой; вдали расстилается равнина, сливаясь с небосклоном. Иван Васильевич сел на скамейку и начал задумчиво глядеть в даль, неопределенную и туманную, как судьба народов. Он долго думал и не замечал, что какой-то господин, отвернувшись к нему спиной, сидел с ним на одной скамейке и тоже размышлял, насвистывая какой-то итальянский мотив.

«Ба! Да это из Нормы», – подумал Иван Васильевич и обернулся.

Оба вскрикнули в одно время:

– Федя!

– Ваня!

– Каким образом!

– Какими судьбами!

– Сколько лет, сколько зим!

- Да, кажется, с самого пансиона.
- Да, да... лет шесть.
- Нет, брат, восемь лет. Время-то как идет! Ты как здесь?..
- Проездом; а ты?..
- А я живу...
- В губернском городе!
- Да; что делать!
- Эх! Да как ты постарел!
- А ты, брат, так переменялся, что если бы не голос, так просто узнать нельзя. Откуда взялись бакенбарды?
- А право, мы хорошо жилали в пансионе.
- Веселое было время.
- Помнишь ли Ивана Лукича, инспектора, и Сидорку-разносчика, и углового кондитера?
- А помнишь, как мы впотьмах забросали Ивана Лукича картофелем и как мы у учителя арифметики парик сожгли?.. Правду сказать, ты лениво учился.
- А ты никогда урока не знал.
- Что, ты играешь еще на флейте?
- Бросил. А ты все еще пишешь стихи?
- Давно перестал... Скажи-ка... что же ты теперь подделываешь?
- Я был четыре года за границей.
- Счастливый человек! Я чай, скучно было возвращаться?
- Совсем нет, я с нетерпением ожидал возвращения.
- Право?
- Мне совестно было шататься по белому свету, не зная собственного отечества.
- Как! Неужели ты своего отечества не знаешь?
- Не знаю, а хочу знать, хочу учиться.
- Ах, братец, возьми меня в учителя, я это только и знаю.
- Без шуток: я хочу поездить да посмотреть...
- На что же?
- Да на все: на людей и на предметы... Во-первых, я хочу видеть все губернские города.
- Зачем?
- Как зачем? Чтоб видеть их жизнь, их различие.
- Да между ними нет различия.

– Как?

– У нас все губернские города похожи друг на друга. Посмотри на один – все будешь знать.

– Быть не может!

– Могу тебя уверить. Везде одна большая улица, один главный магазин, где собираются помещики и покупают шелковые материи для жен и шампанское для себя; потом присутственные места, дворянское собрание, аптека, река, площадь, гостиный двор, два или три фонаря, будки и губернаторский дом.

– Однако ж общества не похожи друг на друга.

– Напротив, общества еще более похожи, чем здания.

– Как это?

– А вот как. В каждом губернском городе есть губернатор. Не все губернаторы одинаковы: перед иным бегают квартальные, суетятся секретари, кланяются купцы и мещане, а дворяне дуются с некоторым страхом. Куда он ни явится, является шампанское, вино, любимое в губерниях, и все пьют с поклонами за многолетие отца губернии... Губернаторы вообще люди образованные и иногда несколько надменные. Они любят давать обеды и благосклонно играют в вист с откупщиками и богатыми помещиками.

– Это дело обыкновенное, – заметил Иван Васильевич.

– Постой! Кроме губернатора, почти в каждом губернском городе есть и губернаторша. Губернаторша – лицо довольно странное. Она обыкновенно образована столичной жизнью и избалована губернским низкопоклонством. В первое время она приветлива и учтива; потом ей надоедают беспрерывные сплетни; она привыкает к угождениям и начинает их требовать. Тогда она окружает себя голодными дворянками, ссорится с вице-губернаторшей, хвастает Петербургом, презрительно относится о своем губернском круге и, наконец, навлекает на себя общее негодование до самого дня ее отъезда, в какой-то день все забывается, все прощается, и ее провожают со слезами.

– Да два лица не составляют города, – прервал Иван Васильевич.

– Постой, постой! В каждом губернском городе есть еще много лиц: вице-губернатор с супругой, разные председатели с супругами и несчетное число служащих по разным ведомствам. Жены ссорятся между собой на словах, а мужья на бумаге. Председатели, большею

частью люди старые и занятые, с большими крестами на шее, высовываются из присутствия только в табельные дни для поздравления начальства. Прокурор почти всегда человек холостой и завидный жених. Жандармский штаб-офицер – добрый малый. Дворянский предводитель – охотник до собак. Кроме служащих, в каждом городе живут и помещики, обыкновенно скупые или промотавшиеся. Они постигли великую тайну, что как карты созданы для человека, так и человек создан для карт. А потому с утра до вечера, а иногда и с вечера до утра козыряют они себе в пички да в бубандрысы без малейшей усталости. Разумеется, что и служащие от них не отстают. Ты играешь в вист?

– Нет.

– В преферанс?

– Нет.

– Ну, так тебе и беспокоиться не нужно; ты в губернии пропадешь! Да, может быть, ты жениться хочешь?

– Сохрани бог!

– Так и не заглядывай к нам. Тебя насильно женят. У нас барышень вдоволь. Все они, по природному внушению, поют варламовские романсы и целой шеренгой расхаживают по столовым, где толкуют о московском Дворянском собрании. Почти в каждом губернском городе есть вдова с двумя дочерьми, принужденная прозябать в провинции после мнимой блистательной жизни в Петербурге. Прочие дамы обыкновенно над ней смеются, но не менее того стараются попасть в ее партию, потому что в губерниях одни барышни не играют в карты, да и те, правду сказать, играют в дурачки на орехи. Несколько офицеров в отпуску, несколько тунеядцев без состояния и цели, губернский остряк, сочиняющий на всех стишки да прозвания, один старый доктор, двое молодых, архитектор, землемер и иностранный купец заключают городское общество.

– Ну, а образ жизни? – спросил Иван Васильевич.

– Образ жизни довольно скучный. Размен церемонных визитов. Сплетни, карты, карты, сплетни... Иногда встречаешь доброе, радушное семейство, но чаще наталкиваешься на карикатурные ужимки, будто бы подражающие какому-то небывалому большому свету. Общих удовольствий почти нет. Зимой назначаются балы в собрании, но по какому-то странному жеманству на эти балы мало

ездят, потому что никто не хочет приехать первым. Von genre сидит дома и играет в карты. Вообще я заметил, что когда приедешь нечаянно в губернский город, то это всегда как-то случается накануне, а еще чаще на другой день после какого-нибудь замечательного события. Тебя всегда встречают восклицаниями; Как жаль, что вас тогда-то не было или что вас тогда-то не будет! Теперь губернатор поехал ревизовать уезды; помещики разъехались по деревням, и в городе никого нет. Не всякому дано попасть в благополучные минуты шумного съезда. Такие памятные эпохи бывают только во время выборов и сдачи рекрут, во время сбора полков, а иногда в урожайные годы и во время святок. Самые приятные губерnsкие города, в особенности по мнению барышень, те, в которых военный постоя. Где офицеры, там музыка, ученья, танцы, свадьбы, любовные интриги – словом, такое раздолье, что чудо!

– Все это хорошо; только одного я не понимаю, – сказал Иван Васильевич, – зачем же ты здесь живешь?

– Зачем?.. Ах, братец, моя история – простая и глупая история.

– Расскажи, пожалуйста.

– Тебе почти все наши дворяне расскажут почти то же, что и я... Сперва богатство, потом бедность; сперва столичная жизнь, потом хорошо, когда и в губерnsком городе жить можешь.

– Да отчего же это?

– Оттого, что мы почти все легкомысленные до сумасбродства; оттого, что мы с самого детства все заражены одною болезнью...

– Право? Да как же называется эта болезнь?

– Она называется просто: «Жизнь сверх состояния».

VII

Простая и глупая история

Когда мы с тобой расстались в пансионе, где, между прочим, мы учились оба довольно дурно, я поехал в Петербург, разумеется, с тем, чтобы служить. Жить в Петербурге и не служить – все равно что быть в воде и не плавать. Весь Петербург кажется огромным департаментом, и даже строения его глядят министрами, директорами, столоначальниками, с форменными стенами, с вицмундирными окнами. Кажется, что самые петербургские улицы разделяются, по табели о рангах, на благородные, высокоблагородные и превосходительные, – право, так. Когда я приехал, я был убежден, что, только я покажусь, все обратят на меня внимание и что в короткое время я сделаю блистательную карьеру. Ты помнишь, что в пансионе я писал плохие стихи, следовательно, думал, что отлично буду составлять деловые бумаги. Но вообрази мое удивление: при первом моем опыте я написал такой вздор, что столоначальник мой рассмеялся и приказал мне лишь перебелить отношения... И не только министр, не только директор не поощряли моей неопытности, но даже начальник отделения не говорил со мной никогда ни слова, и блистательные мои дарования остались решительно в тени. Я утешался мыслию, что зависть сослуживцев заграждает мое повышение, а с другой стороны, убедился, что на службе каждый думает только о себе. Служба, братец, – лестница. По этой лестнице ползают и шагают, карабкаются и прыгают люди зеленого цвета, то толкая друг друга, то срываясь от неосторожности, то зацепясь за фалды надежного эквилибриста; немногие идут твердо и без помощи. Немногие думают об общей пользе, но каждый думает о своей. Каждый помышляет, как бы схватить крестик, чтоб поважничать перед собратьями, да как бы набить карман потуже. Не думай, впрочем, чтоб петербургские чиновники брали взятки, – сохрани бог! Не смешивай петербургских чиновников с губернскими. Взятки, братец, деле подлое, опасное и притом не совсем прибыльное. Но мало ли есть проселочных дорог к той же цели. Займы, аферы, акции, облигации, спекуляции... Этим способом при некотором служебном влиянии, при удачной

сметливости в делах состояния точно так же наживаются. Честь спасена, а деньги в кармане.

– Что же дальше?

– Обманувшись в моем честолюбии, я решился блеснуть в свете. Но и в свете со мной было то же. Я думал, что я богат, а вышло, что я беден. Я думал, что я всех удивлю своим экипажем, своим родом жизни, а вышло, что все мое достояние было почти нищенское в сравнении с другими. Я принужден был, по глупому самолюбию, подражать чужой роскоши, а вовсе не соображаться с моими средствами. Это общий петербургский порок. Жизнь в Петербурге как фейерверк. Много блеска, много дыма, а потом ничего. Каждый лезет в петлю, чтоб перещегоолять соседа перед людьми; все тянутся один за другим; сословия за сословиями, бедные за богатыми. Кто небогат, тот придает себе наружность богатства и тем разоряется вконец; кто богат, тот уже пускается в такую роскошь, строит такие дворцы, что поневоле разоряется тоже. В самом деле, кажется, что наши дворяне ищут нищеты. У нас дворянская роскошь придумала множество таких требований, которые сделались необходимыми, как хлеб и вода; например, толпу слуг, лакеев в ливреях, толстого дворецкого, буфетчиков и прочей сволочи от двадцати до сорока человек, большие квартиры с гостиными, столовыми, кабинетами, экипажами в четыре лошади, ложи, наряды, карты, – словом, можно сказать, что в Петербурге роскошь составляет первую жизненную потребность. Там сперва думают о ненужном, а уж потом о необходимом. Зато и каждый день дворянские имения продаются с молотка. А если б ты знал, какие страсти возбуждаются от несоразмерности состояния с издержками, какие от того ужасные сцены разыгрываются каждый день в семействах, какие гибельные бывают от того последствия, сколько людей потеряли от безумного угара и спокойствие своей совести, и собственное уважение и помрачили честь свою навсегда! Столичная жизнь, как поток, все уносит, все увлекает с собой, не дав и опомниться. Но мы уж так созданы. Прежде всего мы ищем рассеяния и удовольствия, и нет у нас, братец, ни твердых правил, ни высокой цели в жизни. Во-первых, мы дурно воспитаны; во-вторых, мы слабы перед искушением; и хотя мы видим перед собой страшные примеры, но сами не исправляемся. Тут есть о чем призадуматься... Да, впрочем, ты сам русский дворянин, следовательно, не рассказывать же мне тебе,

как люди проматываются. Может быть, в совершенном нашем незнании расчета есть какая-то славянская удаля, какое-то отдаленное условие нашей широкой, размашистой природы. Как бы то ни было, петербургская роскошь дошла до пошлой глупости, и никто не смеет подать пример рассудка и ума. Ростовщики обогащаются, мода владычествует, изменяя каждый день свои прихоти, и все покоряются безусловно моде и приносят ей в дань все до последней копейки Зато нет ни у кого семейных воспоминаний. Ни в одном доме не найдешь ты дедовских следов: ни фамильной утвари, ни признаков уважения к предкам – все поглощается на удовлетворение модных затей... И поверишь ли, прекрасный Петербург кажется городом, взятым напрокат. Что касается до меня, я делал, как товарищи, то есть делал долги и проживал вдвое против получаемых доходов. Впрочем, это еще не удивительно: у меня были приятели, которые ровно ничего не получали, а проживали втрое больше меня. Как они делали – до сих пор не понимаю. Я был везде принят, волочился за модными дамами, слушал их вздор, отвечал тем же и всюду и всячески старался веселиться. Но, сказать тебе правду, среди насильственного вечного рассеяния я был совершенно несчастлив. Подобно многим нашим молодым людям, я чего-то хотел, чем-то был недоволен; я жаждал какой-то невозможной деятельности; словом, чувствовал себя бесполезным, лишним и укорял других в своем ничтожестве. Такою черной немочью страдают у нас многие. Тогда я вздумал жениться.

– Как? Ты женат? – спросил Иван Васильевич.

– Женат! – отвечал, вздохнув, его собеседник. – Но все равно что холостой. Опять простая и глупая история.

В Петербурге прекрасные девушки. Взглянуть на них – загляденье. Волосы их так гладко причесаны, талии у них такие пышные, а танцуют они так мило и так много, что нельзя в них не влюбиться. Я и влюбился. Вальсом началась моя любовь, мазуркой решилась моя судьба. Невеста моя была дочь богатого человека, который давал удивительные обеды и каждый вечер играл в вист, в так называемую большую партию. Я готовился быть счастливым. Но в Петербурге, братец, свадьба – половина банкротства. Нигде в мире нет, я думаю, обыкновения, приступая к счастью, заблаговременно его испортить и. готовясь к покою, заранее уничтожить возможность быть спокойным. В Петербурге же – такой обычай, такой закон. Как бы ни глуп был

общий пример, надо следовать общему примеру. У нас для всего созданы условные правила, необходимые, как визиты и шляпочные поклоны. Таким образом, и жених обязывается к самому смешному мотовству, какое бы ни было его состояние, и тут-то пожива славянскому размаху. Во-первых, жениху предстоят непременно подарки. Портрет, писанный Соколовым, браслет пышный, браслет чувствительный, турецкая шаль, брильянтовые украшения и несметное число всякой блестящей дряни из английского магазина. Потом жених обязан отделать заново чужой дом, обставить комнаты растениями, взятыми напрокат, завести щегольские экипажи с красивыми лошадьми и сверкающими сбруями. Он одевает двух огромных лакеев в ливреи с гербовыми позументами, заготавливает сервизы, бронзы, фарфоры, готовится давать обеды и, только женившись, замечает, что именно-то обедать и нечем. Отец невесты, с своей стороны, отделяет на славу спальню, как бы давая пример жениху в сумасбродстве, как бы заботясь гораздо более о пышном убранстве нанятых стен, чем о счастье и спокойствии своей дочери. Сверх того, он наполняет множество шкафов и сундуков разным тряпьем и хламом, которое под названием приданого истребляет целый капитал, и, наконец, на другой день после свадьбы дарит новобрачному своим полным доверием. Он признается с полной откровенностью, что петербургская жизнь дорога до чрезвычайности, что повар его разоряет, что в вист играет он несчастливо, и в заключение объявляет, что надо ожидать его смерти для получения обещанных доходов. Немного сконфуженный таким странным ожиданием и такой приятной новостью, зять, с своей стороны, сознается в плачевном положении своих дел и потом, через несколько дней, ссорится навек с новым своим семейством...

Так и со мной было. Я хотел уехать в деревню; жена не захотела: она не так была воспитана. Она привыкла и по Невскому гулять, и на балы и в театр ездить. Нечего было делать. Тут, братец, началась для меня настоящая каторга. В жизни сверх состояния бывают ужасные минуты. Иногда жена, разряженная, любезничает в ложе с франтами, а дома дров нет; иногда гости назвались к обеду, а повар не ставит более в долг провизии и грубит тебе еще вдобавок, и ты не смеешь его выгнать, потому что ему кругом задолжал. Страшно сказать, братец, а в настоящем модном петербургском образе жизни не только нельзя

сохранить свое достоинство, но едва ли можно остаться в строгом смысле слова честным человеком. Прежде всего и во что бы то ни стало нужны деньги, а деньги употребляются на вздор. Вечером ты танцуешь, а утром у тебя толпятся так называемые гости кабинетные, лихоимцы, аферисты, заимодавцы. Ты закладываешь, продаешь, занимаешь; ты даешь векселя и расписки; ты отдаешь и брильянты, и серебро, и турецкую шаль, и лошадей своих; ты проклинаешь жизнь, ты близок к отчаянию. Есть минуты, где ты готов застрелиться. И со всем тем ты затянут, раздушен, завит; ты кланяешься, и шаркаешь, и отдаешь визиты, и к тому же можешь быть уверен, что никто решительно тебя не любит и все над тобой смеются.

Так пробился я два года. Но тогда заметил я, что в свете на меня начали глядеть с каким-то презрительным и обидным сожалением. Мне меньше кланялись; меня забывали в приглашениях; меня в мазурке перестали выбирать, и мало-помалу все мои друзья начали отдаляться от меня, передавая друг другу не совсем им неприятную весть о моем разорении. Сам виноват, – говорили они. – Зачем лезет он за другими? Зачем живет он с нами? И даже люди, которых я любил от души, как братьев, отворотились ко мне спиной, когда узнали, что не могут ни обыграть меня, ни пообедать хорошенько на мой счет, и не только не видал я от них ни одного знака участия, но узнал еще, что они разглашают мое бедствие с какой-то странной жадностью и нахально остряют над моим злополучием. Это было всего для меня досаднее. Я возненавидел Петербург и решил уехать. Я продал все, что имел, расплатился, с кем мог, привел дела свои в возможный порядок и в одно прекрасное утро отправился с женою в Москву на жительство.

– Ты жил в Москве? – спросил Иван Васильевич.

– Жил, братец. Опять то же самое; опять продолжение простой и глупой истории! Жена моя хотела жить если не в Петербурге, то в Москве. О деревне мне и думать не позволялось. Вот и поселился я в Москве. Я люблю Москву белокаменную, с вековым Кремлем, с славным и родным воспоминанием на каждом шагу. Москва – сердце России, и это сердце бьется благородным чувством ко всему отечественному. В низшем слое московского населения господствует прямодушие; в высшем – блестят несколько даровитых благонамеренных умов, одушевленных любовью к полезным занятиям,

стремлением к прекрасной народной цели. Но это узнал я после. Я попал в какой-то особый круг, составляющий в огромном городе нечто вроде маленького досадного городка. Этот городок, братец, – городок отставной, отечество усов и венгерок, приют недовольных всякого рода, вертеп самых странных разбоев, горнило самых странных рассказов. В нем живут отставленные и отставные, сердитые, обманутые честолюбием, вообще все люди ленивые и недоброжелательные. Оттого и господствует между ними дух праздности и празднословия, и недаром называют этот городок старухой. Ему прежде всего надо болтать, болтать во что бы то ни стало. Он расскажет вам, что серый волк гуляет по Кузнецкому мосту и заглядывает во все лавки; он поведаст вам на ухо, что турецкий султан усыновил французского короля; он выдумает особую политику, особую Европу – было бы о чем поболтать. Но это зло еще небольшое: праздность породила гнуснейшие дела. Расскажу тебе свой дебют в Белокаменной. Меня тотчас же по приезде повезли в одно приятное общество. Это общество нечто вроде министерства праздношатающихся, камеры тунеядцев. При моем появлении все присутствующие начали искоса на меня поглядывать, как бы на дикого зверя, и начали между собой шептаться. Потом какой-то господин с большим белокурым хохлом подошел ко мне и начал со мною знакомиться, говоря, что он очень знал батюшку, служил с дядюшкой и даже немного помнит самого дедушку. «По этому праву, – продолжал он, – позвольте дать мне вам совет. Видите ли вы там господина с большими черными усами? Берегитесь его... он предложит вам играть с собой и обыграет вас наверное...» Я поблагодарил приятеля моего семейства и пошел в другие комнаты. Вообрази мое удивление! за мной бежит господин с черными усами и начинает со мною разговор. «Вы давно знакомы с этим белокурым хохлом?» – «Нет, сейчас познакомился. – Ну так берегитесь его: он хочет вас обыграть. Я почел долгом вас предупредить, потому что ваша тетушка была всегда ко мне очень милостива, да и к тому же мы, кажется, несколько сродни».

«Что ж это такое?» – подумал я и с любопытством начал прислушиваться к разговорам. Но тут я наслушался таких слов, таких откровенных признаний, таких странных наклонностей, что волосы у меня стали дыбом. Иные вольнодумничали вполголоса и низко кланялись полицеймейстеру; другие рассказывали с чувством и

восторгом о рубцах и кулебяках; третьи хвастали сильным пьянством; один господин рассказал даже весьма забавно, как его однажды побили; наконец, некоторые разговаривали вслух о таких удивительных московских тайнах, которых и сам Сю не решился бы напечатать. Говорили тоже о собаках и о женщинах, с тем только различием, что о собаках относились с уважением. Старики играли в вист и громко бранились между собой, после чего, по окончании партии, ходили они обнюхивать ужин и потом уезжали домой. Наконец, в адской комнате отчаянные игроки с бледными лицами и впалыми щеками играли в тысячную игру. Кругом столов толпились любопытные с бессмысленной жадностью на лице и подлым восторгом к слепому счастью. Кипы ассигнаций валялись по зеленому полю, и страшная тишина прерывалась только роковым приговором проигрыша. И что тут проигрывалось, не говоря уж о деньгах! Были тут и молчаливые люди, которые сидели в углу и пожимали плечами; были многие другие, которые, привыкнув к подобному образу жизни и прислушавшись к странным речам, по силе привычки уже ничего не находили в них предосудительного, а скорее нечто удалое и молодецкое. Таким образом, они братствуют с людьми, которых бы при настоящей оценке совести они не велели бы пускать и в лакейскую. Это объясняется просто. Пороки петербургские происходят от напряженной деятельности, от желания выказаться, от тщеславия и честолюбия. Пороки московские происходят от отсутствия деятельности, от недостатка живой цели в жизни, от скуки и тяжелой барской лени. Впрочем, это относится, разумеется, не ко всему обществу, а к малой части того общества, которое наиболее заставляет говорить о себе. Везде есть хорошие и умные люди... только они обыкновенно удаляются от шума и с трудом заводят новые знакомства, тогда как городская сволочь тотчас бросается в глаза и увлекает в разные плустики таких бесхарактерных простяков, каков я, например. Мало-помалу я начал привыкать к странностям круга, в который я попал, познакомился со всеми и оттого стал ко всем благосклоннее. Греха таить нечего, я перестал ужасаться откровенных рассказов, постиг философию стерляжьей ухи и расстегаев, отклонился от людей образованных и радушных, которых так много в Москве, но остался в кругу известной шайки, так что наконец в один прекрасный вечер сел я играть по маленькой с белокурым хохлом и с черными усами. Само

собой разумеется, что они обыграли меня начистоту и сделались тотчас со мной весьма фамильярны, трепали меня по плечу, называли меня братцем, скотиной, фефелой, словом, оказывали мне самые милые знаки дружбы. Это было досадно... Когда я вздумал их остановить, они рассердились и начали уж ругаться. Хохол назвал меня шпионом, а усы вздумали поносить поведение жены моей самым мерзким образом. Ты знаешь, я человек горячий. Правой рукой вцепился я в хохол, а левой в усы, и началась настоящая драка. Нас разняли; мы положили, как водится, стреляться на другой день в Марьиной роще, и я с отчаянием поехал домой. И что же, братец? Я вдруг понял, что люблю жену и что если б она и я были иначе воспитаны, то могли бы быть очень счастливы; души наши были неиспорченные, но испорчены были наши привычки; словом, недостаток твердых правил, необходимость светского развлечения ввергали нас в ужасную пропасть. Жена моя недурна собой, петербургская дама. Ее приняли в Москве с восторгом и завистью, превозносили в глаза и терзали заочно. Впрочем, это везде так делается. Она не думала остерегаться. Как-то протанцевала она несколько мазурок сряду с одним офицером. Две-три барыни перемигнулись, два-три шалуна сострили на ее счет, и вот – пылинка раздулась горой. На другой день на Тверской рассказывали, что жена моя явно живет с любовником; на Дмитриевке – что у ней два любовника; на Арбате – что у ней три любовника. Через неделю весть эта дошла и до Замоскворечья и до Красных ворот, но там уже любовники жены моей расплодились до числа баснословного. Московские барыни возили с собою поддельные письма, рассказывали с чувством и негодованием совершенно невозможные случаи, притом каждая придумывала какое-нибудь слово. Слово делалось при повторении анекдотом, анекдот – романом, и московская чудовищная сплетня принялась широко и размашисто разгуливать по матушке Белокаменной насчет жены моей. Когда приехал я к себе после гадкой драки, мы объяснились с женой. Она плакала и жаловалась на гнусные сплетни; я также плакал, ибо чувствовал, что всему виноват, что промотал все до копейки и что мы остаемся нищими. Странно: в эту минуту мы с женой помирились, все друг другу простили, друг друга поняли и полюбили, но жить нам вместе не было никакой возможности. Вдруг стучатся в двери. Это что? Квартальный и

жандармы. Меня велено взять сейчас и отправить во Владимир. У ворот стояла телега. Посадили меня, грешного, и повезли. Жена уехала к отцу в Петербург, а я живу здесь, братец, под присмотром полиции, гуляю на бульваре, смотрю на виды, и вот тебе конец моей простой и глупой истории. Да пойдём-ка ко мне выкурить трубочку.

– Нельзя, братец, меня дожидается старик мой; и то, я думаю, уж сердится.

– Зайди хоть на минутку. Дай с товарищем душу отвести.

– Нельзя, право... Проводи-ка лучше меня к трактиру. Старик, право, сердится.

И в самом деле, у трактира Василий Иванович сидел уже в экипаже и ворчал что-то про молодых людей. Иван Васильевич мигом вскочил на свое место, и тарантас медленно спустился по горе и отправился снова в туманную даль.

VIII

Цыгане

Иван Васильевич сидел в уголке комнаты постоялого двора и грустно о чем-то размышлял. Книга путевых впечатлений лежала перед ним в неприкосновенной белизне.

«В самом деле, – думал он, – отчего в жизни ожидания наши, и желания, и надежды никогда не сбываются? Загадываешь одно, а выходит противное, и даже не противное, а что-то совершенно другое, неожиданное. В воображении все обрисовывается в ярких, приятных и резких красках, а на деле все сливается в какой-то мутный хаос скучной действительности. Вот, например, долго желал я погулять на Западе, подышать воздухом юга, поглядеть на мудрых людей нашего века, взглянуть поближе на европейское просвещение, на современную славу, на все, чем шумят и хвастают люди. И вот пошатался я по Европе, видел много трактиров, и пароходов, и железных дорог, осмотрел многие скучные коллекции и нигде не находил тех живых впечатлений, которых надеялся. В Германии удивила меня плупость ученых; в Италии страдал я от холода; во Франции опротивела мне безнравственность и нечистота. Везде нашел я подлую алчность к деньгам, грубое самодовольство, все признаки испорченности и смешные притязания на совершенство. И поневоле полюбил я тогда Россию и решил посвятить остаток дней на познание своей родины. И похвально бы, кажется, и нетрудно...

Только теперь вот вопрос: как ее узнаешь? Хватился я сперва за древности – древностей нет; думал изучить губернские общества – губернских обществ нет. Все они, как говорят, форменные. Столичная жизнь – жизнь не русская, а перенявшая у Европы и мелочное образование и крупные пороки. Где же искать Россию? Может быть, в простом народе, в простом вседневном быту русской жизни? Но вот я еду четвертый день, и слушаю и прислушиваюсь, и пляжу и вглядываюсь, и хоть что хочешь делай, ничего отметить и записать не могу. Окрестность мертвая; земли, земли, земли столько, что глаза устают смотреть; дорога скверная... по дороге идут обозы... мужики ругаются – вот и все... а там: то смотритель пьян, то тараканы по стене

ползают, то щи сальными свечами пахнут... Ну можно ли порядочному человеку заниматься подобною дрянью?.. И всего безотраднее то, что на всем огромном пространстве господствует какое-то ужасное однообразие, которое утомляет до чрезвычайности и отдохнуть не дает... Нет ничего нового, ничего неожиданного. Все то же да то же... и завтра будет как нынче. Здесь станция, там опять та же станция, а там еще та же станция; здесь староста, который просит на водку, а там опять до бесконечности все старосты, которые просят на водку... Что же я стану писать? Теперь я понимаю Василия Ивановича: он в самом деле был прав, когда уверял, что мы не путешествуем и что в России путешествовать невозможно. Мы просто едем в Мордасы. Пропали мои впечатления!»

Тут Иван Васильевич остановился. В комнату вошел хозяин постоялого двора, красивый, высокий парень, обстриженный в кружок, с голубыми глазами, с русой бородкой, в гинем армяке, перетянутый красным кушаком. Иван Васильевич невольно им залюбовался, порадовался в душе красоте русского народа и немедленно вступил в любознательный разговор.

– Скажи-ка мне, приятель... здесь уездный город?

– Так точно-с.

– А что здесь любопытного?

– Да чему, батюшка, быть любопытному! Кажись, ничего нет.

– Древних строений нет?

– Никак нет-с... Да бишь... был точно деревянный острог, неча сказать, никуда не годился... Да и тот в прошедшем году сгорел.

– Давно, видно, был построен.

– Нет-с, не так давно, а лесом мошенник подрядчик надул совсем.

Хорошо, что и сгорел, право-с.

Иван Васильевич взглянул на хозяина с отчаяньем.

– А много здесь живущих?

– Нашей братьи мещан довольно-с, а то служащие только.

– Городничий?

– Да-с, известное дело: городничий, судья, исправник и прочие – весь комплект.

– А как они время проводят?

– В присутствии ходят, пуншты пьют, картишками тешатся... Да бишь, – спохватился, улыбнувшись, хозяин, – теперь у нас за городом

цыганский табор, так вот они повадились в табор таскаться. Словно московские бары али купецкие сынки. Такой кураж, что чудо! Судья на скрипке играет, Артамон Иванович, заседатель, отхватывает присяжку; ну и хмельного-то тут не занимать стать... Гуляют себе, да и только. Эвтакая, знать, нация.

– Цыгане, цыгане! – воскликнул с радостью Иван Васильевич, вскочив со своего стула. – Цыгане, Василий Иванович, цыгане... Первая глава для моих впечатлений. Цыгане – народ дикий, необузданный, кочующий, которому душно в городе, который в лес хочет, в табор свой, в поле, в степь, на простор. Ему свобода первое благо, первая потребность. Свобода – вся жизнь его... Как они сюда попали?..

– Задержаны, батюшка, по приказанию начальства. Бают, будто секретарь просил с них по золотому с кибитки для пропуска. Видно, шататься не велено. Они, с дури, что ли, или точно денег у них не было, не дали; ну и сидят теперь голубчики, не прогневайся, шестой месяц никак под караулом.

Восторг Ивана Васильевича немножко утих. Однако он приготовил свою книгу и начал чинить карандаш.

В соседней комнате послышался тяжелый шорох, и улыбающийся лик Василия Ивановича показался в дверях.

– Цыгане, – сказал он, – га, га, цыганочки. Вишь какие проказники! Точно на ярмарке или в Москве... Цыган себе, извольте видеть, завели... Вот что!.. А есть ли хорошенькие? – прибавил он, прищуривая левый глаз и улыбаясь значительно.

– Всякие есть, – отвечал хозяин, – есть и хорошие. Стешка есть, такая лихая, чудо-баба, как выпьет... Стряпчий, что ни получит по месту, так к ней и несет. Совсем, говорят, издерживается. Ну, вот Матреша есть, исправничья, Наташка есть, голосистая и недотрога такая. Судья, бают, тысячи сулил. Не надо, – говорит, – мне ваших тысяч. Вот какая-с! А голос как у соловья. Нечего сказать, знатно поют... Ну, да если хотите, сами услышать можете. Они всего в полверсте отсюда... Коль вашим милостям угодно, я проводить могу.

Иван Васильевич взглянул на Василия Ивановича.

Василий Иванович взглянул на Ивана Васильевича.

– Пойдем, – сказал Василий Иванович.

– Пойдем, – сказал Иван Васильевич.

Они отправились.

Посреди дороги Иван Васильевич остановился.

– Однако, – сказал он, – надеюсь, мы никого из этих чиновников там не застанем?

– Никого, – отвечал проводник. – Теперь присутствие.

– Ну, так пойдём.

У самой опушки леса, около большого поля, цыганский табор рисовался в живописном беспорядке. Телеги с протянутыми к деревьям холстами в виде шатров, привязанные лошади, смуглые ребята на перинах, дымящиеся костры, безобразные старухи в оборванных мантиях, коричневые лица, всклокоченные волосы – все резко обозначалось в этой странной и дикой картине. Иван Васильевич был очень доволен, и хотя он и должен был зажать нос от цыганского запаха, однако заманчивость неожиданного приключения и надежда наконец начать книгу свою располагали дух его к самой приятной снисходительности.

Василий Иванович пыхтел и торопился.

– Эй вы, черномазые! – закричал проводник. – Вылезайте-ка, черти, живей! Вишь, господа к вам пожаловали.

Весь табор зашевелился. Старухи бегали между телегами и сзывали молодых. Молодые поспешно наряжались за холстами, ребята прыгали, мужчины низко кланялись и настраивали гитары. Живее, живее, бабы, господа дожидаются! – кричал атаман. И вот из-под навесов хлынула толпа цыганок, запачканных, растрепанных, в ситцевых грязных платьях, в оборванных розовых передниках.

Иван Васильевич остолбенел. Как, и у цыган водворились жалкие европейские моды! Как, и они не сумели удержать своей первобытной физиономии? Погибли Хитаны, Эсмеральды, Прециозы; Прециоза одета щеголихой Смоленского рынка; Эсмеральда в пегом газовом платье, украденном на Басманной. Но этого мало. Цыганки перемигнулись и вдруг с разными ужимками затагнули в общем жалобном писке не кочевую цыганскую песнь, а русский водевильный романс. Где же тут своебытность и народность? Где найдешь их в Европе, когда и цыгане даже их утратили?

Книга путевых впечатлений выпала из рук Ивана Васильевича.

Зато Василий Иванович был в восхищении. Он шевелил плечами, притопывал ногой, даже подтягивал довольно хриплым голосом и

утопал в удовольствии. Цыганки окружали его со всех сторон. Те, которые не пели, называли его красавцем, солнышком, гадали ему на ладони и сулили несметные богатства. Пьяная Стешка плясала, разводя руками. Матрена кричала, как будто ее режут, и вот все вдруг захлопали в ладоши и начали провозглашать многие лета Василию Ивановичу. И Василий Иванович улыбался и, забыв про Авдотью Петровну, сыпал двугривенными и четвертаками в жадную толпу.

– Вот так, вот так! – говорил он. – Лихо! Ну, теперь... Эй вы, уланы... или, знаешь, вот что: «Ты не поверишь, ты не поверишь». Хорошо!.. Ну-ка плясую... Вот так! Хорошо! Славно!.. Молодцы!.. Лихо! Ну, потешили... Ай да спасибо!.. Иван Васильевич, а Иван Васильевич! что ты стоишь, как будто восемь в сюрсах проиграл... Взгляни-ка направо... Видишь ли в красном платке? Как бишь ее, Наташа, что ли?.. Какова? А?..

Ивану Васильевичу сделалось сперва досадно, а потом грустно. Он взглянул на Наташу.

Наташа, несмотря на свой уродливый наряд, была точно хороша собой. Большие черные глаза сверкали как молния; смуглые черты были нежны и правильны, и белые, как сахар, зубы резко отделялись на малиновых устах.

Иван Васильевич вынул из галстуха золотую булавочку и подошел к красавице.

– Наташа, – сказал он, – ты родилась цыганкой, оставайся цыганкой, не носи глупых передников, не презирай своего народа, не пой русских романсов. Пой свои родные песни и в память обо мне возьми мою булавку.

Цыганка живо приколола булавку к платку, взглянула на молодого человека полувесело-полузадумчиво и сказала ему вполголоса:

– Я люблю наши песни, я стану носить твою булавку. Я тебя не забуду.

Иван Васильевич отошел в сторону, и, не знаю почему, ему стало еще грустнее. Так прошло несколько минут.

– А как поют? – спросил за ним голос. Иван Васильевич обернулся. За ним стоял их проводник и лукаво на него поглядывал.

– Не правда ли, что хорошо поют? Барину никак нравится, – продолжал он, указывая на Василия Ивановича, умильно стоящего,

среди цыганок, которые снова хлопали в ладоши, припевая многие лета Василию Ивановичу.

– Поют хорошо.

Ивану Васильевичу не хотелось ни говорить, ни оставаться. Он с трудом оттащил Василия Ивановича, который при диких восклицаниях насилу решился покинуть своих смуглых обольстительниц и в заключение бросил им с восторгом красную ассигнацию.

Наконец оба отправились молча к станционному двору.

– Недурно поют, – продолжал неугомонный проводник. – Жаль только, что бедняжки сидят под караулом. Ну да, впрочем, сидеть на чистом воздухе в лесу... не то что сидеть, как я, например, сидел, хоть бы сказать, в остроге...

IX

Перстень

– Ты сидел в остроге? – с любопытством спросил Иван Васильевич.

– Сидел, барин, неча греха таить, безвинно сидел.

– А за что?

Рослый детина провел рукой по русской бородке, поправил ус и улыбнулся. Голубые глаза его оживились огнем понятливости и веселья.

– За частнику, – сказал он.

– Как за частнику? – подхватил Василий Иванович, смеясь всем туловищем. – За жену частного пристава? Статочное ли это дело? Да ты, брат, я вижу, балагур. Потешь-ка, брат, расскажи, как это у вас было. Дай послушать твои проказы.

– Изволь, барин, расскажу, пожалуй... Изволишь ты видеть: у меня свой постоялый двор для проезжающих, и сарай есть, и сено держим. Милости просим кому угодно: самовар всегда готов, а настойка такая, я вам доложу, что только облизывайся. Это, знаешь, уж так, для угощения, по разнице продавать не велено... Ну, да кто богу не грешен, царю не виноват? Добрые люди, дай бог им здоровья, меня не забывают: так ко мне на двор и заворачивают. А внизу, изволишь ты видеть, барин, у меня лавка со всякой всячиной для крестьянского обихода. Тут и крупа всякая, и рукавицы, и кушаки, и хомуты, и бечевье, и чернослив – словом, что надо.

Года два, что ли, тому прислали нам из города нового частного. Собой такой маленький, круглый, словно бочка, не больно молодой, да и сказать-то надо правду, крепко испивал. «Что, – говорим мы, – ребята, ведь дрянного нам частного прислали. Ну а что же ты тут станешь делать? Даром, что дрянной, все-таки частный!» Делать нечего – пошли к нему на поклон; кто взял фунт чая, кто голову сахара, кто другого товара из лавки. Нельзя же и не поздравить с приездом. Вот пришли мы, купечество да мещанство, кто в мундирах, кто в новом платье, как водится, с хлебом с солью, и стоим себе у стенки. А частный-то павлином расхаживает себе в халате да только

гостинцы подбирает. Как теперь помню, вот Федька Сидорин толкает меня в бок. «Смотри, – говорит, – в двери никак частниха выплядывает. О, да какая быстроглазая!» А отчего бы не посмотреть, в самом деле? Ну уж, частниха, сказать правду, маков цвет! Собой такая румяная, а глаза, что уголья, так и искрятся. Подстрекнул меня нелегкий, загляделся на красотку. Чай, она заметила, хлопнула дверью – и была такова.

Вот с того времени – греха таить нечего – нашла на (меня дурь несказанная: не сплю, не ем, свет постыл... Только и думаешь, как бы забраться к частному. Бежишь, бывало: «ваше благородие, соседние свиньи покоя не дают, прикажите хозяину держать их на привязи»; то, мол: «десятские, ваше благородие, дерутся и требуют, чтоб их водкой поили даром, говорят, что они люди казенные... Что прикажете с ними делать?» То, мол: «ваше благородие, в пожарном струменте колесо сломано, на какие суммы прикажете починить?» Мало ли что передумал. Да еще так приноровишь, когда знаешь, что частный лежит запертво. Стучишь себе, стучишь, Марья Петровна и выйдет в кацавеечке. «Кого вам угодно?» – «А что, его благородие дома-с?» – «Нездоров-с, голова болит, прилег маленько». – «Гм, дело известное... Ничего-с. Ужотка зайду. Доложите, что Иван Петров Фадеев приходил по своему делу».

Вот-с, недолго спустя Марья Петровна начала уже прогуливаться мимо моей лавки и заговаривать. «Что это, Иван Петров, как холодно нынче?» – «Видно, сударыня, морозило ночью». Или: «Каково торгуется, Иван Петров?» – «Ничего-с, изрядно, не можем жаловаться».

Наконец и самый частный начал ко мне похаживать в лавку. Придет, бывало, и отдувается. «Что это, братец, я озяб что-то? Нет ли водки, хоть бы согреться немного». – «Как не быть, ваше благородие! извольте кушать на здоровье». А водка точно знатная... Я ему рюмочку, другую, третью. Частный мой так нагреется, что еле до дома дойдет. Так по этакой-то-с оказии я и стал ему задушевым приятелем. Только и слышу, бывало: «Иван Петров, зайти закусить; Иван Петров, вечерком ко мне милости просим; пройдемся по пуншту». С утра до вечера все, бывало, зовет к себе. А мне то-то и надо. Частный за ворота... а я в дверь... словом...

Тут рассказчик улыбнулся и остановился опять.

– Словом... Ну да что тут много толковать! Прошел месяц, другой. Сижу я в своей лавке и торгую по обычаю. Вижу я, идет частный и отдувается. Я вскричал Сеньке: «Поддай анисовой, частный идет». Вошел частный. «Здравствуйте, Иван Петров». – «Здравия желаю, ваше благородие». – «Что это, братец, я озяб что-то? Нет ли чем погреться?» – «Как не быть!» Вот я взял было рюмку и подношу ему с поклоном: прошу, мол, кушать на здоровье. А он как надуется вдруг весь красный, и глаза сделались у него словно оловянные ложки. Господи боже, что это с ним? Смотрит мне на руку и стоит как вкопанный. Я сам взпянул на руку... Ахти, грех какой, кольцо-то я забыл снять.

А надо тебе, барин, сказать, что частниха подарила мне колечко червонного золота с голубым цветочком и просила носить на память, только не показывать мужу.

Как только ушел он, я и смекнул, что дело-то плохо, да, давай бог ноги, задами, через заборы прямо к частнихе. «Беда, Марья Петровна, беда, возьмите ваш перстень».

Не успел я вернуться, а меня уже схватили трое десятских за шиворот, да и тащат в острог. «Помилуйте, я купеческий племянник, не смейте меня трогать». Ничуть не бывало, связали руки, да и посадили в острог, в темную, и наручники надели. Вор, дескать.

Не больно весело, барин, сидеть в остроге. Духота такая, что не вытерпишь. На руках железы. Хочешь руки поднять – нельзя. Хочешь лечь – негде. Хочешь есть – вода тебе да хлеб. Не приведи бог попасть в острог!

Вот разнеслась молва по городу, что Иван Петров Фадеев украл у частного перстень червонного золота. Меня, дай бог здоровья, добрые люди любили. Пошли просить городничего, чтоб он сам при себе сделал следствие. Городничий наш, добрый такой, служил в мушкетерском полку поручиком, сам отправился к частному и взял с собой секретаря правления и стряпчего. Да с горя частный так назюзился, что лыка не вязал. Послали за мною. Привели меня с инвалидами, как преступника. Стыдно было перед народом, а делать нечего.

«На тебя показывает частный пристав, – говорит мне городничий, – что ты украл у него в доме женино кольцо червонного золота с голубыми камешками».

«Я не крал никогда ничего, ваше высокоблагородие, – говорю я. – Была ли когда молва в народе, что Иван Петров Фадеев мошенник и вор?»

А частный так и мычит: «Вор, вор! Я вам говорю – вор. Еще вчера видел я у Марьи Петровны на правой руке это кольцо. Да извольте сами спросить». Частный позвал жену и привел ее к городничему. «Вот, говорит, хоть убейте... убей меня гром, еще вчера на этом пальце было... фу ты пропасть!.. Как же оно здесь опять очутилось?..»

«Какое кольцо? – спросила Марья Петровна. – У меня никакого кольца не крали. Вот сердоликовое, вот с супирчиком, вот золотое червонного золота с голубыми цветочками. стыдно тебе, – говорит она мужу, – пить до того, что из ума выживаешь!»

Частный разинул рот, одурел совсем, а городничий, стряпчий и секретарь перемигнулись и смекнули дело. Да как прыснут разом, начнут, голубчики, хохотать... Животы себе надорвали...

Меня тут же и отпустили домой.

Так все и кончилось. Городничий сказал только: «А тебе, братец, урок. Не носить перстеньков да не ухаживать за барынями, а взять себе в дом хорошую хозяйку, которая смотрела бы у тебя за всем». – «Слушаю-с», – отвечал я, да и давай бог ноги домой, А радость-то какая! Сенька, Сидор, все соседи, все православные пировали у меня до утра. На другой день частный и частниха выехали из города, а я в первый мясоед взял себе жену у соседа Сидора, и вот третий год, – прибавил Фадеев, – живем себе... слава богу... нечего сказать... ладно.

Х

Нечто о словесности

Путники едут по большой дороге. Дорога песчаная. Тарантас тянется шагом.

– Признаюсь, – сказал, зевая и потягиваясь, Василий Иванович, – скучненько немного, и виды по сторонам очень не замысловаты... Налево гладко... Направо гладко... Везде одно и то же. Хоть бы придумать чем-нибудь позаняться.

– Чтением, например, – сказал Иван Васильевич.

– Пожалуй, хоть бы и чтением. Я очень люблю иногда, как делать нечего, книжечки читать. Очень, иногда, забавные истории пишут. Да кстати, коли смею спросить, вы, может быть, сами сочиняете?

– Нет-с.

– И хорошо, брат, делаешь. Дворянину неприлично идти в писаки. И потом, – прибавил, вздохнув значительно, Василий Иванович, – не всякому дан talent...т.

– Для нынешней словесности не нужно таланта, – сказал Иван Васильевич.

– Не всякому дано дарование.

– Не нужно дарования!

Василий Иванович взглянул на Ивана Васильевича.

Иван Васильевич взглянул на Василия Ивановича.

– Да, – продолжал Иван Васильевич, – теперь не нужно дарованья – нужна одна смышленость. Теперь словесность – ремесло, как ремесло сапожника или токаря. Писатели не что иное, как литературных дел мастера, и скоро поделают они себе вывески, как в кондитерских и булочных.

– Ну уж, позволь, – прервал Василий Иванович, – это ты уж просто, кажется, аллегория говоришь.

– Нет, я говорю правду. Неужели вы не знаете, какие жалкие и мелкие расчеты скрываются под громкими названиями? Вы еще верите, когда вам говорят, что словесность – выражение народного духа и бытия; вы веруете в высокое ее призвание научать людей, исправлять пороки и направлять душу к чистым наслаждениям. Все ведь это вздор.

Словесность есть один из тысячи способов добывать себе деньги, и все прекрасные чувства, все глубокие мысли, которыми наполнены теперь книги, можно исчислить на ассигнации и серебро. Уничтожьте продажу книг – и словесность исчезнет. В наше продажное время поэзия разлагается на акции и восторг берется на откуп. Скоро заведут сочинительские фабрики, и готовые мысли и чувства будут продаваться по таксе, смотря по достоинству, как продаются теперь у портных фраки и панталоны.

– В прошедшем году, – заметил Василий Иванович, – я купил себе на Кузнецком мосту фланелевый сюртук. Как бы вы думали? Никуда не годился: француз-мошенник обманул.

– Так обманывают вас те, которых вы читаете с удовольствием, как добрый и честный человек. Вы с доверчивостью покупаете кафтан, а кафтан ваш сшит из тряпок, и то на живую нитку. Теперешние портные, или литераторы, славно себе набили руку для выкройки. У них все в дело идет: и политика, и религия, и нравственность, и юридические вопросы, и философские задачи, а паче всего любовные похождения всех возможных родов. Взгляните на современную европейскую литературу; взгляните в балаганные кулисы: вам, право, станет тошно. Перед вами все нарумянено, раскрашено, фальшиво; всюду мишура и фольга, всюду жадное стремление обобрать публику. Но публика не поддается, а проходит себе своим путем перед словесностью, как перед нищим, и лишь изредка бросает ей залежалую гривну. В самом деле, Европа до того стара и опытна, что уж не может более играть добросовестно в литературу. В Европе чистые чувства задушены пороками и расчетом. В ней нет более тех девственных призывов, которые необходимы для излияния девственных и неподдельных впечатлений. Кое-где встретятся еще, может быть, несколько людей, одушевленных благородным огнем, но они не воскресят погибшего: из лохмотьев не сделать им порфиры. Вот почему в стране, еще во многом девственной, в стране, еще не утратившей вполне святости своей – первобытной народности, в стране могучей и доблестной, как Россия, должны быть свои родники, чистые, светлые, не смешанные с грязью испорченных народностей.

– Так-с, – сказал Василий Иванович, который слушал довольно небрежно и ничего не понимал. – Вы любите нашу русскую литературу?

– Сохрани меня бог! – с живостью прервал его товарищ. – Я не говорил такой глупости. И к тому же, о какой литературе вы говорите? Их две у нас.

– Какие две?

– Да! Одна даровитая, но усталая, которая показывается в люди редко, смиренно, иногда с улыбкой на лице, а всего чаще с тяжкою грустью на сердце; другая наша литература, напротив, кричит на всех перекрестках, чтоб только ее приняли за настоящую русскую литературу и не узнали про настоящую. Эта литература приводит мне всегда на память крикливых сидельцев Апраксина двора, которые чуть не хватают прохожих за горло, чтоб сбить им свой гнилой товар. Признаюсь, я не видал ничего смешнее, удивительнее, уродливее и отвратительнее этой подложной литературы.

– Отчего это?

– Оттого, что в самом деле литературы тут нет, а одно только название. Оттого, что наши даровитые писатели всегда удалялись и теперь удаляются от ее прикосновения, опасаясь быть замешанными в ее странную деятельность; оттого, что она, теперь в особенности, не что иное, как жалкий нарост на народной почве; оттого, что у нее нет ни цели, ни смысла. Впрочем, если хотите, у нас есть многое множество таких литератур: несколько петербургских, несколько московских, несколько губернских, и в каждой литературе есть несколько партий, которые в муравьиных кучках двигаются, и хлопчут, и суетятся, как лилипуты Юлливера. Ревностные члены разрозненного тела, они угощают святую Русь стишками на манер Ламартина, драмами на фасон Шиллера, повестями – жалкими пародиями заграничных и без того карикатурных повестей и, наконец, той чудовищной неблагопристойностию, которую называют, с позволения сказать, журнальной критикой... Но все это, слава богу, не русское. Русский никогда не узнает своего родного гения в жалком фигляре, который коверкается, и пляшет перед ним в лохмотьях, и, поверьте, на толкучем рынке собирателей чужого ума русский человек не отзовется ни на один голос, ему незнакомый и непонятный. Ему не то надо; ему давай родные звуки, родные картины, чтоб забилося сердце его, чтоб засветлело в его душе. Ему говори языком его о любимых его поверьях, о мудрых и простых обычаях его края, о живых его потребностях... Но – увы! поверья наши и обычаи исчезают. Все,

что живет еще в памяти народной, все, что могло бы быть основой словесности народной, теряется с каждым днем с переменой наших нравов. Русский гений издыхает, задыхаясь от всего, что на него накидали. Бедный ребенок, он хотел только подрасти да приосаниться, чтоб молвить слово твердое по-своему, чтоб гаркнуть на всю вселенную по-нашему, по-нашенски, во всю богатырскую грудь; а мы на него навьючили французский парик да немецкий кафтан, да опутали его в ободранные ткани театрального гардероба – и не видим мы, не хотим видеть, что бедный мальчик чахнет и плачет неутешно. Но что делать? – спросите вы. Отвечать не трудно. Освободить ребенка, бросить в печку театральный хлам и обратиться снова к естественным, к родным началам. Просвещение отдалило нас от народа; через просвещение обратимся снова к нему. Кто знает: быть может, в простой избе таится зародыш будущего нашего величия, потому что еще в одной избе, и то где-нибудь в захолустье, хранится наша первоначальная, нетронутая народность.

Люди совестливые! Не ищите родных вдохновений в петербургских залах, где танцуют и говорят по-французски. Поверьте, вы найдете их скорее в бедной хате, заваленной снегом, на теплой лежанке, где слепой старик поведаст вам нараспев чудные предания, полные огня и душевной молодости. Спешите вслушиваться в рассказы старика, потому что завтра старик умрет с своими напевами на устах и никто, никто не повторит их более за ним.

Многое уже погибло таким образом невозвратно. Многое пропадает с каждым днем. Старина наша исчезает и уносит народность с собой. А что же получаем мы взамен? Не свежую пищу, не румяные плоды, а душевную ветошь, тлеющую падаль. Скажите же, не лучше ли нам бросить в окно литературную дрянь и приняться с терпением подбирать все наше первобытное, слово к слову, где бы оно ни было, не брезгая, как модная графиня, простотою крестьянской, а дорожа, как русский, всем, что остается в нас русского. Познанием старины нашей дойдем мы до познания нашего языка, нашего народного духа, нашего народного требования.

И тогда будет у нас словесность своебытная, выражение не переимчивой, вялой бездарности, а полезного, трудолюбивого успеха, предмет народной гордости, народного наслаждения, народного усовершенствования... Я немного разгорячился, – продолжал Иван

Васильевич, – но не прав ли я?.. Признайтесь, вы, кажется, размышляете?..

Василий Иванович не отвечал ни слова. Красноречивая выходка Ивана Васильевича, как вообще все, что касалось до русской литературы, произвела на него обычное свое действие: он спал сном праведного.

XI

Русский барин

Погода была пасмурная. Не то дождь, не то туман облекали мертвую окрестность влажною пеленой. Впереди вилась дорога темно-коричневой лентой. На одинокой версте сидела галка. По обеим сторонам тянулись изрытые поля да кое-где мелкий ельник. Казалось, что даже природе было скучно.

Василий Иванович, завернувшись в халат, ергак и шушун, лежал навзничь, стараясь силой воли одолеть толчки тарантаса и заснуть наперекор мостовой. Подле него на корточках сидел Иван Васильевич в тулупчике на заячьем меху, заимствованном по необходимости у товарища. С неудовольствием поглядывал он то на серое небо, то на серую даль и тихо насвистывал *Nel furor delia tempesta* – арию, которую, как известно, он в особенности жаловал. Никогда время не идет так медленно, как в дороге, в особенности на Руси, где, сказать правду, мало для взора развлеченья, но зато много беспокойства для боков. Напрасно Иван Васильевич старался отыскать малейший предмет для впечатления: все кругом безлюдно и безжизненно. Прошел им навстречу один только мужик с лаптями на спине, да снял им шапку из учтивости, да две клячи с завязанными передними ногами приветствовали около плетня поезд их довольно странными прыжками. Иван Васильевич схватил было уж свою книгу и хотел было бросить ее с негодованием в большую лужу, в которой тарантас едва не остался, как вдруг он разинул рот, вытаращил глаза и протянул руку. Вдали показался какой-то странный ком, как черное пятно на коричневом грунте. Иван Васильевич встрепенулся.

– Василий Иванович, Василий Иванович!

– А?.. Что, батюшка?..

– Вы спите?..

– Да черта с два, будешь тут спать!

– Взгляните-ка на дорогу.

– Чего я там не видал?

– Никак кто-то едет.

– Купцы, верно, на ярмарку.

– Нет; это, кажется, карета.

– Что, что?.. А, да и в самом деле... Уж не губернатор ли?

Тут Василий Иванович поправил немного беспорядок своего дорожного костюма, из лежачего положения с трудом перешел в сидячее, поправил козырек картуза, очутившийся на левом ухе, и, подняв ладонь над глазами, слегка приподнялся над пуховиком.

– А, да и в самом деле карета, да и стоит еще. Верно, изломалось что-нибудь: рессора опустилась, шина лопнула. В этих рессорных экипажах что шаг, то починка. То ли дело, знаешь, хороший тарантас: не изломается, не опрокинется, только дорога бы хорошая, так даже и не тряско.

Между тем они подвигались к предмету их любопытства. В самом деле, посреди дороги стояла карета, и даже карета щегольская, дорожный дормез. Ни сзади, ни спереди не было видно чемоданов, перевязанных веревками, ни коробов, ни кульков, употребляемых православными путешественниками. Карета, исключая грязных прысков, была устроена как для гулянья. Из окна выплядывал господин в очках и турецкой ермолке и ругал своих людей самыми скверными словами, как будто они были виноваты, что в английской карете лопнула рессора.

– Эй вы! – закричал он довольно неучтиво подъезжающему тарантасу. – Помогите, пожалуйста.

– Стой! – закричал Василий Иванович. Иван Васильевич ахнул.

– Князь... Как это вы здесь... в России?

Князь с недоверчивостью взглянул на нежданного знакомца и спросил сквозь дым сигарки:

– А вы как меня знаете?

Иван Васильевич поспешно сбросил тулупчик на заячьем меху, выскочил из тарантаса и подбежал к дверцам кареты.

– Здравствуйте, князь. Вы меня не узнаете: я – Иван Васильевич... Мы с вами виделись прошлого года в Париже.

– Ах, это вы? *Que diable!* Какой черт думал вас здесь встретить?

– Да вы-то сами как сюда заехали? Я думал, что вы всегда живете за границей.

– Грешный человек! Я душой русский, но не могу жить в родине. Понимаете, кто привык к цивилизации, к жизни интеллектуальной, тот без них жить не может. Эй вы, скоты! – прибавил он, обращаясь к

своим слугам. – Возьмите их кучера, да делайте скоро. Чего вы, каналы, смотрели? Я пятьсот палок вам, каналы. Выдрать прикажу, чтоб помнили. Русский народ! Сага patria! – продолжал он презрительно, обращаясь к Ивану Васильевичу. – Другого языка не понимают. Без палки ни на шаг. Мои люди остались за границей, а со мной болваны, знаете, которые еще батюшке служили.

– Куда же вы едете? – спросил Иван Васильевич.

– Ах, не спрашивайте, пожалуйста! Такая тоска, что ужас. В деревню еду. Нечего делать. Бурмистр оброка не высылает; черт их знает, что пишут! Неурожай у них там какой-то, деревня какая-то сгорела. А мне что за дело? Я человек европейский, я не мешаюсь в дела своих крестьян; пускай живут как хотят, только чтоб деньги доставляли аккуратно. Я их наскрозь знаю. Такие мошенники, что ужаси! Они думают, что я за границей, так они могут меня обманывать. Да я знаю, как надо поступать. Сыновей бурмистра в рекруты, неплательщиков в рабочий дом, возьму весь доход на год вперед да на зиму в Рим... Ну, а вы что поделяваете?..

– Да я так-с... Хотел было путешествовать.

– Как! По России?

– Да-с.

– Ах, это оригинальная идея! Как бишь это говорится? Охота пуще, пуще чего-то...

– Пуще неволи...

– Да, да, пуще невольно. Что же вы хотите здесь видеть?

– То, чего не увидишь за границей.

– Право! Желая вам удовольствия и успеха. По-моему, умирать за родину, только жить за границей.

– Разумеется! – сказал Иван Васильевич. – За границей жить веселее.

– То есть не везде. В Германии, например, жить зимой несносно: философы, ученые, музыканты, педанты на каждом шагу. Париж – так. Париж на все вкусы. Летом Баден; зимой Париж; иногда Италия. Вот жизнь так жизнь! Вы помните маленькую герцогиню Бенвильскую?

– Как же.

– Она теперь с нашим русским, с Сережей.

– Право? Каковы наши молодцы!

– А про наших барынь и говорить нечего. Так весело живут, что страх. Помните вы?..

Тут князь начал что-то довольно тихо говорить на ухо Ивана Васильевича.

Иван Васильевич прерывал только с удивлением:

– Как, и она?..

Князь улыбался и продолжал себе шепотом:

– И она; да и как еще... да то-то и то-то, да с тем-то и с тем-то... да вот еще... каковы наши дамы?.. А?..

– Ну! А вы что, князь? – спросил наконец Иван Васильевич.

– Да я все тот же. Скучаю. Жениться поздно, остепениться рано. Для службы стар, для дела не гожусь. Люблю жить спокойно. Правду сказать, радости мало, ну а кое-как время убиваю... Скажите, пожалуйста, что это за странная фигура сидит с вами в вашей бричке?

– В тарантасе? – сказал, запинаясь, Иван Васильевич.

– А! Эта штука называется тарантасом? Та-ран-тас. Так ли?

– Да.

– Тарантас. Буду помнить... Ну, а кто едет с вами?

– Это Василий Иванович. Помещик казанский. Он неуклюж немного... и оригинал большой, но человек не глупый и рассудительный.

– Право, я такой странной фигуры давно не видывал. Ну, починили, что ли?

– Починили, ваше сиятельство!

– Ну, прощайте, любезный, надеюсь с вами еще видеться в Париже... Не забудьте, Rue de Rivoli, bis 17. Недели через две я надеюсь перебраться из России... Откровенно говорить, я совершенно отвык от здешних нравов... Ну, пошел! – закричал он, высунувшись в окно. – А ты, Степан, хорошенько ямщика в спину, слышишь ли? В спину его, каналью, чтоб гнал он кляч, пока не издохнут.

Грозный кулак Степана поднялся над ямщиком, и карета помчалась стрелой, закидав грязью и тарантас и наших путников.

– Батюшка, – спрашивал Василий Иванович, пока Иван Васильевич снова карабкался на свое сиденье, – скажи-ка из милости, кто это такой?..

– Знакомый мой парижский.

– Француз?

– Нет, русский. Только в России жить он не может – не по его нраву; отвык совсем.

– Извольте видеть! Куда же он едет?

– В деревню, собирать недоимки.

– А где его деревня?

– В Саратове.

– Помилуй, братец, да там третий год ничего не родится.

– Ему какое дело? Он слышать о том не хочет.

– Вот как-с. Ну, а как оберет он крестьян своих, так тотчас и за границу?

– Тотчас.

– На житье?..

– На житье...

– Поросенок! – промолвил вдруг красноречиво Василий Иванович и снова повалился на свой пуховик.

И снова потянулась мертвая окрестность; снова сырой туман облек путников, и снова стали мелькать одинокие версты в безбрежной пустыне.

Прошел час, другой. Путники, казалось, о чем-то думали. Вдруг Василий Иванович прервал молчание довольно странным монологом:

– А в самом деле, черт знает что это за народ русские дворяне... Много, изволишь ты видеть, денег завелось, так надо с немцами протранжирить, чтоб русскому человеку невзначай чего-нибудь не досталось. Уж точно будто в России и жить нельзя, что все они вон так и лезут. Видно, курьез там большой, то есть такой курьез, какого мы и представить не можем. Скажи-ка, братец, что за границей люди так же ходят на ногах, как и мы, дурни?

– Совершенно так.

– Шутишь. Так-таки и ходят, и женятся, и умирают тоже?

– И умирают.

– Что ты говоришь! По крайней мере, там нищих нет, притеснений нет, голода не бывает?

– Все есть.

– Статочное ли дело! Ну скажи мне по крайней мере, так что же ты видел такого особенно замечательного за границей?

– Россию, – отвечал Иван Васильевич.

– Вот те на! Так, кажется, и не стоило беспокоиться ездить так далеко?

– Напротив. Россию понять и оценить можно, только посмотрев на другие страны.

– Объясни, батюшка.

– Объяснить не трудно. Вы знаете, что истина обнаруживается только посредством сравнений; следовательно, только посредством сравнений можем мы оценить преимущества и недостатки нашей родины, и, кроме того, чужой пример может указать нам на то, чего мы должны остерегаться и что должны мы перенять.

– Что же бы перенять, по-твоему?

– К сожалению, многое. Во-первых, чувство гражданственности, гражданской обязанности, которого у нас нет. Мы привыкли сваливать все на правительство, забывая, что ему нужны орудия. Мы служим не по убеждению, не по долгу, а для выгод тщеславия; и хотя мы любим свою родину, но любим ее как-то молодо, нерассудительно горячо. Общее благо у нас – пустое имя, которого мы даже не понимаем. С чувством гражданственности получим мы стремление к вещественному и умственному усовершенствованию, пойдем всю святость прочного воспитания, всю высокую пользу наук и художеств, все, что улучшает и облагораживает человека. Германия передаст нам свою семейственность, Франция – свою пылливость в науках, Англия – свои торговые познания и чувство государственных обязанностей, Италия даже перенесет на морозную нашу почву свои божественные искусства.

– Вот как! – сказал Василий Иванович. – А чего же нам остерегаться?

– Того, что губит Европу... Духа самонадеянности, кичливости и гордости; духа сомнения и неверия, с которыми движение вперед делается невозможным; духа раздора и беспокойства, который все уничтожает. Остережемся надменности германской, английского эгоизма, французского разврата и итальянской лени – и перед нами откроется такой путь, какой никакому народу не открывался. Взгляните на неизмеримое пространство нашей земли, на единство ее образования, на гигантское ее построение – и на душе вашей станет страшно... И потом взгляните на народ, населяющий эту землю, народ правдивый, веселый, умный, духа непоколебимого и силы

исполинской, – и вам станет легко на душе, и вы порадуетесь судьбе великой земли. Но лучший залог, лучший признак настоящего и будущего величия России – это могучее ее смирение. У нас нет, как за границей, ни пустых возгласов, ни вздорного шума из пустяков, потому что мы друг перед другом не должны надуваться, чтоб придать себе важности. В нас спокойствие и сознание силы, оттого мы не только иногда кажемся равнодушными к родине, но как будто совестимся перед Европой и хотим извиниться в своих преимуществах. Только не трогайте святой Руси, не то все встанем без крика и незваных гостей одними шапками закидаем.

– Да, да, да, – сказал Василий Иванович, – так, по-твоему, замечательно за границей...

– Прошедшее.

– А в России?

– Будущее.

– Да, да... Ну... Хорошо. Только, правду тебе сказать... не понимаю я, как вашу братью пускают шататься по свету... Набираетесь таких мыслей и говорите такие экивоки, что сразу даже и не поймешь.

– Э, Василий Иванович, путешествия вреда никому не приносят. Умный видит и становится умнее и тем уже приносит пользу. А дураков и в России не нужно... много и без путешествующих останется.

Разговаривая таким образом, они хоть медленно, но все-таки подвигались. Ночь прошла кое-как в сопровождении толчков и прерываемого засыпания, и на другой день рано развилась перед ними чудесная панорама въезда в Нижний Новгород.

XII

Печорский монастырь

Если когда-нибудь придется вам быть в Нижнем Новгороде, сходите поклониться Печорскому монастырю. Вы его от души полюбите.

Уже подходя к нему, вы почувствуете, что в душе вашей становится светло и безмятежно.

Сперва все бытие ваше как будто расширяется, и существование ваше станет вам яснее от одного взгляда на роскошную картину приволжского берега. Налево у ног ваших, под ужасною крутизною, вы увидите широкую реку-матушку, любимую народом, прославленную русскими поверьями; гордо играет она, и блещет серебряной чешуей, и плавно и величественно тянется в сизую даль. Направо, на скате горы, громоздятся дружною кучей между кустов и деревьев живописные хаты, а над ними, на обрыве, вдавшемся в реку, вы видите белую ленту монастырской ограды, из среды которой возвышаются куполы церквей и келий иноков.

Обогните гору, спускайтесь по широкой дороге к монастырским воротам и отряхните все ваши мелочные страсти, все ваши мирские помышления: вы в монастырской ограде.

Вокруг вас печально тянутся длинные строения. Посреди двора две старинные церкви соединяются крытыми наружными переходами. Здесь, в этих церквах, безмолвных свидетелях нашей забытой старины, под тяжелыми их сводами и резными иконостасами, много было вылиты и слез и молитв от набегов татар, от вторжений поляков, о славе и многолетию князей нижегородских.

Ступени церквей уже заросли травой. Кругом, между густым кустарником, белеют памятники и уныло наклоняются на землю надгробные кресты. Здесь все дико и мрачно; здесь порог суеты человеческой; здесь все тихо, все молчит, все мертво, и лишь изредка монах в черной рясе мелькает тенью между могил.

Скромный домик архимандрита примыкает к обители, всей братии. Домик прост и не роскошен, но из окон его, с ветхого его

балкона открывается самая роскошная картина, пестреют вдали все богатства России.

С одной стороны, на гористом берегу возвышается древний кремль, и чешуйчатые колокольни высоко обозначаются в голубом небе, и весь город наклоняется и тянется к приволжскому скату. С другой, луговой стороны взор объемлет необозримое пространство, усеянное сёлами и орошенное могучими течениями Оки и Волги, которые смешивают свои разноцветные воды у самого подножия города, и, смешиваясь, образуют мыс, на котором кипит и бушует всему миру известная ярмарка; на этом месте Азия сталкивается с Европой, Восток с Западом; тут решается благоденствие народов; тут ключ наших русских сокровищ. Тут пестреют все племена, раздаются все наречия, и тысячи лавок завалены товарами, и сотни тысяч покупателей теснятся в рядах, балаганах и временных гостиницах. Тут все население толпится около одного кумира – кумира торговли. Повсюду разбитые палатки, привязанные обозные телеги, дымящиеся самовары, персидские, армянские, турецкие кафтаны, перемешанные с европейскими нарядами, повсюду ящики, бочки, кули, повсюду товар, какой бы он ни был: и брильянты, и сало, и книги, и деготь, и все, чем только не торгует человек. Но этого мало: вода не уступает земле. Ока и Волга тянутся одна с другой, как два огромные войска, сверкая друг перед другом бесчисленным множеством флагов и мачт. Тут суда всех именованний, со всех концов России, с изделиями далекого Китая, с собственным обильным хлебом, с полным грузом, ожидающие только размена, чтоб снова идти или в Каспийское море, или в ненасытный Петербург.

Какая картина и какая противоположность! Внизу – жизнь во всем разгуле страстей, наверху – спокойствие келий; там переменчивость, опасения, страх, буйство и страсти; здесь безмятежная совесть и слово прощения на устах. И каждое утро и каждый вечер над шумным торжищем вселенной мирный пастырь тихо творит молитву и невольно думает и задумывается о ничтожестве земной суеты.

А ночью, когда небо усеяно звездами, когда в Волге отражается месяц и кое-где мелькает на берегу забытый огонек, а вдали звонко раздается заунывная песня бурлака, как хорошо на этом месте, какая душевная прохлада навеивается тогда свыше, какое тихое, светлое счастье наполняет тогда целое бытие. Поверьте мне: если вам

придется быть в Нижнем Новгороде, сходите поклониться Печорскому монастырю.

К тому же, войдя в него, вы как-то невольно переноситесь в другое время, к другим обычаям, к другой жизни. Перед вами воскресает какой-то странный остов погибшей старины. Вам показывают древнюю ризницу, древнюю утварь, древние синодики. Вы стоите посреди полуобрушившихся строений; вы живете прошедшей жизнью, и редкие остатки нашего народного искусства как бы печально упрекают нас в нашем непростительном нерадении.

И да не покажутся странными эти слова. Искусства существовали у наших предков, и если не в наружном развитии, то по крайней мере в художественной понятливости и в художественном направлении. Наши песни, образа, изукрашенные рукописи служат тому доказательством. Но зодчество оставило значительнейшие следы, и в таком обилии, в таком совершенстве, что теперешние наши здания, утратив оригинальность, характер и красоту, чуждые русскому духу и требованию, кажутся совершенно ничтожными и неуместными. Но тут рождается вопрос: возможно ли народное зодчество и как отыскать его начала, как создать его правила? Оно возможно только посредством изучения и разложения оставшихся памятников. И как бы это ни показалось странным, но уж с первого взгляда находим мы два важные указания в двух зданиях, менее прочих утративших свой первобытный образ: в церквах и избах. И в самом деле, изба и церковь не могут ли сделаться основанием русского искусства так, как народность и вера служат основанием русского величия?

Изучая здания сии не в целом, а в подробностях, мы находим почти целую историю нашей родины: наличники, карнизы, перила, крыши, окна – все отдельно принадлежит к известной эпохе, к особому случаю. И тут, как во всем, Европа сталкивается у нас с Азией, и восточные арабески нередко сплетаются с итальянскими украшениями. Замечательно тоже, что наружность наших храмов приняла форму азиатских минаретов, вероятно, по вторжении татар, но внутренность их осталась чисто византийская: не служит ли это символом того, что если враги и поработили наш край, то сила их была только наружная, а что в глубине сердца своего святая Русь никогда не изменяла своему закону и никогда не изменит своему призванию? Вообще можно сказать, что в нашей народной архитектуре господствуют три начала:

начало византийское, или греческое, перенесенное вместе с верою во времена Владимира; начало татарское, или испорченное арабское, водворенное с татарами, и, наконец, начало времен Возрождения, заимствованное у Запада в царствование Иоанна Грозного. Изучение этих начал и взаимной их ответственности могло бы служить основой для наших зодчих. Им предстояла бы, кажется, великая и прекрасная задача посредством мелких украшений, отдельных частей, уцелевших подробностей, словом, посредством всех указаний, разбросанных по России, воссоздать исчезающее искусство, отнюдь не уничтожая освященную веками связь трех различных начал, но изучив только каждое начало в настоящем его источнике. И отчего бы, кажется, не придать снова нашим строениям тот чудный, оригинальный вид, который так изумлял путешественников? зачем уничтожать те странные, фантастические формы, те чешуйчатые крыши, те фаянсовые наличники и подоконники, те изразцовые карнизы, заменяющие на севере камень и мрамор, которые так живописны для взора и придают каждому зданию такой неожиданный и своеобразный вид? Пусть зодчество водворит на Руси народное искусство, а за ним последуют и живопись, и ваяние, и музыка. Первые увековечат нашу жизнь и нашу славу, а последняя будет шевелить и возвышать душу близкими сердцу звуками и новыми узами прикует нас к нашей родине.

Но обратимся снова к Печорскому монастырю. Его история проста. Прежде он был богат, теперь он беден; прежде к нему было приписано восемь тысяч душ и он имел много вкладчиков, которые все записаны в синодиках, с тем чтобы в память их творимы были молитвы; теперь вотчины отошли в другое владение; щедрый вкладчики исчезли. Одни лишь молитвы остались неизменными, как прежде.

Самый древний монастырский синодик ведется с царствования Иоанна Грозного и включает в себе именные списки многих владетельных и боярских домов, перемешанных с скромными подаяниями об упокое душ подъячих приказной избы, судовых ярыжек, посадских, дьяков и простых крестьян. Странно видеть эту огромную книгу смерти, где вся мертвая старина вытягивается перед нами бесконечной панихидой. Тут поименованы князья киевские, владимирские, московские, нижегородские; тут исчислены епископы и

архимандриты, из которых одних монастырских тридцать пять; тут встречаются имена русского боярства: роды Годуновых, Репниных, Бельских, Воротынских и многих других; род Стольпина-Ромодановского; род гостя Василия Шустова, род мурз мордовских, какой-то князь Симеон убиенный, род боярина и дворецкого князя Алексея Михайловича Львова и многие, многие другие, которые исчезли навсегда, оставив лишь одно имя на пожелтевших листках синодика. И в этих немых названиях скрываются, может быть, тайны, затерянные навек, высокие мысли, прекрасные дела, твердые чувства, и много счастья, и много горя, и много надежд, и много обманов, целые важные события, быть может, целая исчезнувшая летопись, целый мир, погибший навсегда.

В кормовом синодике хранятся описи вкладов, и между ними поражают вас следующие слова:

«Царь Иоанн Васильевич велел написать в синодике князей и бояр и прочих опальных людей по своей государственной грамоте. А дал по ним на поминок их 800 рублей, а панихиду архимандриту служить собором. В 1620 году по убиенном архимандрите Иове дано вкладами деньгами 70 рублей и рубли на 123 рубля 13 алтын 4 деньги. В 1625 году царь и великий князь Михаил Федорович прислал в монастырскую казну к архимандриту Макарию 30 рублей на поминовение царицы Марии Володимировны. И в память таких дней, – гласит синодик, – ставить на братию кормы большие, с калачами, с рыбою и с медом».

Так стоит Печорский монастырь с XIV столетия, с царствования великого князя Иоанна Даниловича Калиты, не вмешиваясь в дела мирские, но лишь тщательно записывая в свои летописи тления имена грешных, за которых он молится. В истории известно только, что во время нашествия татар обитель была опустошена, а в 1596 году она вдруг спустилась по скату горы на пятьдесят сажен. Такое необычайное событие было признано целою Россией за горестное предзнаменование. Но царская щедрость царя Михаила Федоровича прочно восстановила монастырь на новом основании. До сих пор видна еще часовня, уцелевшая на том месте, где прежде стояла целая обитель. Еще известно, что, когда Россия изнывала под игом поляков, печорский архимандрит Феодосий был послан с чиновными и избранными людьми в Пурецкую волость к князю Пожарскому,

склонил его принять начальство над войском и тем спас Россию от тяготеющего над нею ярма.

С того времени Печорский монастырь забыт в русской истории. С того времени мирские волнения не переступали более за его благочестивую ограду; и тихо и грустно стоит он над Нижним, прислушиваясь печально к неумолкаемому шуму кипящего базара. Он все видел на своем веку: и междоусобия, и татарские набеги, и польские сабли, и боярскую спесь, и царское величие. Он видел древнюю Русь; он видит Русь настоящую, и по-прежнему тихо сзывает он православных к молитве, по-прежнему мерно и заунывно звонит в свои колокола.

Поверьте мне: если вы будете в Нижнем Новгороде, сходите помолиться в Печорский монастырь.

ХІІІ

Помещик

Тарантас медленно катился по казанской дороге.

Иван Васильевич презрительно поглядывал на Василия Ивановича и мысленно бранил его самым неприличным образом.

«О дубина, дубина! – говорил он про себя. – Самовар бестолковый, подъяческая природа, ты сам не что иное, как тарантас – уродливое создание, начиненное дрянными предрассудками, как тарантас начинен перинами. Как тарантас, ты не видел ничего лучше степи, ничего далее Москвы. Луч просвещения не пробьет твоей толстой шкуры. Для тебя искусство сосредоточивается в ветряной мельнице, наука – в молотильной машине, а поэзия – в ботвинье да в кулебяке. Дела тебе нет до стремления века, до современных европейских задач. Были бы лишь у тебя щи, да баня, да погребец, да тарантас, да плесень твоя деревенская. Дубина ты, Василий Иванович! И бедные мои путевые впечатления погибают от тебя; я просил тебя остаться в Нижнем, дать мне время все обегать, все осмотреть, все описать. – Куда! «Ярмарка, – говорил ты, – еще не началась; монастырей и церковей и в Москве много: там бы успел насмотреться. А теперь, батюшка, не прогневайся, некогда: Авдотья Петровна дожидается. Мужички давно встречу заготавливают. Жнитво на дворе. Староста Сидор хоть и толковый мужик, на него положиться бы и можно, да вдруг запьет, мошенник; русский человек не может быть без присмотра. Авдотья Петровна хозяйство, правда, понимает, ну да иной раз, известно, надо и прикрикнуть и по зубам съездить, а для женщины все-таки это дело деликатное». Словом, садись, Иван Васильевич. Ступай не останавливаясь. Тарантас-то чужой. Да и везут-то тебя в долг».

При таком грустном воспоминании Иван Васильевич почел нужным вступить с Василием Ивановичем в дипломатический разговор.

- Василий Иванович!
- Что, батюшка?
- Знаете ли, о чем я думаю?

– Нет, батюшка, не знаю.

– Я думаю, что вы славный хозяин.

– И, батюшка, какой хозяин! Два года хлеба не молотил.

– В самом деле, я думаю, Василий Иванович, нелегко сделаться хорошим хозяином?

– Да поживи-ка лет тридцать в деревне, авось сделаешься, коли есть способность, а не то не прогневайся.

– Спасибо за совет.

– Изволишь видеть, сударь ты мой, я тебе скажу правду такую, какую никакой немец не поймет. Дай русскому мужику выбор между хорошим управляющим и дурным помещиком: знаешь ли, кого он выберет?

– Разумеется, хорошего управляющего.

– То-то, что нет. Он выберет дурного помещика. «Блажной маленько, – скажет он, – да свой батюшка; он отец наш, а мы дети его». Понимай их как знаешь.

– Да, – сказал Иван Васильевич, – между крестьянами и дворянством существует у нас какая-то высокая, тайная, святая связь, что-то родственное, необъяснимое и непонятное всякому другому народу. Этот странный для наших времен отголосок патриархальной жизни не похож на жалкое отношение слабого к сильному, удрученного к притеснителю; напротив, это отношение, которое выражается свободно, от души, с чувством покорности, а не боязни, с невольным сознанием обязанности, уже давно освященной, с полной уверенностью на защиту и покровительство.

– Да, да, да, – прервал Василий Иванович. – Ты понимаешь, что в хозяйстве ты с наемщиком ничего путного не сделаешь. Русский мужик должен тебя видеть и знать, что он для тебя работает и что ты видишь его, и тогда он будет работать весело, охотно, успешно. После де бога и великого государя закон велит служить барину. На чужих работать обидно, да и не приходится вовсе, а на барина сам бог велит. Они для тебя, ты для них – вот самый русский обычай и лучшее хозяйство.

– А правила для управления, Василий Иванович?

– Да какие, брат, правила? Привычка, сноровка да божья воля. Не суйся за хитростями, а смотри, чтоб мужик был исправен, да не допускай нищих; заведи подворную опись, не для переплета, а для

дела – понимаешь ли? Да и смотри в оба, чтоб у мужика было полное имущество, полный, так сказать, комплект.

– Что ж это такое?

– Вот что. У исправного мужика должна быть всегда в наличности хорошая крытая изба с сараем, две лошади, одна корова, десять овец, одна свинья, десять кур, две телеги, двое саней, одна соха, одна борона, одна коса, два серпа, одна колода, две кадушки, один бочонок, одно решето, одно сито. Кроме того, если у него нет особой промышленности, то он в яровом и в озимом поле должен иметь по две засеянные десятины и выгон для скота. Изволишь ты видеть: есть все это у мужика – мужик исправен. Есть у него лошадка лишняя да клади две хлеба в запасе – мужик богат. Нет у него чего-нибудь из этого – мужик нищий. Простая, кажется, механика. Первое мое правило, Иван Васильевич, чтоб у мужика все было в исправности. Пала у него лошадь – на тебе лошадь, заплатишь помаленьку. Нет у него коровы – возьми корову: деньги не пропадут. Главное дело – не запускать. Недолго так расстроить имение, что и поправить потом будет не в силу.

Если можешь и сумеешь – что бы тебе ни говорили мужики, заведи для них общественную запашку и мирской капитал. Из этих денег плати за их подушные и вообще исполняй сам от себя казенные повинности, дорожные, подводные, разумеется, что только возможно. Даже при сдаче рекрут бери издержки на себя. Мужик отвечает тебе, а ты за него и за себя отвечаешь правительству и даешь ему пример повиновения и исполнения своей обязанности.

– А мирские дела, раскладки, приговоры? – спросил Иван Васильевич.

– Мирские дела предоставь, братец, миру. Знаешь ли, что у нас на Руси ведется в волостях с исстари такой порядок, какой ни немец, ни француз, как они себе ни ломай голову, не выдумают. Посмотри, как они ровно и справедливо каждый год меняют между собой участки земли; послушай, как они решают тяжбы и ссоры; вникни, брат, хорошенько, как они иногда умно притворяются и как иногда мудро говорят.

– Я думаю, – заметил Иван Васильевич, – что мирские сходки должны быть отдаленным преданием прежних вечевых сходбищ.

– Не знаю, батюшка. Это уж не мое дело. Мое дело, чтоб мужик был сыт и здоров, без баловства только. Плати оброк исправно, на барщину выходи как следует. Поработал три дня – и поклонился; ступай куда хочешь, а дело свое исполни. Чай, ведь за три дня работы и за вашей-то за границей нет таких угодий для крестьянина – а?..

– Конечно, – заметил Иван Васильевич.

– То-то же. Немцы да французы жалеют об нашем мужике: «мученик-де!» – говорят, а глядишь, мученик-то здоровее, и сытее, и довольнее многих других. А у них, слышал я, мужик-то уж точно труженик; за все плати: и за воду, и за землю, и за дом, и за пруд, и за воздух, за что только можно содрать. Плати аккуратно; голод, пожар – все равно плати, каналья! Ты вольный человек; не то вытолкают по шеям, умирай с детьми где знаешь... нам дела нет. Уж эти мне французы! – прибавил Василий Иванович. – Все кричат, что у нас бесчеловечно поступают. А у них-то каково? Добро бы придумали что-нибудь путное, а то черт знает что за дичь городят. У русского человека уши вянут; ну, а признайся, тебе, чай, нравится?..

– Почему же? – спросил Иван Васильевич.

– Да ты, брат, ведь либерал. Все вы, молодые люди, либералы. Все не по-вашему. И то не так, и это не так, а спросишь: наставьте, добрые люди, – так и станете в тупик.

– У вас много дворовых? – прервал поспешно Иван Васильевич.

– Грешный, брат, человек. Много этих окаянных расплодилось. Для прислуги, знаешь, надо; ну, да и Авдотье Петровне нельзя уж чем и не потешиться. Полотно дома, знаешь, ткут; ковры прекрасные; право, можно похвастать. Намедни послал я еще коврик домашней работы исправнику в подарок – знатный коврик, знаешь, с ландшафтом, и охотник с ружьем в птицу стреляет. Поверишь ли? Исправник говорит, что это первый в уезде. Ну, Авдотья Петровна и рада. Ей, знаешь, и приятно: дело бабье.

– А фабрик у вас нет? – спросил Иван Васильевич.

– И слава богу! Сохрани тебя создатель от фабрик с хозяйственным устройством. У нас теперь между помещиками вошла в моду страсть строить фабрики на домашний манер. Расчет-то, кажется, прекрасный: свой мужик должен нарубить и приготовить лес, потом должен строить, потом должен работать на фабрике, подвозить дрова, чинить и делать машины и потом на своих лошадях развозить по

городам товар. Все свой мужик. Ничего, кажется, не стоит, потому что, изволишь видеть, своими; а на поверку, что выходит?.. Вся эта лишняя работа на столько же отнимает земледельческой работы, которая, кажется, все-таки самая важная. Хорошие мужики делаются пьяными мастеровыми; дети их становятся голодными дворовыми, ободранными, пьяными, неблагодарными бестиями, которых кормишь черт знает за что и которые всем недовольны и первые буяны в селе. Лошади крестьянские перепадают; силы крестьян истощатся; заведется распутство, а к тому обманывать и обкрадывать тебя так будут, что любо: как ты ни остерегайся, и в имении пойдет все вверх дном, такая катавасия, такой конфуз, что своих не найдешь. Вот тебе и фабрика! Нет, по-моему, если место у тебя по коммуникациям и выгодное для фабрики, есть у тебя изобилие леса, вода без употребления, а главное дело, чистый свободный капитал, не зависимый от имения, не доставшийся посредством залога, так тогда с богом заводи фабрику, но заводи ее на коммерческой ноге, как бы в самой Москве, на Кузнецком мосту. Ты уж фабрикант, а не помещик. Не смешивай этих двух дел. Не требуй от мужика ни прута лишнего, ни лишнего шага, да помни крепко, братец, что там, где заведется фабрика на домашний манер, мужики нищие, да, следовательно, и помещик-то сам недалеко от того же.

– Я думаю, – спросил Иван Васильевич, – что конторская отчетность должна быть очень затруднительна?

– Ничуть не бывало. У меня этим делом заведывает жена, Авдотья Петровна. Сперва делается разводка на треку вперед. Потом в полевом журнале записывается, что в треку исполнено. Для ужина и замолота особая тетрадь да две приходно-расходные книги: одна для хлеба, другая для денег. Вот тебе и вся наша мудрость!

– А есть ли у вас госпиталь и прочие врачебные средства? Заводите ли вы приюты для крестьянских детей во время полевых работ? Учредили ли вы ланкастерскую школу взаимного обучения?

– Эге-ге-ге!.. брат, чего захотел! У меня Авдотья Петровна сама лечит больных простыми средствами. Иногда и помогает, а учит читать у нас кого угодно пономарь. Два мальчика сами напросились. Такие, право, бойкие, а другие не охотники... Отцы, – говорят, – грамоте не знали, к чему ж и нам знать?

– Ну, а что же вы делаете в голодные годы? – спросил Иван Васильевич.

– Да бог милует: давно не было беды, да и запасы у меня в порядке. Ссуды ни у кого, слава богу, родясь не просил. Пятнадцать лет никак тому назад хозяйство-то еще, знаешь, было слабенькое, уж точно была невзгода. Озимь еще с осени червь поел. Весной бог не дал дождя. Словом, ни колоса, ни зерна, ровно ничего. Запасов не было. Что станешь тут делать? Пришли ко мне мужики и плачутся. «Беда, батюшка Василий Иванович! Ни себя, ни детей кормить нечем. Знать, последний час пришел». – «Ну, – говорю я, – ребяташки, что ж тут делать? У меня, слава богу, есть зерно в амбаре. Мог бы, правда, по тридцати рублей за четверть спустить, да бог не пошлет благословения на такое дело. Берите, пока хватит. Авось и прокормимся как-нибудь...» Слава богу, всем достало.

– Да это прекрасно! – воскликнул Иван Васильевич.

– Что ж тут хорошего? Не умирать же им впрямь с голода. Да этого мало. Кругом меня помещики все богатые, знатные, знаешь, такие, живут себе за границей – где им подумать о мужике. Знаешь ли, до чего доходило? Целое село выйдет на большую дорогу обстановить проезжего...

– Как, грабят? – спросил Иван Васильевич.

– Нет, брат, не грабят, а станут мужики на колени: «Сам, батюшка, видишь, не дай умирать, а за душу бога молить». И ко мне пришли, и я им все отдал, что осталось после моих собственных, отдал, разумеется, взаимы.

– И никогда не получили обратно?

– Знаешь же ты русского мужика! Все получил до зерна. Правда, цена-то была уже другая... Ну, да на сердце зато было весело...

– Так вас любят? – спросил Иван Васильевич.

– Сам увидишь, как домой приедем. Весь народ сбежится. «Батюшка-де Василий Иванович приехал...» Старый и малый все высыпят на господский двор, кто с гусем, кто с медом, кто с чем попало. «Здравствуйте-де, батюшка Василий Иванович. Что-де ты так долго к нам не жаловал? А мы так о твоей милости стосковались». – «Здорово, православные. Чай, поминали меня?» – «Как, батюшка, не поминать. Ты сына моего от рекрутчины спас; ты, батюшка, дом мне

построил; ты, батюшка, корову мне дал; ты, батюшка, дочь мою крестил; дай бог тебе, батюшка, здравствовать».

Глаза Василия Ивановича засверкали; Иван Васильевич взглянул на него с почтением... и сам тарантас показался ему едва ли не лучше самого щегольского иохимского дормеза.

XIV

Купцы

На другой день около вечера тарантас въехал в небольшой, но весьма странный городок. Весь городок заключался в одной только улице, по обеим сторонам которой маленькие серобревенчатые домики учтиво кланялись проезжающим. В окнах большая часть стекол была выбита и заменена масляной бумагой, из-за которой кое-где высовывались истертые вицмундиры, рыжие бороды да подбитые чайники.

– Уездный город? – спросил, потягиваясь, Иван Васильевич.

– Никак нет-с, – отвечал ямщик, – заштатный...

Между тем в движении тарантаса происходило что-то совершенно необычайное. Твердая его поступь вдруг стала робка и нерешительна, как будто бы он сделал какую-нибудь глупость. Неужели он, который никогда не чинится, никогда не опрокидывается, он – краса и радость безбрежной степи – осрамился на самой середине дороги и, как тщедушный рессорный экипаж, должен подлежать починке в городской кузнице? Печально и робко остановился он у станционного двора. Сенька слез с козел, обошел около него кругом, посмотрел под него, пощупал дрогу, пошатнул спицы, потом покачал головой и, сняв картуз, обратился к Василию Ивановичу с неожиданной речью:

– Как прикажете, сударь, а эвдак он двух верст не пройдет. Весь рассыплется.

– Что? – спросил с гневом и ужасом Василий Иванович.

Если б Василию Ивановичу доложили, что староста его пьян без просыпу, что Авдотья Петровна обкушалась и нездорова, его бы огорчили подобные известия, но все-таки не так, как измена надежного, любимого тарантаса.

– Что? – повторил он с заметным волнением. – Что?.. Сломался?..

– Да по мне все равно-с, – продолжал с жестокостью Сенька. – Как будет-с угодно-с. Сами извольте-с взглянуть. В переднем колесе шина лопнула... А вот-с в заднем три спицы выпали, да и весь-то еле держится. А впрочем-с... как прикажете-с. По мне-с все равно.

– Что же, чинить надобно? – жалобно спросил Василий Иванович.

– Да как прикажете-с. А известно-с, надобно чинить.

– Да в Москве из Каретного ряда подмастерье давно ли осматривал?

– Не могу знать-с... Как будет-с угодно. А эвдак-с, сами изволите видеть, эвдак не дойдет-с до станции. Добро бы еще одна хоть спица выпала, так все бы легче: можно бы проехать еще станцию, а может, и две бы станции... а то сами изволите видеть... Да и колеса такие непрочные... Лес-то гнилой совсем... А впрочем, по мне все р...

– Ну, молчи уж, дурак! – сердито закричал Василий Иванович. – Полно зевать-то по-пустому... Марш за кузнецом, да живо! слышишь ли?

Сенька помчался на кузницу, а приезжие грустно вошли на станцию. Смотритель был пьян и спал, поручив заботы управления безграмотному старосте. Смотрительша была в гостях у супруги целовальника.

С полчаса дожидались кузнеца. Наконец явился кузнец, с черной бородой, с черной рожой и черным фартуком. За починку запросил он сперва пятьдесят рублей на ассигнации, потом, после долгих прений, помирился на трех целковых и покатыл колеса на кузницу.

Староста засветил в чулане лучину, значительно поворочал подорожную между пальцами и наконец сказал с важностью:

– Лошади под экипаж-с готовы, как только ваша милость прикажете закладывать.

– Вот тебе и лошади! – заревел с досадой Василий Иванович. – Вот тебе наконец и лошади появились, когда ехать-то именно не в чем. Да черт ли нам в твоих лошадях!.. Иван Васильевич!

– Что прикажете-с?

– Да не напиться ли нам с горя чайку? Эй, борода! слышь ты: прикажи-ка самовар поставить. Чай, есть у вас самовар?

– Самовар-то есть, как не быть самовару! Да поставить некому: смотритель нездоров, хозяйка ихняя в гостях, да и ключи с собой унесла. А вот недалечко здесь харчевня. Там все получить можете. Коли угодно, вашу милость туда проводят...

– Что ж, пойдем, – сказал Василий Иванович.

– Пойдемте, – сказал Иван Васильевич.

– Эй ты! – закричал староста. – Сидорка, лысый черт, проводи господ к харчевне!

Они отправились. Харчевня, как все харчевни, – большая изба, крытая когда-то тесом, с большими воротами и сараем. У ворот кибитка с вздернутыми вверх оплоблями. Лестница ветхая и кривая. Наверху – ходячим подсвечником половой с сальным огарком в руке. Вправо – буфетная, расписанная еще с незапамятных времен в виде боскета, который еще кое-где высовывает фантастические растения из-под копоты и отпавшей штукатурки. В буфете красуются за стеклом стаканы, чайники, графины, три серебряные ложки и множество оловянных. У буфета суетятся два-три мальчика, обстриженные в кружок, в ситцевых рубашках и с пожелтевшими салфетками на плече. За буфетной небольшая комната, выкрашенная охрой и украшенная тремя столами с пегими скатертями. Наконец, сквозь распахнувшуюся дверь выплывает желтоватый бильярд, по которому важно гуляет курица.

В комнате, выкрашенной охрой, около одного из столиков сидели три купца: рыжий, черный и седой. Медный самовар дымился между их бород, и каждый из них, облитый тройным потом, вооруженный кипящим блюдечком, прихлебывал, прикрывал, поглаживал бороду и снова принимался за работу.

– Ну, а мука какова? – спрашивал рыжий.

– Ничего-с, – отвечал седой, – нынешний год с рук сошла аккуратно – грешно жаловаться. Вот-с в прошлом году, так могу сказать – не приведи бог! Семь рублей с куля терпели.

– Ге, ге, ге! – заметил рыжий.

– Что ж, – прибавил черный, – не все барыш. У хлеба не без крох. Выгружать, видно, много приходилось?

– Да на одной Волге раза три, что ли. Такие мели поделались, что не дай господи. А партия-то, признательно сказать, закуплена была у нас значительная.

– Коноводная? – спросил рыжий.

– Никак нет. Тихвинка да три подчалки. Ну, а уж перегрузка – известное дело. Кожу дерут, мошенники, бога не боятся. Что станешь с ними делать?

– Кто ж от барыша бегают? – заметил рыжий.

– Вестимо! – прибавил черный.

– Та-ак-с! – добавил седой. Рыжий продолжал:

– А я так в прошедшем году сделал оборотец. Куплено было, изволите видеть, у меня у татар около Самары несколько муки первейшего, могу сказать, сорта да кулей пятьсот, что ли, взято у помещика самой этакой, признательно сказать, мизеристой. Помещик-то никак в карты проигрался, так и пришлась-то она поистине больно сходно. Гляжу я – мучишка-то дрянь, ну, словно мякина. Даром с рук не сойдет. Что ж, говорю я, тут думать: взял да и перемешал ее с хорошей, да и спустил всю в Рыбне откупщику за первый, изволите видеть, сорт.

– Что ж, коммерческое дело, – сказал черный.

– Оборотец известный, – докончил седой.

Между тем Василий Иванович и Иван Васильевич распорядились тоже около одного столика, потребовали себе чаю и с любопытством начали прислушиваться к разговору трех купцов.

Вошел четвертый в синем изношенном армяке и остановился в дверях. Сперва перекрестился он три раза перед угольным образом, а потом, тряхнув головой, почтительно поклонился седому:

– Сидору Авдеевичу наше почтение.

– А! здорово, Потапыч. Просим покорно выкушать парочку с нами.

– Много доволен, Сидор Авдеевич. Все ли подобру-поздорову?

– Слава богу.

– И хозяйюшка и детушки?

– Слава богу!

– Ну, слава тебе господи! В Рыбну, что ли, изволите?

– В Рыбну. Да присядь-ка, Потапыч.

– Не извольте беспокоиться. И постоять можем.

– А чашечку?..

– Много доволен.

– Одну хоть чашечку.

– Благодарю покорно. Дома пил.

– Эй, брат, чашечку!

– Ей-богу, дома пил.

– Полно. Выпей-ка вприкусочку на здоровье.

– Не могу, право.

Седой протянул Потапычу чашечку, а Потапыч, поблагодарив, выпил чашечку духом, после чего поставил ее бережно на стол вверх

дном на блюдечко и поблагодарил снова.

– Ну вот этак-то ладно. Спасибо, Потапыч. Ну-тка, еще чашечку.

– Нет уж, ей-ей, немоготу. Много доволен за ласку и угощение. Чувствительно благодарен. Да я-с, Сидор Авдеевич, к вашей милости с просьбой.

– Передать, что ли, по торговле в Рыбне?

– Так точно-с. Трифону Лукичу. Покорнейше просим...

– Много, что ли?

– Тысяч с пяток.

– Пожалуй, брат.

Тут Потапыч вынул из-за пазухи до невероятия грязный лоскуток бумаги, в котором завернуты были деньги, и, поклонившись, почтительно подал их седому.

Седой развернул испачканный сверток, внимательно пересчитал ассигнации и золотые и потом сказал:

– Пять тысяч двести семнадцать рублей с полтиною – так ли?

– Так точно.

– Хорошо, брат. Будет доставлено.

Седой поднял полу своего армяка, всунул довольно небрежно сверток в боковой карман своих шаровар и занялся посторонним разговором.

– Каково торгуется, Потапыч?

– Помаленьку-с – к чему бога гневить?

– Ты ведь, помнится, салом промышляешь?

– Чем попало-с: и сало и поташ продаем. Дело наше маленькое. Капитал небольшой, да и весь-то в обороте. А впрочем, жаловаться не можем.

– Ну-ка, Потапыч, теперь еще чашечку.

– Нет-с уж, право, средства нет. Чувствительно доволен. Никак не могу.

Несмотря на упорное отнекивание, Потапыч снова выпил чашечку вприкусочку, потом, поблагодарив снова, почтительно раскланялся с седым, черным и рыжим, каждому поочередно пожелал телесного здоровья, хорошего пути, всякого благополучия и наконец исчез в дверях.

Вся эта сцена возбудила в сильной степени любопытство Ивана Васильевича.

– Позвольте спросить, – сказал он, присоседиваясь к купцам. – Он вам родственник, верно?

– Кто-с?

– Да вот этот, что сейчас вышел. Потапыч.

– Никак нет-с. Я его, признательно-то сказать, почти что и не знаю вовсе. Он, должен быть, мещанин здешний.

– Так вы дела с ним ведете по переписке?

Седой улыбнулся:

– Да он, чаю, и грамоте не знает, а делов у меня с ним не бывает. Обороты наши будут-с поважнее ихних, – прибавил седой с лукавым самодовольством.

– Так отчего же он не посылает своих денег по почте?

– Да известно-с, чтоб не платить за пересылку.

– А как же он не потребовал от вас расписки?

Черный и рыжий засмеялись, а седой взбесился не на шутку.

– Расписку! – закричал он. – Расписку! Да если б он от меня потребовал расписку, я бы ему его же деньгами рожу раскрыл. Слава богу, никак уж пятый десяток торгую, а энтакого еще со мной срама не бывало.

– Извольте видеть-с, милостивый государь, не имею удовольствия знать, как вас чувствовать, – сказал рыжий, – ведь-с это только между дворянами такая заведенция, что расписки да векселя. У нас, в торговом деле, такой-с, этак-с сказать, политики не употребляется вовсе. Одного слова достаточно. Канцеляриями-то, извольте видеть, заниматься некогда. Оно хорошо для господ служащих, а нашему брату несподручно приходится. Вот-с, примером будь сказано, – продолжал он, указывая на седого, – они торгуют, может статья, на миллион рублей серебром в год, а весь расчет на каких-нибудь лоскутках, да и то так только, для памяти.

– Да это непонятно, – прервал Иван Васильевич.

– Где ж вам и понять? Дело коммерческое, без плана и фасада. Мы с детства попривыкаем. Сперва, извольте видеть, в приказчиках либо в сидельцах даже, а уж после и сами-с вступаем в капитал. Тут уже, признательно сказать, дремать некогда. Фабрику завел – сиди на фабрике. Лавку открыл – не пропускай хорошего покупателя. Дело коли на стороне есть выгодное – запрягай кибитку, не жалей костей, никому не вверяйся: сам лучше увидишь, по простому своему разуму.

Признательно сказать, работа нелегкая. Сам у себя батрак. Да и притом еще частехонько изъян терпишь. Ну, а не ровен час, иногда и благословит господь, и дрянной товар пойдет втридорога. А уж, признательно-то сказать, об прихотях да турусах думать и не приходится. Вот-с, примером буде сказано, кафтан-то, что на мне, никак уж одиннадцатый год сшит, а в кафтане-то тысяч сотня с хвостиком; да вот-с у них не меньше будет, а вот-с у них так и побольше.

– И вы не боитесь, чтоб вас ограбили? – с удивлением спросил Иван Васильевич.

– Ничего, батюшка, бог милостив. Кибитка у нас, изволите видеть, дрянная. Да и народ здесь, слава богу, не такой азартный. Ну, бечевку, постромку какую-нибудь и украдет, пожалуй, а разве уж злодей какой-нибудь посягнет на такие деньги. Вот-с мы никак пятнадцатый год по этой дороге ездим: слава богу, ни от кого обиды не видали.

– Знаете-с, – подхватил седой, – вот-с когда плохо: когда наш брат зазнается, да в знать полезет, да начнет стыдиться своего звания, да бороду обреет, да по-немецкому начнет копышаться. Дочерей выдаст за князей, сыновей запишет в дворяне. Тогда купец он не купец, барин не барин. Одет, кажется, знатным человеком, а все отдает сивухой. Тогда и делишки порасстроятся и распутство начнется, гульба, пьянство... Бога не станет бояться, а уж там и кредит лопнет, и не только без расписки, да и по векселю гроша ему никто между нами не поверит. Коли нет души, на чем хочешь пиши, ей-богу, так-с.

Иван Васильевич призадумался несколько минут. Занимаясь за границей судьбами России, он, разумеется, не забыл торговли, этого важного двигателя народного благоденствия. Только, за неимением сведений, он составил себе о русском торговом направлении какое-то утопическое понятие, не совсем сходное с действительностью, не совсем сообразное с возможностью. И тут, как всегда, в порыве беспокойного воображения он иногда приближался к истине, иногда увлекался чересчур за истину, а иногда от незнания и необдуманности давал решительные промахи. Обо всех предметах объяснялся он сгоряча, но поверхностно, потому что не имел терпения ничего изучить глубоко.

– Позвольте, – сказал он с обыкновенною горячностью, – вымолвить несколько слов. Мне кажется, что у нас в России много

людей покупающих и продающих, но что настоящей систематической торговли у нас нет. Для торговли нужна наука, нужно стечение образованных людей, строгие математические расчеты, а не одно удалое авось. Вы наживаете миллионы, потому что обращаете потребителя в жертву, против которого все обманы позволительны, и потом откладываете копейку к копейке, отказывая себе не только в удовольствиях, но даже в удобствах жизни. У вас только одна выгода настоящей минуты в глазах, и притом каждый думает только о себе отдельно, опасаясь товарищей и не заботясь об общей пользе. Вы только одно имеете в виду: как бы купить подешевле и продать подороже. В частной жизни вы пяти копеек не возьмете у незнакомого, а в торговом деле вы немилосердно обкрадываете родного брата. Честность у вас раздваивается на два понятия: в первом обман у вас называется обманом, во втором – барышом. Таким образом, торговля делается нередко грабительством, а не разменом. Масса потребителей страдает от того, и, следовательно, целый край беднеет в пользу корыстолюбивых, незаконных взяток.

– Помилуйте! – воскликнул рыжий. – Мы не приказные, примером сказать.

– Хуже. Их взятки добровольные, а ваши насильственные. Еще вы хвастаете, что обогащаетесь своим трудом, своими боками, в скверных кибитках, в дырявых кафтанах. Да ведь при вашем состоянии эта крайность не лучше крайности тех из ваших собратий, которые гуляют с цыганами или, чего доброго, получив класс, воображают себя дворянами. Вы хвастаете невежеством, потому что смешиваете разврат с просвещением. Вы гнушаетесь просвещения, потому что видите его в кургузом платье, в немецких мебелиях и бронзах, в шампанском, которое попивают ваши сынки, – словом, в глупой наружности, в жалких привычках. Поверьте, это не просвещение, не образование. Просвещение не обреет вам бороды, не переменит вашего кафтана: ему дела нет до того; просвещение покажет вам, что обман, как бы он ни был выгоден, все-таки обман; оно наставит вас в науках, для вас необходимых, даст вам познание мест и местных требований, опытность в исчислениях, в мореплавании, в оборотах, основанных не на мирном разбое, а на верных условленных расчетах, приносящих всем пользу. Просвещение приведет в твердые правила то прекрасное чувство доверия, которое и без того между вами господствует в

частной жизни. Тогда вы не будете прятаться друг от друга, как теперь в своих делах, а, напротив, плотно свяжетесь между собой, и посредством совместного обращения ваших капиталов вы не только обогатитесь сами, но и возвеличите свое отечество. Большие выгоды добываются только большими средствами, совокуплением сил, а сколько у нас неисчислимых источников богатства, которые остаются неприкосновенными от недостатка двигателей! Призвание русского купечества, призвание ваше – раскопать руды народного богатства, разлить жизнь и силу по всем жилам государства, заботиться о вещественном благоденствии края так, как дворянство должно заботиться о его нравственном усовершенствовании. Соедините ваши усилия в прекрасном деле и не сомневайтесь в успехе. Чем Россия хуже Англии? А у английского купечества сотни миллионов людей во владении, не говоря о сокровищах. Поймите только свое призвание, осветитесь лучом просвещения – и неоспоримая ваша любовь к отчизне доведет вас до духа единства и общности, и тогда, поверьте мне, не только вся Россия – весь мир будет в ваших руках.

При этом красноречивом заключении рыжий и черный вытаращили глаза. Ни тот, ни другой не понимали, разумеется, ни слова.

Седой, казалось, о чем-то размышлял.

– Вы, может быть, – отвечал он после долгого молчания, – кое-что, признательно сказать, и справедливое тут говорите, хошь и больно грозное. Да, извольте видеть, люди-то мы неграмотные: делов всех рассудить не в состоянии. Как раз подвернутся французы да аферисты, заведут компании, а там, глядишь, – и поклонился капиталу. Чего доброго в несостоятельные попадешь. Нет уж, батюшка, по-старому-то оно не так складно да ладно. Наш порядок с исстари так ведется. Отцы наши так делали, и не промотались, слава богу, и капитал нам оставили. Да вот-с и мы потрудились на своем веку и тоже, слава богу, не промотали отцовского благословения, да и детей своих наделили. А дети пущай делают как знают, ихняя будет воля... Да не прикажете ли, сударь, чашечку?..

– Нет, спасибо.

– Одну хоть чашечку.

– Право, не могу.

– Со сливочками!..

XV

Нечто о Василии Ивановиче

Давно пора, кажется, познакомить поближе читателя с героями тарантаса. Читатель вообще человек любопытный, охотник до анекдотов. Он ни во что не ставит мысль, породившую рассказ, чувство, его одушевляющее. Он ищет в книге не поучений, а новых знакомых, новых лиц, похожих на того барина или на ту барыню, с которыми он ведет шляпочное знакомство. Кроме того, читатель любит пламенные описания, хитрую завязку, наказанный порок, торжествующую любовь – словом, сильные впечатления. Читатель вообще в этом немного похож на Ивана Васильевича.

Сочинитель сего замечательного странствования, греха таить нечего, думал было угодить своему балованному судье, рассказав ему какую-нибудь пеструю небывальщину. К несчастью, это было невозможно. Скучная правда решительно воспротивилась жгучим страстям Василия Ивановича и перепутанным похождениям Ивана Васильевича по казанской дороге. Сочинителю остается только сделать одно в угоду читателю: представить ему с должным почтением две мелкие, но, по возможности, подробные биографии двух главных лиц сего рассказа.

Начинается с Василия Ивановича

Василий Иванович родился в Казанской губернии, в деревне Мордасах, в которой родился и жил его отец, в которой и ему было суждено и жить и умереть. Родился он в восьмидесятых годах и мирно развился под сенью отеческого крова. Ребенку было привольно расти. Бегал он весело по господскому двору, погоняя кнутиком трех мальчишек, изображающих тройку лошадей, и постегивая весьма порядочно пристяжных, когда они недостаточно закидывали головы на сторону. Любил он также тешить вечный свой досуг чурком, бабками, свайкой и городками, но главное основание системы его воспитания заключалось в голубятне. Василий Иванович провел лучшие минуты своего детства на голубятне, сманивал и ловил крестьянских чистых голубей и приобрел весьма обширные сведения касательно козырных и турманов.

Отец Василия Ивановича, Иван Федотович, имел как-то несчастье испортить себе в молодости желудок. Так как поблизости доктора не обреталось, то какой-то сосед присоветовал ему прибегнуть для поправления здоровья к постоянному употреблению травничка. Иван Федотович до того пристрастился к своему способу лечения, до того усиливал приемы, что скоро приобрел в околотке весьма недиковинную славу человека, пьющего запоем. Со временем барский запой сделался постоянным, так что каждый день утром, аккуратно в десять часов, Иван Федотович с хозяйской точностью был уж немножко взволнован, а в одиннадцать совершенно пьян. А как пьяному человеку скучно одному, то Иван Федотович окружил себя дурами и дураками, которые и услаждали его досуги. Торговал он, правда, себе и карлу, но карла пришелся слишком дорого и был тогда же отправлен в Петербург к какому-то вельможе. Надлежало, следовательно, довольствоваться взрослыми плупцами и уродами, которых одевали в затрапезные платья с красными фигурами и заплатами на спине, с рогами, хвостами и прочими смешными украшениями. Иногда морили их голодом для смеха, били по носу и по щекам, травили собаками, кидали в воду и вообще употребляли на всевозможные забавы. В таких удовольствиях проходил целый день, а когда Иван Федотович ложился почивать, пьяная старуха должна была рассказывать ему сказки; оборванные казачки щекотали ему легонько пятки и обгоняли кругом его мух. Дураки должны были ссориться в уголку и отнюдь не спать или утомляться, потому что кучер вдруг прогонял дремоту и оживлял их беседу звонким прикосновением арапника

Мать Василия Ивановича, Арина Аникимовна, имела тоже свою дуру, но уж больше для приличия и, так сказать, для штата. Она была женщина серьезная и скупая, не любила заниматься пустяками. Она сама смотрела за работами, знала, кого выдрать и кому водки поднести, присутствовала при молотье, свидетельствовала на мельнице закормы, надсматривала ткацкую, мужчин приказывала наказывать при себе, а женщин иногда и сама трепала за косу. Само собой разумеется, что кругом ее образовалась целая куча разностепенной дворни, приживалок, наушниц, кумушек, нянек, девок, которые, как водится, целовали у Василия Ивановича ручку, кормили его тайком медом, поили бражкой и угождали ему всячески в ожидании будущих благ.

Василий Иванович был и без того пухлый ребенок, редко вымытый, никогда не чесанный, жадный, своевольный, без присмотра и наблюдения. Он рос себе по одним простым законам природы, как растет капуста или горох. Никто не заботился о его нравственном направлении, о его умственном и душевном развитии. Никто не объяснял ему прекрасных символов веры, никто не говорил ему, что одного наружного благочестия недостаточно и что каждый человек должен созидать невидимый храм в душе своей, должен прославлять всевышнего не одними словами, а чувствами и жизнью.

На одиннадцатом году Василий Иванович начал курс своего учения под руководством приходского дьячка и складывал с большим отвращением года два сряду всякому памятные буки аз – ба, веди аз – ва. После чего он начал и писать, но о каллиграфии и правописании не было упомянуто вовсе, так что и поныне Василий Иванович такие иногда мудреные чертит кавыки, такие иногда под пером его рождаются дикие слова, что глазам не верится. Потом учили его катехизису по вопросам и ответам и арифметике по тому же способу. Но тут все усилия остались, кажется, тщетны, потому что наука ему решительно не далась. Впрочем, к совершенному оправданию родителей его, надо сказать, что они взяли для воспитания сына и домашнего учителя. Оный учитель был малороссиянин, кажется, отставной унтер-офицер, именем Вухтич. Получал он жалованья шестьдесят рублей в год, да отсыпной муки по два пуда в месяц, да изношенное платье с барского плеча и нечто из обуви. Кроме того, так как платья было немного, потому что Иван Федотович вечно ходил в халате, то Вухтичу было еще предоставлено в утешение держать свою корову на господском корме. Василий Иванович мало оказывал почтения учителю, ездил верхом на спине его, дразнил его языком и нередко швырял ему книгой прямо в нос. Если же терпеливый Вухтич и выйдет, бывало, наконец из терпения и схватится за линейку, Василий Иванович кувырком побежит жаловаться тятеньке, что учитель его такой-сякой, бьет-де его палкой и бранит дурными словами. Тятенька спяна раскричится на Вухтича: «Ах ты, седой этакой пес, я тебя кормлю и одеваю, а ты у меня в доме шуметь задумал! Вот я тебя... смотри, по шеям велю выпроводить. Не давать корове его сена!..» А кумушки и приживалки окружат Василия Ивановича и начнут его утешать: «Ненаглядное ты наше красное

солнышко, свет наша радость, барин вы наш, позвольте ручку поцеловать... Не слушайте, ягода, золотой вы наш, хохла поганого: он мужик, наш брат... где ему знать, как с знатными господами обиход иметь...»

«Что же, в самом деле, – думал Вухтич, – не ходить же по миру...»
Заключением всего этого было то, что Вухтич женился на дворовой девке, получил в награждение две десятины земли, и воспитание Василия Ивановича было окончено.

Однако же, надо сказать правду, Василий Иванович имел от природы сердце доброе, нрав тихий и миролюбивый. Доказательством тому служит то, что даже и воспитание его не испортило. Я говорю воспитание за неимением слова, выражающего понятие, совершенно противоположное воспитанию. И странно, как подумаешь... Почти все наши деды учились на медные деньги, воспитывались как-нибудь, наудачу, то есть не воспитывались вовсе, а росли себе по воле божьей. И деды наши были, точно, люди неграмотные; редкий умел правильно подписывать свое имя, и, несмотря на то, они все почти были люди с твердыми правилами, с сильною волею и крепко хранили, не по логическому убеждению, а по какому-то странному внушению, любовь ко всем нашим отечественным постановлениям. Теперь старинная грубость исчезает, заменяясь духом колебания и сомнения. Жалкий успех, но, может быть, необходимый, чтоб надежнее и вернее дойти до истины.

Когда Василию Ивановичу наступил шестнадцатый год, он отправился в Казань на службу... Тогда недавно только образовались новые штаты по указу о губернских учреждениях. Василий Иванович служил несколько времени в канцелярии наместника, но, как еще поныне говорится в губерниях, для одной только *pour le proforme*. В самом деле, не оставаться же столбовому дворянину, хоть и безграмотному, недорослем. К военной службе Василий Иванович имел мало склонности, тогда как совершенная праздность вполне согласовалась с его способностями и привычками. В то же время вкусил он удовольствия светской жизни и стал удивительно отличаться на балах. Никто ловче его не прохаживался в матрадуре, монимаске, куранте или Даниле Купере. Иногда в небольшом кругу отхватывал он по просьбе дам и казачка, что всегда сопровождалось громкими изъявлениями удовольствия. Подобный случай решил даже участь его

навсегда. Как-то на именинах у прокурора просили его пройти любимый обществом танец вместе с молодой дочерью отставного секунд-майора Крючкина. Девушка долго жеманилась, но, как водится, по долгим убеждениям согласилась. Скромно опустив очи, зардевшись как маков цвет, она так мило подбоченилась, так легко начала подпрыгивать и влево и вправо, что сердце Василия Ивановича вздрогнуло и ноги едва не отказались. Но вдруг он оправился и с таким неистовым вдохновением пустился вприсядку, такие начал выделять ногами штуки, что вся комната потряслась от рукоплесканий, и некоторые подгулявшие собеседники начали даже притопывать и припевать, улыбаясь друг перед другом. Василий Иванович, задыхаясь, подошел к пристыженной от общего восторга красавице.

– Ах! – сказал он. – Лихо изволите...

Молодая девушка еще более зарделась

– Помилуйте-с... – отвечала она шепотом.

Эти слова и этот вечер остались навсегда памятны и для Василия Ивановича и для Авдотьи Петровны.

Василий Иванович влюбился не на шутку. Влюбилась ли также Авдотья Петровна – неизвестно и, вероятно, останется вечной тайной. Впоследствии, когда, уж сделавшись счастливым супругом, и расспрашивал ее про то Василий Иванович, она только, улыбаясь, приговаривала: «Ну, перестань же, балагур ты этакой!»

После памятного казачка все прелести супружеской жизни, все очарования Авдотьи Петровны неотлучно преследовали Василия Ивановича самыми заманчивыми картинками. В душу его вкралась нежная мысль и наконец до того им овладела, что он превозмог страх и робость и отправился в Мордасы испросить родительское благословение. Однако же попытка ему не удалась. Отец отвечал ему коротко и ясно:

– Вишь, щенок, что затеял. Еще на губах молоко не обсохло, а уж о бабе думает. Послать сюда Матрешку!

Явилась Матрешка, босоногая, в затрапезном робронде, в газовом испачканном токе, с перьями и цветами. С отвратительными улыбками начала она приседать и говорить разные исковерканные французские слова с примесью некоторых уж чересчур русских.

– Вот тебе невеста, – сказал Иван Федотович. После чего выпил он стакан травничка и на длинных дрогах отправился в поле.

От матери Василий Иванович получил почти то же приветствие. Воля мужа была ей законом. «Даром, что пьяница, – думала она, – а все-таки муж». Так думали в старину.

Василий Иванович возвратился, повеся нос, в Казань.

Теперь читатель в полном праве ожидать сильного анекдота, несчастной любви, тайного брака, может быть, похищения и какого-нибудь проклятия. К сожалению, ничего подобного не случилось. В старину дети раболепно повиновались родителям, да к тому же Авдотья Петровна была девушка умница, по тогдашним понятиям, девушка воспитанная, рукодельница, то есть никуда не выходила, кроме как в церковь, а сидела целый день с девками, плела кружева, низала бисером и слушала подблюдные песни. О том уже не упоминается, что секунд-майор Крючкин, с своей стороны, преисправно бы отдубасил заслуженною тросточкой всякого незаконного покусителя на сердце и покой единственной дочери.

Положение Василия Ивановича было самое горемычное. Он не имел даже утешения сделаться пьяницей, не чувствуя наследственной склонности к горячим напиткам. Нрава был он не буйного; он не роптал против судьбы, а грустил и смирялся в простоте душевной. Ходил он только частехонько ко всеобщей, украдкой поглядывал на свою красавицу, вздыхал, пыхтел, разнеживался и возвращался домой. Однако ж ни одна порочная мысль не заронила в его непорочной душе; ни раза не подумал он даже о возможности послушаться родительского приказания или внушить предмету любви своей незаконное чувство.

Так протянулось мрачно три года. Новый случай вдруг переменял жизнь Василия Ивановича. Однажды получил он странное письмо церковного слога и почерка. Письмо было от сельского священника и уведомляло Василия Ивановича, что Иван Федотович при смерти, болен. Василий Иванович в ту же минуту послал за лошадьми и поскакал в Мордасы. Жалкую перемену, печальную картину нашел он в отцовском жилище: приживалки и кумушки ревели по разным комнатам; дураки вдруг сделались разумными и сбросили уродливые наряды. Умиравший, жертва необузданной склонности, лежал уже на смертном одре и жалобно стонал и тихо каялся. Святая таинственность страшного предсмертного часа разбудила наконец голос совести и направляла душу к настоящей стезе, от которой невежество,

тунеядство, привычка и пример отклоняли грешника в течение целой его жизни. «Вася, – говорил он, – Вася, во мне горит что-то... Мне душно, мне больно, Вася... Виноват я перед тобой! Прости меня, Вася, не проклинай моей памяти. Не воспитал я тебя так, как должен был богу и государю... Будут у тебя дети, Вася, – воспитывай их в страхе божьем, обучай наукам, служить заставь... Тяжкий мой грех... Не позволяй, Вася, детям ругаться над людьми бедными и слабыми; не обращай братьев твоих в позорище, не тни из них крови христианской... Все припомнится в последнюю минуту. Верь мне, Вася, тяжело умирать с нечистой совестью... Душно мне, Вася... Вася, Вася, прости меня...» И Вася, стоя на коленях, тихо рыдал у изголовья умирающего, и священник творил молитву над ложем страдания, среди оцепеневшей дворни. Долго продолжалась борьба жизни с смертью, долго мучился и томился больной. Наконец он умер. Дом наполнился криком и стенанием. Все селение провожало покойника до последней его обители. Приживалки и кумушки вопили страшными голосами, приговаривая затверженные речи: «Батюшка, кормилец, Иван ты наш Федотыч, на кого ты нас покинул?.. Как будет нам жить без тебя?.. Кто будет поить, кормить нас, круглых сирот, кто хлеб доставать? Век нам над тобой плакаться, век не утешиться... Пропала наша головушка!..» Все это сопровождалось визгом и притворным, весьма отвратительным иступлением... Но при последнем прощанье на многих лицах изобразилось истинное горе. Любовь мужика к барину, любовь врожденная и почти неизъяснимая, пробудилась во всей силе. По многим крестьянским бородам покатались крупные слезы, и, по едва понятному чувству великодушного самоотвержения, даже бедные дураки, вечно осмеянные, вечно мучимые покойником, неутешно плакали над свежей его могилой.

Прошел год грустного траура. Во все время освященного обычаем срока Василий Иванович, сделавшись полным хозяином имения, ни разу не посмел и подумать о милых сердцу замыслах. Но год прошел, прошло еще несколько месяцев, Василий Иванович, несмотря на душевную скуку, становился удивительно толст. Пора бы тебе, батюшка Василий Иванович, – говаривали ему не редко старые мужики, – и хозяйшкой обзавестись. Полно тебе бобылем-то маяться.

– Что же, Васенька, в самом деле, – сказала однажды Арина Аникимовна, – я стара становлюсь: а что за хозяйство без хозяйки!

Василий Иванович только того и ожидал. Выкатили из сарая тарантас, помолились, позавтракали, да и отправились в Казань. Авдотья Петровна все еще была в девушках, даром что в женихах не было недостатка. По приезде в Казань сейчас же послали за свахой. Явилась болтливая сваха с повязанным на голове платком. Несколько дней сряду таскалась сваха из дома Василия Ивановича к дому Авдотьи Петровны и обратно, носила с собой рядную, то есть подробные списки о приданом образами, натурой, деньгами, тряпками и т. д. Арина Аникимовна на все делала собственноручные замечания, чего мало, чего не надо и чего достаточно. Наконец был назначен день для свидания молодых людей. При этом памятном свидании Василий Иванович и Авдотья Петровна поочередно краснели и бледнели, не говоря ни слова. Зато сваха неумолкно и премило шутила, злодейски запуская разные намеки и обиняки насчет пристыженной четы. Секунд-майор смеялся от души и весьма развязно разговаривал с Ариной Аникимовной о цене хлеба, об ожидаемом умолоте, о враждебном озими червячке и о прочих принадлежностях сельской политики. Спустя несколько дней молодых людей благословили, отслужили в соборе молебен и начали готовиться к свадьбе. В старые годы приготовления к свадьбе не сопровождалось, как нынче, совершенным разорением: не заказывали сверкающих карет, в которых ездить не придется, не выписывали шляпок из Парижа, а давали чистые деньги, деревни не заложенные. Накануне дня, назначенного для брака, притащился к дому Василия Ивановича огромный рыдван, из которого вынесли сперва божьего милосердия несколько образов в окладах, потом начали таскать розовые перины, подушки, сундуки с бельем, издавна уж к свадьбе заготовленным, самовар, серебро и несколько платьев с прегадкими кружевами. Оные кружева плела себе несколько лет сряду с девушками сама Авдотья Петровна на приданое, и, верно, не раз задумывалась она над работой, невольно одолеваемая сладким страхом при мысли о своей туманной девичьей судьбе. Арина Аникимовна все пересчитала и приняла собственноручно, потом подписала рядную и подарила свахе московской шелковой, довольно легонькой, материи на платье. Свадьбу праздновали со всевозможной пышностью. Обряд совершал соборный протоиерей. Посаженым отцом у молодой был сам наместник. В целом городе только и было речей что о пышном ужине, который задал на славу Василий Иванович.

Выпито было семь бутылок шампанского, и военная музыка играла за столом. Недели через две после торжественного дня Василий Иванович, поблагодарив всех и каждого, раскланявшись и распростившись с целым городом, посадил молодую свою супругу в новый тарантас и отправился в деревню. На границе поместья все мужики, стоя на коленях, ожидали молодых с хлебом и солью. Русские крестьяне не кричат виватов, не выходят из себя от восторга, но тихо и трогательно выражают свою преданность; и жалок тот, кто видит в них только лукавых, бессловесных рабов и не верует в их искренность. Как бы то ни было, с того времени, как Василий Иванович женился, каждый его мужик радовался, как будто бы женился сам. Вот и хозяйка у нас, – говорили они. – Вот не одни мы, слава богу! Много им лет здравствовать. И старый и малый отправились бегом в церковь, чтобы выслушать молебен, чтоб рассмотреть хорошенько молодую. Старый священник со слезами на глазах вынес из алтаря крест, к которому приложились новобрачные. На всех устах шевелилась молитва, на всех лицах сияла радость, радость неподдельная. И все это было просто, без приготовления, без громких изъявлений, без глупых речей. Василий Иванович ввел свою хозяйку в серенький помещичий домик. Арина Аникимовна благословила их образом у порога – и Василий Иванович зажил новой жизнью.

И надо ему отдать справедливость. Он хотя не уничтожил вовсе существовавший при отце порядок, но по крайней мере изменил его во многом: шутов отослал в столярную, кучера посадил на козлы, а сам выпивал не более двух рюмок травничка в день: одну перед обедом, другую перед ужином. Не следует, однако, думать, чтоб он вооружился правилами грозной нравственности и барабанил громкими словами, – совсем нет. То, что занимало и тешило Ивана Федотовича, не казалось ему отвратительным, а только не занимало и не тешило его вовсе. Он понимал, что можно быть пьяницей, только сам напиваться не любил. Он понимал, что можно забавляться дураками, только сам не находил в них ничего смешного. Словом, он сделался добрым человеком не по убеждению, а так себе, потому что иначе было бы ему как-то неловко и неприятно. С одной стороны, он помнил живо последнее, страшное поучение умиравшего отца, а с другой стороны, просвещение, которое незаметным образом распространяется повсюду, заглядывая в села и деревни, не миновало Мордас и стало исподволь подкрадываться к

Василию Ивановичу, заговаривая с ним не европейскими пустыми изречениями, а понятным ему языком. Таким образом, понял он, что собственное его благосостояние зависит от благосостояния его крестьян, и тогда занялся он всеми силами добрым делом, и без того милым его мягкосердому свойству. Он начал, правда, управлять по русской методе, по опыту старожилов, без агрономических фокусов, без филантропических усовершенствований, но помещик понимал мужика, мужик понимал помещика, и оба стремились без насильственных толчков, а правильно и постепенно к цели усовершенствования. Василий Иванович был человеколюбив и правосуден. Крестьяне стали обожать его уже не по долгу, им привычному, но из святой благодарности. У Василия Ивановича родились дети. Он начал их воспитывать не хитро, но уж не так, как сам был воспитан. Для них был выписан студент из семинарии, который обучал их и истории, и географии, и многому, о чем Василий Иванович и понятия не имел. Старший сын по наступлении одиннадцати лет был отправлен сперва в губернскую гимназию, а потом в Московский университет. Василий Иванович понимал, сам не зная почему, что в хорошем воспитании таится не только нравственный зародыш жизни каждого человека, но и тайное начало благоденствия и жизни всякого государства.

Со всем тем Василий Иванович был из числа самых прозаических помещиков. Старые соседи говорили о нем, что он продувная шельма, а молодые – что он пошлый дурак. В самом же деле, он просто и поныне, что называется, человек старого покроя. На дворянских сходбищах, куда он является только в необыкновенные случаи, говорит он весьма неостроумно, но говорит дельно, согласно понятию большинства. Предлагали ему служить по выборам, но он отклонил подобное предложение, во-первых, как говорил он, по поводу физики, чересчур неповоротливой, а во-вторых, потому, что в низших должностях боялся ответственности, а высших не почитал себя достойным. Живет он себе лет тридцать в деревне почти безотлучно, толстеет с каждым годом, чрезвычайно любит ездить на рыбную ловлю, где он может лежать на берегу, пока рыбаки забрасывают невод на его счастье или на счастье всех детей его поочередно. Кушает он удивительно много и охотно, и Авдотья Петровна каждый день придумывает ему какой-нибудь сюрприз: то кулебяку с вязигой, то

окорок на славу, то рыбу огромной величины, на каковой случай сзываются и несколько соседей. «Василий Иванович просит-де откусать рыбки, что поймал у него рыбак». И соседи восхищаются рыбкой, меряют ее, сравнивают с другими известными рыбами, и Василий Иванович улыбается и очень доволен и собой, и рыбкой, и жизнью. После обеда едят варенье общей ложечкой, выпивают иногда по рюмке наливочки, потом ложатся отдохнуть, потом ездят на длинных дрогах посмотреть на озими или на яровинку, потом снова ложатся спать уже на целую ночь. В карты Василий Иванович не играет. Утром поверяет он работы, делает разводку, ездит на мельницу или на молотильню, но ходить пешком не любит и решается на такой подвиг только в чрезвычайных случаях: во время крестного хода, например, или когда плотину прорвет.

Арина Аникимовна давно уже скончалась, в поздней старости. За несколько лет до смерти она ослепла и тихо сошла в могилу, где схоронили ее рядом с Иваном Федотовичем.

Авдотья Петровна давно уже сделалась толстой и довольно крикливой барыней. Впрочем, она любит и уважает Василия Ивановича, хотя не с прежнею безусловною покорностью. Она тоже имеет вес и голос в управлении и хозяйстве, и, чтоб высказать всю истину, надо сознаться, что Василий Иванович ее немного даже побаивается. Ей вполне предоставлены, для приятного рассеяния, все заботы о скотном дворе, птичнике и рукодельной промышленности дворовых женщин. Авдотья Петровна любит гадать в карты, слушать сплетни дворовых старух и приобрела в околотке немалую славу особым искусством, с которым она солит огурцы, перекладывая их какими-то листьями.

Впрочем, ни она, ни мирный ее супруг ни одного раза в течение тридцатилетнего супружества не пожалели о своем выборе, ни одного раза супружеская их верность не нарушалась, и ни одна неприязненная мысль, ни одно ядовитое слово ни разу не коснулись их непрерывного согласия.

Так текла, так течет бесстрастная тихая жизнь толстого помещика. В продолжение тридцатилетнего пребывания в деревне раза два был он в Москве, раз пять в губернском городе, да каждый год около Иванова дня отправляется он на ближнюю ярмарку.

Вот все, что можно было, в угоду читателя, почерпнуть из биографии Василия Ивановича.

XVI

Нечто об Иване Васильевиче

Тридцать лет после рождения Василия Ивановича в соседней деревне родился Иван Васильевич.

Мать Ивана Васильевича была московская княжна, княжна, впрочем, не древнего русского рода, а какого-то странного именованья и, как кажется, недавнего восточного происхождения. Как бы то ни было, она была княжна от ног до головы и процветала в Москве в ту блаженную эпоху, когда все молодые девушки, а в особенности княжны, узнали впервые на Руси всю прелесть французских романов, обычаев и мод. Читателю, вероятно, известно, что было время, когда наши дамы стыдились говорить по-русски и коверкали наш язык самым немилосердным образом, чего, не в укор будь им сказано, еще и поныне заметны некоторые следы. Тогда у нас франкомания владела всем нашим первостепенным дворянством, которое, следуя всегдашней тайной слабости, вздумало было тем отделиться от второстепенного. Но, по принятому правилу, второстепенное сейчас же последовало за первостепенным, чтоб попасть под тот же разряд, а за ними и прочие степени. Неизвестно, к какой, собственно, из этих последующих степеней принадлежала княжна, но так как никто не оспаривал ее сиятельности, то она и приписывала себя к высшему слою общества, а вследствие того носила до невероятия короткие талии, причесывалась по-гречески, читала Грандисона, аббата Прево, madame Riccoboni, madame Radcliff, madame Cottin, madame Souza, madame Stael, madame Genlis и объяснялась не иначе как на французском языке с нянькой Сидоровной и буфетчиком Карпом. Сидоровна плакала, что ребенка ее сглазили и испортили; буфетчик Карп отвечал на все «Слушаю-с!», а старая княгиня, утопая вместе с моськой в неподвижной дородности, твердила наизусть французский лексикон и радовалась, что бог наградил ее такую воспитанной княжною. Впрочем, влияние на нас Франции в то время было весьма понятно. Наполеон потрясал с боку на бок всю Европу, и Россия, охотница до всякой удали, дивилась со стороны чудному человеку. Но когда дело дошло до нас, все наши французы заговорили по-русски. Чувство народности, чувство

народной любви к государю и отечеству – это основное неискореняемое начало русской жизни, вдруг сбросило личину, и целый край поднялся без шума грозным исполином. Врага встретили с мечом и огнем, и пожар Москвы осветил настоящим светом русские чувства. В эту памятную годину всякий жертвовал чем мог: кто жизнью, кто детьми, кто достоянием, и никому не пришло в голову просить себе за то возмездия или награды, чему мы видели потом столько примеров в прославленной нами Франции.

Княжна и княгиня отправились в Казань в огромном рыдване, уложив в него большую часть своей движимости. Все остальное сгорело в Москве вместе с домом.

Французов прогнали, но княгиня рассудила, что возвращаться ей на пепелище, заводить новый барский дом с штофными гостиными и загаженной передней – затруднительно и утомительно по случаю ее тучности и преклонных лет. Вследствие сего поселилась она в Казани, к великому неудовольствию княжны. Княжна важничала, брезгала провинциальным обществом и неуклюжими молодыми людьми. Разумеется, такой образ мыслей навлек на нее общее негодование; губернские остряки распустили на ее счет самые забавные анекдоты; барыни относились к ней крайне недоброжелательно, хотя и подражали раболепно ее нарядам. Княжна скучала и, что хуже, старилась. Оставаться старой девушкой, хоть и княжной, как ни притворяйся, никогда не покажется утешительным. Бросившиеся было к ней женихи, распознав, что у ней шесть или семь братьев и что приданое ее заключается во французском языке, вдруг почувствовали к ней отвращение и быстро скрылись врассыпную. Наконец отыскался какой-то бессловесный помещик из числа колпаков, который, ослепленный княжеским сиянием, предложил княжне руку и деревню. Княжна приняла деревню, а по необходимости и руку вдобавок. Помещик не был похож, как представить можно, на Малек-Аделя или на Eugene de Rothelin, не был похож даже на лютого тирана, а скорей на сурка: ел, спал да рыскал целый день по полю.

От этого брака родился Иван Васильевич.

Разумеется, положено было воспитать его на славу, чтоб сын отнюдь не был олухом, как батюшка; и как только начал он подрастать, сейчас же принялись отыскивать французского гувернера. Всем известно, что французы долго мстили нам за свою неудачу, оставив за

собой несметное количество фельдфебелей, фельдшеров, сапожников, которые под предлогом воспитания испортили на Руси едва ли не целое поколение. Эту жалкую саранчу не следует, однако, сравнивать с эмигрантами, которые все-таки были получше, пообразованнее, хотя немногим, и они отплатили за русское гостеприимство, укрывавшее их от ужасов французского возмущения.

К счастью Ивана Васильевича, наставник его, *monsieur Lerpince*, не был из числа самых площадных азбучных ремесленников. Он принадлежал к какой-то политической партии и, как рассказывал, был жертвою важных переворотов, лишивших его значительного состояния, не объясняя, впрочем, никому, что состояние это заключалось в табачной лавочке. Он был даже не совершенно без образования, но, разумеется, как француз, с образованием односторонним и хвастливым. Он ничего не понимал и не признавал вне Франции, и все открытия, все усовершенствования, все успехи приписывал своевольно французам. Такой образ мыслей, разумеется, может быть весьма похвален для природного парижанина, но, кажется, вовсе не нужен для казанского уроженца. Кроме того, *monsieur Lerpince* был весьма любезен с дамами, писал довольно гладкие стишки с остротой или с мадригалом при конце, говорил про все то, чего не знал, весьма бегло и красиво, любил иногда с важностью замолвить глубокомысленное словечко о судьбах человечества и с гордой откровенностью беспрестанно твердил, что он сделался наставником только по необходимости, но что он вовсе не рожден для подобного назначения.

Мать Ивана Васильевича чрезвычайно радовалась такой прекрасной находке. Злые языки даже распускали в уезде на ее счет довольно не отрадные для супруга ее слухи. Впрочем, слухи эти были, может быть, не что иное, как клевета.

На тринадцатом году Иван Васильевич знал, что Расин первый поэт в мире, а Вольтер такая тьма мудрости, что страшно подумать. Он знал, что был век, озаривший целый свет своей могучей литературой, – век Людовика XIV; что после этого века был еще другой век, век Людовика XV, немного послабее, но тоже изумительный. Иван Васильевич знал наперечет всех писак того времени. Надо отдать ему справедливость, что он нередко зевал, читая образцовые сочинения, но *monsieur Lerpince*, подсмеиваясь над тупой его природой,

предсказывал ему, что впоследствии он постигнет, может быть, недоступные ему красоты. Сверх того, Иван Васильевич обучался латинскому языку по ломондовской грамматике, хотя довольно неудачно; кое-что запомнил из Всеобщей истории аббата Милота, пел беранжеровские песни и описывал довольно правильно на французском языке восхождение солнца. О неизвестных же ему предметах *monsieur Leprince* относился весьма легко, давая чувствовать, что он их хотя и изучал донельзя, но что они не заслуживают никакого внимания.

Иван Васильевич был мальчик совершенно славянской природы, то есть ленивый, но бойкий. Воображением и сметливостью часто заменялись у него добросовестный труд и утомительное внимание. Ученик скоро истощил ученый запас учителя, но учитель, как истый француз, никак не понимал своего невежества и продолжал себе преподавать и растягивать всякий вздор под прикрытием громких названий. Поймите сперва хорошенько Корнелия Непота, – говорил он своему питомцу, – а там мы примемся за Горация. Но, к сожалению, *monsieur Leprince* сам Горация-то не понимал, отчего и Иван Васильевич остался на всю жизнь свою при Корнелии Непоте. Года два или три сидел Иван Васильевич на французском синтаксисе, изучая и забывая поочередно все своевольные обороты болтливости языка. Потом несколько лет сряду изучал он французскую риторику, составлял разные фигуры, тропы, амплификации, витиеватые обороты речей и т. п. Узнайте сперва хорошенько риторику, – говорил *monsieur Leprince*, – а там дойдем мы и до философии. Но риторика длилась до бесконечности, и по известным причинам до философии никогда не дошли. Еще забыл я сказать, что Иван Васильевич знал наизусть генеалогию всех французских королей, названия многих африканских и американских мысов и городов, терялся в дробях, как в омуте, и довольно нахально начал судить, по примеру наставника, о многих книгах и о всех науках, руководствуясь одними заглавиями. Мать Ивана Васильевича, урожденная княжна, утопала в восторге, когда сынок приносил ей в праздничный день поздравительное сочинение, наполненное риторическими тропами или, чего доброго, иногда и вколоченное в стихосложный размер. *Monsieur Leprince*, в уважение таких заслуг, был почти хозяином дома, приказывал и распоряжался во все стороны, держал своих лошадей, частехонько для рассеяния ходил

на прядильную фабрику, толстел, наживался и, наконец, начал торговать из-под руки хлебом, после чего, набив карманы, раскланялся он на все четыре стороны и уехал во Францию рассказывать про нас всякие небылицы и печатать брошюры о тайнах русской политики и о личных достоинствах наших государственных людей.

Никто, однако, не рассудил, что Ивану Васильевичу не заседать в камере депутатов, не быть республиканцем или роялистом, не гулять век на Итальянском бульваре, а что суждено ему служить в министерстве юстиции или финансов; что божию волею придется ему иметь во владении триста душ безграмотных крестьян, которые всю надежду свою будут полагать на него и о которых он, вероятно, ни разу не подумает, разумеется, исключая те случаи, когда понадобится получать с них доход. Ивану Васильевичу все рассказали и объяснили, кроме того, что у него было под носом. Он видел господский дом довольно гадкий, избы довольно гнилые, церковь довольно ветхую, но никто не объяснил ему, как начались, как образовались, как дошли до настоящего положения этот дом, эти избы, эта церковь. Русская история, русская жизнь, русский закон остались для него каким-то варварским баснословием, и, благодаря бестолковому направлению, русский ребенок вырос французиком в степной деревне, в самом русском захолустье. В уезде выставляли вздорного парня за настоящее чудо, и счастливая его мать в наслаждениях, доставляемых сыном, забывала даже скуку, доставляемую отцом.

Нельзя, впрочем, слишком строго укорять ее в слабости, почти общей всему нашему дворянскому сословию. И теперь, когда в высшем нашем кругу среди стольких русских имен встречаешь так мало русских сердец и в особенности так мало русских умов, невольно подумаешь о полученном воспитании, и вместо гнева в душе рождается сожаление.

В одно печальное утро мать Ивана Васильевича скончалась, и сурок нашелся в самом затруднительном недоумении. Куда девать сына? Так как малому не исполнилось еще пятнадцати лет, то на службу отдавать его было еще рано, а выписывать нового француза – слишком поздно. По общему совещанию с соседями решили отправить Ивана Васильевича в какой-то частный петербургский пансион. Так и сделано. Пансион отличался удивительной чистотой и порядком. Полы были налощены воском, на лавках не замечалось ни одного

чернильного пятна, а на лекциях преподавалось несметное множество различных наук. К несчастью, между учащимися невежество и нерадение не почитаются за порок; напротив того, в них полагается что-то молодецкое, доказывающее самостоятельность возмужалого возраста. Увлеченный ребяческим тщеславием, Иван Васильевич сделался совершенным молодцом: затыгивался во всех уголках вакштафом до тошноты, пил водку, бегал по кондитерским, хвастал каким-то мнимым пьянством, занимался театральной хроникой, а на лекциях учил какие-нибудь грязные или вольнодумные стихи. Словом, в пансионе набрался он какого-то странного, непокорного духа, обижался званием школьника, учителей называл ослами, ругался над всякою святыней и с лихорадочным удовольствием читал те мерзкие романы и поэмы, которых и назвать даже нельзя. Таким образом, сделался он дрянным повесой, смешным и гадким невеждой, и даже тот скудный запас мелких познаний, который сообщил ему monsieur Lerpince, исчез в тумане школьного молодчества.

Так погубил он самые лучшие, самые свежие годы жизни, когда душа еще так восприимчива, так горячо и ясно удерживает всякое впечатление. Наступила пора выпуска и экзамена. Экзамен заключался в тридцати или сорока предметах, не говоря об изящных искусствах и гимнастических упражнениях. Иван Васильевич относился, разумеется, весьма презрительно об ожидаемом испытании и, как говорится на пансионном языке, провалился с первого слова. Такой развязки и надо было ожидать. Однако Ивану Васильевичу было невероятно досадно и даже немного стыдно и других и самого себя. Он был из числа тех людей, которые хотят все знать, не учась ничему. Ему невыносимо обидно было глядеть на двух или трех трудолюбивых молодых людей, над которыми весь класс всегда смеялся, которые никогда не были молодцами и которые вдруг сделались предметом невольного уважения не только наставников, но даже и самых буйных, самых отчаянных товарищей. Иван Васильевич опомнился и крепко призадумался. Не начать ли снова с азбуки? Не приняться ли наконец за дело? Он чувствовал, что одарен понятливостью и памятью; предметы ясно обрисовывались в его воображении, даже самые отвлеченные мысли при напряжении могли отчетливо вкорениться в его уме. Наконец, он даже по своей досаде почувствовал, что не рожден для бессмысленного разврата, а что в нем таится что-то живое,

благородное, просящееся на свет, требующее деятельности, возвышающее душу. Если б он последовал внутреннему голосу, если б он принялся сам себя перевоспитывать, то мог бы еще сделаться человеком полезным и, во всяком случае, замечательным по твердости и настойчивости. Но как начать учиться, когда некоторые товарищи уже титулярные советники и веселятся в большом свете? Давайте Ивану Васильевичу и службу и свет. Он определился в какое-то министерство и, горестно оплакивая свою школьную дурь, начал служить горячо и старательно. Недостаток в надлежащих для службы сведениях заменял он сметливостью и остроумием. Его употребляли в канцелярии и в откомандировках, он был усерден к службе, как будто желая загладить вину жалкого своего затмения. В его усердии даже было слишком много рвения, потому что он не мог бы сохранить его постоянно в одинаковой силе. Многое делал он даже совершенно ненужное и лишнее, от него вовсе не требуемое. Словом, он чересчур завлекся службой, и через несколько времени служба ему надоела. Ему показалось, что его заслугам не отдают должной справедливости, что его не отличают достаточно, а обходят в представлениях, что ему следовало уже быть каким-нибудь важным лицом. Рвение заколебалось, и невежество, не прикрытое осторожностью, начало проглядывать. Трудлюбивые товарищи по пансиону, о которых уже было помянуто, в скором времени его обогнали, потому что и на службе, как в ученье, были они основательны и последовательны. Иван Васильевич начал было сердиться, но вскоре позабыл и гнев свой, потому что вдруг перестал думать о службе; и не мудрено... он был влюблен. Влюбился он по уши в какую-то барыню, которая отличалась томным взором и страстной речью. Сперва разменялись они неясными признаниями, потом разменялись колечками, наконец и взаимными клятвами любить вечно друг друга. Иван Васильевич несколько времени носился в бурном небе страстных мечтаний, но это, впрочем, не продолжалось долго. Страсть, его увлекавшая, доходила сразу до последних границ, а от самой силы своей скоро обессилевала. Но вдруг он заметил, что красавица его томно заглядывается на какого-то гусара, – и закипел ревностью. Мщение, злоба, кровь забунтовали в голове его. К счастью, сама красавица предупредила все трагические последствия, выйдя замуж за такого богатого уроды, что и сердиться на него было невозможно. Для развлечения Иван Васильевич с

неистовством окунулся в светские удовольствия. Но в этих удовольствиях он не нашел даже и тени того, чего искал. Скука, бездействие, обманутое самолюбие, какая-то свинцовая усталость давили его грудь. Он начал проклинать бесцветность петербургской жизни, не понимая, что эту бесцветность носит в себе. Иногда, пламенными урывками, увлекался он в отрадный мир поэзии, читал и Данте, и Шиллера, и Байрона, и Шекспира и сильной рукой отдергивал завесу, отделявшую его от прекрасного мира, так долго скрытого его очам. Иногда углублялся он в какую-нибудь заманчивую для него науку, но все это было случайно, нетвердо, лихорадочно. Открытая книга падала со стола, исписанный лист не перевертывался. И теперь, как прежде, он принимался за все сторяча, но горячность скоро проходила; он утомлялся и искал минутного рассеяния, глупой забавы. Он понял тогда, что образование не заключается в словах и числах, не во множестве и подробностях ученых предметов, а в способности заниматься полезно, в строгой критике жизни, в строгом и терпеливом исполнении всякого начатого дела. Он сделался истинно жалким человеком не оттого, чтоб положение его было несчастливое, но оттого, что он ни в чем не мог принимать долго участия, оттого, что он сам собою был недоволен, оттого, что он устал сам от самого себя. Тогда начал он догадываться, что есть какое-то высокое, прекрасное назначение в науке, которая подавляет ко дну души сомнение, безверие, страсти, томящие борения, неизбежные с человеческой природой. Без благодетельной науки все эти враждебные начала выплывают на душевную поверхность, и жгут, и бунтуют, и губят беззащитную жизнь.

В таком безотрадном положении Иван Васильевич утешался, однако ж, отрадною надеждою отправиться за границу, воображая, что в чужих краях он легко приобретет познания, которые не сумел приобрести в отечестве. Вообще слово за границу имеет между нашей молодежью какое-то странное значение. Оно точно как бы является ключом всех житейских благ. Больной спешит за границу, воображая, что у прусской заставы вдруг сделается здоровым. Живописец просится за границу в ожидании, что как он только влезет на Monte Rmcio, так и будет Рафаэлем. Невежда, проленившийся целый век дома и пристыженный наконец своим незнанием, берет место в дилижансе и

думает, что потерянное время, вечная праздность, умственные потемки больше ничего не значат: он едет за границу.

Иван Васильевич отправился в Берлин с рекомендательными письмами ко всем знаменитостям Берлинского университета. Первое его впечатление за границей было самое неудовлетворительное, хотя он сам не мог отдать себе отчета в том, чего ожидал. Люди как люди. Дома как дома. Улицы как улицы. И к тому же люди поскучнее наших, дома похуже наших, улицы поуже наших. Знаменитости, пред которыми он готовился благоговеть, произвели на него почти то же самое впечатление, как кассир его министерства или излеровский маркер. У одной знаменитости был нос толстый. У другой бородавка на щеке. Иван Васильевич побежал на лекции, но тут заметил он с прискорбием, что в нем нет тех первоначальных сведений, без которых все последующие не имеют опоры. К тому же он плохо знал по-немецки, и хотя и толковал о Гегеле и Шеллинге, но не понимал их вовсе и убедился, бедный, что ему или начинать с гимназии, или век простоять перед кафедрой, как оглашенный у двери храма. В Германии объяснилась ему тайна воспитания. Он видел, как здесь каждый человек, от мужика до принца, вращается в своем кругу терпеливо и систематически, не заносясь слишком высоко, не падая слишком низко. Он видел, как каждый человек выбирает себе в жизни дорогу и идет себе постоянно по этой дороге, не заглядываясь на стороны, не теряя ни разу из вида своей цели. О, как проклял он тогда своего француза-наставника, который именно цели-то и не дал его бытию! Он чувствовал, что в духовной жизни его не было связи, что он был не что иное, как от всего отчужденный ребенок, который для пустой игрушки вдруг переходит от равнодушия к восторгу, от восторга к отчаянию. Ему показалось, что он отвержен мыслящей и действующей семьей человечества, что вечно суждено ему блуждать одному, забытому, осмеянному в туманном непроницаемом мраке. Чтоб утешиться хоть немного, начал он колко смеяться над немцами, над скучной и порядливой их жизнью, над вечными вязаньями их жен, над их пивом, клубами и обществами стрелков. Но недолго, впрочем, жил он с немцами и отправился в Париж. Париж тем хорош, что рассеет какую угодно хандру. Иван Васильевич вполне увлекся этой вечно бегущей толпой, которая постоянно спешит за чем-то и куда-то, никогда ничего не достигая. Он видел перед собой собственную историю в огромном

размере: вечный шум, вечную борьбу, вечное движение, звонкие речи, громкие возгласы, безмерное хвастовство, желание высказаться и стать перед другими, а на дне этой кипящей жизни – тяжелую скуку и холодный эгоизм.

Долго шатался Иван Васильевич по всем представлениям парижских игрищ, начиная с обеих камер. Однако он не полюбил Парижа. Он был еще слишком молод. Вопреки судьбе, душа его просила чего-нибудь повыше, поотраднее, и поездка в Италию осталась, может быть, самой светлой точкой, самым лучшим воспоминанием его жизни. Тогда развилось в нем дотоле неизвестное ему чувство изящного. И не одна поэтическая чувственность искусства, как очаровательная красавица, обнаружила перед ним свои красоты. В Италии искусство имеет какую-то чудную, духовную сторону, которую нельзя выразить, но которая проникает все бытие. В Италии, в одной Италии можно стоять целые часы перед зданием, перед изваянием, перед картиной. Душа оживляется безжизненным предметом и как будто роднится с ним, как будто входит с ним в какое-то таинственное духовное сношение. Только в Риме Иван Васильевич был совершенно спокоен духом. Ему бы совестно было и подумать о такой ничтожной пылинке, как и он сам, перед колоссальным памятником, воздвигнутым гениями искусства над трупом человеческого честолюбия. В первое время Иван Васильевич даже на улицах говорил вполголоса, как бы перед покойником. Да и кто может хладнокровно глядеть на Аполлона, на Колизей или на площадь св. Петра? Кто может не задумавшись взглянуть на странную связь язычества с христианством, веры с искусством? В Италии каждая церковь – роскошная галерея, и лучшие произведения гениальных художников смиренно теснятся у алтарей.

Чудная, незабвенная Италия! Пускай говорят, что ты упала, что ты погибла, что ты схоронена, – не верь коварным словам: ты все еще живешь прежней жизнью, дышишь прежним огнем. Ты все-таки царица мира, и народы стекаются к тебе на поклон. И столько у тебя сокровищ! Природа и люди, порожденные под твоим небом, одарили тебя так щедро, что ты одной своей милостиной обогатила всю Европу. Процветай же, Италия, не так уже, как резвая, полная молодости красавица, но как пышная вдовица, которая вблизи видела и суетность жизни и смерть и с горькой улыбкой смотрит на людей, не требуя

ничего от настоящего, а свято углубляясь в одном постоянном воспоминании минувшего благополучия.

Между тем Иван Васильевич замечал, что, куда бы он ни показывался, в какую землю бы он ни приезжал, – на него смотрят с каким-то недоброжелательным завистливым вниманием. Сперва приписывал он это личным своим достоинствам, но потом догадался, что Россия занимает невольно все умы и что на него так странно смотрят единственно потому, что он русский. Иногда за табльдотом делали ему самые ребяческие вопросы: скоро ли Россия завладеет всем светом? правда ли, что в будущем году Цареград назначен русской столицей? Все газеты, которые попадались ему в руки, были наполнены соображениями о русской политике. В Германии панславизм занимал все умы. Каждый день выходили из печати глупейшие насчет России брошюры и книги, написанные с какой-то лакейской досадой и ровно ничего не доказывающие, кроме бездарности писателей и опасений Европы. Мало-помалу заграничная жизнь заставила Ивана Васильевича невольно задуматься о своей родине. Думая о ней, он начал ею гордиться, а потом начал ее и любить. Словом, то, что на родине не было внушено ему при воспитании, мало-помалу вкралось в его душу на чужбине. Он начал припоминать все виденное и не замеченное им в деревне, в поездках по губерниям, во время откомандировок по службе. Он хотя и чувствовал, что все эти данные не составляют общего мнения, общего целого, но некоторые черты удержал он довольно верно, а остальные дополнил своим воображением. Так составил он себе особые понятия о чиновниках, о русской торговле, о нашем образовании, о нашей словесности. Тогда решился он изучить свою родину основательно, и так как он принимался за все с восторгом, то и отчизнолюбие в нем загорелось бурным пламенем. К тому же он радовался, что осмыслил свое бытие, что нашел себе наконец цель в жизни, цель благородную, цель прекрасную, обещающую ему привлекательное занятие, полезные наблюдения. С такими чувствами возвратился он из-за границы.

Читателю уже известно, как он встретился с Василием Ивановичем на Тверском бульваре, как он уложился с ним вместе в тарантас, как вооружился книгой для своих путевых впечатлений и очинил перо.

Но что будет из этого? Что напишет он? Что откроет? Что скажет нам?

Кажется – ничего. И тут, как во все прочие случаи жизни, Иван Васильевич не выдержит характера. Сперва он погорячится, а потом обессилит при первом препятствии. Не приученный к упорному труду, он встретит невозможность там, где только затруднение, – и благие его начинания останутся вечно без конца.

И не он один; много у нас молодых людей, которые страдают одинакой с ним болезнью. Много у нас молодых людей, которые изнывают под бременем своей немощи и чувствуют, что жизнь их навек испорчена от порочного, недостаточного, половинного образования. Правда, они тешат свое самолюбие личиной поддельного разочарования, жизненной усталости, обманутых надежд. А в самом деле они только ничтожны, и ничтожны вполнину, а потому не могут не чувствовать своего ничтожества. И в них таится, может быть, склонность к деятельности, любовь к прекрасному и к истине, но они не приобрели силы осуществить внутреннего своего стремления. В них есть чувство, но нет воли. В них страсть кипит, но рассудок вечно недоволен. Многие для рассеяния погружаются в омут бурных наслаждений, иные делаются распутными, другие картежниками, третьи жертвуют жизнью своею для вздора, некоторые воображают, что они вольнодумцы, либералы, потихоньку бранят правительство, проклиная обстоятельства, будто бы им враждебные. Но и с другими обстоятельствами они были бы те же, потому что зло в самом основании, в самом корне их тщедушного прозябания. Жалкое поколение! Бедная молодость! Плод, испорченный еще во цвете! Но так суждено свыше. В каждом усовершенствовании, в каждом преобразовании должны быть жертвы. А они попали среди борьбы прошедшего с настоящим, мрака со светом. Они исчезнут без следа, без сожаления о непонятых страданиях, но их страдания должны служить примером. На мрачном небосклоне старинного невежества давно мелькнула уже лучезарная точка, и с каждым днем растет она и все становится ярче и ярче. Будут люди, которые обожгутся незнакомым им огнем; другие, ослепленные сиянием, останутся в недоумении между светом и тьмой или попадут на ошибочную дорогу. Но светильник все приближается ближе и ближе, и настанет день,

когда мрак исчезнет совершенно и вся земля озарится благодетельным светом...

XVII

Сельский праздник

Между тем Иван Васильевич был в совершенном отчаянии. Впечатлений решительно нигде не оказывалось. Одни бока его были под влиянием сильного впечатления. Напрасно посматривал он старательно из тарантаса на обе стороны – все сливалось для него в какую-то мутную, однообразную картину. Впрочем, его винить слишком нельзя. Вообще предметы определяются в уме вовсе не так, как в действительности, а как-то выпуклее, ярче, живописнее. К тому же есть такие люди, которые долго будут любоваться какой-нибудь литографией и никогда не заметят в природе того, что она изображает. Мужик, масляными красками, например, или просто нарисованный пером, заставит их долго стоять перед собой и даже принесет им немалое удовольствие, но мужик настоящий, нечесаный и немытый, в лаптях и тулупе, никогда не остановит их внимания, потому что таких мужиков так много, что их вовсе и не замечаешь.

Как бы то ни было, Иван Васильевич был в самом печальном расположении духа. Нетронутая книга путевых впечатлений валялась под ногами около погребца. Изучение России в отношении ее древности и народности решительно не подвигалось. Дело, кажется, стало не за многим. Иван Васильевич догадывался, что одного хорошего намерения для совершения великого подвига было недостаточно. По России не развешаны вывески, по которым можно было прочесть всю жизнь ее, все, что было, что есть и что будет. Одной поездки в Мордасы для подобного изучения как-то мало. Нужно еще кое-что другое. Нужны еще вечная настойчивость, вечный терпеливый труд с самого младенчества, в течение целой жизни. А этого, кажется, немало. Надо было вникать в самую глубину всякого предмета, потому что из гладкой наружной поверхности ничего не извлекалось. Надо было отыскать, как ключа загадки, тайного, иногда высокого смысла всякого прозаического проявления, попадавшегося на каждом шагу. Но, как известно, Иван Васильевич был человек слабого свойства. По мере того как он встречал затруднения, он не старался их одолевать, а изменял свои предприятия. Таким образом, мало-помалу

отказывался он, как мы видели, от прекрасных изучений, от важных открытий, к которым для блага человечества готовился с таким жаром. Однако хотя он и потерял во многом надежду, но все еще надеялся проникнуть в душу русского человека. «В самом деле, – думал он, – мы суетимся и хлопочем о России, а именно того-то мы и не знаем: что такое русский человек, настоящий русский человек, без примеси иноплеменного влияния? Какую живет он духовной жизнью? Чего ждет он? Чего желает? К чему стремится? Чистое природное начало до того заглужено в нас настоящим нашим бытом, что мы не можем отделить основных понятий от накопившихся. Определить это начало, отыскать эти родные понятия – вот будет славное дело! Мы много говорим о народности, но что такое народность? В чем заключается она, где составные ее части? Вот тебе, Иван Васильевич, работа. Отыщи, определи, наставь. Россия скажет тебе спасибо...»

И как бы нарочно, тарантас въехал в большое, прекрасное селение, а Василий Иванович объявил, что он до того устал, лежа в тарантасе, что имеет намерение отдохнуть у зрителя и полежать маленько на лежанке.

Длинное, бесконечное селение красовалось в самом торжественном для него виде. Перед высокими, украшенными резьбой избами сидели на лавках мужики и бабы, щелкая орехи. Праздничные наряды пестрели издали яркими цветами. У моста, пересекающего главный порядок надвое, небольшой домик гражданской архитектуры означал торчащею над дверью елкой многим милый кабачок. Вправо целая гурьба молодежи в красных и синих сарафанах, с снежно-белыми рукавами, смотрели, как две босые девчонки скакали на доске. Около них два парня в красных рубашках, в откинутых нараспашку армяках, казалось, не обращали внимания на выразительные насмешки стоящих недалеко товарищей. Некоторые из сих последних насвистывали сквозь зубы песенку. Другие, став около колодца в кружок, усердно побрякивали тяжелой свайкой в железное кольцо. Посреди улицы толпа ребятишек окружала небольшую запряженную клячею телегу, у которой веселый разносчик предлагал, с примесью поговорок и прибауток, пряники, стручки, крендели и всякий товар. За мостом серебряный шпич и зеленый купол церкви высоко возвышались над избами, резко отделяясь на сером грунте пасмурного неба.

– Эва! – сказал Василий Иванович смотрителю. – Что это у вас? Храмовый праздник?

– Так точно, – отвечал смотритель.

– С праздником, батюшка, – продолжал Василий Иванович.

– Покорнейше благодарим.

– А что бы, мой отец, нельзя ли самоварчик поставить?

– Самовар готов-с, сударь. Нас удостоили гости по соседству посещением. Кума даже из города с зятем приехала... К празднику, изволите видеть, пожаловали. Ну, известное дело, – как не угостить дорогих гостей? Никак пятый самовар ставим.

– Доброе дело, доброе дело! – заметил Василий Иванович, после чего выпил с чувством три стакана чаю, ощутил приятную теплоту и не с малым трудом вскарабкался на лежанку, по которой Сенька заблаговременно раскинул несколько подушек. Через несколько минут Василий Иванович объявил присутствующим, что уже изволит почивать, а Иван Васильевич отправился на село немного пошататься, да, кстати, поискать и народности.

Все население было на ногах, толпясь живописными кучками около строений. У кабака две православные бородки целовались с сердечными излияниями и с такими неистовыми клятвами во взаимной дружбе, что страшно было слушать. Рыжий мужичок, с штофом в одной руке и с светло-зеленым стаканчиком в другой, угощал, шатаясь, товарищей, неотвязчиво преследуя их своими предложениями, оскорбляясь отказами, кланяясь в пояс и не думая вовсе, что за один раз пропивает плоды годового труда.

Крикливая раскрасневшаяся баба толкала одуревшего мужа к дому, проливая горькие слезы, ругая его пьяницей, упрекая его в том, что он пускает по миру ее, горемычную, и детей-сирот, а между тем была также совершенно пьяна.

Иван Васильевич поспешно отвернулся от этой гнусной для деликатного человека картины и побрел себе к молодежи, полюбоваться красотой наших северных женщин. Надо заметить, что при этом он поправил немного беспорядок своего костюма, оттянул книзу пальто, застегнулся и приосанился... Следуя тайной слабости неизлечимого светского тщеславия, Иван Васильевич, хотя без особого в том сознания, был уверен, что неожиданное его появление в пестрой молодой толпе сделает сильный эффект.

Однако он ошибся.

Здоровая, румяная девка указала на него довольно нахально, обращаясь к подругам:

– Вишь какой облизанный немец идет!

Молодицы засмеялись, а парень в красной рубашке вмешался в разговор:

– Эка зубастая Матреха! Смотри, рыло разобью!

Матреха улыбнулась:

– Вишь, больно напужал... Озорник этакой. Я и сама так тресну, что сдачи не попросишь.

Иван Васильевич не почел нужным вслушиваться в дальнейший разговор и, немного обиженный презрительным названием немца, снова принялся за странствование. Сперва перешел он через мост, потом очутился на небольшой заросшей травой площадке, обогнул небольшой пруд, у которого ворчали утки с утятами, и наконец очутился близ церкви. Тут он успокоился духом, и мысли его приняли другое направление. Около церкви возвышалась каменная ограда, за которой в густой траве наклонялось несколько крашенных темно-красных деревянных крестов. При виде этих простых ознаменований мелькнувшей простой жизни душа смиряется в каком-то благоговейном молчании. И точно: сельские кладбища производят совершенно другое впечатление, чем городские. При виде последних невольно рождается какое-то тяжелое, мучительное чувство; при виде первых на сердце становится безмятежно и ясно. Чем более жизнь приближается к природе, тем менее смерть кажется ужасною; напротив, она является мирным преобразованием, за многое вознаграждающим, а не безотрадным лишением, не сокрушительным разрывом со всеми надеждами, со всеми заботами, с целым бытием человека.

У церковной ограды пробирался пономарь с узелком в руке, а издали шел священник в длинной шелковой рясе, в широкой шляпе, с высокой тростью в руке. По мере того как он приближался, крестьяне вставали, снимали шапки и почтительно кланялись своему пастырю. Иные целовали у него руку, другие подводили детей к благословению. Один только бледный, изнуренный мужик с черной бородкой и впалыми глазами не снял шапки и грубо отвернулся.

Это Ивану Васильевичу показалось странным. Он остановился перед дюжим хозяином, нянчившим на руках у ворот своих годового ребенка.

– Скажи-ка, брат, отчего вот этот черный не снимает шапки перед священником?

Мужик прикрыл сперва ребенка тулупом, а потом отвечал довольно небрежно:

– По старой вере.

Новая мысль блеснула молнией в голове Ивана Васильевича.

«Вот впечатление! Вот задача! – подумал он. – Определить влияние ересей на наш народ, отыскать их начало, развитие и цель».

– Много у вас раскольников? – спросил он поспешно.

– Чего?..

– Много ли у вас раскольников?

– Раскольников... Нет, немного....

– А сколько их будет?

– Сколько... Кто их там знает, сколько их будет,

– А скажи-ка, брат, в чем состоит их ученье?

– Чего?..

– В чем состоят их обряды?

– Обряды? Да по старым книгам.

– Да чем же они отличаются от вас?

– Чего?..

– Чем они от вас отличаются?

– Отличаются... Да никак по старой вере.

– Знаю; да ведь у них есть свое служение, свои скиты, свои священники?

– Известно – по старой вере.

– Какой они секты?

– Чего?..

– Какой они ереси?

– Чего?..

– Что они: беспоповщины, духоборцы?

– Духоборцы... Нет, кажись, не духоборцы, а так, в церковь только не ходят... По старой вере, должно быть.

– Однако любопытно было бы знать, – продолжал, рассуждая вслух, Иван Васильевич, – исповедание их различествует с нашим в

одной форме или в сущности? Отпадение их от нас гражданское или церковное?

– По старой вере, – заключил мужик, после чего хладнокровно повернулся к Ивану Васильевичу спиной и исчез с сынком в калитке.

Иван Васильевич пошел задумчиво далее.

Хотя крестьянские объяснения относительно раскольников были несколько неясны и даже неудовлетворительны, однако все-таки было о чем призадуматься. Иван Васильевич шел и думал... Вдруг громкий хохот прервал его размышления посреди самого занимательного их развития. Озадаченный неожиданным шумом, Иван Васильевич поднял голову, потерял нить глубоких идей и невольно остановился. У ворот постоянного двора целая толпа народа окружила какого-то рассказчика в коротком некрытом полушубке, в военной фуражке, без бороды, но с большими седыми усами, доходящими по бакенбардам до ушей. На полушубке с левого бока висели две медали на полинялых лентах, но и по одной твердой осанке, по одним решительным движениям рассказчика не трудно было узнать в нем старого отставного солдата.

– Экий служивый! – говорил кто-то в толпе. – Ай да служба! Прости господи! Везде побывал, всего насмотрелся.

– Да! – подхватил рассказчик, немного, как казалось, подгулявший на веселом храмовом празднике. – Не вашему брату чета. Не сидел с бабами век за печью. И молотил горох, да покрупнее вашего. Слава богу, и хранцуза видел и под турку ходил.

– Ой ли! И под турку ходил?

– Ходил. Ей-богу, ходил. В двадцать восьмом году ходил. Да еще как задали нехристу на калачи, так просто ой-ой-ой!..

– Да отчего же, дядя, война-то у нас была с туркой?

– Отчего? Известное дело отчего! Турецкий салтан, это, по их немецкому языку, вишь, государь такой, значит, прислал к нашему царю грамоту. Я хочу-де, чтоб ты посторонился, а то места не даешь. Да изволь-ка еще окрестить всех твоих православных в нашу языческую поганую веру.

– Ах он, безбожник! – воскликнул в толпе старичок.

– Вестимо, что безбожник – да еще какой: без всякой субординации. Прислал посла такого азартного: к вашему, мол, императорскому величеству от турецкого салтана прислан – да и

только. Да еще рассказывали ребята, что принес-то он с собой горсть маку. «А сколько, говорит, зерен, столько у нас полков, так не прикажете ли, чтоб было по-нашему?»

– Ну, а что же наш царь? – спросил в толпе рослый парень.

– Да наш царь, слава богу, себе на уме. Послал в ответ горсть зернистого перцу. Маленько хоть поменьше и будет, да попробуй-ка раскусить.

Мужики весело рассмеялись.

– Вот эндак-то ладно, ей-богу, лихо... Что ж, небось присмирел татарин?

– Какой черт присмирел! Попутала его нелегкая. Видно, что в башке-то амуниция не в порядке. Не принял дело рассудком. Вишь, бестолковый какой: ему говорят, кажется, по-русски, а он еще ломается! Да где ему с своим поджарым народом идти, так сказать, на какой-нибудь гренадерский батальон! Нам-то, правда, вволю и потешиться не пришлось. Налетит, бывало, какой-нибудь побойчее, вот и думаешь – дай-ка для смеха с ним поиграть маленько, да и щелкнешь в него пальцем – ан, смотришь, он, собака-то, уж и лежит.

– Чай, ведь они далеко отсюда? – спросил кто-то.

– Да подальше твоего огорода. Шли-то мы, шли, никак три месяца... перевалам-то и счет потеряли. Да и земли такие, правда, дрянные проходили – ни на что не похоже. Все горы да горы. Такая жалость, право. Знать, не любит их бог за поганую веру; то есть, как бы сказать, нет даже местечка, чтоб выровняться полку как следует. Бедовая сторона! И достать-то нечего. Ей-богу, лавки простой нет. Говорили господа, что климат-де какой-то хорош. А какой черт хорош! Иголка четыре копейки.

– Куда же вы дошли? – спросил старичок.

– Да черт их там знает, какие они заламывают там прозвища! Пришли мы на Кавказе в какую-то, нелегкая их там знает, Аварию. Помнится мне, в четырнадцатом году, как на Париж шли, так тоже эту Аварию проходили. Вишь, каким клином ее вытянуло. Ну, а из Аварии так и в самую туретчину пришли. Я еще был в хлебопеках.

– Чай, всего натерпелся? – снова спросил старичок. – И вздремнуть-то на полатах не частенько приходилось?

– Какие тут, борода, полати. Ночлег-то под чистым небом. Придешь на место, командир скомандует на покой, ну и располагайся

как знаешь. Лег на брюхо, спиной прикрылся, да и спи себе до барабана. Да эвто бы ничего – солдат здоровый человек, а то квасу достать негде – энтакой поганый народ!

Сказав эти слова, старый служивый плюнул и махнул рукой. Несколько времени все присутствующие, исполненные негодования, стояли молча. Наконец высокий парень снова вступил в любознательные расспросы:

– А скажи-ка, дядя, как же тебя ранили?

– Эва, невидальщина какая! Плевое, ей-богу, плевое дело. Знать, и поранить-то порядком не сумели. Всего-то немного колено зашибло.

– Да как же это было?

– Как было? Да вот как было: под крепостью, что ли?... и мудреное такое название, что сразу и не выговоришь. Мы стояли, примером сказать, верстах в десяти. Вдруг слышим – палят. Эва! никак город-то хотят брать штурмом. Забили тревогу. Командир говорит: «Ребята, тут не след дремать, а своих выручать да себя показать». Бежали никак верст восемь или девять без оглядки. Запыхались ребята. Шутка ли? Подбежали вплотную к городу. Ну, разумеется, дали отдохнуть маленько. Поднесли по чарке. Помнится, рассмешил еще меня тут Тарасенков седой – старый хрыч, еще при Суворове служил, а после и в барбоны попал. «Эх, – говорит, – досадно... а я только что разбежался». Уморил, старый дьявол!.. Как перевели дух, генерал спрашивает: «Что, ребята, можно взять эту крепость?» А крепость-то торчит энтаким чертом, хоть тресни, подступить негде... «Нет, ваше превосходительство, больно сильна, не одолеешь». – «Ну, а как прикажут?» – «Ну, прикажут, так поневоле возьмешь». – «Ну, так господи благослови! Полезайте, ребята... Да повеселее. Песенники вперед, марш!» А с крепости-то палят из пушек, из ружей во что попало, треск такой, что ахти мне!.. Да нет, брат, врешь. Не слыхал, что ли, команды? Примем-ка дружнее. Ура, ребята! Да и только! Не помню, как влезли, а вот-таки влезли, и пушки отняли, и знамена забрали, и крепость взяли. Многих, правда, недосчитались. Ну, да царствие им небесное; хорошей покончили смертью. Около вечерень, что ли, фельдфеберь мне говорит: «Что, брат, не худо бы тебе к Карлу Иванычу доктору сходить: никак тебя порядком оцарапало». Ба, да и в самом деле. А я и не заметил вовсе. Что ж, нечего делать: отвели в лазарет... Да плевое дело, и костыля не надо. А только та беда, что маршировать

несподручно... Ну да уж, видно, отслужил свой век. Пора и с мужичками покалякать... Эва! небось в самом деле закалякался... Счастливо оставаться, господа... Я к сотскому зван на пиво.

Тут старый служака опустил руки по швам и, повернувшись по старой привычке налево кругом, согласно правилам дисциплины, отправился себе, немного прихрамывая, вдоль плавного порядка в сопровождении то отстававших, то забегавших перед ним мальчишек. Плотная толпа слушателей начала медленно расходиться, потряхивая головами и меняясь задушевными восклицаниями:

– Эка, старый пес!.. Вишь ты каков! Ай да служба... Не даром хлеб ел... Эва... эвтакий, право...

Иван Васильевич пустился снова в путь. Кое-где раздавались песни полупечальные, полувеселые, выражающие то широкое чувство, то тонкую, ядовитую насмешку. Кое-где мальчишки швыряли ему под ноги бабки и потом, остановившись перед ним, долго смотрели на него с удивлением. Дряхлые, согнутые старики с серебристыми бородами шли осторожно около строений, поддерживаемые почтительными внуками; молодые парни снимали перед ними шапки. Молодые женщины заботливо усаживали их на скамейки. У сотского шел решительно пир горой. Не только изба, но и сени, и даже двор были наполнены гостями. Пирог, лепешки, сушеные рыбы и разное мясо, в числе которого поросенок играл не последнюю роль, устилали роскошную кучей наскоро сколоченные столы. Огромные ведра, наполненные брагой и пивом, манили охотников хмельным, искусительным запахом. Несколько пьяных собеседников были уже уложены на полотах. Хозяйка то и дело что кланялась дорогим гостям, прося не побрезгать скромным угощением, чем бог послал. Хозяин то и дело наполнял ковши и понукал хозяйку больше кланяться и старательнее угощать. Оба готовы были отдать для праздника не только сбереженное ими, но и то, что они могли получить в будущем времени, только чтоб гости были довольны, только чтоб разгулялись почтенные, да сказали бы потом: «Ай да сотский!»

Иван Васильевич шел в грустном недоумении. «Странный народ, – рассуждал он, – непостижимый народ! В нем столько противоречий, столько оттенков, что его в целую жизнь не разгадаешь. И к тому же народ не есть народность. Отдельные касты сами по себе не составляют общего духа, общего требования. Для этого нужно общее

слияние в одном чувстве. Нет сомнения, что и у нас все народные сословия тайно братствуют между собою, но во внешней жизни это братство так редко проявляется у нас, что иногда думаешь: точно ли существует оно в самом деле. Где же искать народности?»

В эту минуту лихая тройка стрелой пронеслась мимо Ивана Васильевича. Ямщик, весело помахивая кнутом, кричал «пади!», стоя на облучке и подмигивая улыбавшимся ему из окон красавицам. В телеге сидел какой-то старенький господин в серой шинели с красным воротником и форменной фуражке. Иван Васильевич поднял голову. «Заседатель! – сказал он невольно. – Чиновник!» Но заседатель был уж далеко. Телега промчалась. Один колокольчик долго заливался вдали звонкою трелью, то утихал, то становился звонче и долго отдавался в сердце Ивана Васильевича каким-то странным звонким чувством грустной удали, заунывной отваги.

Иван Васильевич возвратился на станционный двор с самым неожиданным и диким заключением.

– О чиновники! – сказал он, вздохнув и обращаясь к себе самому. – О чиновники! Уж не вы ли, по привычке к воровству, украли у нас народность?

XVIII

Чиновники

На другой день утром тарантас подъехал к бедной избушке станционного смотрителя.

Василий Иванович тяжело ухнул и начал выкарабкиваться с помощью Сеньки.

– А что бы чайку, – сказал он, – чайку бы выпить. Согреться маленько – а?..

Сметливый Сенька бросился к погребцу. Иван Васильевич выпрыгнул в то же время из тарантаса и хотел вбежать в избу, как вдруг он с внезапным ужасом отскочил на три шага назад. Навстречу к нему подходил чиновник – чиновник, как следует быть чиновнику, во всей форме, во всем жалком своем величии, в старой треугольной шляпе, в старом изношенном мундире с золотым кантиком по черному бархатному воротнику, с огромной бумагой, торчащей между пуговицами мундира. Он медленно переступал от старости и какой-то привычной робости. Маленькое его личико съезживалось в маленькие морщины. Он кланялся и, как казалось, не удивлялся неблагоприятному испугу Ивана Васильевича, а все подходил к нему ближе и ближе и наконец смиренным стареньким голоском вымолвил несколько слов:

– Прошу извинения-с. Покорнейше прошу-с не взыскать... Смею спросить... не известно ли вам, не изволите ли знать... скоро ли их превосходительство намерены сюда пожаловать?

– Не знаю, – грубо отвечал Иван Васильевич и отвернулся с досадой.

– Как? – воскликнул Василий Иванович. – Его превосходительство господин губернатор изволит объезжать губернию?

– Так точно-с. На той неделе получено предписание.

– А вы исправник? – спросил Василий Иванович.

– Никак нет-с... – Чиновник обратился к Василию Ивановичу и поклонился ему почтительно. – Исправляющий-с должность.

– Здесь граница уезда?..

– Так точно.

Василий Иванович как коренной русский человек очень любил новые знакомства – не для того, впрочем, чтоб извлекать из их беседы какую-нибудь пользу, а так, чтоб только поболтать о всяком вздоре да посмотреть на нового человека.

– Не угодно ли откушать с нами чайку? – сказал он приветливо, не обращая внимания на кислую физиономию своего спутника.

Чиновник еще раз поклонился Василию Ивановичу, потом поклонился Ивану Васильевичу, дал дорогу Сеньке, который тащил погребец, и поплелся, покашливая как можно тише, за своими-новыми знакомыми.

В комнатке зрителя было довольно темно; старая ситцевая занавесь обозначала в углу кровать, на которой от времени до времени слышался тихий шорох. Проезжающие, не обратив на то внимания, уселись под образом на лавке, придвинув к себе продолговатый стол. Вскоре погребец разразился стаканами и блюдечками. Самовар закипел, стаканы наполнились, разговор начался.

– Вы давно служите по выборам? – спросил Василий Иванович.

– С восьмьсот четвертого года, – отвечал старичок.

– А почему вы служите по выборам? – лукаво спросил Иван Васильевич.

– Что делать, батюшка! Бедность!

Иван Васильевич значительно улыбнулся. Взяточник! – подумал он. – Так и есть! Старичок понял его мысль, но не оскорбился.

– Теперь, батюшка, – сказал он, – не те времена, когда на этих местах наживались. Бывало, кого сделают исправником, так уж и говорят, что он деревню душ в триста получил. Начальство теперь строгое, смотрит за нашим братом. О-ох, ох-ох! Что год, то пять-шесть человек в уголовную. Да потом, – продолжал шепотом старичок, – народ-то, батюшка, уж не таков. Редко-редко коль в праздник фунтик чая или полголовцы сахара принесут на поклон. Сами, батюшка, знаете, с этим не разживешься, не уйдешь далеко.

– Зачем же вы служите? – спросил Иван Васильевич.

– Бедность, батюшка, дети; восемь человек, всего одиннадцать душ – прокормить надо; со мной две сестры живут да брат слепой. Ну, все думаешь, как бы для детей сделать получше. Авось в кадетский корпус или в институт попадут по милости начальства. Ну, слава богу

и батюшке царю, жалованье теперь нам дают не то, что прежде, прокормиться можно.

– А выгоды есть? – спросил Василий Иванович.

– Какие, батюшка, выгоды! Есть, таить нечего, да много ли их? То куль овса, то муки немножко пришлет какой-нибудь помещик, и то по знакомству. Времена-то, батюшка, теперь другие.

– А хлопот, чай, не оберешься? – спросил Василий Иванович.

– Ну уж, батюшка, что и говорить! Пообедать некогда. Вот теперь, извольте видеть, я должен здесь дожидаться губернатора, а пока в уезде три мертвых тела не похоронены, да шестнадцать следствий не окончено, да недоимок-то одних, описей-то, взысканий-то, я вам скажу, чертова гибель! Что день, то подтверждения от губернского правления, да выговоры, да угрозы наказания, а нарочные так и разъезжают на наш счет... Тяжело, батюшка! Того, и плядишь только, как бы спастись от суда. А канцелярия-то, вы сами, батюшка, знаете, какова: всего-то один писарь Митрофанушка при мне. Да еще из своего жалованья плати ему сотни две да давай платья всякого да сапоги вырезные. Пьет, мошенник, шибко, зато собака писать. Придет несчастный час, подвернет спяну какую-нибудь бумажку, подпишешь – ан выйдет не то, ну и пропал!

– Да у вас должно быть поместье? – спросил Иван Васильевич.

– Батюшка, какое поместье! Нас четыре человека владельцев, а у всех-то у нас семнадцать душ по последней ревизии. На мою долю приходится три семейства, и то все почти женщины да старики. И тут благодати нет! Парень был один хороший – руку вывихнул; а женщины такие маленькие, худенькие, что ни в поле работать, ни полотна ткать, ничего не умеют.

– Да, – заметил Василий Иванович, – это уж точно несчастье. Плохая работница много барыша не даст.

– Все бы ничего, – продолжал бедный чиновник, – да вот беда. Года мои подошли такие, что слаб становлюсь что-то здоровьем. Иной раз сидишь себе за бумагами, как вдруг в глазах потемнеет, так потемнеет, что ни писаного, ни бумаги... черт знает что такое – ничего не разберешь. Божье наказание – что ты станешь тут делать? А плавное то, что для разездов... вот как, например, скакать теперь перед его превосходительством – уж не гожуся вовсе. Всего так и ломит, а делать нечего: скачи себе на тройке да заготовляй лошадей.

Ивану Васильевичу стало невольно грустно; он встал с своего места и подошел к темному углу. За занавеской послышался вздох. Иван Васильевич поспешно ее отдернул. На кровати сидел смотритель, спустив ноги на пол. Иван Васильевич хотя и был человек европейский, проповедник всеобщего равенства, но не менее того нашел весьма оскорбительным и неучтивым, что простой смотритель осмеливался перед ним не вставать. Он хотел уже делать самое антиевропейское замечание, но внимательный взгляд на смотрителя остановил порыв дворянского негодования: на бледном и впалом лице смотрителя виден был отпечаток тяжких страданий, а во всем его существе выражалась какая-то страшная безжизненность.

– Вы нездоровы? – спросил Иван Васильевич.

– Нездоров, – отвечал слабый голос. – Второй год обе руки, обе ноги отнялись.

На перине, на которой сидел окостеневший смотритель, лежало трое детей... Старший мальчик глядел на отца с видом участия и сожаления, другие валялись в пуху и жалобно просили хлеба или закутывались в лохмотья оборванного одеяла.

– Зачем же у вас так холодно? – спросил с заботливостью Иван Васильевич. – Для больного человека это вредно.

– Что же делать, батюшка? Дров не дают, здесь станция вольная, содержатель – помещик, не приказывает давать хороших дров... его воля. Извольте в печке поглядеть: все хворост да прутья сырые; дым только от них, не загораются, хоть тресни. Посылал наемни к нему, нельзя ли дать дров – куда! – раскричался. «Выгоню, – говорит, – его: здесь тракт большой, больного не надо, куда угодно ступай!» А вы видите сами, куда я пойду? Вот, – продолжал смотритель с улыбкою зависти, – на той станции хорошо: помещик добрый, дрова трехполенные; очень там жить хорошо. А меня – так бы и выгнали; слава богу, начальство заступилось: позволило сынишке моему, вот что рядом, исправлять мою должность. Одиннадцать лет всего, а уж пишет... – Бедный страдалец взглянул с невыразимым чувством нежности на белокурого мальчика, лежавшего в тулупе подле него. – Ну, Ваня, вставай, прописывай... Дай мне подорожную.

Ваня развернул перед глазами отца своего подорожную, потом придвинул к кровати стол, вооружился пером и с почтением ожидал, что отец прикажет ему писать.

– Ну, готов, Ваня? Прописывай: «От Москвы до Казани...» дай бог благополучия начальству, не выгнало, вступилось... «по подорожной московского гражданского губернатора...» и проезжающим спасибо, никто не жаловался, слава богу, я всегда старался... «второго октября...» написал, что ли?.. делать им угодное... «_ 7273»... всякие учтивости. Слава богу, и участие принимают... «Казанскому помещику...» Проезжал доктор наемни, добрый такой; советовал в город ехать лечиться. Где мне! С чем ехать? Денег где взять? В чем ехать? Пошевелиться не могу. Буду так лечиться как-нибудь, простыми средствами, а всего лучше богу молиться.

«Странное дело! – подумал, задумавшись, Иван Васильевич. – Когда я входил в эту комнату, мне хотелось сердиться и презирать или по крайней мере насмеяться вдоволь; а теперь, сказать правду, едва ли не плакать хочется».

Он взглянул на своих собеседников. Усердно допивали они по четвертому стакану чая...

XIX

Восток

– Казань... Татары... Восток! – радостно воскликнул, просыпаясь, Иван Васильевич. – Казань... Иоанн Грозный... бирюза, мыло, халаты... Казанское царство – преддверие Азии... Наконец я в Казани... Кто бы подумал, а вот-таки и доехали. Доехали до Востока... хоть не совсем до Востока, а все-таки по соседству... Ну, и деревни уже другие пошли по дорогам, с мечетями, с избами без окон, с женщинами, которые прячутся от нашего тарантаса, закрывшись грязными полотенцами... На пути уже редко попадает православная борода... Теперь стало поживописнее. Идет маленький бритый татарин какой-нибудь в чибитейке, или глупый чуваш, или разряженная мордовка. Все уж получше. Берись за перо, Иван Васильевич, берись скорее! Дождишься вдохновения, а покамест пиши... Пиши свои заметки... Начинай свои впечатления.

«Идет татарин, идет чуваш, идет мордовка...» Ну, и что еще?..

«Видел татарина, видел чуваша, видел мордовку». Ну, а там что?..

– Вот что! – с восторгом воскликнул Иван Васильевич. – Вот что!.. Надо заделать прореху в нашей истории. Надо написать краткую, но выразительную летопись Восточной России... окинуть орлиным взором деяния и быт кочующих народов. Было здесь мордовское царство, которое распалось надвое и угрожало Нижнему поработением под предводительством вождя своего Пургаса. Было болгарское царство с семью городами, с огромной торговлей. Было здесь множество народов, которые пришли неизвестно откуда, откочевали неизвестно куда и исчезли, не оставив ни следа, ни памятника... Что бы!..

Тут жар Ивана Васильевича немного простыл.

«А источники где? – подумал он. – Источники найдутся где-нибудь. А как найдутся?»

Нет, Иван Васильевич, это труд уж, кажется, не по тебе. Тебе бы к цели поскорей. И в самом деле, кому же охота пожертвовать всей жизнью на дело, которое еще на поверку может выйти вздором.

Не написать ли деловым слогом какой-нибудь казенной статистической статейки: «Казань. Широта. Долгота. Топография. История. Кварталы. Торговля. Нравы».

Тут можно сказать, что я стоял в гостинице Мельникова, за стол платят столько-то, за чай столько-то. В Казани более ста гостиниц, что доказывает цветущее состояние города и торговую его значительность. Домов столько-то, бань столько-то.

Нет, Иван Васильевич, это будет уж не живым впечатлением, а чем-то вроде сочинения по обязанности службы или выпиской из губернских ведомостей. Так как же быть?

Неужели потомству лишиться прекрасного сочинения?

Можно было бы поговорить о здешнем университете и обо всех университетах вообще. Здешний университет известен в Европе по своей обсерватории, по математическому факультету и в особенности по изучению восточных языков. Да я-то их не знаю.

Говорят, хорошая здесь и библиотека. Рукописей много. Читать-то я их не умею, а все-таки люблю.

Запомню самые важные.

Восточные с прекрасными рисунками и арабесками, которые могут быть заимствованы со временем для украшений в нашем зодчестве. Еврейская: Моисеево пятикнижие, писанное на пятидесяти кожах и свернутое в огромный сверток.

«Книга 1703 года, а в ней список бояр, и окольных, и думных, и ближних людей, и стольников, и стряпчих, и дворян московских, и дьяков, и жильцов».

«Путешествие стольника Петра Толстова по Европе в 1697 году».

«Чин и поставление великих князей на царство. Свадьбы царей Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича».

«О пришествии святых вселенских патриархов в Москву по писанию к ним от царя Алексея Михайловича».

«Книга записная, кто сидел в судных приказах в 1613 году».

«Записка разрядов».

«Воинский устав царя Василия Иоанновича Шуйского».

«Traite d'Arithmetique par Alexandre de Souvoroff», собственноручно писанный Суворовым в детстве.

Кроме того, целая библиотека князя Потемкина-Таврического.

– Уф!.. – сказал Иван Васильевич. – Все это, без сомнения, занимательно, но все это надо прочесть...

Всего бы проще было взять описание Казани господина Рыбушкина и кое-что из него выписать. Для придачи же ученого вида, который малых обманет, однако ж обманет кого-нибудь, стану теряться в загадках о происхождении названия города.

У нас многие слывут учеными чужим ученьем.

Многие, подобно мне, начали бы книгу свою следующим:

«Полагают, что название города Казани происходит от турецкого слова: @@@@ что означает – чугунный котел».

– Как ни говори, а это слово, которое ни я, ни читатель, – заметил Иван Васильевич, – не сумеет прочесть, сейчас придаст моему вступлению некоторый важный и приятный колорит. Не всякий напишет: @@@@ Не всякий знает, что @@@@ и чугунный котел одно и то же. А если подумать, так какое кому до того дело? Теперь уж проходит пора шарлатанства и пустых слов. И стоит ли хлопотать о том, что действительно ли слуга какого-то Алтын-бека ненарочно уронил в реку котел в то время, как черпал для господина воду? Ведь это ни к чему не ведет: это сущий вздор. Даже если ханы и пили воду из котлов – в том нет нам никакой надобности.

Вдруг Иван Васильевич ударил себя по лбу.

– Нашел! – закричал он с вдохновением. – Нашел свое новое, глубокое, громадное воззрение... Я человек русский, я посвятил себя России. Скажет ли она за то спасибо – не знаю; да не в том дело. Я все труды, все мысли отдаю родине, и потому прочие предметы могут иметь для меня ценность только относительную. Итак, я изучу влияние Востока на Россию, в отношении его к одной России, влияние неоспоримое, влияние важное, влияние тройственное: нравственное, торговое и политическое. Сперва начну с нравственного влияния, которое с давнего времени ведет на нашей почве упорную борьбу с влиянием Запада. Давно оба врага разъярились и кинулись друг на друга врукопашную, не замечая, что они стискивают между собою бедное, исхудалое славянское начало. Не лучше ли бы им, кажется, помириться, и взять с обеих сторон невинную жертву за руки, и вывести ее на чистый воздух, и дать ей оправиться и поздороветь. Пусть каждый расскажет ей потом исповедь своего сердца, наставит на истинный путь, указав на пагубные последствия собственных

заблуждений, на блестящую награду своих доблестей. В самом деле. Россия находится в странном положении. Слева Европа, как хитрая прелестница, нашептывает ей на ухо обольстительные слова; справа Восток, как пасмурный седой старик, протяжно, но грозно твердит ей вечно свою неизменную речь. Кого же слушать? К кому обращаться? Слушать обоих. Не обращаться ни к кому, а идти вперед своей дорогой. Слушать для того, чтоб воспользоваться чужим опытом, чужими бедствиями, чужими страшными уроками и надежнее, вернее стремиться к истине. На Востоке всякое убеждение свято. На Западе нет более убеждений. На Востоке господствует чувство, на Западе властвует мысль. А России суждено слить в себе мысль и чувство при лучах просвещения, как сливаются на небе цветы радуги от яркого блеска солнца. Восток презирает суетность житейских треволнений; Запад погибает в беспрерывном их столкновении. И тут можно найти середину. Можно слить желание усовершенствования с мирным, высоким спокойствием, с непоколебимыми основными правилами. Мы многим обязаны Востоку: он передал нам чувство глубокого верования в судьбы провидения, прекрасный навык гостеприимства и в особенности патриархальность нашего народного быта. Но – увы! – он передал нам также свою лень, свое отвращение к успехам человечества, непростительное нерадение к возложенным на нас обязанностям и, что хуже всего, дух какой-то странной, тонкой хитрости, который, как народная стихия, проявляется у нас во всех сословиях без исключения. При благодетельном направлении эта хитрость может сделаться качеством и даже добродетелью, но при отсутствии духовного образования она доводит до самых жалких последствий; она доводит к неискренности взаимных отношений, к неуважению чужой собственности, к постоянному тайному стремлению ослушиваться законов, не исполнять приказаний и, наконец, даже к самому безнравственному плутовству. Востоку мы обязаны, что столько мужиков и мастеровых обманывают нас на работе, столько купцов обвешивают и обмеривают в лавках и столько дворян губят имя честного человека на службе. Страшно вымолвить, – а привычка в нас сделала то, что мы остаемся равнодушными, будучи свидетелями самых противозаконных хищений, так что даже первобытные понятия наши с годами изменяются и кража не кажется нам воровством, обман не кажется нам ложью, а какой-то

предосудительною необходимостью. Впрочем, слава богу, тут Западом побежден у нас Восток, и мстительный факел осветил пучину козней и позора. Долго еще будут у нас проявляться следы сокрушительного начала, но они давно уже переходят в осадки всех сословий, в низшие слои людей разных именований, потому что каждое сословие имеет свою чернь. Как ни говори, как ни кричи, что ни печатай, Россия быстрым полетом стремится по стезе величия и славы – к недостижимой на земле цели совершенства. И более всех других народов Россия приблизится к ней, ибо никогда не забудет, что одного вещественного благосостояния точно так же недостаточно для жизни государства, как недостаточно для жизни частного человека. Широкой, могучей пятой задавит она мелкие гадины, кровожадные ехидны, которые хотят ползком пробраться до ее сердца, и весело отпрянет она, полная любви и силы, к чистому, беспредельному русскому небу...

– Вот, – заключил Иван Васильевич, – предмет так предмет! Влияние нравственное, влияние торговое, влияние политическое. Влияние восточное, слитое с влиянием Запада в славянском характере, составляет, без сомнения, нашу народность. Но как распознать каждую стихию отдельно? Народность-то, кажется, препорядочно закутана. Ее придется распеленать, чтоб добраться до нее, а потом как узнаешь, что пеленка, что нога? Мужайся, Иван Васильевич: дело великое! Ты на Восток недаром попал; итак, изучай старательно влияние Востока на святую Русь... Ищи, ищи теперь впечатлений. Всматривайся в восточные народы. Изучай все до последней мелочи... Рассмотрю каждую каплю, влитую в нашу народную жизнь, – а потом и найдешь ты народность. За дело, Иван Васильевич, за дело!

Впечатление первое...

– Барин, не надо ли халат, настоящий ханский, какие сам хан носит?

– Барин, не надо ли бирюза! Самый лучший, некрашенный!

– Барин, не надо ли китайский жемчуг?

– Китайский тушь.

– Китайский кашма.

– Китайский зеркало.

– Ергак самый лучший.

– Купи, барин, купи, барин.

– Дешево отдам.

– Деньги нужны.

Иван Васильевич поднял голову. Пока он приготавливался к первому своему впечатлению, комната наполнилась татарами в чибитейках, с выразительными лицами, с товарами под мышкой. Все говорили вместе, все кланялись и улыбались; каждый хватался сперва за суконный или кумачный кафтан, вытаскивал из-за пазухи желтенькие сложенные бумаги и потом, бросившись на пол, начинал развязывать узлы с халатами и разными тканями.

У Ивана Васильевича глаза разбежались. Во-первых, он привык за границей благоговеть перед азиатским товаром; во-вторых, он был из числа тех русских людей, которые не могут вспянуть в лавку, не почувствовав желанья купить все, что в ней есть. Всякая пестрая дрянь в виде товара имеет для таких людей какую-то неодолимую прелесть. Иван Васильевич забыл и влияние Востока и прекрасные свои исследования. Он вдруг одушевился новым чувством: ему чрезвычайно понравился полосатый халат.

– Что стоит? – спросил он.

– Последняя цена триста рублей. Другого не найдешь... Не делают больше... Эй, бери, барин. Будешь доволен... Приезжал князь из Петербурга, два такие халата взял... Семьсот рублей заплатил. Не скупись, барин... Для тебя отдам за двести пятьдесят... Барин, вижу, хороший. Купи, право... Да посмотри, что за халат. На обе стороны. Этак поносил, повернул – опять новый халат. Ну, бери за двести рублей. Деньги нужны... А то бы не отдал... Этакий халат, и не делают больше... Последний, право, последний... Ну так и быть, три полсотни. Вижу, хороший барин... Для почина в убыток отдам.

– А бирюза?

– Давай пять золотых. Даром будешь иметь.

– А жемчуг, а зеркало, а тушь?

– Пять целковых. Десять целковых. Двадцать целковых. Купи, барин. Даром возьмешь. Больно дешево. Купи для почина... Для тебя только, потому что хороший барин. Не купишь – будешь жалеть. Деньги нужны.

Иван Васильевич не устоял против такого искушенья. Он высыпал весь кошелек на стол, и проворные татары, быстро разделив между собой деньги, бросились, толкая друг друга, к дверям и рассыпались по коридору.

В эту минуту в соседней комнате послышалась звучная зевота, и Василий Иванович начал пошевеливаться, нежно охать и наконец приподыматься с своего ложа. Вскоре дверь его комнаты распахнулась, и он в откровенном утреннем беспорядке, прикрытый одним лишь тулупчиком, явился на радостный призыв Ивана Васильевича.

Иван Васильевич сидел в новом пестром халате, с желто-зеленоватыми бирюзами в руке. Перед ним на столе лежали в желтых бумажках какие-то исковерканные раковины, два куска черной туши и маленькое зеркальце.

– Василий Иванович!

– Что, батюшка?

– Видите эти вещи?

– Вижу...

– Оцените, пожалуйста.

Василий Иванович взглянул с пренебрежением на мнимые сокровища.

– Халат, – отвечал он, – на фабрике в Москве, где их делают, стоит тринадцать рублей с полтиною. За бирюзу эту негодную и целкового много. Тушь может стоять полтинник. Да зачем вам тушь, Иван Васильевич: вы, кажется, не рисуете?

– Не рисую, Василий Иванович, а все-таки интересно иметь такую вещь.

– И, батюшка, черт ли вам в ней?

– Ну, а прочее?

– Прочее я не советовал бы даром брать. А вы что дали?

– Все, что у меня было в кошельке, – печально отвечал Иван Васильевич. «Первого своего впечатления, – прибавил он мысленно, – я не помещу в своем сочинении».

Василий Иванович громко расхохотался.

– Ай, да плуты эти татары! Вот как вас, младенцев, проучают. Хха-хха-хха!.. И дело: не покупай бирюзы другой раз...

– Сенька! – закричал он вдруг.

Сенька вошел.

– Подмазали тарантас?

– Подмазали-с!

– Прикажи закладывать.

– Как? – спросил с ужасом Иван Васильевич. – Вы хотите ехать?

- А что ты думаешь, халаты покупать, что ли?..
- Повремените хоть денек. Дайте взглянуть на башню Сумбеки.
- Зачем тебе?
- Я хочу изучать Восток.
- Вот тебе на! Да здесь не Восток, а Казань.
- Да физиономия здесь восточная; население татарское.
- Да ты, батюшка, никак узнал татар? Довольно с тебя... Завтра мы и в Мордасах будем. Не прогневайся. Я стосковался и по Авдотье Петровне и по старичкам своим. Дела у меня довольно, а Восток ты изучай, коли угодно, в другой раз.

Волей-неволей Иван Васильевич сердито взгромоздился в тарантас подле неумолимого своего спутника... Тарантас выехал грузно из Казани и покатился по широкой дороге. И скоро скрылись из вида и городские стены, и высокие башни, и все далее и далее въезжал тарантас в широкую, гладкую равнину... И вот исчезли леса, и долины, и жилые места. Голая степь раскинулась, растянулась во все стороны, как скованное море... Тощий ковыль едва колыхался от широкого размета ничем не обузданного ветра... Тучи бежали белыми волнами по небу... Орел, расширив крылья, парил в неизмеримой высоте... В целой природе дышало таинственное, унылое величие. Все напоминало смерть и в то же время сливалось в какое-то неясное понятие о вечности и жизни беспредельной...

Поздно вечером катился тарантас по широкой степи. Становилось темно. Наконец наступила ночь, покрыв всю окрестность мрачною завесой.

– Что это? – сказал с беспокойством Иван Васильевич. – Куда же девался Василий Иванович? Василий Иванович! Василий Иванович! Где вы? Где вы? Василий Иванович?

Василий Иванович не отвечал.

Иван Васильевич протер глаза.

– Странно, диковинное дело! – продолжал он. – Мерещится мне, что ли, это в темноте, а вот так и кажется, что тарантас совсем не тарантас... а вот, право, что-то живое... Большой таракан, кажется... Так и бежит тараканом... нет, теперь он скорее похож на птицу... Вздор, однако ж, быть не может, а что ни говори, птица, большая птица, – какая, неизвестно. Этаких огромных птиц не бывает. Да слыханное ли дело, чтоб тарантасы только притворялись экипажами, а были в самом деле птицами? Иван Васильевич, уж не с ума ли ты сходишь! Доживешь ты, брат, до этого с твоими бреднями. Тьфу! Страшно становится. Птица, решительно птица!

И в самом деле, Иван Васильевич не ошибся: тарантас действительно становился птицей. Из козел вытягивалась шея, из передних колес образовывались лапы, а задние обращались в густой широкий хвост. Из перин и подушек начали выползать перья, симметрически располагаясь крыльями, и вот огромная птица начала пошатываться со стороны на сторону, как бы имея намерение подняться на воздух.

– Нет, врешь! – сказал Иван Васильевич. – Оставаться ночью в степи одному – слуга покорный. Ты, пожалуй, прикидывайся птицей, да меня-то ты не проведешь: я все-таки знаю, Что то! не что иное, как тарантас. Прошу везти на чем хочешь и как хочешь – это твое уж дело.

Тут Иван Васильевич схватил руками за огромную шею фантастического животного и, спустив ноги над крыльями по обе стороны, не без душевного волнения ожидал, что из всего этого будет.

И вот странная птица, орел не орел, индейка не индейка, стала тихо приподыматься. Сперва выдвинула она шею, потом присела к земле, отряхнулась и вдруг, ударив крыльями, поднялась и полетела.

Иван Васильевич был очень недоволен.

«Наконец дождался я впечатления, – думал он, – и в самом пошлом, в самом глупом роде. Надо же быть такому несчастью. Ищу современного, народного, живого – и после долгих тщетных ожиданий добиваюсь какой-то бестолковой, фантастической истории. Я вообще этого подражательного, разогретого фантастического рода терпеть не могу... Экая досада! Неужели суждено мне век искать истины и век добиваться только вздора?»

Между тем темнота была страшная и все становилась непроницаемее. Воздух вдруг сделался удушлив. Страшная гробовая сырость бросила Ивана Васильевича в лихорадку. Мало-помалу начал он чувствовать, что над ним сгущались тяжелые своды. Ему показалось, что он несется уже не по воздуху, а в какой-то душной пещере. И в самом деле он летел по узкой и мрачной пещере, и от земли веяло на него каким-то могильным холодом. Иван Васильевич перепугался не на шутку.

– Тарантас! – сказал он жалобно. – Добрый тарантас! Милый тарантас! Я верю, что ты птица. Только вывези меня, вылети отсюда. Спаси меня. Век не забуду!

Тарантас летел.

Вдруг в щели черной пещеры зарделся красноватый огонек, и на багровом пламени начали отделяться страшные тени. Безглавые трупы с орудиями пытки вокруг членов, с головами своими в руках чинно шли попарно, медленно кланялись направо и налево и исчезали во мраке; а за ними шли другие тени, и снова такие же тени, и не было конца кровавому шествию.

– Добрый тарантас! Славная птица!.. – закричал Иван Васильевич. – Страшно мне. Страшно. Послушай меня: я почию тебя; я накормлю тебя; в сарай поставлю – вывези только!

Тарантас летел.

Вдруг тени смешались. Пещера снова почернела иглой непроницаемой.

Тарантас все летел.

Прошло несколько времени в удушливом мраке. Ивану Васильевичу вдруг послышался отдаленный гул, который все становился слышнее. Тарантас быстро повернул влево. Вся пещера мгновенно осветилась бледно-желтым сиянием, и новое зрелище поразило трепетного всадника. Огромный медведь сидел, скорчившись, на камне и играл плясовую на балалайке; вокруг него уродливые рожи выплясывали вприсядку со свистом и хохотом какого-то отвратительного трепака. Гадко и страшно было глядеть на них. Что за лики! Что за образы! Кочерги в вицмундирах, летучие мыши в очках, разряженные в пух франты с визитной карточкой вместо лица под шляпой, надетой набекрень, маленькие дети с огромными иссохшими черепами на младенческих плечиках, женщины с усами и в ботфортах, пьяные пиявки в длиннополых сюртуках, напудренные обезьяны во французских кафтанах, бумажные змеи с шитыми воротниками и тоненькими шпагами, ослы с бородами, метлы в переплетках, азбуки на костылях, избы на куриных ножках, собаки с крыльями, поросята, лягушки, крысы... Все это прыгало, вертелось, скакало, визжало, свистело, смеялось, ревело так, что своды пещеры тряслись до основания и судорожно дрожали, как бы испуганные адским разгулом беснующихся гадин...

– Тарантас! – возопил Иван Васильевич. – Заклинаю тебя именем Василия Ивановича и Авдотьи Петровны, не дай мне погибнуть во цвете лет. Я молод еще; я не женат еще... Спаси меня...

Тарантас летел.

– Ага!.. Вот и Иван Васильевич! – закричал кто-то в толпе.

– Иван Васильевич, Иван Васильевич! – подхватил хором уродливый сброд. – Дождались мы этой канальи. Ивана Васильевича! Подавайте его сюда! Мы его, подлеца! Проучим голубчика! Мы его в палки примем, плясать заставим. Пусть пляшет с нами. Пусть околеет... Вот и к нам попался... Ге-ге-ге... брат! Важничал больно. Света искал. Мы просветим тебя по-своему. Эка великая фигура!.. И грязи не любишь, и взятки бранишь, и сумерки не жалуешь. А мы тут сами взятки, дети тьмы и света, сами сумерки, дети света и тьмы. Эге-ге-ге-ге... Ату его!.. Ату его!.. Не плошайте, ребята... Ату его!.. Лови, лови, лови!.. Сюда его, подлеца, на расправу... Мы его... Ге... ге... ге...

И метлы, и кочерги, и все мерзкие, уродливые гадины понеслись, помчались, полетели Ивану Васильевичу в погоню.

– Постой, постой! – кричали хриплые голоса. – Ату его!.. Ловите его... Вот мы его, подлеца... Не уйдешь теперь... Попался... Хватайте его, хватайте!

– Караул! – заревел с отчаянием Иван Васильевич.

Но добрый тарантас понял опасность; он вдруг ударил сильнее крыльями, удвоил быстроту полета. Иван Васильевич зажмурил глаза и ни жив ни мертв съезжился на странном своем гипогрифе... Он уж чувствовал прикосновение мохнатых лап, острых когтей, шершавых крылий; горячее, ядовитое дыхание адской толпы уже жгло ему и плечи и спину... Но тарантас бодро летел. Вот уж подался он вперед... вот уж изнемогает, вот отстает нечистая погоня, и ругается, и кричит, и проклиняет... а тарантас все бодрее, все сильнее несется вперед... Вот отстали уже они совсем; вот беснуются они уже только издали... но долго еще раздаются в ушах Ивана Васильевича ругательства, насмешки, проклятия, и визг, и свист, и отвратительный хохот... Наконец, желтое пламя стало угасать... адский треск снова обратился в глухой гул, который все становился отдаленнее и неяснее и мало-помалу начал исчезать. Иван Васильевич открыл глаза. Кругом все было еще темно, но на него пахнуло уже свежим ветерком. Мало-помалу своды пещеры начали расширяться, расширяться и слились постепенно с прозрачным воздухом. Иван Васильевич почувствовал, что он на свободе и что тарантас мчится высоко-высоко по небесной степи.

Вдруг на небосклоне солнечный луч блеснул молнией. Небо перешло мало-помалу через все радужные отливы зари, и земля начала обозначаться. Иван Васильевич, нагнувшись через тарантас, смотрел с удивлением: под ним расстилалось панорамой необозримое пространство, которое все становилось яснее при первом мерцании восходящего солнца. Семь морей бушевали кругом, и на семи морях колебались белые точки парусов на бесчисленных судах. Гористый хребет, сверкающий золотом, окованный железом, тянулся с севера на юг и с запада к востоку. Огромные реки, как животворные жилы, вились по всем направлениям, сплетаясь между собой и разливая повсюду обилие и жизнь. Густые леса ложились между ними широкою тенью. Тучные поля, обремененные жатвой, колыхались от предутреннего ветра. Посреди них города и селения пестрели яркими звездами, и плотные ленты дорог тянулись от них лучами во все

стороны. Сердце Ивана Васильевича забилося. Начинало светать. Вдруг все огромное пространство дружно взыграло дружной, одинакой жизнью; все засуетилось и закипело. Сперва загудели колокола, призывая к утренней молитве; потом озабоченные поселяне рассыпались по полям и нивам, и на целой земле не было места, где бы не сияло благоденствие, не было угла, где бы не означался труд. По всем рекам летели паровые суда, и сокровища целых царств с непостигаемой быстротой менялись местами и всюду доставляли спокойствие и богатство. Странные, неизвестные Ивану Васильевичу кареты и тарантасы начали с фантастической скоростью перелетать и перебегать из города в город, через горы и степи, унося с собой целые населения. Иван Васильевич не переводил дыхания. Тарантас начал медленно спускаться. Золотые главы городов сверкнули при утренних лучах. Но один город сверкал ярче прочих и церквами своими и царскими палатами, и горделиво-широко раскинулся он на целую область. Могучее сердце могучего края, он, казалось, стоял богатырским стражем и охранял целое государство и силой своей и заботливостью. Душа Ивана Васильевича исполнилась восторгом. Глаза засверкали. Велик русский бог! Велика русская земля! – воскликнул он невольно, и в эту минуту солнце заиграло всеми лучами своими над любимой небом Россией, и все народы от моря Балтийского до дальней Камчатки склонили головы и как бы слились вместе в дружной благодарственной молитве, в победном торжественном гимне славы и любви.

Иван Васильевич быстро спускался к земле, и, по мере того как он спускался, тарантас снова изменял свою птичью наружность для более приличного вида. Шея его вновь становилась козлами, хвост и лапы колесами, одни перья не собрались только в перины, а разнеслись свободно по воздуху. Тарантас становился снова тарантасом, только не таким неуклюжим и растрепанным, как знавал его Иван Васильевич, а приглаженным, лакированным, стройным – словом, совершенным молодцом. Коробочки и веревочки исчезли. Рогож и кульков как не бывало. Место их занимали небольшие сундуки, обтянутые кожей и плотно привинченные к назначенным для них местам. Тарантас как бы переродился, перевоспитался и помолодел. В твердой его поступи не видно было более прежнего неряшества; напротив, в ней выражалась

какая-то уверенность, чувство неотъемлемого достоинства, быть может, даже немного гордости.

«Эк его Василий Иванович отделал! – подумал невольно Иван Васильевич. – Экипаж длинный, это правда, однако ж для степной езды удобный. К тому ж он не лишен оригинальности, и ехать в нем весьма приятно... Спасибо Василию Ивановичу... Да где же он, в самом деле? Василий Иванович! Василий Иванович! Где вы? Нет Василия Ивановича. Ужели пропал он, исчез совершенно? Жаль старика! Добрый был человек... Нет его как нет. Упал где-нибудь дорогой. Не остановиться ли поискать его?»

Остановиться, однако, было невозможно. В тарантас впряглась ретивая тройка, ямщик весело прикрикнул, и Иван Васильевич поскакал с такой невероятной быстротой, как ему никогда еще не случалось, даже когда он разъезжал в старину с курьерской подорожной по казенной надобности. Тарантас мчался все вперед без остановки по гладкой, как зеркало, дороге. Лошади незаметно менялись, и тарантас несся все далее и далее мимо полей, селений и городов. Земли, по которым он несся, казались Ивану Васильевичу знакомыми. Должно быть, он бывал тут когда-то часто и по собственным делам и по обязанности службы, однако все, кажется, приняло другой вид... Места, где были прежде неизмеримые бесплодные пространства, болота, степи, трущобы, теперь кипят народом, жизнью и деятельностью. Леса очищены и хранятся, как народные сокровища; поля и нивы, как разноцветные моря, раскинуты до небосклона, и благословенная почва всюду приносит щедрое вознаграждение заботам поселян. На лугах живописно пасутся стада, и небольшие деревеньки, рассыпая кругом себя земледельцев симметрической своей сетью, как бы наблюдают за сбережением времени и труда человеческого. Куда ни взгляни, везде обилие, везде старание, везде просвещенная заботливость. Селения, через которые мчался тарантас, были русские селения. Иван Васильевич бывал даже в них нередко. Они сохранили прежнюю, начальную свою наружность, только очистились и усовершенствовались, как и сам тарантас. Черные избы, соломенные крыши, все безобразные признаки нищеты и нерадения исчезли совершенно. По обеим сторонам дороги возвышались красивые строения с железными крышами, с кирпичными стенами, с пестрыми изразцовыми наличниками у окон, с

точенными перилами и украшениями... На широких дубовых воротах прибиты были вывески, означающие, что в длинные зимние дни хозяин дома не занимался пьянством, не валялся праздный на лежанке, а приносил пользу братьям выгодным ремеслом благодаря способности русского народа все перенять и все делать, и тем упрочивал и свое благоденствие. На улицах не было видно ни пьяных, ни нищих... Для дряхлых бесприютных стариков были устроены у церкви богадельни и тут же приюты для призрения малолетних детей во время занятия отцов и матерей полевыми работами. К приютам примыкали больницы и школы... школы для всех детей без исключения. У дверей, обсаженных деревьями, резвились пестрые толпы ребятишек, и в непринужденном их веселии видно было, что часы труда не промчались даром, что они постоянно и терпеливо готовились к полезной жизни, к честному имени, к похвальному труду... И сельский пастырь, сидя под ракитой, с любовью глядел на детские игры. Кое-где над деревнями возвышались дома помещиков, строенные в том же вкусе, как и простые избы, только в большем размере. Эти дома, казалось, стояли блюстителями порядка, залогом того, что счастье края не изменится, а благодаря мудрой заботливости просвещенных путеводителей все будет еще стремиться вперед, все будет еще более развиваться, прославляя дела человека и милосердие создателя.

Города, через которые мчался тарантас, казались тоже Ивану Васильевичу знакомыми, хотя он во многом их не узнавал. Улицы не стояли печальными пустынями, а кипели движением и народом. Не было нигде заборов вместо домов, домов с плачевной наружностью, разбитыми стеклами и оборванной челядью у ворот. Не было развалин, растрескавшихся стен, грязных лавочек. Напротив, дома, дружно теснясь один к одному, весело сияли чистотой... окна блестели, как зеркала, и тщательно отделанные украшения придавали красивым фасадам какую-то славянскую, народную, оригинальную наружность. И по этой наружности не трудно было заключить, в каком порядке, в каком духе текла жизнь горожан; бесчисленное множество вывесок означало со всех сторон торговую деятельность края... Огромные гостиницы манили путешественников в свои чистые покои, а над золотыми куполами звучные колокола гудели благословением над братской семьей православных.

И вот блеснул перед Иваном Васильевичем целый собор сверкающих куполов, целый край дворцов и строений... Москва, Москва! – закричал Иван Васильевич... и в эту минуту тарантас исчез, как бы провалился сквозь землю, и Иван Васильевич очутился на Тверском бульваре, на том самом месте, где еще недавно, кажется, встретил он Василия Ивановича и условился с ним ехать в Мордасы. Иван Васильевич изумился. Вековые деревья осеняли бульвар густою, широкою тенью. По сторонам его красовались дворцы такой легкой, такой прекрасной архитектуры, что уж при одном взгляде на них душа наполнялась благородной любовью к изящному, отрадным чувством гармонии. Каждый дом казался храмом искусства, а не чванной выставкой бестолковой роскоши... «Италия... Италия! неужели мы тебя перещеголяли?» – воскликнул Иван Васильевич и вдруг остановился. Ему показалось, что навстречу к нему шел князь, тот самый, которого он когда-то встретил на большой дороге в дормезе, который вечно живет за границей и приезжает в Россию с тем только, чтобы забрать с мужиков оброк.

«Не может быть, – подумал он. – Однако ж, кажется, что князь... Да он, верно, за границей... И к тому же он разве из маскарада идет в таком наряде?»

Навстречу к Ивану Васильевичу шел в самом деле князь, только не в таком виде, как он знал его прежде. На голове его была бобровая шапка, стан был плотно схвачен тонким суконным полушубком на собольем меху. Он узнал старого своего знакомого и учтиво его приветствовал.

– Здорово, старый приятель, – сказал он.

– Как, князь... так это точно вы?... Я никак бы не узнал вас в этом костюме.

– Почему же?... Наряд этот совершенно удобен для нашего северного холода, а притом он наш, народный, и я другого не ношу.

– Не знал-с, виноват, совсем не знал... А я думал, князь, что вы за границей.

– Что?

– Я думал, что вы за границей.

– За какой границей?

– Да на Западе...

– Зачем?

– Да так-с.

– Помилуйте!.. У нас есть свой запад, свой восток, свой юг и свой север... Коли любишь путешествовать... так и тут своего во всю жизнь не объедешь.

– Конечно, это правда, князь... Однако согласитесь сами, что за границей мы находим не только удовольствия, но и важные поучения.

Князь посмотрел на Ивана Васильевича с удивлением.

– Какие поучения?

– Примеры-с.

– Какие примеры?

– Да просвещения и свободы.

Князь рассмеялся.

– Помилуйте... да это слова... Мы не дети, слава богу... Нам неприлично заниматься шарадами и принимать названия за дела. Я вижу, впрочем, с удовольствием, что вы читаете историю – занятие похвальное. Вы говорите о том времени, когда непрошеные крикуны вопили о судьбе народов не столько для народного блага, как для того, чтоб их голос был слышен. Но ведь народы давно сами догадались, что весь этот шум прикрывал только мелкие расчеты, частные страсти, личное самолюбие или горячность молодости. Поверьте, если благо общее и подвинулось, так это от собственной силы, а не от громких возгласов. Для всякого человеческого дела страсть не только пагубна, но даже смертельна. Вам это докажет история, а история не что иное, как поучение прошедшего настоящему для будущего. Мы начали после всех, и потому мы не впали в прежние ребяческие заблуждения. Мы шли спокойно вперед, с верою, с покорностью и надеждой. Мы не шумели, не проливали крови, мы искали не укрыательства от законной власти, а открытой священной цели, и мы дошли до нее и указали ее целому миру... Терпением разгадали мы загадку простую, но до того еще никем не разгаданную. Мы объяснили целому свету, что свобода и просвещение одно и то же целое, неделимое и что это целое не что иное, как точное исполнение каждым человеком возложенной на него обязанности.

– Вы шутите, князь.

– Сохрани меня бог! Люди кричали много о своих правах, но всегда умалчивали о своих обязанностях. А мы сделали иначе: мы

крепко держались обязанностей, и право, таким образом, определилось у нас само собой.

– Да как же вы это сделали?

– Бог благословил наше смирение. Вы знаете, Россия никогда не заносилась духом гордыни, никогда не хотела служить примером прочим народам, и оттого-то бог избрал Россию.

– Неужели это правда, князь?.. Дай-то бог... Да все-таки я не понимаю, как вы дошли до такого счастья.

– Дошли просто, повинувшись стремлению века, а не бегая с ним взапуски. Мы искали возможного и не гонялись за недостижимым; мы отделили человеческое от идеального. Мы не увлекались пустыми, неприменяемыми началами, ибо знали, что нет начала, которое бы, доведенное до крайнего своего выражения, не делалось нелепостью и, что хуже, преступлением. Вот почему мы старались согласовать разнородные стихии, а не разрушать, не сокрушать их в безрассудных порывах. Мы искали равновесия. Равновесием держится весь мир, и это равновесие нашли мы в одной только любви. В любви христианской таится и гражданственное спокойствие и семейное счастье – все, что мы можем просить от земли, все, что мы должны просить от неба.

– И вы не встретили препятствий? – спросил Иван Васильевич.

– Без препятствий не было бы успеха, не было бы человеческих условий. Но в любви мы нашли и волю, и силу, и победу над враждебными началами, нашли единодушное влияние всех сословий для великого народного подвига. Дворяне шли вперед, исполняя благую волю божьего помазанника; купечество очищало путь, войско охраняло край, а народ бодро и доверчиво подвигался по указанному ему направлению. И побороли мы и западное зло и восточное зло, пользуясь их же примером, и теперь, слава богу, Россия владычествует над вселенной не одними громадными силами, но и духовным высоконравственным успокоительным влиянием...

– Я вижу, – заметил Иван Васильевич, – вы все-таки по-прежнему аристократ...

Князь улыбнулся и пожал плечами.

– Опять слова... опять пустые названия... Хорошо, что я с вами давно знаком и не повторю вашего замечания. Но я вас предваряю, вы можете уронить себя в общем мнении, если узнают, что вы еще

занимаетесь пустыми толкованиями об аристократах и демократах. Теперь все называется настоящим именем и оценивается по достоинству. Тунеядец, который надувается глупой надменностью, точно так же отвратителен, как и желчный завистник всякого отличия и всякого успеха. Голодная зависть нищей бездарности ничем не лучше спесивого богатства. Я аристократ в том смысле, что люблю всякое усовершенствование, всякое истинное отличие, а демократ потому, что в каждом человеке вижу своего брата. Впрочем, как вы видите, эти понятия вовсе не разнородны, а, напротив, тесно связаны между собой.

«Да он, кажется, сделался педантом, – подумал с удивлением Иван Васильевич. – Уж не набрался ли он немецкой философии? На философию мода в Москве... Видно, и князь сделался мудрецом от скуки». Иван Васильевич продолжал разговор:

– Как же вы, князь, проводите здесь время? Скучненько, я думаю? Разве ведете большую игру в лото или в палки?

– Что за шутки!.. – возразил, немного обидевшись, князь. – У нас в карты одни только слуги играют, и то мы лишаем их мест за такую гнусную потерю времени. У нас, слава богу, есть довольно занятий. Нетрудящийся человек не достоин звания человека. Когда же мы устаем от дела, то отправляемся в клуб.

– В английский?

– Нет, в русский. Там собираются наши светлые умы, и, слушая их беседы, всегда можно почерпнуть или новое познание, или отрадное впечатление. Поверите ли, все наши огромные предприятия, все усовершенствования, которыми мы так справедливо гордимся, возникли среди этого дружеского размена мнений и чувств.

– Так вы, князь, постоянно живете в Москве?

– О нет! Я в Москву только изредка наезжаю, а то живу себе большей частью в уезде. Служба берет много времени.

– Вы служите, князь?

– Да... заседателем.

Иван Васильевич захохотал во все горло.

– Чему же вы смеетесь?..

– Помилуйте, князь... с вашим богатством, с вашим именем...

– Да оттого-то я и служу... Во-первых, как гражданин, я обязан отдать часть своего времени для общей пользы; во-вторых, выгоды мои, как значительного владельца, тесно связаны с выгодами моего

края. Наконец, находясь сам на службе, я не отвлекаю от выгодного занятия или ремесла бедного человека, который бы должен был занимать мою должность. Таким образом, правительство не содержит нищих невежд или бессовестных лихоимцев. Охранение законов не делается источником беззаконности.

– Так вы живете в губернском городе?

– Иногда... по службе, иногда для удовольствия. Приезжайте к нам. Вы найдете много любопытного, много древностей, много предметов искусств, не говоря уж об огромных предприятиях относительно промышленности и торговли. Общество у нас серьезное, ненавидящее праздность с ее жалкими последствиями. Приезжайте к нам, а всего лучше приезжайте ко мне в деревню, в старый мой дедовский замок; есть что посмотреть.

– Могу вообразить, – прервал Иван Васильевич. – Если роскошь усовершенствовалась у нас, как и прочее, какие должны быть у вас комнаты. Я чаю, вы каждый год меняете обои и мебель?

– Сохрани бог! Мой замок стоит как есть уж несколько веков. В нем сохраняются с почтением все следы дедовской жизни. Он служит некоторым образом памятником их действий. Воспоминание о них не исчезает, а переходит от поколения к поколению, внушая детям благородную гордость и обязанность не уронить чести своего рода. Впрочем, деды наши не употребляли денег своих на вздор, а на важные местные улучшения, на книги, на поощрение художеств, на пособие наукам... Зато каждый замок может служить у нас предметом самых любопытных изучений, самых изящных удовольствий... У меня в особенности замечательно собрание картин.

– Итальянской школы? – спросил Иван Васильевич.

– Арзамасской школы... Вообразите, у меня целая галерея образцовых произведений славных арзамасских живописцев.

«Вот те на!..» – подумал Иван Васильевич.

– Немалого внимания заслуживает тоже моя библиотека.

– Иностранной словесности, верно?

– Напротив. Иностранной словесности вы найдете у меня только то малое число гениальных писателей, творения которых сделались принадлежностью человечества. Но вы найдете у меня полное собрание русских классиков, любопытную коллекцию наших прекрасных журналов, которые своими полезными и совестливыми

трудами поощряли народ на стезе прямого образования и сделались предметом общего уважения и благодарности. Зато, поверите ли, чтение журналов сделалось необходимостью во всех сословиях. Нет избы теперь, где бы вы не нашли листка «Северной пчелы» или книги «Отечественных записок». Писатели наши – честь и слава нашей родины. В их творениях столько добросовестности, столько родного вдохновения, столько бескорыстия, столько увлекательности и силы, что нельзя не порадоваться их высокому и лестному значению в нашем обществе... Да, бишь, скажите, пожалуйста... где Василий Иванович?

Иван Васильевич смутился. Он совершенно забыл о Василии Ивановиче, и совесть начала его в том упрекать.

– Вы знаете Василия Ивановича? – спросил он, запинаясь.

– Знавал в молодости... Да вот давно уж не видал. Он человек не бойкий в разговорах, а практически дельный. Если б все люди были, как он, просто без образования, наш народ гораздо бы скорее образовался... А то нам долго мешали недообразованные крикуны, которые кое о чем слышали, да мало что поняли... Кланяйтесь Василию Ивановичу, если он жив... А теперь прощайте... Я заговорился с вами... Прощайте.

Князь пожал у Ивана Васильевича руку и быстро скрылся, оставив своего собеседника в сильном раздумье...

«Уж не это ли наша гражданственность?» – подумал он.

– Ваня, Ваня!.. – закричал вдруг кто-то за ним.

Иван Васильевич обернулся и очутился в объятиях своего пансионного товарища, того самого, который встретился ему на Владимирском бульваре...

– Ваня, как это ты здесь? – спрашивал он с дружеским удивлением.

– Сам не знаю, – отвечал Иван Васильевич.

– Пойдем ко мне. Жена будет так рада с тобой познакомиться. Я так часто ей говорил о том счастливом времени, когда мы сидели с тобой в пансионе на одной лавке и так ревностно занимались, так жадно вслушивались в ученые лекции наших профессоров.

– Шутишь ли? – сказал Иван Васильевич.

– Ах, братец, как не быть признательным к этим людям. Им я обязан и душевным спокойствием и вещественным благосостоянием. Я

богат потому, что умерен в своих желаниях. Я неприхотлив потому, что вечно занят.

Я не взволнован желаниями искать рассеянья, потому что нахожу счастье в семейной жизни. В этой счастии заключается вся моя роскошь, и благодаря строгому порядку я могу еще делиться своим избытком с неимущими братьями. К несчастью, на земле не может быть равенства; человек никогда не может быть равен другому человеку. Всегда будут люди богатые, перед которыми другие будут почитаться бедными. Ум и добродетель имеют тоже своих богатых и своих бедных. Но обязанность богатых делиться с неимущими, и в том заключается их роскошь. Пойдем ко мне.

Они отправились. Все было просто в скромном жилище товарища Ивана Васильевича, но все дышало какой-то изящной изысканностью, каким-то неизъяснимым отблеском присутствия молодой, прекрасной женщины. Приветливо улыбнулась она Ивану Васильевичу, и он остановился перед ней в немом благоговении. Ему показалось, что он до того времени никогда женщины не видывал. Она была хороша не той бурной сверкающей красотой, которая тревожит страстные сны юношей, но в целом существе ее было что-то высоко-безмятежное, поэтически-спокойное. На лице, сиявшем нежностью, всякое впечатление ярко обозначалось, как на чистом зеркале. Душа выплывала из очей, а сердце говорило из уст. В полудетских ее чертах выражались такое доброжелательное радушие, такая заботливая покорность, такая глубокая, святая, ничем не развлеченная любовь, что, уже глядя на нее, каждый человек должен был становиться лучше. В каждом ее движении было очаровательное согласие... Она улыбнулась вошедшему гостю, а двое розовых и резвых детей, смущенные видом незнакомца, прижали к ее коленям свои кудрявые головки. Иван Васильевич пледел на эту картину, как на святыню, и ему показалось, что он в ней видел светлое олицетворение тихой семейственности, этого высокого вознаграждения за все труды, за все скорби человека. И мало ли, долго ли стоял он перед этой чудной картиной – он этого не заметил; он не помнил, что слышал, что говорил, только душа его становилась все шире и шире, чувства его успокоились в тихом блаженстве, а мысли слились в молитву.

– Есть на земле счастье! – сказал он с вдохновением. – Есть цель в жизни... и она заключается...

– Батюшки, батюшки, помогите!.. Беда... Помогите... Валимся, падаем!..

Иван Васильевич вдруг почувствовал сильный толчок и, шлепнувшись обо что-то всей своей тяжестью, вдруг проснулся от сильного удара.

– А... Что?.. Что такое?..

– Батюшки, помогите, умираю! – кричал Василий Иванович. – Кто бы мог подумать... тарантас опрокинулся.

В самом деле, тарантас лежал во рву вверх колесами. Под тарантасом лежал Иван Васильевич, ошеломленный неожиданным падением; под Иваном Васильевичем лежал Василий Иванович в самом ужасном испуге. Книга путевых впечатлений утонула навеки на дне влажной пропасти. Сенька висел вниз головой, зацепясь ногами за козлы...

Один ящик успел выпутаться из постромок и уже стоял довольно равнодушно у опрокинутого тарантаса... Сперва огляделся он кругом, нет ли где помощи, а потом хладнокровно сказал вопиющему Василию Ивановичу:

– Ничего, ваше благородие!

Собачка

(Посвящено М.С. Щепкину)

В начале нынешнего столетия, то есть лет сорок назад, Теменевская ярмарка славилась в целой России; на ней совершались торговые обороты многих губерний и решались нередко важные экономические вопросы. Тут устанавливались цены на хлеб, на шерсть, на пеньку, на все, чем промышляет русский помещик.

Тут помещик встречался с своим вечным соперником – купцом, и завязывалась между ними дипломатическая борьба, которая обыкновенно оканчивалась тем, что один непременно поддевал другого. Оттого помещики и готовились к ярмарке за полгода вперед, прикидывая на счетах предполагаемые барыши. Жены их, с своей стороны, заготавливали наряды для предстоящих редутов, собраний и визитов, после которых привозился домой годовой запас сплетней и болтовни. Наконец, румяные дочери рассчитывали, сколько остается им дней до той блаженной минуты, когда придется им прогуливаться по рядам, быть может, задеть сердце какогонибудь пылкого корнета, быть может, самим лишиться тяготящего девичьего спокойствия.

Как бы то ни было, а 17 августа 1804 г... за два дня перед открытием ярмарки, въехала в уездный город Теменев довольно странная процессия. Впереди красовалась, запряженная пегими клячами, какая-то еле дышащая бричка в виде подержанной римской колесницы.

В ней сидело два человека: первый, чрезмерно бледный и худощавый, наружности важной и даже немного грозной, родом немец, именем Адам Адамыч Шрейн, званием балетмейстер, а в случае надобности и танцор; второй – румяный, веселый, с вздернутым козырьком картуза, что служило у него признаком приятного расположения духа. Званием был он трагический актер, оперный певец и первый комик, именем Осип Викентьевич Поченовский.

Оба были не что иное, как директоры, режиссеры и антрепренеры теменевского театра, разумеется, только на время ярмарки, потому что по миновании этого блистательного времени город Теменев становился тих и безлюден, как бы после нашествия неприятеля. Лавки

запирались до будущей ярмарки. Дома, некогда кипевшие жизнью, начиненные помещиками с женами, детьми и оборванной челядью, дворы, заставленные бричками и тарантасами, вдруг до того становились пусты и безлюдны, что внушали невольный ужас. Ставни в окнах на улицу заколачивались наглухо, хозяева помещались в какой-нибудь светелке на чердаке в ожидании той счастливой эпохи, когда снова брички и тарантасы остановятся у их ворот и привезут годовой доход за недельный постой. В целом городе водворялась тишина мертвая, и лишь изредка промелькивали на дрожащих тротуарах бабы в сапогах да раздавался по опустевшим улицам стук городнических дрожек.

Надо заметить, что теменевский городничий только на время ярмарки удостоивался звания полицеймейстера, что по тогдашним понятиям было как-то благозвучнее и внушало более страха. В мирное же время городничий оставался просто городничим, то есть скромным помещиком уездного городка, жил себе безмятежно в кругу семейства, занимался воспитанием детей, читал газеты да в праздничные дни кормил на убой всех городских чиновников.

Такая общая тихая дремота вдруг прерывалась в августе месяце каждого года. Тогда город Теменев вдруг просыпался, оживлялся и преображался совершенно. Не только все лавки гостиного двора наполнялись товарами и не было прохода по рядам от толпы покупателей и зевак, но еще и на всех площадках внутри города и вокруг целого города наскоро сколачивались из досок целые ряды шалашей под свежую крышей ветвистых берез.

Солнце играло весело на трепещущих изумрудных листьях; легкий ветерок приятно колыхал их над головами проходящих, и тут назначалось щегольское сборище приезжих аристократов. Целые вереницы пестрых барышень мелькали по зеленым переулкам, поглядывая исподлобья на молодых офицеров. Толстые барыни упорно торговались с купцами; помещики пили шампанское у старой француженки, торгующей в то же время и модами и вином. Все было живо и живописно. У заставы красовалась конная с табунами, ремонтерами, барышниками и помещиками особого рода, которые отличаются венгерками, усами, ухарскими фуражками и коротенькими бичами с свистком. По всему городу обнаруживалось внезапно столько харчевень и трактирных заведений, что и счета им не имелось. Не

было только гостиницы для приезжающих; но так как городские мещане сами занимались гостеприимством, то подобный недостаток был вовсе неощутителен. Главная площадь Теменева вдруг украшалась разными балаганами различных окружностей, с флюгерами и огромными вывесками. В одном из них происходило конное ристалище и пляска на канате, в другом необычайный силач держал в зубах пудовые гири, маленьких детей вверх ногами и потом ел хлопчатую бумагу и извергал пламя. Показывали тут тоже разные вертепы и панорамы, изображающие, между прочим, землетрясение Лиссабона и долину Шамуни. Недалеко от площади поселились два враждовавшие цыганские табора и такие увеселительные заведения, о которых упоминать не следует. Наконец, на большом сарае, служившем обыкновенно складочным амбаром для муки, прибывалась огромная черная доска с наклоненными белыми буквами, изображающими магическое слово: «Театр». Слово это, как известно, слово заманчивое, искусительное для русского человека, у которого лишний рубль в кармане. Теменевский театр славился в целом околотке благодаря неусыпному попечению своих режиссеров Шрейна и Поченовского.

Дворяне и купцы, окончив дневные сделки и раздоры, посещали спектакль с большим удовольствием; хлопали, вызывали, судили, рядили, разделялись на партии, причем, разумеется, сбор был всегда блистательный. А когда публика довольна, а в особенности касса полна, то и режиссерам и приятно и выгодно.

Вот отчего картуз сидевшего в бричке первого коми, – ка, трагика и певца был вздернут почти в перпендикулярном направлении. Картуз этот был известен целой труппе и служил ей даже термометром для узнавания начальнических чувств. Когда картуз находился в нормальном положении, это означало, что все идет своим порядком, денег очень мало, душа ничем не взволнована; когда же картуз закидывался к затылку, то между актерами водворялась общая радость: каждый уже знал, что деньги есть, что жалованье получить можно, что Осип Викентьевич счастлив в супружестве и вполне наслаждается жизнью. Но если, паче чаяния, картуз вдруг нахлобучивался на глаза, то уж всякому становилось грустно: о жалованье никто и думать не смел; всякому было известно, что в кассе нет ни гроша и что в супружеских отношениях свирепствовал раздор.

Итак, неудивительно, что перед открытием ярмарки, которая доставляла труппе самую значительную часть годового дохода, картуз Осипа Викентьевича находился в самом радостном направлении.

Товарищ Осипа Викентьевича, человек характера солидного, немец с ног до головы, был совершенно противоположного свойства. Он почитал унижительным для человеческого достоинства обнаруживать какими-либо наружными знаками внутренние свои чувства. Вид его был всегда строг и важен. В зубах держал он эластический чубучок, на который вдеа была известной всем немцам формы фарфоровая трубка с миньютюрным изображением прусского короля Фридриха II.

– Перекитес, – сказал он вдруг своему спутнику, – фи мощно фаша картуза потерять.

– Ничего, – отвечал ему товарищ с сильным нольским произношением, – другой зараз скупим. Ярмарка в сем году, я слышал, будет отличная. А у нас еще балет, чего не было прежде. Придется старику поплясать, да зато копейку зашибем... Зашибем, что ли?.. А?.. – Тут поляк, как человек веселый, потрепал немца по брюху. Это немцу не понравилось; он вообще не позволял с собой никакой фамильярности и не любил дружеских прикосновений.

– Конец, – сказал он протяжно, – обфеншифифает тело... Мошет пыть упытюк достанем.

– Ничего, – отвечал поляк. – Мне Федор Иванович городничий, добрый приятель... такой приятель... что уж... ну, просто приятель... И долг заплатим и людей своих рассчитаем, да и сами еще разделим какой-нибудь этакой куш – а?..

За бричкой, вмещающей двух оригиналов, тянулась огромная фура, заложенная двумя волами и вся наваленная декорациями, изображающими леса, храмы, комнаты, к сожалению, во многих местах до того размытыми дождем, что иной лес походил на комнату, а иная комната – на лес. Волами правил семидесятилетний парикмахер труппы, обучавшийся некогда своему искусству в Петербурге у камердинера датского посланника.

Этот парикмахер исполнял в случае надобности и роль актера с речами или без речей, как случалось; но играть он не любил, потому что оно мешало ему восхищаться взбитыми им тупеями. Во все продолжение спектакля он обыкновенно глядел из-за кулис на свои

произведения с каким-то родительским удовольствием и, не слушая ни одного слова из пьесы, следил с трепетным вниманием за всеми движениями актера: не сомнет ли он завитый с любовью локон, не расстроит ли он неосторожно стройную гармонию парика. И теперь он никому не позволил даже взять свои сокровища: «Неравно неосторожно опрокинут», – сказал он и сам важно влез на козлы.

Немного еще повыше, на месте, нарочно для нее устроенном, сидела молодая недурная женщина с большими черными глазами, очевидно первая любовница и примадонна странствующей труппы. В наряде ее была заметна некоторая изысканность: шляпка ее, хотя совершенно полинялая, была ей к лицу; с плеч ее спускалась пестрая шаль, а на коленях держала она с трогательною нежностью одну из тех болонок, которые тогда были в большой моде, а ныне, к счастью, совершенно выводятся. Впрочем, собачка длинной своей шерстью, сердитой мордой, нечесаной гривой, падающей на глаза.

и в особенности малым ростом, могла действительно почитаться редкостью.

Примадонна, супруга Осипа Викентьевича, женщина бойкая и своенравная, была совершенно без ума от Амишки, так что в труппе уважали собачонку не менее самого Поченовского. Злые языки утверждали, что Амишка была залогом самых нежных воспоминаний, что она получена была в подарок от какого-то офицера, при одном имени которого картуз Поченовского шевелился на его голове и падал прямо на брови. Несмотря на то, Поченовский, испытав силу воли и твердость характера своей нежной половины, был в полном ее повиновении, а актеры, нуждающиеся вечно в деньгах, наперерыв ласкали Амишку, кормили ее сахаром, гладили и даже приятно смеялись, когда она кусала им пальцы.

Посреди декораций и разных коробов, заключавших достояние и гардероб театрального общества, ежились кое-как еще три женщины: одна удивительно толстая и старая, в душегрейке, с повязанным на голове платком, исполнявшая преимущественно роли испанских королев; другие обе, также одетые по русскому мещанскому обычаю, были не что иное, как первая певица, выключенная из московского хора за негодность, и первая танцовщица, во время оно танцевавшая изрядно до тех пор, пока не вывихнула ноги.

За фурой ехала парой телега, на которой сидели еще две женщины, годные на все роли, и три актера в тулупах: благородный отец, злодей и машинист, исполнявший комические амплуа. Кругом этого шествия, по сторонам и среди, толпилось просто пешком еще несколько молодых людей, попавших на жалкое поприще странствующих актеров – кто от бедности, кто от пьянства, а двое из них и по любви к искусству. Молодость везде страждет каким-то беспокойством, всегда увлекается самыми грубыми обманами и, по недостатку других искушений, находит даже какое-то обманчивое очарование в ободранной сцене провинциального театра. Но укорять ее в заблуждениях не следует. Этому-то беспокойству, этому юношескому волнению мы обязаны тем, что люди даровитые не погибают в тени, а выходят наружу, образуются, совершенствуются и делаются наконец достоянием народной славы.

И в этом обществе бродяг находился тогда человек, молодой еще, но уже далеко обогнавший всех своих товарищей. В душе его уже глубоко заронилась любовь к истинному искусству, без фарсов и шарлатанства; и уже тогда предчувствовал он, как высоко признание художника, когда он точным изображением природы не только стремится к исправлению людей, что мало кому удается, но очищает их вкус, облагораживает их понятия и заставляет понимать истину в искусстве и прекрасное в истине. Весело, беспечно шла себе молодая гурьба, попрыгивая, посвистывая, меняясь шутками, затверживая роли, напевая куплеты, перекидываясь камешками. Солнце садилось, когда странная процессия торжественно вступила в город Темнев, ровно за два дня перед началом ярмарки и открытия театра.

Через два дня супруга городничего Глафира Кировна стояла как-то по-домашнему, в кацавеечке и папильотках, у окна своего и посматривала на обыкновенный беспорядок начинавшегося базара. По улице тащились обозы, кибитки с боролатыми купцами, несли доски, суетились рабочие люди. Глафира Кировна, не избалованная столичными прихотями, глядела на все это с большим удовольствием и немалым вниманием.

Ярмарочное время как-то льстило ее самолюбию. Она была уверена, что город некоторым образом находился под ее начальством и как бы составлял часть ее собственности. Дочь небогатого соседнего

помещика, она вдруг из робкой девочки сделалась властительной барыней, требующей надменно должного сану ее почтения.

В соборе становилась она на первом месте и жаловалась со слезами мужу, когда кто-нибудь осмеливался на улице не снять перед ней шапки. Глафира Кировна любила и подарки, не те полновесные, которые отсчитывались у мужа в кабинете, а всякие модные безделки, шляпки, гребеночки, флакончики и прочий женский вздор. Откупщик и голова не забывали в праздничные дни подносить ей неизбежный свой оброк, в награждение чего удостоивались приглашения к обеду. Городничий был радушный хозяин, мастер жить и большой хлебосол.

Глафира Кировна стояла у окна, поглядывала, посматривала и вдруг вскрикнула от удивления и восторга: на тротуаре против ее дома шла молодая женщина, довольно развязная и одетая хотя вычурно, но не совсем без вкуса. Впрочем, Глафира Кировна, по неодолимому женскому чувству, окинула наряд ее с ног до головы только самым беглым взором. Все внимание Глафиры Кировны было обращено к прелестной собачонке, которую молодая женщина вела на длинной розовой ленте.

Никогда Глафира Кировна подобной собачки не видывала: собою крошечная, шерсть до пола, морда – загляденье, хвост – чудо, словом – прелесть!

«Да это, кажется, Поченовская, – подумала Глафира Кировна. – Эге, как начала важничать! Надо отнять у нее собачку. Непременно скажу мужу. Этакую собачку можно иметь разве мне, а простой актерке вовсе неприлично».

В эту минуту парные дрожки остановились у подъезда, и городничий в полной форме вошел в комнату. Он ездил являться к чиновнику, присланному из губернского города для наблюдения за ярмаркой, и казался довольно расстроенным.

Не успел он войти, как жена его бросилась ему на шею.

– Феденька, любишь ли ты меня?

– Полно, матушка, что за вздор такой!

– Феденька, любишь ли ты меня?

– Да что с тобою, мать моя?

– Милочка, душенька, любишь ли ты меня?

– Ну, известно, люблю. Что тебе надо?

– Ты видел собачку?

– Какую собачку?

– Вот сейчас прошла Поченовская. Так важничает, что ни на что не похоже. Вообрази, ведет она собачку...

– Ну так что ж?

– Нет, что за собачка – представить нельзя! Я и во сне такой не видывала. Вся, кажется, в кулак – совершенно амурчик.

– Ну...

– Феденька, ты не хочешь, чтоб я умерла?

– Да что за вздор такой!

– Феденька, подари мне эту собачку, а то, право, умру. Жить без нее не могу... умру, умру! Дети останутся сиротами...

При этой мысли Глафира Кировна заплакала.

– Э, матушка, – сказал, пожимая плечами, городничий, – давно бы ты сказала. Мне, право, не до пустяков теперь. Чиновник-то себе на уме; с ним не легко будет сладить. Ну да бог милостив, и не таких видали. А о собачке ты, матушка, не беспокойся. Я думал, бог знает что случилось. Просто скажу два слова Поченовскому – он мне старый приятель, – и не заикнется даже; принесут тебе собачку. Да вот что: прикажи-ка подать сюртук да рюмку полынного. У начальника дрожь пробрала.

– Сердитый, что ли? – с заботливостью спросила жена.

– И, матушка! До поры до времени все они сердитые. Иной просто конь, так и ржет и лягает – подойти страшно; а потом пообладится, смотришь, как шелковый, так в езде хорош, что лучшего не надо. Главное только, с какой стороны подойти. Ну да прощай, матушка. Надо взглянуть в лавки: что за товар привезли? Ты в театр пойдешь вечером?

– Не могу, Федор Иваныч: душа неспокойна. Пока эта собачка будет у актерки, никуда не пойду, а в особенности в театр. Ты смотри, она еще ломаться станет, точно чиновная какая-нибудь, наша сестра. Уж такая амбиционка, что из рук вон, смотреть гадко! Ты один ступай в театр, а я не пойду ни за какие сокровища, просто не пойду. Что играют? – спросила она с любопытством.

– Дон-Жуана какого-то.

Городничиха немного задумалась.

– Нет, – сказала она решительно, – не пойду.

– Ну как хочешь, матушка, – хладнокровно отвечал ей муж.

После чего пошел в свой кабинет, переоделся, закусил и, сев снова на дрожки, отправился в ряды.

Теменевский городничий был в самом деле прекрасный человек. В полку, где он служил, его решительно все любили за кроткий нрав, за всегдашнюю веселость.

Он всегда слыл верным другом, хорошим начальником, почтительным подчиненным. Супруг внимательный, отец чадолюбивый, он любил жить в кругу своего семейства и занимался с истинной любовью воспитанием любезных детей своих. В отношениях своих по службе он никогда неправого дела не делал, больниц и острогов не обкрадывал, нищим помогал и если иногда и пользовался кое-какими доходами, то это совершалось вследствие особенных расчетов, а не притеснении. Никто не лишался из-за него своего насущного хлеба, никто не пролил слезы от его жестокосердия. Он был примерный городничий, и теменевские жители благословляли свою судьбу.

Когда он явился в ряды, купцы, завидевши его издали, кланялись ему в пояс, а он благосклонно с каждым разговаривал, иного расспрашивал про дела, другого трепал по плечу, третьего в шутку щипал за бороду, – словом, был мил и любезен, как только можно быть городничему. К тому ж в каждой лавке хвалил он что-нибудь с особым восхищением. В одной крупа казалась ему редкой доброты, в другой железный товар изумлял его своей прочностью; в одном месте ему кофе чрезвычайно нравился, в другом сахар приходился ему необыкновенно по вкусу. О красном товаре и говорить нечего: все решительно нравилось. При таковых похвалах купцы немного морщились, однако ж кланялись униженно, просили осчастливить распить тотчас бутылочку в лавке или удостоить пожаловать в дом на угощение. Но городничий отказывался, по принятому правилу, от угощения и продолжал себе гулять по рядам, расточая повсюду похвалы и отвечая милостиво на обе стороны почтительным поклонам и кудреватым приветствиям.

В эту минуту встретился он с Поченовским, который весело шел с репетиции. Картуз его едва держался на затылке: билеты для вечернего спектакля были уже все разобраны.

– Э, брат Осип! – закричал городничий.

Надо заметить, что Федор Иванович, исключая свои прочие качества, был любителем искусств и охотником до литературы. Театру покровительствовал он в особенности, нередко угощал у себя режиссеров и даже, забыв начальническую важность, называл просто немца Адамычем, а поляка – Осипом.

– Эй, Осип! – закричал он. – Старый дружище!

Откуда?

Осип поклонился с видом почтительной дружбы.

– С репетиции, ваше высокоблагородие.

– Хорошо, братец, хорошо! Ну, не нужно ли вам чего? Не прислать ли десятских из пожарной команды для балета? Не потребуется ли чего по части полиции?

– Покорнейше благодарим. Если изволите, попросим.

– Отчего же, братец? Рад помочь старому другу.

Ты на меня жаловаться не можешь: кажется, хорошо вместе живем.

– От души чувствую.

– А сбор-то нынешний год будет, кажется, порядочный. Я такой ярмарки не запомню.

– Дай бог.

– Хорошо, братец, хорошо! Радуюсь, радуюсь.

– Смотри же не оплошай вечерком. Ты играешь Дон-Жуана?

– Я-с.

– Ну, хорошо, брат! Посмотрим. Прощай, Осип.

– Прощайте, ваше высокоблагородие.

– Да бишь... Осип! Забыл совсем. Какая у тебя там собачка?

– Собачка-с?

– Да. Глафира моя Кировна увидела у жены твоей какую-то собачку – так ею и бредит. Пришли, пожалуйста.

Поченовский побледнел.

– Ваше высокоблагородие, требуйте чего хотите: душу отдам, а собачки неможно.

Городничий нахмурился.

– Послушай, Осип, не советую, брат, тебе со мною ссориться. Мы, кажется, были до сих пор друзьями. Ты знаешь, я тебя люблю и готов всегда помогать. Иногда бы и не следовало, да уж ты мой характер знаешь: не могу отказать приятелю.

– Чувствую, ваше высокоблагородие.

– А кажется, я ничего от тебя не требовал до сих пор, жил как с родным братом.

– Чувствую, ваше высокоблагородие.

– То-то же. А вот в первый раз попросил самого вздора – собачонки, так и невозможно.

– Ваше высокоблагородие, собачка-то не моя, жены моей. Я бы не только отдал ее, задушить готов. И что в ней? Предрянная. Да вы жену мою знаете. Собачка дрянь, лает все, мерзкая, кусается, поганая шельма.

С ней не сладишь, с женой моей. Не отдаст, я ее знаю, не отдаст. Разве вы прикажете.

– Эх! Видно, ты баба, Осип, что с женою сладить не можешь.

– Ваше высокоблагородие, – продолжал плачевно Поченовский, – вам ведь известно: жена моя такого характера, что иной раз в петлю бы готов. Я и не смею сказать ей о собачке: глаза выцарапает. Посудите сами, ваше высокоблагородие, после и играть нельзя будет.

Будьте милостивы, Федор Иваныч, прикажите сами: вам она отказать не посмеет.

– Хорошо, брат, хорошо, я ей уже скажу, да и ты постарайся; только изволишь видеть, мне бы хотелось свою Глафиру собачонкой потешить.

С этими словами они разошлись.

Вечером происходило в мучном сарае торжественное открытие театра. Все места без исключения были заняты зрителями. Сбора было с лишком тысяча рублей. Губернский чиновник сидел с детьми в особой ложе, украшенной красным коленкором, на котором ярко отделялась золотая бумажная лира. Публика слушала с большим вниманием, может быть оттого, что темнота залы не позволяла ей заниматься посторонними предметами, а принуждала глядеть прямо на сцену. Все, однако ж, были очень довольны. Поченовский до того кричал и махал руками, что, несмотря на свое польское произношение, вынудил громкие рукоплесканья. Представление вообще шло удачно. При самом только окончании случилось маленькое несчастье. Надо знать, что обыкновенно употребляемая декорация ада оказалась, по случаю проливных дождей, совершенно негодною, почему и была заменена дремучим лесом; для придачи же эффекта из облаков

вылетала фурия, которая схватывала в объятия свои трепещущего Дон-Жуана и не ввергала его в преисподнюю, что как-то слишком обыкновенно, а увлекала его с собой на воздух. Механизм полета был самый несложный. На двух перекладных, на потолке, протянут был между двумя гвоздями толстый канат, к которому фурия была привязана. Здоровые молодцы, пользующиеся за то правом смотреть на комедию из-за кулис даром, спускали помаленьку канат к полу. У Дон-Жуана приделана была сзади железная петля, а у фурии спереди железный крючок. При воплях и отчаянии безбожника она должна была искусно вдеть крючок в петлю и, по объясненному способу, вдруг подняться, к ужасу зрителей, с жертвой своей прямо к потолку. К сожалению, успех не увенчал предприятия. Во-первых, роль фурии исправлял какой-то трусливый актер, который, чтоб внушить себе более бодрости, выпил не в меру и, сидя на перекладине, опьянел совершенно; во-вторых, или веревка отсырела, или гвозди были дурно прибиты, только фурия не ринулась стремглав, как молниеносная кара, а начала спускаться, кружась по сцене совершенным коршуном. Сперва показались ее красные сапоги, потом ее пестрое платье и страшная ее рожа с ужасным париком, над которым старый парикмахер трудился с любовью целый день. Страшная эта фигура, барахтаясь телом во все стороны, вертелась, как волчок, около пяти минут и наконец, достигнув с трудом пола, стояла бледная, испуганная, выпучив глаза, одурев совершенно.

Напрасно Дон-Жуан ревел диким зверем, напрасно указывал он судорожно за спиною на роковую петлю: фурия, утомленная собственной пыткой, не шевелилась с места. Страшный грешник побежал наконец навстречу к своему наказанию, тщетно пятился спиною, тщетно подтопывал, чтоб как-нибудь попасть на крючок, фурия также подтопывала, также припрыгивала, пошатываясь со стороны на сторону, – тщетно: крючок не цеплялся!

Долго продолжалась эта непредвиденная сцена. Наконец, так как фурия все еще была не в себе и отказалась, как было видно, от страшного своего призванья, занавес опустился, и порок остался ненаказанным. Само собою разумеется, что по спущении занавеса драма превратилась в балет. Дон-Жуан сбросил с фурии парик и, схватив ее за собственные волосы, мгновенно вывел ее из оцепенения. Впрочем, теменевская публика не гонялась, видно, за мелочами, а,

выходя из театра, хвалила сильный голос актера и громко рассуждала о завтрашнем спектакле.

Городничий, с своей стороны, отправился за кулисы поздравить игравших с успехом и сбором, а между тем напомнить и о собачке. Но тут он встретил такое сопротивление, какого вовсе не ожидал. При предложении его Поченовская вся изменилась в лице и решительно объявила, что она ни за что в мире собачки своей не отдаст.

– Да муж ваш обещал, – прилгнул городничий.

– Так возьмите ж мужа! – вспыхливо отвечала Поченовская. – О нем я уж, верно, плакать не стану, а собачки моей вам не видать, как ушей своих. Она мой единственный друг, мое утешение, моя радость; я и живу только для нее; я умру, умру без нее! Мы вам не слуги.

Вы не смеете нам приказывать. Вот еще что выдумали!

Не отдам Амишки, скорей милостыню стану просить, а не отдам! Не отдам! Не отдам!

Голос примадонны дошел до самого пискливого дисканта, а городничий, немного обиженный неожиданной дерзостью и таким отсутствием всякого приличия и повиновения, обратился к остолбеневшему Дон-Жуану:

– Послушай, брат Осип, мне не по чину, да и некогда, правда, перегрызывать с твоей барыней. Это твое уж дело. Уломай ее как тебе угодно. Ты меня знаешь: я человек добрый; но из терпенья всякий выйдет. Сделай одолжение, любезный, не заставь меня поступить с тобой не по-дружески. Ведь ты меня к этому принудишь. Мне уж давно надо сделать пример. Сам не рад, а делать нечего. Пожалуйста, братец, не принуждай меня пример этот именно над тобою сделать. Эх, брат!

Вот, ей-богу, не хотелось бы с старым приятелем ссориться. Слушай же меня: выпроси у жены собачку, выпроси непременно. Каким образом – сам знаешь. Побей, если хочешь, это дело супружеское, для того ты и муж, только чтоб завтра в семь часов утром собачка была у меня – слышишь ли? Не будет – так уж пеняй на себя, сам будешь виноват. Я тебя предварял по-дружески.

Тронутый таким добродушием, Поченовский с трепетом обещался употребить все старания, чтоб выманить от жены предмет угрожающего раздора. Городничий потрепал его по плечу, пожелал от

души успеха и отправился домой, откуда немедленно послал пригласить к себе на чай уездного архитектора.

Поченовский отправился, скрепясь сердцем, уговаривать жену; но жена была уж приготовлена. Во-первых, собачка была запрятана где-то в надежном месте, под замком, во-вторых, как только оробевший супруг заикнулся об Амишке, она угостила его таким криком, осыпала такими ругательствами, что бедный режиссер не знал куда деваться. В довершение бросила она ему в лицо все, что ни попало ей под руку, вылила на него целый рукомойник воды, вытолкала за двери и заперлась двойным замком. Злополучный Дон-Жуан, изгнанный из собственного жилища, пошел в трактирное заведение, где пропил целую ночь, а к утру, отчаянный и пьяный, заснул под лавкой.

На другой день утром, в семь часов, городничий пил кофе и курил трубку.

– Эй, малый! – закричал он.

Вошел малый в три аршина.

– Приходили от Поченовского?

Малый заревел басом:

– Никак нет, ваше высокоблагородие.

– Приносили собачку?

– Никак нет, ваше высокоблагородие.

– Ну, нечего делать, – продолжал, пожимая плечами, Федор Иванович, – сам виноват; а кажется, говорил ему по-дружески. Позвать сюда писаря!

Явился писарь с пером за ухом.

Городничий посадил его к столу, дал лист бумаги и приказал писать рапорт следующего содержания:

«Г-ну главному чиновнику, надзирающему за ярмаркой.

Прилагая неусыпное старание к обозрению всех частей и составов вверенного мне города, не щадя сил своих и здоровья, а священным долгом поставляя себе усиливать наблюдение свое в многолюдное время ярмарочного сбора, ибо небезызвестно вашему высокоородию, что при большом стечении народа могут возникнуть такие случаи, от которых ужасается человечество и страдают невинные жертвы, и, кроме того, могут нанести обидные о нерадении полиции толки и слухи; во избежание чего, донося подробно вашему

высокородию о всех случившихся в городе происшествиях, долгом поставляю присовокупить, что вчерашнего числа вечером замечено мной, что сарай, в котором назначены на нынешний год увеселительные представления труппы гг. Шрейна и Поченовского, пришел в такую ветхость, что ежеминутно угрожает паденьем, могущим лишить жизни мгновенным убийством посещающих театр зрителей; а как мне известно заботливое попечение вашего высокородия о благе народном и в то же время для ограждения своей ответственности и по долгу службы моей, почтительнейше имею честь донести вашему высокородию об оном сделанном мною замечании, испрашивая милостивого вашего разрешения: не благоугодно ли будет приказать вышеозначенный сарай запечатать и дальнейшие представления, весьма, впрочем, в деле своем искусных и похвальных комедиантов, прекратить для избежания могущих быть несчастий и для охранения, по мере возможности, жителей вверенного мне города».

Рапорт запечатан и отправлен по принадлежности.

Надо отдать справедливость Федору Ивановичу, что он при таком решительном поступке был немного расстроен и выкурил свою вторую трубку совершенно без удовольствия. Между тем писарь, который пользовался даровым местом в партере и нередко гулял с некоторыми второстепенными артистами по заведениям различного рода, ужаснулся угрожающей им беде. Недаром говорят, что истинные друзья узнаются в злополучии. Писарь бросился к другу своему, благородному отцу и большому пьянице. Благородный отец в ужасе побежал к Шрейну.

Отыскали Поченовского под лавкой – и загадка неслыханного гонения объяснилась. Как быть? Что делать?

Во что бы ни стало надо было отыскать средство, чтоб отклонить угрожающую гибель.

Закрытие театра не только лишало режиссеров ожидаемых барышей, но и целую, труппу – дневного пропитания. Читателю, может быть, неизвестно, какими скудными средствами существуют провинциальные театры и что значит для них ярмарочное время. Нередко из-за грязных кулис выплывает безобразная нищета со всеми

ее последствиями: с голодом, с болезнью, с безыменными мучениями. Нередко бедный актер истощает последние свои силы для забавы публики, чтоб достать кусок насущного хлеба, чтоб купить немного дров и согреть мерзнувшее семейство. Труппа Шрейна и Поченовского подлежала той же горькой участи, полагая все надежды свои о годовом существовании на сборы ярмарочного времени. А покамест все действующие лица были наняты в долг, костюмы, хотя и незавидные, были собраны кое-как также в долг, квартира была нанята также в долг, харчи отпускались также в долг. Все это, разумеется, во ожидании будущих благ, на счет грядущих доходов. И если театр запирался – долги оставались неоплатными, Дон-Жуан попадал в острог, любовницы, злодеи и комики должны были просить милостыню на большой дороге, чтоб не умереть голодной смертью.

Шрейн, однако ж, остался горд и важен, как бы ни в чем не бывало. Как человек законный: «Мой снает, – сказал он, – мой снает. Я буду шаловать нашалоству».

Надо знать, что Шрейн пользовался расположением губернского чиновника, потому что, по своему званию танцмейстера, учил детей его танцевать, и, разумеется, безвозмездно. Как сказано, так и сделано.

Губернский чиновник был человек надменный и весьма горячий. Узнав от Шрейна странную месть городничего, он до того стал кричать, что немец сам пугался.

– Я, – кричал он, – покажу ему, что значит шутить со мной! Да это мошенничество, разбой! Помилуйте... грабеж, настоящий грабеж! Он меня еще не знает.

Я упеку его туда, куда ворон костей не заносил. Под суд нынче же отдам. Я его уничтожу. Лоб ему, мошеннику, забрею. Его мало в Сибирь, на каторгу его сошлю.

Уж будет он меня помнить. Что ж он, в самом деле, думает, что он барин здесь. Я уж выбью из него спесь, я уж с ним разделаюсь, я уж его...

Шрейну при таком страшном гневе стало жаль городничего. Как ни говори, человек хороший, с семейством, Неужели идти ему в каторгу из-за собачонки.

Добрый немец вздумал было уже просить за неге пощады.

– Нет! – кричал чиновник. – Уж теперь он в моих руках, уж не уйдет теперь, не вырвется, голубчик. Теперь, брат, поздно. Я давно до

него добираюсь. Что он думает, что я не знаю, где сумма на пожарную команду – а? А с каждой лавки что он берет – а? По красненькой – а? По беленькой? А откупщик-то один – а? Что дает – а? А там обеды давать – а? Ужины, гостей угощать казенными деньгами – а? Вот посмотрим, как он теперь заживет! Послушайте, – продолжал он грозно, обращаясь к секретарю, – сейчас же послать строжайшее предписание архитектору, чтоб он бросил все дела и сейчас же отправился освидетельствовать театр.

Чтоб чрез два часа он представил мне рапорт; не то с вас взыщу – слышите ли? А ты не жалея о негодяе, ему туда и дорога, – сказал он ласково Шрейну. – Ступай к детям, любезный. Спасибо тебе, что открыл мне неправое дело.

Шрейн чувствительно поблагодарил чиновника за горячее заступничество и отправился давать свой урок.

Во время урока он, по обыкновению, был важен, сгибал колени, вытягивал ноги, иногда припрыгивал, но не изменял никогда своего сурового вида.

Заплатив, таким образом, долг благодарности, Шрейн отправился на репетицию, так как вечером он должен был танцевать грациозный *pas de deux* ^[52], а потом плясать по-цыгански, что, как известно, очень нравится у нас некоторому сословию людей. У мучного сарая толпился народ. Шрейн подошел поближе – и как изобразить его ужас! Среди толпы собравшихся у входа комедиантов уездный архитектор флегматически припечатывал двери театра огромною казенною печатью. Вокруг него раздавался глухой ропот негодования. Испанская королева, положив руку на ладонь, плакала навзрыд, приговаривая разные похоронные изречения. Старый парикмахер заботливо укладывал в коробках выброшенные из сарая парики. Поченовский, с картузом на носу и скрестив на груди руки, ходил длинными шагами взад и вперед. Прочие, пораженные и бледные, стояли в разных кучках и говорили шепотом между собой.

Архитектор, не обращая внимания на общее отчаяние, хладнокровно окончил свое дело и отправился донести начальнику, что сделанное городничим донесение совершенно основательно, что театр еще может к вечеру обрушиться и что потому, для избежания страшного несчастья, он принял уже надлежащие меры и «строение запечатал по обязанности своей службы.

Когда он ушел, между актерами началось совещание: что делать? Думали, толковали, жаловались, сердились.

Шрейн бросился было снова к чиновнику, но чиновник был занят важными делами и никого не велел принимать, а между тем у кассы толпились охотники, требующие билетов для вечернего спектакля. Как быть? По долгим прениям решено следующее: объявлять на требования билетов, что билеты только будут готовы через два часа и потому в настоящую минуту не раздаются; приставить сторожа прямо спиной к роковой печати, чтоб не разнесся по городу слух о случившемся происшествии; наконец, идти Поченовскому с повинной головой к городничему и просить помилования.

Федор Иванович, как видно было, ожидал этого визита. Когда Поченовский, расстроенный и бледный, ввалился к нему в комнату, он только покачал головой.

– Что, брат Осип? Говорил я тебе...

– Ваше высокоблагородие, да вы нас губите.

– Знаю.

– Да ведь мы целый год этой ярмаркой живем. Все у нас в долг забрато. Чем нам теперь заплатить?

– Знаю.

– Да вы нас нищими хотите сделать.

– А кто виноват? Просил я тебя не заставляй мне делать над тобою примера.

– Взмилуйтесь, Федор Иваныч.

– Нет, жаловаться ступай.

– Не я, Федор Иваныч, не я, я не виноват, я ваш старый приятель. Немец проклятый ходил.

– Ну и проси своего немца.

– Ваше высокоблагородие, что мне делать? Ну, просто застрелюсь.

– То-то, брат, потище теперь. А что взял? А?

– Федор Иваныч, так и быть, украду собачонку и принесу вам, простите только.

– Нет, брат, теперь другая история, теперь собачкой не отделаешься.

– Что ж прикажете?

– Послушай, Осип, – сказал более благосклонно городничий, – я тебя люблю, ты знаешь, мне жаль тебя.

Я бы и простил тебе, да теперь время такое, не могу, сам видишь, не могу: что станут в народе говорить?

Пример будет дурной, послабление. Нельзя, брат, право нельзя. Пеняй на себя, попался сам; не послушал приятеля – самому больно. Кажется, заплакал бы, а делать нечего: пример нужен. Не взыщи уж, любезный, теперь. Вот мои последние условия: пятьсот рублей мне, триста рублей архитектору, жене шаль в триста рублей, да и собачку.

– Как!.. – воскликнул Поченовский.

– Да так. Право, не дорого. Другой бы содрал с вас втрое дороже, да уж ты мой характер знаешь: не, могу не уважить старого друга. Эй, брат, теперь-то послушайся меня, не то худо будет! Я говорю тебе как друг.

Принесешь деньги – сейчас же открою театр, не принесешь – так и всю ярмарку не будете играть, – пеняй на себя. Тысяча рублей теперь небольшие для вас деньги: в один вечер соберете. Послушайся приятельского совета, Осип, не теряй времени. Ступай за деньгами – сейчас же открою театр.

– Да как вам это можно сделать? – спросил Поченовский. – Ведь театр запечатан.

– Уж это не твое, братец, дело. Я человек честный, дам слово, так сдержу, будь покоен, одолжу. Только, братец, ты и обо мне подумай: ведь не жалованьем же жить. Небось узнают в народе и станут говорить: уж когда Федор Иванович с приятелем так поступил, так что ж он с нами станет делать? Понимаешь ли? А мне того-то и надо; вот зачем и пример-то мне нужен. А то бы, право, простил.

– Да господин чиновник... – робко вымолвил Осип.

Городничий улыбнулся.

– Об этом тоже, брат, не беспокойся. Велик гнев, велика и милость. А ты мне денежки давай скорей.

Поченовский подумал, подумал, повертелся на стуле, видит, что дело решено, встал с места, поклонился и вышел.

– Не забудь собачки! – закричал ему вслед городничий.

Между тем толпа актеров все дожидалась с беспокойством у театра. Рослый сторож стоял как истукан в своем месте. Все ожидало с трепетом. Наконец появился Поченовский из-за опущенного картуза. Но когда он объявил неслыханное требование градоначальника, общее уныние обратилось в общее отчаяние. Шрейн вздумал было

противиться. «Мой, – кричал он, – покажет мой его!..» Поченовский покачал головой: он лучше понимал жизнь.

Воля Федора Ивановича непреклонна, как судьба. Он уж знает, что он делает. А печать тут, хоть и за спиной сторожа, а никакая сила не оторвет ее без городничего.

Испуганные актеры убедились в грустной истине и настоятельно приступали к своим режиссерам, чтоб они пожертвовали вчерашним сбором. И точно, ничего более не оставалось делать. Единственная тысяча, хранившаяся целую ночь в удивленной кассе, вынута со вздохом и едва ли не со слезами. Отправились купить шаль, причем выторговали десять целковых в ущерб Глафиры Кировны, потом в один пакет положили триста рублей, в другой пятьсот. Но всего этого было еще мало: надо было достать еще собачку – главную причину разразившегося бедствия.

Историческая точность требует от меня сознания, что Поченовский отправился в ряды, купил два чубука надлежащей толщины и уж только с этим вооружением возвратился скрепя сердце на свою квартиру.

Теперь перо выпадает из рук, решительно отказываясь начертать гнусную картину супружеских увещаний. Довольно того, что увещания продолжались более двух часов и что по окончании оных чубуки были в дребезгах, примадонна лежала в обмороке, а режиссер с исцарапанным лицом, с растерзанным платьем и даже вовсе без картуза выбежал на улицу, судорожно стиснув в руках пищающую собачку. Через полчаса требуемая городничим дань была ему доставлена, а через час с небольшим в кассе выдавались билеты, до того истертые и грязные, что трудно было определить, как и где их приготавливали. Театр был открыт.

Вот каким образом: уездный архитектор представил начальнику второй рапорт, в дополнение к первому.

В первом было сказано, что театр угрожает немедленным разрушением, а во втором – что наука предлагает средства к предохранению подобных случаев. А потому, зная любовь господина губернского чиновника к искусствам и попечение его о благе общем, он, архитектор, не теряя времени, немедленно приступил к починке театрального здания, установив в нем надежные контрфорсы и стропилы, так что в настоящем виде не представляет оно более

никакой опасности, и потому объявленные уже представления могут быть дозволены.

Исполнив обязанность службы и приличия, господин архитектор отправился в театр, оттолкнув сторожа, сорвал печать, важно вколотил где-то два гвоздя и торжественно объявил, что сарай не только не подлежит никакой опасности, но что он выстроен из такого удивительного леса, что он в этом виде еще десять лет простоять может.

Вечером театр был снова полнехонек. Объявленный спектакль удался совершенно, и никакого несчастья не последовало. Молодой человек, о котором упомянуто в начале сего рассказа, как-то странно вдохновился всем тем, что он видел в течение целого дня. Он играл комическую роль приказного! И играл с таким одушевлением, выразил с такой истиной смешную безнравственность его понятий, что зрители смеялись целый вечер до упаду, а разошлись, однако, с чувством какой-то глубокой грусти, тяжкого негодования. *Pas de deux* и цыганская пляска возбудили тоже немалое удовольствие. Только то не понравилось публике, что на чертах плясуна не изображалась неизбежная приятная улыбка. Шрейн никак не был в состоянии скрыть внутреннюю свою досаду и танцевал вприсядку с самой ожесточенной физиономией.

По окончании спектакля городничий пригласил режиссеров и молодого отличившегося художника к себе на ужин и мировую. Один Шрейн отказался довольно грубо и сердито пошел домой. Поченовский же подумал в себе: «Деньги отданы, отчего же и не поужинать?»

Осип Викентьевич был человек не злопамятный, он согласился на зов и повлек молодого художника с собой.

Ужин был великолепный. Федор Иванович задал пир на славу, уж хотел себя показать. Глафира Кировна, вся в локонах, разодетая в пух, нянчилась с своей собачкой, называла ее купидончиком, купидошкой, кормила ее сладостями и была в полном восторге. Вероломная собачонка, казалось, совершенно забыла свою прежнюю владительницу и не хуже просителя подслуживалась к городничихе. Было несколько гостей, стряпчий, архитектор и другие городские сановники. Сели за стол, и начали обносить кушанья и напитки. Подали рыбу в полтора аршина и спрыснули ее мадерой или, как сказал стряпчий, любитель музыки:

allegro moderate [53]. Подали соус – и запили его сотерничком, подали жаркое – и начались тосты. Шампанское так и лилось рекой. Пили за здоровье городничего, потом за здоровье Глафиры Кировны, которая не выпускала и во время ужина собачки из рук.

Пили за здоровье всех присутствующих и отсутствующих друзей, пили за тайную мысль каждого, за здоровье любезной в частности и прекрасного пола вообще, пили за благоденствие театра, за процветание его на многие веки.

При этом возгласе городничий распростер объятия – и Поченовский, красный как клюква, бросился с чувством к нему на шею. Оба были сильно растроганы, а у городничего даже слезы навернулись на глаза.

– Осип, – сказал он печально, – не грешно ли тебе, до чего довел ты меня. Побойся бога. Ты с старым другом поступил как. с злодеем каким-нибудь. Не ожидал я, брат, этого от тебя. Ведь ты принудил меня над тобою пример сделать. Войди и в мое, братец, положение. Не пожалел ты обо мне. Право, и мне не легко. Вот так бы хотел помочь, да нельзя, сам видишь – нельзя было.

Грешно тебе, Осип! Дурно, брат, нехорошо!

– Виноват, ваше высокоблагородие, – вымолвил Поченовский.

– Я не сержусь на тебя, – продолжал городничий, – я это говорю из любви к тебе. Запомни мой совет, не надейся на других и кончай сам всякое недоразуменье.

Вот, например, у тебя дело с городовой, с городовой и кончай – это тебе будет стоить синюю ассигнацию и два стакана пуншу. Не захочешь, пойдешь к частному, там уж подавай беленькую да ставь шампанское. Выше пойдешь – там уж пахнет сотнями, а дело все-таки кончит тот же городской, и все за ту же синюху да за два стакана пуншу. Так уж лучше ты и кончай с ним. Поверь мне, братец, я друг твой и желаю тебе добра. Вот не послушался ты меня – и сам теперь не рад, и меня, приятеля, старого друга, принудил поступить строго. Забыл старую дружбу, разогорчил, обидел, сокрушил совершенно!..

Голос Федора Ивановича сделался до того жалостен, что Поченовский, проникнутый чувством своей виновности, не знал даже, как извиняться. Молодой художник был принужден за него вступиться.

– Все это правда, ваше высокоблагородие, – сказал он робко, – да наказанье-с-то, кажется, строгонько.

– Эх ты, молодой человек, молодой человек, – продолжал, пожимая плечами, городничий, – мало ты, видно, жил на свете. Ведь я, братец, человек семейный, дети, жена – это чего стоит? Мое дело, известно, незавидное; придет недобрый час, и попал под суд, а там и след простыл, да у детей-то кусок хлеба, у жены деревенька, где она может жить по своему дворянскому званию, – так поневоле тут лучшего друга прижмешь. Не все быть беленьким, поневоле сделаешься и черненьким, а нельзя без этого. Вот, изволишь ты видеть, вчера прошелся я по рядам, похвалил то и другое. Купцы, бестии, кланяются да только бороду поглаживают, а небось узнали нынче, какой я над Осипом пример сделал, так изволь-ка на окно взглянуть, – вот оно, что я похвалил вчера... так и стоит рядком.

Молодой человек взглянул на окна: на них действительно была навалена целая громада кульков, свертков, товару всякого вида и объема.

– А что бы ты на то сказал, – продолжал городничий, наклонясь на ухо к своему собеседнику, – если и сам-то я иначе делать не мог, если б с ярмарки-то надо было мне самому поднести господину губернскому чиновнику пятнадцать тысяч рублей, – ты мне их, что ли, дашь?.. а?..

Молодой человек взглянул на городничего с удивлением и ужасом. Вот какие еще бывали на святой Руси случаи сорок лет назад!

Воспитанница [54]

(Посвящено Н. В. Гоголю)



Несколько лет сряду не был я в нашей провинции.

В нынешнем году привелось мне снова поехать по православным дорогам и, признаюсь чистосердечно, не без душевного трепета принес я бока свои на жертву мостовым, гатям, косогорам, отслужившим мостам и прочим препровождениям времени, насмешливо ожидающим свою измученную добычу. К удивлению моему, благодаря распоряжениям теперешнего почтового начальства, в лошадях задержки нигде не было, а на станциях заметил я опрятность, водворенную, разумеется, попечениями местных властей. Кое-где

проглядывало даже губернское шоссе, которое, однако ж, по несчастию, всегда лежало в стороне от моего пути.

Случай привел меня в губернский город X; и тут заметил я разные утешительные улучшения в наружности в нашем губернском быту: в наружности и во внутренности домов уже реже встречается прежнее нерящество; постоянное пьянство начали почитать несчастием; на отъявленных взяточников уже указывают пальцами; мужчины читают иностранные газеты, а на дамских столиках лежат брюссельские издания и разные книжонки русского изделия, в числе которых – прошу не прогневаться – и мои смиренные повести.

Гуляя по новым тротуарам, любясь новыми щегольскими зданиями, украшающими губернский город, я всякий раз останавливался перед одним большим каменным домом, который, кажется, был забыт в общем преобразовании. Сумрачная величавость его казалась окаменевшим преданием другой эпохи. Видно было, что этот дом, построенный со всею роскошью итальянской архитектуры, кипел когда-то жизнью, светил из окон веселыми огнями и гордо поднимал голову над всеми окружавшими домиками. Я верю в жизнь и в смерть безжизненных предметов, и оттого странный дом смотрел для меня покойником; и точно, казалось, что он давно уже умер..

Красные трещины бороздили его почерневшие стены, зеленоватые стекла тусклых окон местами были перебиты, местами заклеены исписанной бумагой. Балкон исчез вовсе, оставя только четыре колонны с отвалившеюся штукатуркой. Кое-где выплывали из-под кирпичей чахоточные растения с желтенькими цветочками. Ворота открыты настежь, а на дворе, заросшем густой травой, валялось несколько пустых бочек. Ни одной человеческой души не было видно в этом опустошенном, отжившем жилище.

Ближний лавочник, к которому я обратился с вопросом, объяснил мне, что в этом доме помещалась прежде питейная контора, но что теперь она перенесена на другой конец города. Такого объяснения было для меня недостаточно. Губернский стряпчий, с которым я был знаком, сообщил мне, что дело об этом доме находится теперь у него на рассмотрении; что в деле с лишком пятнадцать тысяч листов; что он предмет тяжбы между многими лицами, и отдан под надзор Дворянской Опеки.

Больше стряпчий ничего сказать мне не мог, потому что был определен на место недавно, а собственно дела не принимался еще читать, по многосложности своих ваяний.

Наконец один говорливый губернский старожил удовлетворил моему любопытству. Как только речь зашла о странном доме, глаза его оживились, стан выпрямился; он весь помолодел от воспоминаний молодости.

«В этом доме, – говорил он, – прошли лучшие минуты – моей жизни. Я был принят в нем как родной. Весело жила в старину, не то, что ныне. И что за молодежь была! каждый день балы, театры да сюрпризы». Я терпеливо выслушал длинную биографию старика, в которой решительно ничего не было занимательного. Давно ли, кажется, он был и юн и свеж, танцевал, влюблялся, был весел; кажется, вчера. И что же? не успел опьянеть, предметы его любви сделались бабушками, а сам он только и годен на то, чтоб целый день играть в карты.

Когда же я начал спрашивать его о самих хозяевах дома, он мне рассказал такой необыкновенный случай, что я ни минуты не усомнился в истине происшествия.

Вымысел никогда не достигнет странностей, которые иногда представляет нам жизнь. Я записал рассказ словоохотливого старичка и передаю его читателю точь-вточь, как слышал.

Около сорока лет назад в губернском городе была необыкновенная суматоха. Полицмейстер чинил и красил все, что только может быть починено и окрашено. Из Петербурга ожидали важного вельможу, графа ***.

Всего страннее было то, что граф приезжал не для ревизии, не проездом в свои вотчины, а с тем, чтобы основаться и жить в городе. Губернские чиновники толковали шепотом между собой о столь непонятном намерении, шепотом раздавались разные предположения о царской немилости, о внезапной отставке, но никто не знал и не узнал настоящей причины графского переселения. Как бы то ни было, а для приема графа готовился дом пышный и великолепный, в итальянском вкусе, словом, такой, каких никогда в губернских городах не бывало. Присланный из Петербурга архитектор сам всем распоряжался.

Каменщики, плотники, обойщики работали неумолимо.

Наконец дом был готов, и граф приехал. Он был еще не стар, холост; но сердитый вид, желтый цвет лица обнаруживали в нем какую-то тайную болезнь. Руки по швам, с трепетными сердцами, в застегнутых мундирах, представились ему все должностные лица. Граф горько улыбнулся, просил не церемониться и ушел в свои внутренние покои. С тех пор его видели немногие. Он избегал общества и посещал только, и то когда не было гостей, губернаторский дом. Губернатор жил, по правилам того времени, чрезвычайно хлебосольно и, не думая о большом своем семействе, весело проживал все свое достояние. Как описать его восторг и удивление всего города, когда вдруг нелюдимый граф начал свататься за его старшую дочь. Огромное богатство его, значительный чин, связи, имя не допускали и тени колебания. Графская свадьба была новой неизъяснимой загадкой для любопытных горожан. Толкам и разговорам не было конца. Ожидали приемов, увеселений, балов от богатой четы, но граф остался верен своей затворнической жизни. Свадьбу отпраздновали тихомолком. Слышно было только, что дом новобрачных сделался настоящим дворцом. Из Петербурга привезены были разные мебели, разные предметы роскоши, о которых и понятия не было в провинциальных воображениях. Тщетно самые отважные умоляли раззолоченных лакеев и графского, камердинера, Федорова, допустить их полюбоваться столичным диковинкам – всем был отказ: графская воля была непреклонна.

У богатых и могучих людей есть такие тайные огорчения, такие безыменные недуги, которые вовсе непонятны простолюдинам. Графа мучила придворная болезнь. Привыкнув к беспрестанной борьбе с другими вельможами, вечно взволнованный честолюбием и завистью, вечно алчущий новых почестей и отличий, он изнывал под бременем своей независимости. Низкие поклоны его прошедшему значению были для него ненавистны и обидны, как напоминание о его настоящей немощи. Чем ниже кланялись ему люди, тем выше казалось ему утраченное счастье, тем болезненнее лишение могучего сана. Он возненавидел людей; он ни в чем более не принимал участия. Тоска грызла его сердце; он таял с каждым днем; ночи проводил без сна. Он сам наконец ужаснулся своей черной немочи и возмечтал на минуту подавить изводящие его чувства свежими впечатлениями брачной жизни. Он женился тогда на губернаторской дочери, единственной

возможной для него в городе, осыпал ее подарками и жадно отыскивал в душе своей искры любви. Но все было напрасно: в словах молодой жены звучали для него другие слова; он холодно и мрачно глядел на ее молодые прекрасные черты; глядя на нее, взор его оставался без выражения, и он думал о столице. И этот же взор вдруг воспламенялся; сердце его начинало биться, когда он читал в газете весть о возвышении своих сверстников. Несчастье графа усугубилось еще печальной покорностью молодой, удивленной супруги. Года два продолжалась эта пытка. Однажды граф прочитал, что самый злой его недруг получил ленту, которой он сам никогда не удостоился. Это был последний для него удар. Он слег в постель и не вставал уже более. Через несколько времени он умер, оставив, по завещанию, вдове своей все свое богатство.

Графиня была совершенно противоположного свойства. Природа ее, если можно так выразиться, была провинциальная. Она не знала жгучих страстей, не обладала большим умом, имела сердце, склонное к ленивой нежности; она чувствовала, что ей недоставало чего-то в жизни, но не допытывалась, чего именно. Отдав себя, в угоду родителям, на жертву мрачного супружества, она отогнала навеки те легкие видения, те крылатые мечты, которые неясно толпятся в розовом тумане у девичьего изголовья. После смерти графа графиня была снова свободна, но она отклонила мысль о новом браке, даже по выбору сердца. Богатство, оставленное ей графом, казалось ей обязательством не изменять его имени.

Ей бы стыдно было разделить с другим благодеяния первого супруга. Разумеется, в губернском городе она не осталась. Отец ее был отозван в Петербург. Пышный дом был замкнут со всех сторон надежными замками и отдан под надзор верного и молчаливого сторожа.

Много лет жила графиня и в русской столице и в чужих краях, но имя ее не гремело на перекрестках.

Она сохранила ту женственность, ту странную робость, которые развились в ней во время ее прежней провинциальной жизни. Многое она видела, многое она слышала, но ни к чему светскому не могла привыкнуть. Ей как-то неловко было среди ложных печалей и ложных радостей, которых она не выучилась понимать. Часто среди многочисленных обожателей, привлеченных ее красотой и в

особенности богатством, переносилась она мыслью в тот некрасивый городок, где все было под лад ее простых навыков. Ей жаль было и маленьких домиков, где жили подруги ее детства, и церкви, куда она ходила ко всенощной, и садика, где она играла с сестрами и братьями, и лавок с знакомыми купцами, и старушек, которые ее любили, и нищих, которым она так часто подавала милостыню. Графиня сделалась важной дамой по ошибке и несла богатство свое как иго. У нее детей не было, хотя материнская любовь как-то более всех шла к ее нежно любящей природе. Она это сама чувствовала, и потому все заботы свои, все сердечные свои попечения устремила на свою воспитанницу.

Но каким образом это случилось, того графиня сама не знала. Еще при жизни графа бегала по роскошным комнатам графского дворца маленькая, кудрявая девочка с большими черными глазами. Ребяческие ее шалости, звонкий смех наводили иногда что-то сходное с улыбкой на суровое чело честолюбца. Графиня брала девочку к себе на колени, расчесывала ее шелковистые кудри, ласкала ее, играла с ней и слушала по целым часам ее младенческий лепет. Безмятежно-нежное воображение графини нашло наконец себе занятие или, лучше сказать, игрушку. Маленькая Наташа, дочь графского камердинера Федорова, забавляла ее не только как живая кукла, как собачка с речами, словом, как обыкновенная у губернских барынь фаворитка, но занимала еще в душе ее, просящей обмана, место дочери. Наташа была разряжена, лазила по креслам и диванам, ручонками обхватывала шею графини, выпрашивала у нее все, что только задумывала, и ни в чем не получала отказа. Когда граф скончался, присутствие Наташи сделалось для графини настоящею необходимостью. Графиня сама принялась ее учить, посадила ее с собою за стол, за которым служил Наташин отец, и с каждым днем все более и более привязывалась к милому ребенку. Чувство это еще более вкоренилось в графине, когда Наташа сделалась сиротой. Мать «е умерла еще родами, а Федоров скоро последовал за своим барином.

Пришла, однако ж, минута, когда графиня испугалась своего легкомыслия. Наташа росла как барское дитя, дитя доброе, дитя милое, но своевольное, избалованное, привыкшее к роскоши, требующее угождений.

Графиня вдруг вспомнила о последствиях столь безрассудного воспитания. Общество, посреди которого она жила, никогда не простит сироте, что она дочь крепостного человека, и вечно будет ее преследовать своими оскорблениями. Графиня вздумала было отослать Наташу в девичью, откуда бы ей никогда не следовало выходить, но не могла решиться. Сердце графини сжалось, и, как все женщины слабого характера, от одной крайности она перешла в другую: Наташу решительно признала дочерью, взяла для нее французскую гувернантку, стала обучать ее и музыке, и рисованью, и модным танцам. Прошло несколько лет, и Наташа была уже молодая девушка собой не то чтоб красавица, а то, что губернские барышни называют интересная. Большие ее черные глаза сверкали беззаботным веселием; стройный стан, светлая улыбка, приятный, звучный голос придавали целому существу ее нечто гармоническое. Нельзя сказать, чтоб она отличалась сверхъестественным остроумием, решительностью нрава и большими сведениями.

Она училась ни дурно, ни хорошо, как все богатые барышни; любила петь, любила ездить верхом, наряжалась с большим удовольствием и боготворила свою маменьку.

В то время графиня решилась осуществить тайный свой любимый замысел. Она слишком хорошо знала, что ожидало Наташу в петербургском свете, и потому, чтоб избавить ее от неизбежных огорчений, приказала приготовить свой дом в том губернском городе, где провела детство и где близко находилось ее имение.

Губернский город десять лет сряду ожидал каждый год возвращения графини. Можно представить общее волнение, когда узнали о скором и непременном ее прибытии, вместе с веселой и молодой воспитанницей. В городе сделалась страшная беготня. Франты выписывали себе новые пары из Москвы; девушки заготавливали поразительные и притом дешевые наряды; чиновники запасались круглыми шляпами, купцы закупали всякий новый товар. Весь город был в восхищении, кроме двух или трех сердитых старух, которые утверждали, что не дозволят своим дочерям быть в компании с холопкой.

Однако ж, когда графиня приехала к ним в щегольской карете с визитом и объявила, что, в угождение Наташи, хочет жить открыто, давать вечера и балы, старухи расчувствовались, расцеловали Наталью

Павловну и, облачась в матерчатые платья, первые явились на зов графини.

Великолепный дом, до того времени недоступный любопытству горожан, вдруг заискрился огнями, закипел весельем и жизнью. Душой этого дома была Наташа.

Отделавшись от скучных книг и уроков, она только и думала, что об удовольствиях; подружилась со всеми губернскими барышнями, познакомилась со всеми губернскими щеголями. Она была уж не ребенок; она делала все, что только приходило ей в голову, и графиня, радостно отказавшись от собственной воли, никогда не противилась ее желаниям.

Надо знать обыкновенную скуку наших губернских городов, мелочные расчеты их скудной жизни, чтоб иметь понятие об общем впечатлении при роскошных приемах, при беспрестанных весельях, вдруг озадачивших целую губернию. Начали съезжаться из самых далеких уездов.

Губернский город зажил так весело, как никогда еще ему не случалось и, вероятно, никогда не случится.

Празднества начались, разумеется, балами. Каждое воскресенье весь город пировал у графини. Старики играли в карты и ужинали с большим аппетитом. Старухи сплетничали вполголоса. Молодежь плясала без усталости. Всем было чрезвычайно приятно, и Наташа, в легком наряде, упоенная бальной музыкой, оживленная молодостью и удовольствием, порхала как мотылек, не понимая, чтоб могло быть кому невесело на свете. Она носилась, вертелась с своими неуклюжими кавалерами, и чувство ее живой радости отражалось улыбкой на спокойном лице графини. Кроме воскресных больших балов, каждый день был посвящен на какое-нибудь удовольствие. Все молодые помещики, все офицеры в отпуску находили каждый вечер у графини роскошный и радушный прием. Разумеется, некоторые сердца воспылали, некоторые взоры стали выразительны, но Наташа смеялась над этими признаками начинавшейся страсти, бегала, носилась, вальсировала, скакала верхом посреди своих обожателей, и других замыслов не имела, кроме новых забав.

Таким образом, с помощью своей гувернантки, устроила она для именин графини домашний спектакль. Играли пьесу г-жи де Жанлис «La Rosiere de Salency» [55]. Это нововведение было принято с

восторгом. Наташа исполнила главную роль с такой естественностью, с таким чувством, что все зрители, даже не понимавшие французского языка, были в полном восхищении. Графиня была тронута. Один старый помещик, разорившийся на музыкантах, тут же объявил, что жаль, что Наташа не рождена актрисой; но, говоря это, вдруг смешался, почувствовав, что сказал глупость.

Первая попытка Наташи в драматическом искусстве была увенчана таким блистательным успехом, что решено было ее повторить. Всю зиму разыгрывались у графини разные французские пьесы, комедии, водевили, даже драмы. Все губернское общество поочередно являлось на подмостках благородного театра. Прокурор заслужил немалую известность в патетических ролях, а председатель какой-то палаты обнаружился отличным комиком.

Само собою разумеется, что Наташа все-таки была лучшим украшением каждой пьесы; в ней действительно был сценический талант. Она выговаривала чисто, пела с большим выражением, играла естественно; к тому же она была и молода и прекрасна. Графиня несказанно всем этим тешилась.

Не надо, однако, думать, чтоб беспрестанные удовольствия изменили совсем губернский город: сплетни все-таки шли своим порядком. Некоторые дамы, те именно, которые более всех льстили Наташе в глаза, называя ее ангелом, красавицей, неоцененной, несравненной и проч... заочно терзали ее со всем ожесточением зависти.

Они находили, что ее развязность, ее свободное обращение с мужчинами совершенно неприличны; что она забывается, кокетничает и жеманится. Скупые мужья сердито ворчали, что графиня губит город своей роскошью; что жены их с ума сошли на кисеях и тюлях вовсе не по их карману и что если правительство не остановит этого мотовства, то им придется переехать в другой город. Молодые подружки Наташи часто уязвляли ее колкими намеками, но Наташа их не понимала. Она знала, что она не дочь графини, но никогда не думала о том, потому что сама графиня, казалось, о том забыла.

Впрочем, доброжелатели ее распустили слух, что она вовсе не дочь камердинера, а в самом деле незаконная дочь графа, чем и объяснялась тайна ее воспитания. Это открытие было вменено ей в

особую почесть, в необыкновенное счастье, и привлекло целое стадо женихов.

Графиня не раз говорила, что она оставляет своей питомице часть своего богатства, и трудно представить, сколько внезапных страстей развили эти простые слова.

В течение двух лет, почти каждую неделю в кабинете графини слышались предложения руки и сердца, мольбы о счастье жизни. Наташа смеялась. Не понимая еще любви, она страшилась супружества. И зачем, говорила она, было менять ей на неизвестное свою веселую, беззаботную жизнь? И как она решится оставить свою маменьку? При этих словах начинались целованья, проливались две-три слезы, и новые удовольствия изглаживали грустное впечатление. Женихи расходились с длинными носами и пустыми карманами. Наташа была провозглашена существом без души и сердца, интриганкой, обманывающей доверчивую благодетельницу из тайных замыслов и подлой корысти.

Однажды графине было как-то чрезвычайно грустно.

– Послушай, Наташа, – сказала она, – надобно, однако ж, о тебе подумать. Пока я жива, тебе, я знаю, хорошо; но ведь я могу умереть: с кем ты тогда останешься?

– Я не переживу вас, – отвечала, содрогнувшись, Наташа.

– Полно, милая, говорить пустяки, – продолжала графиня, поцеловав свою воспитанницу в лоб. – Ты молода и здорова, слава богу... тебе еще долго жить на свете. Только вот что я думаю: не пора ли остепениться.

Не век же молодой, замуж надо все-таки выйти.

– Зачем? – спросила Наташа.

– Затем, чтоб меня успокоить. Есть же добрые люди на свете: выбирай кого хочешь. Дай мне поглядеть на твое счастье.

– Если вы этого хотите, маменька, – сказала Наташа, – выберите сами. Я рада исполнить вашу волю.

– Будем выбирать вместе. Те, которые сватались, недостойны тебя – это правда; ну, да не все такие.

Я слышала вчера о прекрасном человеке, который скоро сюда будет. Он не богат, да это не беда. Я тебе отдам в день свадьбы назначенные тебе деньги...

– Не надо, – возразила Наташа, – я не выйду замуж за человека, который захочет разлучить меня с вами.

Графиня улыбнулась. Яркими красками описала она свою будущую жизнь. Наташа с мужем останутся в ее доме, который, однако ж, надо будет переделать. Верхний этаж назначался для детских. Графиня любила маленьких детей и намеревалась сама нянчиться с ними.

Потом они подрастут, и за ней, старухой, будут ухаживать, и она тихо угаснет на их руках. Все это было прекрасно обдуманно и весьма удобоисполнимо. Но одно обстоятельство всему помешало. На другой день графини не было на свете: нервический удар разом пресек ее мирное существование.

Наташа весело скакала на своей любимой лошади по окрестностям губернского города во время этого страшного происшествия. Подъезжая к дому, она вдруг заметила необыкновенное в нем волнение. Люди, бледные, бегали по лестнице; у подъезда толковали губернские доктора, пожимая плечами; внутри дома слышались женские вопли. С ужасом соскочила Наташа с лошади и бросилась к комнате своей благодетельницы. Увы! на кровати лежал уже безжизненный труп. Наташа пошатнулась и без чувств упала на пол.

Несколько часов лежала она в совершенном беспамятстве, но ей еще рано было умирать. Когда она пришла в себя, ей показалось, что она уже не живет более и только присутствует при жизни. Дико глядела она кругом мутным, неопределенным взором. Комната была наполнена людьми. Какие-то зеленые тени шептались между собою и указывали на нее с каким-то грубым сожалением. Пришли священники и начали служить панихиду. Наташа еще ничего не понимала. Ни слез не было в ее глазах, ни слова от нее не было слышно; она стояла как истукан. Черты ее до того изменились, что страшно было смотреть на нее. Так прошли четыре дня.

Наташа видела, что люди подле нее крестятся, и она крестилась, и творила земные поклоны, но молиться не могла: душа ее была впотьмах. Вдруг на улице сверкнули факелы; к подъезду подъехали дроги в шесть лошадей, покрытых черными попонами. Вся улица кипела ожидавшим народом; все городские жители сбежались на похороны. И надо сказать, что таких пышных похорон еще и не бывало

в губернском городе. Главные городские чиновники, в мундирах, несли бархатный гроб вниз по лестнице. Преосвященный шел впереди с своим духовенством. Певчие запели. Шествие потянулось за городскую заставу. Наташа шла за гробом.

И вот уже окончился обряд отпевания. Отверстая могила ожидает своей добычи. Преосвященный благословил последнюю обитель усопшей рабы божией. Певчие пропели вечную память. Могилу начали засыпать.

В эту минуту резкий, пронзительный крик заставил содрогнуться всех присутствующих. Наташа бросилась на землю, жадно начала ее целовать и слезы ключом брызнули из глаз бедной сироты – она только тогда поняла свою утрату. Чувство едкой горести, безотрадного одиночества вдруг пробудилось в ней с чувством жизни.

Народ уже разошелся, вечер уже сменил утро, а она все молилась и рыдала у праха своей благодетельницы.

Вдруг женский голос раздался подле нее, и ей послышались странные слова:

– Как ей, бедненькой, и не плакать... Ведь графиня ей ничего не оставила.

– Духовной не успела, сердечная, написать, – отвечал другой женский голос, – точно, как не плакать! Ведь у нее алтына, у бедной, нет. Наша сестра, бесприютная...

Каково-то ей будет? Уж точно несчастье!

Наташа оглянулась.

На ближней гробнице сидели две нищие старухи, из числа тех, которые всегда шатаются по похоронам; они вздыхали притворно и, разговаривая между собой, насмешливо поглядывали на сироту.

Наташа, испуганная странным истолкованием ее горя, убежала обратно к городу; но у заставы она остановилась... Куда идти ей? Медленно дотащилась она до дома, в котором промчались такие счастливые минуты.

Около дома суетились полицейские, а у подъезда дожидалась бедная чиновница.

Надо знать, что по возвращении от похорон графини первые барыни губернского города собрались сеймом.

Заседание открылось, разумеется, вздохами, сожалениями, поучительными фразами о шаткости всего земного и мало-помалу

обратилось в злословие. Укоряли графиню за пристрастие к дворовой девушке, которую тут же разжаловали из дочерей графа в дочери камердинера; толковали о безрассудности ее воспитания, рассказывали о ней совсем небывалые случаи и спрашивали, что с ней будет. В гувернантки она не годится, потому что избалована; в компаньонки и подавно. Одна барыня взяла бы ее к себе, да собиралась ехать в Петербург; у другой не было детей: она боялась, что Наташе будет скучно; у третьей были дети, но она опасалась для них дурных примеров; у четвертой дом был не так расположен. Словом, все отказались от девушки, перед которой иные еще недавно подличали; и не будь бедной чиновницы, Наташа решительно осталась бы без приюта.

Бедная чиновница на сейме не присутствовала, но она была женщина с добрым сердцем, и потому дожидалась у подъезда.

– Наталья Павловна, – спросила она, – позвольте узнать, где вы будете жить теперь?

– Не знаю! – отвечала Наташа.

– Помилуйте-с... как же это? Я человек небогатый, семейство большое, у мужа жалованье маленькое, однако ж, если вы не побрезгуете бедными людьми, так у нас можете найти уголок.

– Мне совестно, – прошептала Наташа.

– Помилуйте, чего тут совеститься? Разумеется, вы сами не захотите долго у нас оставаться, а так, на первое время... покамест успеют написать наследникам...

Они вас, верно, не оставят.

– Бог наградит вас! – печально вымолвила Наташа и отправилась на новое свое жилище.

Чиновница была точно женщина небогатая; она помещалась в четырех комнатах с мужем и детьми, которых было шестеро. Чиновник был честный человек и оттого терпел нужду. Лучшую свою комнату, ту, которая находилась подле кухни, отдали они Наташе. Эта комната была убрана едва ли не похуже лакейских в графском доме. Когда они вошли в нее, в медных шандалах светились сальные огарки. Босая служанка приготавливала кровать. За дверью раздавался детский писк, и неизбежная с русской бедностью нечистота придавала всем предметам какой-то печально-неприятный оттенок. Наташа взглянула на все

это равнодушно; все внешнее было для нее дело постороннее. Она углубилась в самое себя; она, так сказать, жила в своей печали.

Много дней прошло в грустном однообразии. От иных подруг услышала она несколько слов холодного сожаления, от других ничего не услышала. Казалось, что она умерла вместе с своей благодетельницей, и мгновенно постигла она, бедная, отвратительный эгоизм человечества. Препрежнее ее веселье исчезло. Она была уж не беззаботным ребенком, а существом страдающим, за один раз испытавшим все обманы жизни. И на могиле своей благодетельницы постигла она всю суетность этой жизни. Падая во прах на землю, она сблизилась душою с небом, устремилась молитвою за облака – и облегчила свою тоску. Безрассудность своей первой молодости заменила она тихим спокойствием, тихой покорностью велениям судьбы.

Между тем чиновник и губернатор писали неоднократно к наследникам графини, прося о пособии для ее воспитанницы. После долгого и напрасного ожидания губернатор препроводил к Наташе полученную им сторублевую ассигнацию, пожертвованную самым щедрым из графских родственников. Великолепный дом, в котором жила графиня, был нанят откупщиком. Вещи и мебели вытребованы в Петербург. Через несколько времени разнесся слух, что наследники начали между собою тяжбу. Дом остался без жильцов и присмотра. Мало-помалу он начал разрушаться и дошел до настоящего состояния, а тяжба и по сие время еще не кончена.

Когда дознано было, что Наташе не предстоит никакого наследства, чиновница мало-помалу начала изменять с ней свое обращение. Прошел год после смерти графини, и присутствие Наташи было действительно весьма тягостно для бедного семейства. Она это чувствовала и всячески старалась помогать своим благодетелям, хлопотала по хозяйству, учила детей их. Она начала ходить на рынок покупать провизии, но получала за то только выговоры, потому что не умела выбирать и платила слишком дорого. С детьми тоже она не умела обходиться, баловала их; ей и за то доставалось. Не трудно сделать доброе дело, трудно его выдержать. Чиновница была не дурная женщина, но в вечной борьбе с своей скудной жизнью она утратила то чувство деликатности, которое дает цену благодетельности. Она то и дело что твердила Наташе об общей дороговизне, о нуждах большого

семейства, даже о том, что она могла бы Наташину комнату отдавать внаймы. Часто муж бранил ее за такие речи, и она отвечала ему визгливым тоном, жалуясь на то, что посторонняя отнимает у них хлеб собственных детей. Наташа слышала эти ссоры из своей комнаты и решилась во что бы то ни стало освободить их от себя.

Но как это сделать? Куда идти ей? Наташа отправилась к своим знакомым; к тем, которые ей некогда завидовали, и просила их доставить ей какое-нибудь место! Ее приняли с видом покровительства, просили зайти в другой раз, обещались похлопотать, справиться. Но мест нигде никаких не открывалось, а время все шло, и каждый день нетерпение чиновницы становилось явственнее и грубее, и каждый день положение бедной Наташи было нестерпимее.

Грустно шла она однажды по улице, поникнув головой; она чувствовала, что она лишняя на земле, что она уж никому не нужна и обременяет только собой приютившее ее семейство. С ней встретился тот старичок, который так восхищался некогда ее драматическими способностями. Этот старичок был большой оригинал.

Он прожил почти все свое состояние на музыку, хотя сам музыки не знал вовсе. От скуки затеял он в деревне оркестр и, как русский человек, пристрастившийся к одной мысли, забыл все прочее; хозяйство его пошло вверх дном, но он о том и не заботился. Мужики играли на скрипке, конторщики писали ноты, бурмистр бил такт; мальчики с толстыми губами назначались для флейт и кларнетов, широкоплечие – для фаготов. Из Москвы выписывались и инструменты и капельмейстеры.

Старичок поминутно сзывал своих соседей и радовался, как ребенок, когда вдруг где-нибудь в беседке или в густой роще будто бы неожиданно раздавалась увертюра из «Калифа Багдадского» или «Толедских слепцов». Мало-помалу, настраивая доморожденных артистов, он расстроил до того имение, что принужден был обратить свой оркестр в доходную статью. Продать же его он не решался, хотя ему и предлагали хорошую цену; и потому ездил по городам, подряжал своих музыкантов на балы, на театры, и вырученными деньгами содержал и людей своих и себя.

Старичок чрезвычайно обрадовался Наташе. Он начал расспрашивать ее с видом живого участия о случившемся с ней после смерти графини. Наташа все простодушно ему рассказала, описала

свое плачевное положение, свои отношения к чиновнице, свои неудачи с прежними друзьями и просила его о совете.

Старичок был в восхищении.

– Что же тут думать? – воскликнул он радостно. – Благодарите судьбу, которая приводит вас к настоящему вашему назначению. На днях приезжает сюда прекрасная драматическая труппа. Актеры такие воспитанные. Директор, Иван Кузьмич, мой короткий приятель, уж подрядился со мной для оркестра. Дешево, признаться, немного, ну, да я люблю искусство... Сам, так сказать, артист.

– Вы мне советуете сделаться актрисой... актрисой? – с ужасом спросила Наташа.

– Помилуйте, чего ж тут пугаться? Положим, вы найдете место няньки... Во-первых, вы будете от всех зависеть... как служанка... даже хуже служанки; во-вторых, какое вы будете жалованье получать? Вы, ведь, знаете провинцию... рублей триста – много. А тут вы сами барыня, получаете, что хотите – три, четыре тысячи, и можете еще наградить свою глупую чиновницу.

Мысль расплатиться с чиновницей польстила воображению Наташи, однако сердце ее сжалось.

– Я, право, не знаю, – сказала она, – я вдруг не могу, решиться... Надо подумать... Во мне нет таланта.

– Как нет таланта-с... помилуйте! у вас такие способности, каких я не видывал. Поверьте слову старого артиста... Помяните мое предсказание: быть вам Колосовой, Семеновой – вот какой у вас талант! Истинный-с талант-с!

Через несколько дней старичок явился к Наташе с Иваном Кузьмичем. Иван Кузьмич чрезвычайно был похож на дворецкого. Белый кисейный галстух, огромная печать на гороховых панталонах, вздернутый нос, большой хохол придавали какую-то особую важность его красной и глупой физиономии. Говоря с Наташей, он старался быть обворожителен; говорил сладким голосом, щурил глаза и воображал себя самым светским человеком.

– Для вас, сударыня, – напевал он с разными ужимками, – разумеется, мало дворца: вы привыкли к ароматам, к жизни такой эфирной. Но судьба – женщина-с, своевольная, ветреная женщина. Я не смею бранить ее, потому что она дама, а я ревностный дамский поклонник; впрочем, она догадалась, что вам мало дворца; вашей

красоте нужен храм, храм, так сказать, Мельпомены. Не бойтесь, сударыня, нас, мы будем вашими поклонниками, вашими рабами. Труппа моя, смею доложить, по тону и манерам едва ли не первая в России.

Я очень разборчив: у меня все почти благородные. Один молодой человек, Вельский, обучался прекрасно в гимназии; у него родной дядя надворный советник; другой служил чиновником – все люди не какие-нибудь, с чувством, с образованием. Мы живем душа в душу, как голуби. И я, уж должен признаться, сам такого деликатного свойства... всем готов пожертвовать для своих.

Правда, люди бранят меня за то, да душа спокойна, совесть чиста. Я хочу только, чтоб меня любили.

Наташу мало увлекали подобные речи, да что ж ей было делать? Она была молода и неопытна, не знала темной стороны закулисной жизни и в искусстве видела одно только искусство. Долго, однако ж, она боролась с тайным страхом, который не позволял ей решаться; еще раз обегала своих знакомых, еще много раз вытерпела грубые намеки чиновницы. Но пришел день, когда терпение ее рухнуло. Чиновница наговорила ей так много о безрассудности щегольских воспитаний для бедных девушек, которые потом никуда не годны, шаромыжничают и важничают, так горько сожалела о том, что лишается найма лучшей своей комнаты, что Наташа, с поспешностью отчаяния, написала Ивану Кузьмичу, что она согласна вступить в его труппу. Иван Кузьмич прибежал в полном восторге, рассыпался в нежностях, назначил Наташе 2000 рублей жалованья, исключая полного бенефиса, и подал ей условие, которое Наташа подписала, не прочитав. В тот же день переехала она на новую квартиру, несмотря на все упреки чиновницы, которая, почувствовав вдруг раскаяние, упрашивала ее остаться и кончила тем, что начала укорять ее в неблагодарности.

Но условие было подписано, и на третий день огромная афишка объявила жителям губернского города, что в непродолжительном времени вновь ангажированная актриса, г-жа Федорова, будет иметь честь дебютировать в разных трагических и комических ролях.

Трудно изобразить негодование губернского города при этой вести. «Вот она, холопская кровь! – кричали добродетельные дамы. – Вместо, того, чтоб честным образом добывать хлеб свой, вот что она делает! Зачем не просила она нас? Мы бы все ей нашли место, хоть в

память графини. Да что было ожидать от нее? Она всегда была бесстыдна, да боялась своей благодетельницы; а теперь ей полный простор». Мужчины смеялись.

Наташа учила свои роли, ходила на репетиции и ознакомилась с своими товарищами. В числе их было действительно двое из благородных: один, выгнанный из всех возможных служб, другой, выгнанный из гимназии за шалости и дурное поведение. Последний был молодой человек, увлеченный в детстве какой-то глупой самонадеянностью и молодечеством, не полагавшим никаких границ грубым, жалким привычкам. Детская мечтательность вовлекла его на комедиантское поприще, где он продолжал с товарищами разгульную и пьяную жизнь. Со всем тем на него находили иногда минуты грустного раскаяния; он презирал и свое тунеядство и свой отвратительный род жизни, и по целым дням ходил как убитый. Таких характеров много на Руси во всех сословиях; они происходят от доброй природы и порочного направления. Только в высших слоях общества оттенки сливаются как-то более между собой, тогда как в низших они выражаются жестче, определительнее, грубее. Вся труппа состояла из двадцати человек. Характеристику их не трудно сделать: комик Куличевский пил иногда; благородный отец Иванов пил постоянно; трагик Кондратьев пил запоем. Все пили более или менее. Один старик Петров был человек трезвый, но, может быть, оттого не было у него никакого дарования.

Этот Петров, исполнявший бессловесные или самые незначительные роли, получал самое вздорное жалованье и служил посмешищем для целой труппы. Гимназист и Куличевский всячески старались запутывать его в словах, сбивали поминутно с толку, делали ему из-за кулис разные гримасы. Его со всевозможной важностью уверяли, что он так обворожительно подает письма на сцене, что одно движение руки его исторгает слезы у самых равнодушных зрителей. Ему подсылали разные безыменные записочки, любовные объяснения. Его старались уверить, что жена губернаторского секретаря до того в него влюбилась, что хочет из-за него развестись с мужем. От этих шуток бедному Петрову приходилось иногда до слез. Женская половина труппы заключалась в двух или трех старых бабах, похожих на кухарок, в двух двенадцатилетних девочках и в трех манерных горничных, которые то и дело сплетничали, толковали о любовных

интригах, о нарядах и о кухне. Главная из них была девица Иванова, которая, будучи недурна собой и в большой чести до прибытия Наташи, возненавидела ее с первого взгляда. Подобное общество не могло нравиться сироте. Она целый день оставалась одна в своей комнатке, исключая, разумеется, времени репетиций. Актеры и актрисы были очень недовольны ее холодным, но учтивым обращением. Один гимназист перестал пьянствовать, а Петров, удивленный незнакомой ему учтивостью, начал ревностно предлагать ей, где только мог, свои услуги. Это было поводом к новым насмешкам. Петрову советовали сделать Наташу своей наследницей и отказать ей, по завещанию, серебряную табакерку, составляющую единственное достояние бедного комедианта.

Наконец наступил день дебюта.

Театр, устроенный в городском цейхгаузе, был отделан заново: все ложи были выбелены, скамейки обтянуты новым коленкором. Иван Кузьмич хотел себя показать. Все городские жители, не исключая и не хотевших ехать на представление, толпились в ложах и партере; многие даже стояли, за неимением мест. Подняли занавес. Гимназист, одевшись, как мог только лучше, с помощью городских приятелей, играл старательно и хорошо; комик Куличевский, благодаря природному русскому юмору, немало смешил зрителей. Впрочем, все это было только предисловием. Вдруг по всей толпе пробежал трепет ожидания... все сердца разом забились... на сцену вошла Наташа, в простом, белом наряде, с своей плавной поступью, с своей благородной осанкой. Не с наглым видом, не крикливым горничным тоном, к которому привыкла русская публика, начала она говорить, а тем сладкозвучным голосом, которым некогда восхищался весь город.

Спокойным, но грустным взором обвела она весь театр. В ложах сидели подруги ее вчерашней молодости.

В эту минуту вся зала затряслась от криков и рукоплесканий. Все мужчины до одного вскочили с своих мест и, внезапно одушевленные каким-то электрическим чувством жалости, повинувшись этому благородному энтузиазму, который овладевает иногда народными массами, разом хотели выразить сироте свое невольное участие.

Все лица оживились; все глаза засверкали. Шум все более и более усиливался. Пьеса была остановлена. Некоторые дамы были тронуты; некоторые барышни краснели и потупляли глаза. Старухи бормотали

что-то себе под нос. Иван Кузьмич, окунув лицо в галстух, потирал руки. Актеры вытирали глаза. Петров едва не прыгал от радости за кулисы. Наташа плакала.

Никогда ничего подобного не бывало в губернском городе.

Мало-помалу восторг утих и публика стала снова публикой, то есть невежественным, балованным ребенком, требующим каждый день новых игрушек. Впечатление о странном появлении Наташи на сцене, поразившее всех с первого раза, стало постепенно исчезать.

За первым представлением последовали другие представления, и губернский город совсем забыл о прежней роли бедной Наташи. Начали судить об ее драматических способностях. Явились недруги и критики, бывавшие в Петербурге. Образовались партии. Партии эти постепенно удалились от первоначального предмета спора и обратились к личностям, к сплетням, к настоящим размолвкам. Несколько домов решительно между собою перессорились, и в этом году столько было брани, столько толков разного рода, что зима прошла самым незаметным и самым приятным образом.

О Наташе никто уж не заботился. Она наряжалась, пела и смеялась; следовательно, ей хотелось наряжаться, петь и смеяться. Ей хорошо было, верно, жить. Театр всегда полнехонек; ее вызывают каждый раз – чего ж ей еще больше?

Наступила весна или, лучше сказать, время года, исправляющее у нас должность весны. Помещики начали дожидаться хорошей погоды, и после долгого, напрасного ожидания при первом солнечном луче рассыпались по деревням. Губернатор уехал на ревизию. Театр был закрыт. Наташа надеялась отдохнуть от несносной для нее жизни; но Иван Кузьмич умел соблюдать свои выгоды.

В летнее время отправлялся он с своей труппой по разным ярмаркам, где учреждал на скорую руку временный театр в каком-нибудь сарае или манеже и давал по несколько представлений. Наташе велено было готовиться к отъезду... Она этого совсем не ожидала. Она никогда бы не решилась сделаться актрисой, если б знала, что должна будет шататься по балаганам и вступить в унижительное соперничество с разными фокусниками, гаерами и дикими зверями. Правда, она выступила на сцену, но она чувствовала себя между своими. Дитя, отверженное семейством, она все-таки еще видела кругом себя это семейство, так недавно раболепствовавшее еще перед нею, а теперь

она должна кочевать по неизвестным ей местам, одна, посреди людей, которых она страшилась, которых речи и привычки были ей непонятны. Женская стыдливость в ней сильно заговорила и придала ей необычайную решимость. Она объявила Ивану Кузьмичу, что она не хочет, что она не поедет по ярмаркам. Иван Кузьмич хладнокровно отвечал, что на это есть полиция, и вынул из-за пазухи условие. В условии было сказано, что Наташа обязывалась на шесть лет играть, где только пожелает Иван Кузьмич, а в случае ее отказа должна внести 6000 рублей неустойки. Иван Кузьмич требовал или денег, или повиновения. Напрасно Наташа плакала и умоляла своего властелина: она была вещью, принадлежностью Ивана Кузьмича, а Иван Кузьмич, забыв прежнюю свою деликатность, был неумолим.

Тогда вспомнила она о старичке, охотнике до музыки, вовлекшем ее в драматическое сословие, и обратилась к нему с просьбой о помощи. Старичок поспешно явился на зов, поцеловал нежно у нее ручку и выслушал ее жалобы. Подумав немного, он сказал, что все это безделица. Он решался продать своего кучера, отличного кларнетиста, и садовника, мастера играть на валторне.

Чтобы выручить ее из беды, и готов был внести за нее неустойку. В вознаграждение только за свое пожертвование он предложил одно такое страшное условие, что Наташа долго не могла его понять. Когда же она, бедная, поняла его, негодование, гнев, стыд загорелись ярким румянцем на ее бледных щеках. Она выгнала гнусного старика, и, позвав кухарку, составлявшую единственную ее прислугу, приказала не пускать его более к себе. Старичок насмешливо встал с места, приговаривая, что он видел такие сцены... да что конец им известен. На первый раз всегда надо погорячиться... а там будет и милость... Нужда не свой брат, и без него не обойдется. Но этих слов Наташа уж не слыхала: она убежала в свою комнатку, прихлопнув за собою дверь, и, упав на землю перед образом, долго и безутешно рыдала, уничтоженная новым, страшным открытием. Она вдруг догадалась, что, сделавшись актрисой, она не только отказалась от знакомства прежнего своего общества, но еще утратила его уважение, погубила свое доброе имя. Она вдруг постигла смысл восторженных похвал, двусмысленных речей, нежных взглядов, которые устремляли к ней ее театральные поклонники. Она почувствовала неодолимое омерзение к своим успехам, к одобрению публики. Она прокляла свою

неопытность, осудившую ее быть вечной целью самых оскорбительных восторгов, самых гнусных домогательств. О, если б она могла отказаться от постыдного ремесла!.. Она скорее бы пошла просить милостыню под окнами, она скорее бы нанялась поденщицей и слабыми руками старалась бы снискивать пищу, от которой лицу ее не приходилось бы краснеть.

Мало-помалу мысли ее смешались. Ей показалось, что подле нее сидит графиня, с нечистой улыбкой на устах, и уговаривает ее не противиться желаниям старика... Потом все ее товарищи приближались поочередно лицом к лицу... и Иван Кузьмич, и гимназист, и даже старик Петров, и каждый нашептывал ей нестерпимо близко любовные объяснения из репертуара и, прикладывая пальцы к губам, просил не рассказывать о том никому. И ей казалось, что она их слушает и одобряет – и холодный пот обдавал все тело ее... и ее бросало в жар, и голова ее кружилась, и она жалобно стонала, призывая на помощь своих прежних подруг и знакомых.

Восемь дней пролежала Наташа в сильном бреде, в самой ужасной горячке; восемь дней жизнь боролась со смертью, но молодость превозмогла. Лекарь 3-й степени, названный доктором с тех пор, как получил чин коллежского асессора, был призван испуганной кухаркой к постели больной. Этот лекарь занимался преимущественно хозяйством и снимал городские сенокосы; в книги же не заглядывал, а лечил наудачу и не хуже своих ученых собратий истреблял иногда болезнь, иногда пациента. Сложение Наташи было еще так крепко, что она устояла против медицинских средств. Из городских жителей никто не присылал справиться о ее здоровье. Один Петров хлопотал неутомимо с кухаркой: варил суп, бегал в аптеку, торопил аптекаря, топил печи, расспрашивал доктора о Наташе, как о собственном ребенке.

Гимназист ходил под окнами больной и грустно посматривал на завешанные ее окна. Прежнее его разгулье исчезло... Он был угрюм и молчалив.

Иван Кузьмич был тоже очень расстроен. Он мысленно рассчитывал, сколько несет убытка от болезни своей первой артистки и сколько должен будет вычесть у ней из жалованья. Выздоровление Наташи шло чрезвычайно медленно. Отлетавшая жизнь нехотя возвращалась к ней, как бы понимая, что она ей в тягость. Когда же

Наташе стало лучше, выздоравливающая с таким чувством начала благодарить Петрова за его участие, так искренне радовалась, что есть человек, не чуждавшийся ее, что Петров чуть-чуть не помешался от радости, и с того дня полюбил сироту, как родную дочь.

Иван Кузьмич каждый день посещал больную и, постигнув наконец ее раздражительность и благородный характер, изменил свое обращение. Он начал жаловаться на большие издержки, сопряженные с содержанием труппы, нынче ничем не вознаграждаемые; говорил, что должен распустить труппу; сам сделается нищим и людей своих пустит по миру. Одна Наташа могла бы спасти их всех от нищеты, согласившись отправиться на теменевскую ярмарку, где играть будет не в балагане каком-нибудь, а в прекрасном театре, перед самой образованной публикой. Наташа была уже не в силах противиться: она сказала, что поедет, куда хотят, что ей все равно.

Лицо Ивана Кузьмича засияло радостью. Начали приготовляться к отъезду.

Дней десять сряду штопали рыцарские доспехи, испанские мантии и прочий театральный хлам; чинили и подкрашивали декорации, вырезывали картонные вещи и заготовляли парики. Когда все было готово, торжественный поезд отправился шагом к месту своего назначения.

Дорога была песчаная. Солнце пылало; воздух был удушлив. Наташа, изнуренная болезнью, лежала в кибитке, обтянутой рогожей, посреди двух старух в душегрейках. Лошадьми правил Петров. Перед кибиткой тянулись две фуры, навьюченные вещами и людьми.

Женщины щелкали орехи. Мужчины, в одних рубашках, заложив руки за затылок, спали, растянувшись, кто как мог. Так прошел целый день. Наташа старалась ни о чем не думать. К вечеру они остановились в большом селе у постоялого двора. Стало свежеть. Лошадей отпрягли.

Путники проснулись, зашевелились, перекликнулись.

Из-под сена выплянули пироги, испеченные на дорогу, и четверугольные штофы с настойкой. Около приезжих толпились сбежавшиеся ребятишки. Хозяин постоялого двора кланялся и суетился; хозяйка ставила самовар.

Мало-помалу пироги стали исчезать и штофы опорожняться. Начались странные шутки, странные песни. Наташе послышались совершенно неизвестные слова. Иван Кузьмич отправился вперед для

нужных в Теменеве распоряжений и предоставлял в походное время своей труппе полную свободу. Грубые шутки становились час от часу крупнее. Лица покраснелись... Начались ссоры...

За ссорами последовали ругательства, а за ругательствами пошла драка. Женщины притакивали и смеялись.

Актеры, шатаясь и падая, поминутно вцеплялись друг другу в волосы и кричали страшными голосами. Наташа с ужасом смотрела на это зрелище. Ругательства и крики сменялись новыми криками и ругательствами; за драками начинались опять новые драки.

Всех пьянее был комик Куличевский. Кое-как, переваливаясь, доплелся он до кибитки...

– Что ж ты, барыня, что ли, в самом деле, – завопил он, глядя на Наташу, – а?.. лучше нас, что ли? а? царевна недотрога? а?.. Со мной прошу не чваниться... я ведь... знаешь... Эх-ма!.. по-своему.

– Не трогайте их, Сидор Терентьич, – прервала девица Иванова, – они ведь субтильные такие... Где им с нами знаться... они ведь высокого происхождения: батюшка ихний за каретой стоял, служил, слышно, лакеем.

Громкий хохот раздался за этой остротой.

– Важная птица! – заревел Куличевский, – нос вздумала, поганая, подымать... зазнаваться... Постой-ка, я тебе дурь-то выбью из головы. Знаешь ли, по-своему, по-русски... Постой-ка... я тебя...

Куличевский потянулся к кибитке...

Наташа с ужасом отскочила в сторону.

– Молчи, пьяница! – закричал гимназист, подбежав к кибитке.

– Молчать... не хочу молчать.

– Молчи! говорят.

– Не хочу – вот тебе и все.

– Молчи! а не то заставлю.

– Посмотрел бы, как заставишь.

– Да увидишь, если хочешь...

– А вот, не хочешь ли сам ты этого...

И Куличевский размахнулся, но крепкий кулак гимназиста предупредил его.

Куличевский лежал уж, растянувшись на земле, а гимназист, с сверкавшими глазами, страшный, как олицетворенный гнев, давил его грудь коленом и руками душил за горло.

– Проси прощенья! – кричал гимназист, дрожа от бешенства.

– Не буду, – мычал Куличевский.

– Проси прощенья!.. Не то, видит бог... убью, как собаку...

И дрожащие руки стиснули посиневшую шею пьяного актера.

– Ви...но...ват, – прохрипел Куличевский...

– Ай-да гимназист! молодец! – раздалось в толпе.

– Эй, ребята! покачаем-ка его...

Но гимназист уж исчез. Одуревшего Куличевского вытолкали в калитку. Петров перекрестился.

Наконец вечернее разгулье стало постепенно утихать. Кое-где еще раздавались стоны и жалобы побежденных и наглые шутки победителей. Языки отяжелели, глаза отуманились. Актеры разбрелись в равные стороны и завалились спать; женщины ушли в избу.

В селении водворилась тишина. Наташа осталась одна в кибитке, из которой не смела выйти. Петров, помолившись богу, подложил себе под голову тулуп, растянулся на земле под кибиткой и, немного помаявшись, заснул среди общего безмолвия. Ночь была прекрасная. Крестьянские избы тянулись зубчатой тенью по обеим сторонам дороги, а над ними возвышалась церковная колокольня указательным перстом к небу. Мильоны ярких звездочек ярко сверкали на темно-синей небесной выси. Свежий ветерок тихо качал ближние рябиновые листья, а вдали раздавался мерный стук сельских сторожей..

Наташа не могла сомкнуть глаз. Свежее впечатление летней ночи как-то сливалось в душе ее с ее неизменной грустью... И не была ли жизнь ее и мрачна и чиста, как это синее небо, и не сверкали ли в ней светлыми звездочками счастливые минуты ее детства! И кто знает, что ей готовится впереди? Проблеснет ли когда-нибудь луч счастья в ее потемневшей жизни? Какие обиды, какие огорчения ожидают еще ее измученную душу?.. Долго-ли, мало ли ей еще дожидаться?.. И что ж будет там?.. И чем все это кончится?..

– Наталья Павловна... Наталья Павловна... – прошептал подле кибитки чей-то трепетный голос.

Наташа обернулась. Перед ней стоял гимназист, бледный, измученный. Видно было, что он хотел что-то высказать и не смел.

Прошло несколько минут молчания.

– Я не успела поблагодарить вас, – тихо начала Наташа, – давеча вы спасли меня.

Гимназист печально покачал головой.

– Что в этом, – сказал он, – что в этом-с! Завтра опять, может-с быть, то же самое-с. Вы видите-с, в каком вы обществе-с.

– Видно, судьба уж моя такова, – вымолвила Наташа.

– Да вы не знаете-с этих людей... Они на все способны-с.

Голос гимназиста дрожал.

Оба замолчали.

– Не все же так жить... – снова начала Наташа, – кто знает, что впереди?

– Конечно-с... Не все же так жить?... Да как это сделать-с? Позвольте, Наталья Павловна... спросить вас... только вы не прогневайтесь... право-с, это для вашей пользы...

Наташа взглянула на него с любопытством.

– Позвольте-с спросить вас... Простите-с, нескромный вопрос... прилично ли молодой девушке, с вашим воспитанием, в ваших летах, находиться без матери, без совета, без зашиты... с такими людьми, как мы...

– О нет, нет!.. – воскликнула, краснея, Наташа.

– Я тоже так думал-с... Право... Да как тут быть!

Условие ваше написано так неосторожно: нельзя отказаться. Разве убежать... да нет, нельзя-с... Полиция вмешается... Большие выйдут-с неприятности. Поверите ли... заснуть не могу... Думаю, думаю, ничего не придумаю.

– Зачем не спросилась я вас прежде! – грустно сказала Наташа.

– Напрасно-с! Я бы вам по чести сказал всю правду. Ну, да уж этого не переделаешь. Тут и говорить нечего-с... Впрочем... если уж так... то есть, кажется... одно средство-с...

– Скажите, ради бога, скажите.

Гимназист молчал. В душе его происходила ужасная борьба. Наконец он собрался с силами:

– Выйти... вам... замуж... – сказал он едва внятно.

Наташа не отвечала ничего. Петров храпел под кибиткой. Рябины тихо качались... На небе весело сверкали звездочки. Ночь была прекрасная. Гимназист, помолчав несколько времени, начал говорить шепотом:

– Конечно-с... с вашим образованием вы не можете найти здесь достойного человека. Смешно даже подумать. Вы видите, что здесь за

народ. Впрочем, может быть тоже, что вы не свободны... У вас, я слышал, было столько женихов... Вы, верно, любили, любите кого-нибудь...

– Нет, – простодушно отвечала Наташа.

Лицо гимназиста прояснилось, голос стал сильнее.

– Так зачем бы вам, кажется, не осчастливить человека, правда-с, грубого, необразованного, вспыльчивого... ну, да он перемениться может... Он уж переменился с тех пор, как вас знает... Впрочем, вы не думайте о нем. Главное дело... позвольте ему только называться вашим мужем, вашим защитником... тогда никто вам слова дурного не скажет, скорей мне череп разможат; а теперь, пожалуй, еще шутить, смеяться начнут... Со всеми ведь не сладишь...

– Я вас недостойна, – тихо вымолвила Наташа.

Слезы выступили на глазах гимназиста.

– Вы меня недостойны?.. Вы, Наталья Павловна? Да знаете ли вы, кто я... я ничему не учился, ничего не знаю... я выгнан из училища за дурное поведение. Я убил, может быть, отца и мать; оба они скончались – царствие им небесное, – не выдавшись со мной, и не простили меня... Я до сего времени вел жизнь самую буйную, в трактирах, в харчевнях, с такими людьми, о которых стыдно вспомнить... я был вот как этот Куличевский, который недавно здесь валялся – и вы говорите, Наталья Павловна, вы, чья душа прямо с неба, что вы меня недостойны!

– Вы меня так любите... – с трудом выговорила Наташа, – а... я...

– А вы меня не любите, помилуйте, да иначе и быть не может... Вам бы грешно было меня любить. Дайте мне только заслужить свое счастье. Сжальтесь надо мною, Наталья Павловна. Я, право, недурной человек... я способен и на дурное и на хорошее. Протяните мне руку – и я исправлюсь. Спасите меня, Наталья Павловна, спасите меня! Очистите душу мою от грязи, к которой она привыкла. Я знаю, я чувствую, до какой степени я вас недостойн, но я чувствую тоже, что любовь может преобразовать человека. Наталья Павловна, избавьте меня от меня самого. Я буду благословлять вас в каждую минуту жизни. Не откажитесь от доброго дела: вы навеки можете спасти человека.

Наташа тихо приподнялась со своего места и протянула гимназисту руку.

Голос ее дрожал, но лицо было спокойно.

– Да будет воля божия! – сказала она.

– Петров! Петров! – закричал гимназист в полном исступлении радости. – Петров! она моя невеста!

Душу молодого человека обдало вдруг таким чувством неопisanного блаженства, что он бы умер на месте, если б не мог высказать своей радости.

Петров вскочил на ноги, протирая глаза!

– А?.. Что? Что такое?

– Петров, обними меня. Она моя невеста.

– Полно, брат... где тебе?..

– Наталья Павловна... да, скажите ему...

Наташа кивнула головой.

– Как, в самом деле?.. Ну, нечего делать, благослови вас господь... Только ты уж, смотри, брат, пустяками-то полно заниматься. Трактиры свои забудь – слышишь ли?..

– Э, брат Петров, – весело отвечал гимназист, – о каких пустяках еще думать. Посмотри-ка на нее.

На дворе уж занималась заря.

Утром вся труппа узнала о внезапной помолвке.

Женщины начали улыбаться и перешептываться. Девица Иванова пожелтела от досады и зависти: она сама метила на гимназиста и поклялась отомстить своей вечной сопернице. Мужчины повесили нос. Холостые вспомнили, что Наташа хороша, воспитанна, получает лучшее жалованье, – и опечалились. Женатые мысленно сравнивали Наташу со своими бранчливыми супругами – и тоже опечалились.

– Экое собаке этой, гимназисту, счастье, – ворчали они, – кажется, ничем нас не лучше.

Путешествие вследствие сего совершалось довольно мирно, и бурный разгул походной жизни прекратился.

Подле Наташи, в кибитке, сидел уже гимназист, и душа его, способная на все крайности, утопала в восторге и изливалась в простых, но выразительных словах. Он горько каялся в прежних своих заблуждениях; он жадно ловил каждое слово своей невесты, и, как мать с своим первым младенцем, он трепетно следил за каждым ее движением. Он сам стал настоящим ребенком, послушным, покорным, готовым любить каждого. Он был так счастлив!

Какая женщина устоит против голоса истинной, неподдельной страсти? Наташа, побужденная сожалением согласиться на страстную мольбу гимназиста, не каялась в своей решимости. Она постигала, сколько хорошего было в этом человеке, погрязшем в омуте порочной жизни и порочных привычек. Она возмечтала возвысить его до себя, излечить его душу от ран долгого разврата.

Она облагораживала его страдания. Она не любила еще, но уж хотела любить, воображала уже, что любит.

Так приехали они в Теменев.

Читатель помнит теменевскую ярмарку, где некогда процветала труппа Шрейна и Поченовского, где впервые выступил на сцену тот молодой человек, которым впоследствии любовалась вся Россия, который и поныне честь и слава русского театра. С того времени в Теменеве мало произошло перемен. Шрейн и Поченовский покончили свое существование. Городничий был переведен, за отличные способности к службе, на какое-то важное место. Мучной сарай не чинился, не поправлялся и поныне стоит в том же виде, как прежде, и приглашает странствующих актеров. В нем-то и расположился Иван Кузьмич. По собранным им сведениям, ярмарка в том году была по обыкновению многолюдна; помещики съезжались со всех сторон; ремонтеров нагрянула целая толпа. Из важных особ пожаловали: сам губернатор, два генерала и один тайный советник с двумя звездами.

Еще до прибытия своей труппы Иван Кузьмич успел разослать по всем домам и по всем лавкам прекрасноречивую афишку. В этой афишке высокое дворянство, офицерство, купечество и вообще знаменитая в целой Европе по образованию своему теменевская публика извещалась о скором открытии театра, на котором разыгрываемы будут все пьесы, игранные с успехом в Петербурге и Москве. Содержатель труппы, не щадя никаких издержек для угождения своих высоких доброжелателей, обратил особое внимание на удобное помещение зрителей, на декорации и костюмы. Кроме того, труппа обогатилась разными новыми лицами, в числе которых знаменитая г-жа Федорова, имевшая честь дебютировать в губернском городе, успела уже заслужить лестное одобрение истинных ценителей искусства. Цена местам оставалась та же, как и в прежних годах, потому что Иван Кузьмич действовал не из видов корыстолюбия, а

единственно из глубокого уважения и преданности к просвещенным посетителям всему миру известной ярмарки.

Через несколько дней новые афишки объявили открытие театра, и Наташа предстала перед теменевской публикой.

Оживленная новым чувством, помолодев новою молодостью, она вдруг забыла, что было прискорбного в ее положении, и перестала гнушаться своим званием.

Прежняя веселая улыбка заиграла на ее чертах; опять ей стало легко на душе, не так детски, как прежде, а с оттенком сладкой задумчивости, как следует женщине любящей и любимой. От этого игра ее стала развязнее, веселее, свободнее. Наташа уж ниже обижалась восторгами публики, потому что находила в любви преданного ей человека вознаграждение за все обиды, а славу свою приносила ему в жертву. Румянец снова показался на ее щеках. Она вся как бы перерождалась и сияла новой жизнью. В черном бархатном корсете, в белом маленьком переднике, она дебютировала в роли какой-то театральной крестьянки, и так мало думала о публике, так молодо смеялась, так непринужденно была сама собою, что публика изумилась ее кокетству. Надо знать, что большая часть офицеров и помещиков съезжаются на ярмарки с тем, чтоб погулять, повеселиться, словом, покутить по-своему. При виде прелестной актрисы ремонтерские сердца воспылали, помещики закрутили усы, даже некоторые купчики расчувствовались. По окончании театра все музыканты из оркестра угасивались в разных углах города влюбчивыми Дон-Жуанами, которые расспрашивали притом, как бы познакомиться с девицей Федоровой. Музыканты выпили в этот вечер страшное количество пуншу, но объявили, что познакомиться с Наташей нелегко, потому что она в связи с одним актером, который обещал на ней жениться.

Весело возвращалась домой из театра Наташа, опираясь на руку своего жениха. Она уж начала шутить и смеяться, но детский смех вдруг замер на устах ее. Гимназист шел молча, судорожно сжимая ее руку. На вопрос ее, что с ним случилось, не болен ли он, он отвечал отрывисто, почти грубо, что ничего... что он здоров. – Сердце Наташи дрогнуло. Отчего это он вдруг так переменился? Заботливо, нежно глядела она ему в глаза, но он отворотился. Он стыдился признаться, что девица Иванова шепнула ему как бы невзначай несколько ядовитых

намеков о доверчивости мужчин, о лукавстве женщин, о красоте Наташи и о восхищении зрителей. Ревность запала в душу молодого человека; и так как он не привык обуздывать своих страстей, то он разом испытал все ее мучения. Он чувствовал свою безрассудность и не мог ее превозмочь. Он хотел бы унести Наташу – свое бесценное сокровище, и спрятать ее от всех глаз. Он отдавал себе справедливость; он знал, что многие найдутся достойнее его и что его нетрудно заменить. Не сказала ли ему Наташа, что она его не любит: зачем же не полюбить ей другого? Но теперь он никому бы не уступил своего права, и от одной мысли о том он приходил в бешенство. Он ревновал к каждому офицеру, к каждому зрителю, к целой публике. Он понимал свое ничтожество, но не понял он высокой души Наташи, в которой каждое чувство вкоренялось только тогда, когда становилось обязанностью, для которой обещание было сердечной святыней. Гимназист мог любить пламенно, страстно, бешено, но понять Наташи не мог. Грустно, холодно расстались они: она – полная тайного страха и тайного предчувствия, он – с порочными мыслями в душе, с тяжким раскаянием на сердце. Ни он, ни она не могли заснуть целую ночь. На другой день, когда гимназист явился к своей невесте, он застал ее бледною, расстроенною, с записками в руках. В этих записках, написанных высокопарным слогом, предлагались ей сердца, пронзенные стрелами амура; в некоторых предлагались ей даже просто деньги. При виде подобной переписки ярость гимназиста дошла до безумия. Как раненый зверь, бросился он на любовные письма, изорвал их в мелкие куски, поклялся убить писавших их, сжечь театр и город и зарезать Наташу, если она вздумает ему изменить.

С слезами на глазах, сложив руки, умаливала его Наташа умерить гнев свой, отвечать одним презрением презрительным людям, сжалиться над нею. Долго уговаривала она его, долго убеждала своим трогательным голосом. Мало-помалу гимназист успокоился, устыдился своих слов и перешел в другую крайность. Он начал проклинать свое бешенство и самого себя; умолял Наташу бросить его, забыть его; плакал, хотел целовать ее ноги и готов был застрелиться от отчаяния. Тогда Наташе пришлось утешать его, упрасивать не огорчать ее своим малодушием. Вместе отправились они на репетицию. При каждой встрече ревность снова начинала душить гимназиста, и снова стыдился он своей ревности.

И каждый день повторялись подобные сцены, и каждый день гимназист горько оплакивал обидные слова подозрения, высказанные им в минуту безрассудного порыва.

Между ремонтерами, прибывшими на теменевскую ярмарку, находился один армейский корнет, употреблявший всю жизнь на то, чтоб заслужить завидную известность лихого, отчаянного гусара. Тип отчаянного гусара в эпоху нашего рассказа, лет за двадцать назад, вероятно, памятен читателю. Отчаянный гусар должен был выпивать страшное количество вина и рому, должен был иметь баснословные неоплатные долги, гарцевать на сердитой лошади, сидеть часто под арестом, быть счастливым в любви и проводить время за картами и бутылками в обществе дам неопределенного сословия. С того времени тип этот начал изменяться. Люди поняли, что много пить значит не молодечество, а пьянство; жить чужими деньгами не молодечество, а плутовство; заниматься вечно разгульем тоже не молодечество, а распутство, губящее навеки и здоровье, и доброе имя.

Теменевский отчаянный гусар был вздорный парень, ослепленный блеском своего мундира, обрадованный, что мог вырваться на волю из-под матушкина крыла и мучимый безграничным самолюбием. Так как он не имел никакого образования и чувствовал себя совершенно неспособным к чему-нибудь дельному, то он погрузился в молодечество, хвастал своими пороками и всячески старался удивлять своим ухарским образом жизни.

Увидев Наташу, услышав, что все его товарищи встретили сильный отпор в своих любовных атаках, он решил перещеголять всех, одержать победу над непреклонной и тем увековечить навсегда свое имя в летописях ремонтерства и теменевской ярмарки. Самолюбие его разгорелось. В скором времени он был уже приятелем Ивана Кузьмича и всех актеров. Иван Кузьмич, желая привлечь в свой театр гг. офицеров, был мил, разговорчив и даже, забывая иногда важность, свойственную его сану, иногда выпивал с гусаром лишнюю рюмку, упрашивая его, впрочем, не спаивать актеров его. Гусар каждый вечер ходил за кулисы, начинал с Наташей любезничать, но, встречая ее холодный взор, робел, как школьник. Обдуманые объяснения замирали под гусарскими усами, и дела нисколько не подвигались, хотя он и принял уже перед товарищами скромно-озабоченный вид человека, вполне счастливого. Отчаиваясь в настоящем успехе, он

обратился к хитрости и старался достигнуть наружности успеха. Девушка Иванова, украшенная, по его милости, золотыми сережками, купленными на ярмарке, начала распускать насчет Наташи самые гнусные слухи и доставляла гусару все средства встречать ее повсюду, куда бы она ни выходила. Актеры начали скоро потчевать гимназиста самыми площадными шутками. Офицеры с завистью поздравляли своего счастливого товарища, который на их поздравления отвечал только лукавой улыбкой. Гимназист был бледен, худел с каждым днем; в движениях его было что-то лихорадочное. Наташа молча сносила новое бедствие: она почитала унизительным оправдываться.

В то время ремонтеры затеяли большой холостой обед в зале временного клуба. Эконом, на которого было возложено устройство пиршества, исполнил свое дело как нельзя лучше, тем более, что о цене не торговались. Ремонтеры тем известны, что не гонятся за лишней копейкой. Обед был на славу, стол украшен цветами. Рыбу подали величины баснословной; фрикасе так и горело пряностями. Видно было, что ничего не жалели. Собеседники, числом до двадцати человек, ели, пили и были чрезвычайно оживлены. Главный предмет разговора заключался, разумеется, в лошадях. Говорили с большим жаром о каурых и вороных, саврасых и буланых, половых и соловых, с отметинами и без отметин; спорили, горячились. Шампанское буквально, лилось рекой и не в одни ремонтерские утробы, но и по скатерти и по полу. Опорожненные бутылки бросались весьма ловко в угол комнаты, где бились с приятным звоном и в скором времени образовали порядочную пирамиду.

Раскрасневшийся гусар бился об заклад, что одним залпом выпьет целую бутылку шампанского, что, впрочем, исполнил весьма неудачно, облившись весь вином. Другие последовали его примеру с большим успехом. Шум сделался ужасный. Все говорили вместе, не слушая друг друга. Эконом, призванный для получения благодарности, тут же был употчеван до совершенного упоения.

Картина сделалась самая живописная. Посреди густого табачного дыма толпились в разных позициях раскрасневшиеся усачи в разноцветных шелковых рубашках, с чубуками в руках. На столе не было уже ни цветов, ни тарелок, а красовалось что-то вроде географической карты. Улыбавшийся слуга в оборванном сюртуке

стоял у дверей с подносом и откупоренной бутылкой, которую он прикрывал пальцем.

– Знаете, господа, – закричал кирасир, ростом в три аршина, – богатая мысль! Теперь бы послать за цыганами. А что, в самом деле: они попоют, а мы послушаем – ну и хорошо, кажется.

Несколько офицеров рассмеялись.

– Ну, брат, тяжелая кавалерия, спешил брат, спасовал... – заметил с хохотом отчаянный гусар. – Так пьян, что и завираться начал.

– А что!

– Как что? Цыгане-то в нынешнем году не приезжали. В Москве, слышно, остались.

– Ба, ба! в самом деле, – заревел кирасир и ударил стаканом по столу; стакан разлетелся вдребезги, а вино разлилось новым океаном.

– Нет, вот что, – подхватил майор с темно-малиновым лицом и светло-серыми усами, – пускай гусар пошлет за своей Наташей.

Отчаянный гусар немного смутился.

– Не пойдет, – сказал он, краснея.

– Не пойдет? Как не пойдет? Посмотрел бы я в старые годы, как не пошла бы моя Матрена Ивановна... посмотрел бы я...

– Она ведь такая застенчивая, – робко вымолвил гусар.

– Вот еще на вздор этот смотреть! У меня, брат, повоенному: рысью, марш! Вся недолга... Да ты, кажется, молодец на словах только, а на деле... мое почтение!

– Позвольте, майор, вы, кажется...

– Не горячись, душа моя, нездорово. Нам с тобою ведь не знакомиться, да и меня господа знают. Сердись, не сердись, а я так думаю, что Наташа тебя просто дурачит.

– Неправда! – воскликнул вспльчиво гусар.

– Вот с чем подъехал... сказал «неправда»... Так тебе все и поверили. Нет, ты, братец, докажи.

– Да, докажи, докажи!.. – кричали багровые собеседники. – Аи да майор!.. молодец! срезал гусара!

Поднялся шум, свист, хохот.

Гусар, разгоряченный вином, самолюбием и досадой, решился на самый отчаянный подвиг.

– Извольте! – крикнул он, – докажу...

– Bravo, bravo! – раздалось со всех сторон. – Молодец гусар, срезал майора...

– Позвольте, – сказал майор, – надо знать еще, как он докажет.

– Как?

– Да, каким образом?

– Да вот как... при вас всех поцелую Наташу.

– Оно бы... гм... братец... да ты и того не сделаешь.

– Как, не сделаю.

– Да так, не сделаешь. – Нет, сделаю.

– Пари...

– Изволь.

– Дюжину шампанского.

– Две дюжины.

– Хорошо...

– Господа! Вы свидетели.

– Свидетели, свидетели! – подхватило несколько голосов. – Вот умное пари: по крайней мере, всем достанется...

– Да когда же это будет? – спросил кто-то.

– Да сейчас, если хотите, – промычал опьяневший гусар, – сейчас... сами увидите... хвастал ли я... Наташа теперь в театре... Увидите, ступайте за мной, – В театр, в театр! – закричали все в один голос.

– А там, господа, прошу снова сюда пожаловать, на выигранное вино... мне что-то пить хочется... Знай наших! Уж пошел кутить, так не оплядывайся...

– Ну, на нынешний день, кажется, довольно... Завтра не ушло, – заметил основательно майор, – а любопытно мне видеть, как ты выиграешь.

Стулья с шумом полетели на пол.

Каждый отыскал, как мог, сюртук свой и фуражку.

Слуги бросились к столу допивать оставленное вино, а буйная ватага хлынула лавиной к театру. Гусар шел впереди с фуражкой на затылке, с выпученными глазами, красный, как рак, махая руками, но не совсем с спокойным сердцем. Два товарища вели его почтительно под руки. Входя в театр, они подняли такой шум, что едва не остановили пьесы. Наконец они уселись. Двое из разгульной толпы тут же заснули на креслах, прочие начали шутить вслух, аплодировать,

вызывать и шуметь таким образом, что театр действительно чуть-чуть не рушился.

Грустно было в этот вечер Наташе. Скрепя сердце, нехотя исполняла она какую-то вялую роль нашего домашнего произведения. Она чувствовала, что она слишком скоро предалась минутному обману; что нежное ее сердце никогда не очерствеет от грубого прикосновения не понимающих ее людей. С ней играл гимназист, истерзанный раскаянием и сомнением, убитый сознанием, что она низошла до него по ступеням злополучия и что он не сумел сохранить своего благоговения перед святыней ее несчастья. Они говорили друг другу перед публикой какие-то пошлые слова, в которых не было ни чувства, ни смысла, ни истины, а в душах их разыгрывалась настоящая страшная драма страстей и печалей человеческих.

Когда первое действие кончилось, гимназист вышел подышать на площадку, на которой находился театральный сарай. На лестнице встретил он разгульную ватагу ремонтеров, идущих, по обыкновению, любезничать во время антракта за кулисами. Гимназист побледнел и нахмурил брови. Девушка Иванова стояла подле него с коварной улыбкой.

– Какие хорошенькие Наталья Павловна, – сказала она, – просто, прелесть!.. за то уж надо сказать... всем ндравится.

Гимназист не отвечал.

– Уж надо сказать... – продолжала девушка, – какие эти кавалеры странные: на все готовы, только чтоб на своем поставить. Настенька говорила давеча, что гусарский офицер обещается жениться на Наталье Павловне... Уж такой модник, право!

Гимназист поспешно обернулся и так взглянул на актрису, что она отступила на шаг, однако ж продолжала говорить:

– Вот и будет вам за то, что зазнались, старых приятелей забыли... И поделом вам... право... слышите шум... право, шумят... Уж не сговор ли справляют.

На сцене действительно слышен был страшный шум.

Гимназист бросился к театру, мигом вскочил на лестницу, отворил дверь – и остановился, как бы пораженный громом. Лицо его страшно исказилось, глаза налились кровью, волосы стали дыбом, бледность смерти покрыла его черты, на устах показалась пена, и все члены его затряслись, как бы в лихорадке. Гусар держал Наташу в своих

объятиях, посреди толпы ремонтеров, которые смеялись и аплодировали. Кровавое зарево отуманило глаза гимназиста. Он не двигался... Веселая шайка прошла, смеясь, мимо него. Он не остановил ее. Но когда Наташа, трепетная, едва дышащая, почти без чувств дотащилась до него, он отскочил от нее, как от змеи, и вся грубая сторона души его вдруг разразилась страшными проклятиями, ругательствами и сквернословиями.

И вдруг, забывшись совершенно, он ринулся на несчастную свою жертву, ударил ее в лицо, только что опозоренное нечистым поцелуем, и с неистовыми упреками в измене и распутстве поверг ее на землю. В эту минуту кинулись на него с двух сторон Петров и Иван Кузьмич:

Петров – из любви к Наташе, Иван Кузьмич – из опасения, что публика услышит сцену, не объявленную в афишке... Вдвоем вытолкали они безумного вон из театра. Как только пахнуло свежим воздухом, гимназист остановился... схватил голову обеими руками и, как бы вдруг опомнившись, закричал диким, почти нечеловеческим голосом и пустился бежать, не оглядываясь. Куда убежал он – неизвестно, но никогда ни в Теменеве, ни в губернском городе его никто уж более не видал.

Между тем публика ожидала второго действия и начинала уж оказывать нетерпение. Наташа лежала в обмороке. Иван Кузьмич как человек опытный нимало не смутился; он велел прибрать сперва Наташу в сторону, потом приказал поднять занавес и сам явился на сцену.

Поклонившись с приятною улыбкой на три стороны, он объявил высокопочтенным посетителям, что, по внезапной болезни г-жи Федоровой, 2-е действие назначенной в афишке пьесы играно быть не может, а заменится национальным водевилем «Филатка и Мирошка». Болезнь г-жи Федоровой не помешает, впрочем, назначенному на другой день собственному бенефису Ивана Кузьмича, который сам лично явится в роли Гамлета, принца датского, и надеется заслужить одобрение своих высоких доброжелателей. Сказав это, Иван Кузьмич снова поклонился три раза и исчез в кулисе. Публика осталась довольна. Ремонтеры ушли спать, и потому в театре шуметь было некому. После бесконечного антракта Филатка и Мирошка начали тешить русскую публику своими остротами, и спектакль окончился благополучно.

Публика и актеры разошлись по домам. Свечки и лампы погасли. В театре было совершенно темно, когда Наташа очнулась.

– Кто здесь?.. – спросила она слабым голосом.

– Я... – отвечал Петров.

– Отчего здесь темно?.. что здесь было?.. Где мы? – спросила она снова.

– Ничего-с, Наталья Павловна... ничего-с. Все благополучно. Вы упали неосторожно... так вам дурно сделалось... Да это ничего-с... Пройдет... я вас провожу домой. Напейтесь-ка чего-нибудь тепленького на ночь...

Отдохните хорошенько.

– Постойте! постойте!.. кого здесь целуют?..

– Перестаньте, Наталья Павловна... думать об этом вздоре... Не стоит беспокойства... Пойдемте-ка домой.

– Постойте!.. отчего же они смеются?.. Отчего же их так много?.. Слава богу!.. вот он пришел... он заступился... Он меня спас... Он мне сказал...

Наташа залилась горькими слезами.

– Эх, Наталья Павловна, – говорил встревоженный Петров, – право, нехорошо... Этак вы в самом деле захвораете. Вот и театр запирают... Пойдемте... Я сбегая в аптеку за бузиной или за ромашкой... К утру опять будете здоровы.

С трудом дотащил Петров бедную Наташу до чердака, где она нанимала квартиру. Наташа поминутно останавливалась дорогой, то, притворяясь твердою, вдруг спрашивала о графине: была ли она в театре, была ли она довольна пьесой, то вдруг начинала рыдать безутешно, изнывая под бременем бедствия и позора. Наконец дотащились они по крутой лестнице до Наташиной комнаты. Петров кликнул хозяйку, поручил ей раздеть и уложить больную, а сам побежал в аптеку, на последние свои деньги купил бузины и ромашки, сам сварил их в кухне и отослал горячие чайники с хозяйкой в комнату бедной страдальцы, куда не смел войти.

Только утром Наташа начала засыпать... В это время кто-то постучал в дверях.

– Кто там?.. – спросила она, просыпаясь и содрогнувшись от испуга.

– Это я-с... Иван Кузьмич.

– Не входите... я в постели.

– И, помилуйте... что за церемонии! Мы люди свои.

Иван Кузьмич вошел. В руках держал он узелок.

Лицо его было важно по обыкновению.

– Я пришел, – сказал он, – напомнить вам, что мы нынче вечером играем Гамлета...

– Как, опять? – простонала Наташа...

– Что это вы... помилуйте... как опять?... Мы Гамлета еще не играли...

– Я не могу... – с трудом вымолвила Наташа.

– Как-с... не можете... не можете, для меня, для моего собственного бенефиса... когда я сам играю...

Иван Кузьмич, как директор труппы, играл весьма редко, но воображал себя удивительным актером, и выступал на сцену только в особых случаях, где почитал необходимым поддержать славу своей труппы.

– Не можете, – продолжал он сквозь зубы, – не можете, когда я сам объявил публике, афишки разосланы... в кассе деньги берут... Хорошо-е. Обязанности своей выполнить не можете... а срамить нас своим поведением можете. С одним целуетесь... с другим деретесь. На что это похоже? что это такое?... Многого я, кажется, насмотрелся, а еще ничего такого не видал. Везде говорят...

Такой стыд!.. Стыдно, сударыня... Прошу сказать мне решительно... будете ли играть?..

– Ей-богу... не могу...

– Да что ж это значит, наконец? позвольте спросить. За кого вы меня принимаете? а?.. Что же, вы меня совсем разорить хотите?

– Я...

– Да-с – вы... Гимназист-то, по вашей милости, дал тягу... собаками теперь не отыщешь. Хорошо, что еще кое-что старого жалованья за мной... так оно – ничто... однако все-таки важная потеря... Репертуар весь мой испорчен. Малый он бойкий... ну да, что ни говори, из благородных.

– Из благородных... – бессмысленно повторила Наташа.

– Да-с. Он не то чтобы ваш брат, из податного сословия: у него родной дядя надворный советник.

А для меня, признаться, лестно было, что у меня такие люди в труппе... да, видно, уж вы такие... ни с кем не сладите...

Наташа начала плакать.

– Напрасно беспокоитесь: этими штуками меня не подденете. Амурьтесь сколько вам угодно, а дело свое делайте. Вы уж, кажется, забыли, что по моей милости не умираете с голоду. На чьи деньги квартиру нанимаете? позвольте спросить... На чьи деньги вам харчи отпускаются? позвольте спросить...

– Я, право, нездорова... – прошептала Наташа.

– Нездоровы... ну, так и быть, завтра... послезавтра будьте больны сколько угодно... я вам дам, пожалуй, отпуск на три дня... Вы видите, что я за человек. Кажется, могли бы это чувствовать. Иван Кузьмич на все нужен... давай только денежки... А как Иван Кузьмич попросит для себя одолжения – так и не хочется, и не можно, и нездорова.

– Извольте! – сказала решительно Наташа, – я буду играть.

– То-то же... давно бы так... Смотрите же, не опоздайте. Вот и костюм ваш я принес в узелке... В первых действиях вы принцессой... Оно вам и по характеру.

В красном, плисовом платье с шлейфом... правая сторона немного повытерлась... так вы, смотрите, становитесь к публике левым боком. Вот и стразовое ожерелье... Начало в 6 часов.

После разных наставлений Иван Кузьмич, немного успокоенный, спустился по лестнице, повторяя известный гамлетовский монолог.

Вечером театр был полнехонек. Ремонтеры занимали весь первый ряд кресел. Отчаянный гусар в новых, блестящих эполетах нагло посматривал во все стороны. Малиновый майор сидел повеся голову и казался не в духе.

Утром отослал он к гусару двадцать четыре бутылки шампанского, но приказал объявить ему притом, что пить их с ним не будет, потому что кое-что узнал, и с нынешнего дня прекращает с ним всякое сношение. Гусар расхорохорился, вызвал майора стреляться через платок, выбрал шесть человек секундантов и изумил всех своей кровожадностью. Майор хладнокровно согласился на поединок. Но поединок был отложен, по предложению же гусара, до кончания ярмарки и, неизвестно по каким причинам, никогда не состоялся...

Публика давно ожидала начала пьесы, но пьеса не начиналась... Наташи в театре еще не было. Иван Кузьмич, обтянув свое дородство в

черное трико, ходил в большом волнении на сцене, посылая ежеминутно гонцов за опоздавшей Офелией. Наконец Петров прибежал, задыхаясь, объявить, что Наташа уж готова и сейчас будет. Занавес подняли. Иван Кузьмич начал разводить руками, всхлипывать, декламировать каким-то притворно-напыщенным тоном и был осыпан рукоплесканиями.

«Ай да актер! – слышалось в толпе, – собаку съел...»

Нечего сказать, мастер своего дела! Слова просто не скажет». Но когда Офелия вошла на сцену, все зрители с удивлением взглянули друг на друга. Что-то сверхъестественное было в чертах ее, в театре как бы светлее стало при ее появлении. Иван Кузьмич сгорел со стыда.

Наташа не надела ни плисового платья, ни стразовых пуговиц, а простое белое платье с длинными висячими рукавами; но в этом простом платье она была так величава, так воздушно-прекрасна, как никогда еще не бывала даже в самые светлые дни своей жизни. В очах ее горело пламя тихого вдохновения, а на устах выражалась улыбка презрительного прощания всем житейским оскорблениям и бедствиям. Публика молча не сводила с нее взоров; даже ремонтеры молчали... Никогда, может быть, все неуловимые оттенки высокого шекспировского создания не были переданы с таким глубоким выражением бедной Офелией, как в этот вечер... Никто не понимал, что было истинно неподражаемого в ее игре, но все едва переводили дыхание, как перед чем-то непонятым, необыкновенным. И когда Офелия, с распущенными волосами, с полевыми цветочками в руках, с безумием на лице, вбежала на сцену и вдруг, остановившись, засмеялась... некоторые зрители содрогнулись, некоторые захотели аплодировать, но остановились, сами не зная почему... Тихо, едва внятно начала она свою последнюю песнь, песнь обманутой любви, обманутой жизни; но по мере того, как она пела, голос ее становился громче и громче, песнь звучала сильнее и сильнее, и вдруг потрясла она все своды театра, болезненно раздалась во всех сердцах и все становилась громче и сильнее и замерла наконец пронзительным воплем, последним, роковым прощанием с жизнью... Четвертое действие кончилось.

Занавес опустили. Публика очнулась, начала шуметь, кричать, вызывать г-жу Федорову... Но г-жа Федорова не являлась. Иван Кузьмич пришел объявить, что ее в театре уж нет.

Тихо, безмолвно, как бы движимая чужой, невидимой силой, возвращалась Наташа домой. Длинные волосы ее закрывали ее плечи... В руках держала она полевые цветы... Встретившие ее два офицера хотели было вступить с ней в разговор... но она так странно взглянула на них, что оба с ужасом отскочили назад. По окончании пьесы публика разошлась с веселым говором по домам, но всех довольнее бенефисом был сам Иван Кузьмич: он возвратился на свою квартиру с самыми сладкими мечтами. Он сам не подозревал в Наташе таких высоких драматических способностей и открывал в них верный источник для несомненного обогащения... Засыпая, он строил большой каменный театр, с ложами в три яруса, с механическими кулисами, выписывал певцов из Москвы, устраивал кордебалет, становился лицом значительным, до того значительным и богатым, что покупал дома, давал обеды всем губернским чиновникам, и даже сам губернатор приезжал к нему запросто пить чай... На другой день утром он оделся щеголем и решился отправиться к Наташе и обворожить ее своей любезностью. Дорогой встретился он с двумя или тремя знакомыми, бывавшими в Петербурге, которые поздравляли его с вчерашним бенефисом, утверждая, что подобной г-жи Федоровой они даже и в столице не видывали.

Иван Кузьмич благодарил с видом самодовольной скромности, приговаривая: «Да-с, девочка с дарованием... Поучится... будет из нее толк... Жила с дворянами... Обхождение, сейчас видно, деликатное... Впрочем, я жалованье ей даю хорошее...»

Наконец Иван Кузьмич дошел до домика, где жила Наташа, и остановился у подъезда... На ступенях сидел Петров.

– Наталья Павловна дома? – спросил приятным голосом Иван Кузьмич.

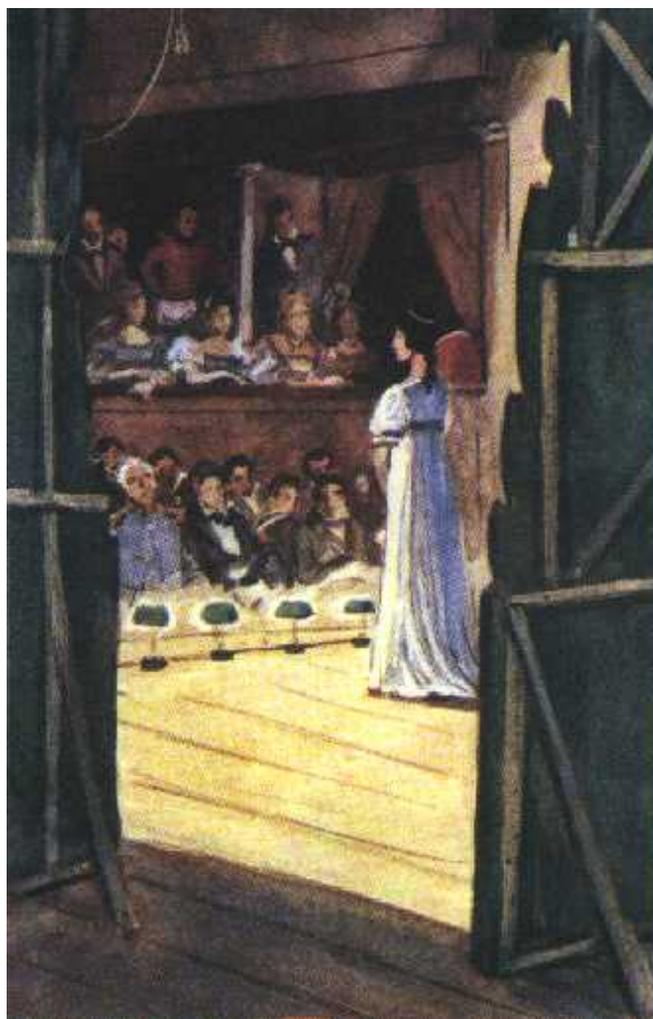
– Почивает, кажется, – грустно отвечал Петров. – Я три раза подходил к дверям: ничего не слышно.

– Помилуйте, – прервал Иван Кузьмич, – десятый час: они уж, верно, вставши.

Иван Кузьмич вскарабкался по крутой лестнице к Наташиной комнатке. Петров молча шел за ним. Начали стучаться... Дверь распахнулась. Наташа лежала на постели, в белом платье. Видно было, что она всю ночь не раздевалась. Волосы ее в беспорядке падали на плечи и подушки, длинные рукава казались крыльями. Руки были

сложены на груди, а в руках держала она образ, подаренный ей некогда графией. На полу валялось несколько иссохших цветков. В эту минуту солнечный луч блеснул сквозь узкое окно чердака и озарил всю комнату потоком света. Петров упал на колени. Иван Кузьмич всплеснул руками...

Наташа лежала мертвая.



Графу П. В. Орлову-Денисову

Снег падал густыми хлопьями. По саратовской дороге медленно тащилась кибитка, запряженная тремя изнуренными лошадьми. Кругом расстилалась снежная равнина, раскидывалась белая степь. Резкий ветер гулял на просторе. Было холодно, грустно и мрачно.

В кибитке лежал закутанный в медвежью шубу молодой гвардейский офицер и думал себе от скуки крепкую думу. Он думал о Петербурге, куда спешил на свадьбу к брату; он думал об этом вечно взволнованном, неугомном Петербурге, который поглотил лучшие годы его молодости и не отдал ему взамен ни светлым покоем, ни радужным воспоминаньем. Он мысленно перебирал свое молодое прошедшее, свои нежные похождения, свое желание любить, свою досаду на вечно обманутые ожидания. В душе его протянулась целая вереница стройных девушек, молодых, прекрасных и нарядных женщин. Все мимоходом кидают ему приветливый взгляд, светскую улыбку, заманчивое слово – и нет тут ничего мудреного: он потомок древнего прославленного рода, он владетель обширного, доходного имения, он богат и молод, проворен и хорош, да и вдобавок танцует с ожесточенной ловкостью – ему почет и место; его и матушки зовут обедать; отцы семейств бегают к нему с визитами; дочери скромно выбирают его в мазурке – он у всех на примете; светские красавицы приглашают его в свою ложу в театр, в свою гостиную на приятельские вечера, где курится столько пахитосов и говорится столько вздора; иные даже усердно заманивали его в свои сети, другие даже явно враждовали из-за него. Чего бы, кажется, желать ему еще более? Его ли участь не завидна?

Его ли самолюбие не удовлетворено? Зачем же какое-то тяжелое, неприязненное чувство свинцовым грузом ложится ему на сердце? Затем, что из этого вихря тревоги и тщеславия он не вынес ни одного отрадного чувства, которое теплилось, как бы лампада, в его отуманенной светом жизни; затем, что он хорошо понимал, что не к нему, а к его случайным отличиям устремлялись и взгляды невест и вздохи присяжных красавиц. Он разглядывал странные особенности

светской жизни, где страсть еще подчас доступна, но где нет и не может быть принята той глубокой, беспредельной любви без расчета и развлечений, которая дается немногим, но зато вечно светится, вечно греет и сопутствует до могилы.

Вдруг кибитка остановилась.

– Что это, – закричал офицер, – ты, брат, так едешь, что ни на что не похоже! Ни гроша не дам на водку.

Ямщик слез с облучка, похлопал окоченевшими руками и нагнулся к земле, как будто отыскивая что-то.

– Хороша водка! – бормотал ямщик сквозь зубы. – Вот те и водка, прости господи, с дороги никак сбились.

– Да что ты, слепой, что ли? – спросил с нетерпением офицер.

– Слепой, – бормотал ямщик, – слепой. Вишь, барин каков!.. Вот те и слепой... Небось, слепым не бывал.

Вишь, погодка-то какая!.. Прости господи! Метель поднялась...

– Так что ж, что метель?

– Что ж, что метель!.. А вот погляди-ка, барин... Не дай, господи... Вот те и метель... Ах ты, господи, господи! Что станешь делать? Грех какой! Гляди, какая поднялась.

Офицер выплянул из кибитки и ужаснулся.

Кто не ездил зимой по нашим степям, тот не может составить себе никакого понятия о степной метели. Сперва валит снег, и ветер порывисто сыплет им во все стороны, не зная отпора и преграды. Земля, как скованное море, покрытое беспредельною, хрупкою скатертью, резко отделяется от черного неба, нависшего над ней другой сплошною, черною степью. Ни птица не пролетит, ни заяц не промелькнет: все безлюдно, мертво, дико, беспредельно и полно суровой таинственности. Один голос начинающейся бури раздается свободно по плоскому пространству и плачет, и воеет, и ревет страшными, одной степи известными голосами. Вдруг вся природа содрогается. Летит метель на крыльях вихря. Начинается что-то непонятное, чудное, невыразимое. Земля ли в судорогах рвется к небу, небо ли рушится на землю; но все вдруг смешивается, вертится, сливается в адский хаос. Глыбы снега, как исполинские саваны, поднимаются, шатаясь, кверху и, клубясь с страшным гулом, борются между собой, падают, кувыркаются, рассыпаются и снова поднимаются еще больше, еще страшнее. Кругом ни дороги, ни следа.

Метель со всех сторон. Тут ее царство, тут ее разгул, тут ее дикое веселье. Беда тому, кто попался ей в руки: она замучит его, завертит, засыплет снегом да насмеется вдоволь, а иной раз так и живого не отпустит.

Нечего сказать, из петербургского раздушенного, разряженного, блестящего мира вдруг попасть на такой фантастический праздник подгулявшей степной зимы – противоположность слишком резкая. Офицер призадумался и стал озираться с беспокойством. Бальные видения, красавицы и мечты исчезли мгновенно. Дело становилось плохо.

– Не остановиться ли нам? – сказал он нерешительно.

– Остановиться, – шептал ямщик, – как не остановиться? Еще бы не остановиться! Да чтоб хуже не было.

– Как хуже?

– Известно, как хуже: занесет, пожалуй, совсем, а там поминай как звали. Да стужа проймет... Ишь, грех какой! Замерзнешь совсем.

– Ну так ступай же, – закричал офицер, – ступай!

– Да куда я поеду? Вишь, буран какой, зги божьей не видать!

Метель реет все более и более усиливалась. Положение путников становилось действительно опасно. Кибитка тащилась наудачу по сугробам. Лошади увязали в подвижных снежных лавинах и, тяжело фыркая, едва передвигали ноги; рядом с ними шел ямщик, разговаривая сам с собою. Офицер молчал. Так прошло часа два самых мучительных; метель не утихала. Кибитка все глубже врезалась в навалившийся снег. Офицер уже чувствовал, что резкий мороз обхватывал члены его; мысли его смешивались. Тихая дремота, полная какой-то особой, дикой неги, начинала клонить его к тихому сну, только вечному, непробудному...

Вдруг вдали мелькнул огонек. Ямщик снял шапку и перекрестился.

– Ну, счастье твое, барин: никак жильё недалеко, не то и кости могли бы здесь оставить.

Почуя близкое спасенье, лошади подняли морды, принатужились и повезли бодрее. Путники ехали целиком по направлению спасительного маяка. О дороге и думать было нечего. Через несколько времени они подъехали к небольшой избушке, нагнутой набок и как будто забытой в степи откочевавшим селением. Небольшой сгнивший

сарай с развалившейся крышей и страшно занесенный снегом печально примыкал к этому бедному жилищу с двумя маленькими окнами, из которых светился огонек.

– Станция! – сказал ямщик и бросил поводья.

На крыльцо выбежал смотритель, помог офицеру выкарабкаться из кибитки, ввел его в комнату и, прочитав подорожную, застегнул сюртук на все пуговицы. В маленькой и душной комнате пар стоял столбом, в парном тумане сверкал самовар и темно обрисовывались туловища, красные лица и бороды трех купцов, вероятно, тоже застигнутых метелью.

Старший из них приветствовал приезжего.

– Никак нашей семьи прибыло. С дороги, ваше благородие, и погреться бы не худо. Просим покорнейше с нашим почтением, коли не побрезгуете с купцами. Смеем просить чайком.

Офицер с радостью принял радушное приглашение и уселся с новыми знакомыми.

Речь завязалась, разумеется, о погоде, о метелях вообще и в частности, о рыбной торговле и проч.

Офицер участвовал, сколько мог, в разговоре, но потом мало-помалу соскучился и начал рассматривать комнатку. Слева от двери громоздилась огромная русская печь с лежанкой, за ней стояла двухспальная кровать с периной и подушками и покрытая заслуженным одеялом, сшитым из разных ситцевых лоскутков: между окон находился диванчик, на котором сидели купцы. С другой стороны красовалась еще кровать, но больше, кажется, для вида, сколоченная из трех досок и покрытая войлоком.

Рядом стоял стул. Большой сундук и кукушка с неугомонным маятником довершали убранство жилища станционного смотрителя. На брусчатых стенах были наклеены предписания почтового ведомства и бегали взапуски с редкой отвагой, расправляя усы, разные насекомые, много известные русскому народу. В окна стучалась, завывая, метель. Вдруг что-то шаркнуло у крыльца. За дверью раздался младенческий писк, женский говор и здоровый голос мужчины. Смотритель снова засуетился.

Дверь распахнулась, и в комнату ввалился отставной капитан с супругой, старой сестрой и маленькой дочкой.

Капитан раскланялся сперва с офицером.

– Ну уж погодка! Вы тоже изволите ехать?

– Как видите.

– Издалека?

– Издалека.

– Откуда, коль смею спросить?

– В Петербург.

– А!

– Позвольте спросить чин, имя и фамилию?

Офицер назвал себя по имени.

– Как же это вы к нам пожаловали? По службе, конечно?..

– Ну, а вы, господа, – продолжал капитан более небрежным тоном и обращаясь к купцам, – в купечестве, должно быть. С ярмарки? Понабили карманы? Пообдули порядком нашего брата, дворянина?

Тут капитан, довольный остроотой, засмеялся во все горло.

– А вот-с мы едем из деревни, от тещи. Вы не изволите ее знать? Здешняя помещица Прохвиснева... добрая старушка такая. Душ шестьдесят будет. Вообразите, как нарочно, жена говорит мне: «Не ездят, Василе, что-то дурная погода». А я, знаете, военная косточка, и говорю: «К черту, матушка! Сказали поход, так и марш!»

Что бабу слушать? Баба ведь... черт ее знает...

– Ах, Василе! – прервала, жеманясь, капитанша. – Какие вы все слова говорите, точно бог знает какой...

Тетушка княгиня Шелопаева сколько раз вам говорила, что нехорошо. Нас, право, не знаю, за кого примут, в особенности в дороге, в таком костюме; я, как нарочно, не надела бархатного бурнуса; матушка говорила надень, а я и забыла. Ах, кстати: ты знаешь, та соеиг^[57], – продолжала она, обращаясь к сорокалетней нахмуренной спутнице, очевидно, старой деве, пропитанной уксусом всех возможных обманутых ожиданий, – знаешь ты: мне из Петербурга пишет Eudoxie, что высылает мне манто клетчатый и розовую шляпку с плюмажем? Да все, та чере^[58], зовет в Петербург. «Что же, говорит, вы обещаете, а не едете... Мы так стосковались, и тетушка княгиня Шелопаева все об вас спрашивает». – Капитанша обратилась к офицеру: – Вы, верно, тетушку мою знаете, княгиню Шелопаеву?

– Нет, я незнаком.

– Помилуйте, как же это? К ней вся знать ездит. У ней дом открытый, высшее общество бывает. Вы, верно, о ней слышали?

– Может быть.

– Верно. Она известная там дама.

Девочка запищала:

– Каши хочу, хочу, хочу! Хочу каши!

– Перестань, – заревел капитан, – сейчас перестань, а то высеку, право, высеку, стыдно будет, при всех высеку.

– Каши хочу! – визжала девочка.

– Перестань! – ревел капитан.

– Каши! – визжала девчонка.

Дамы бросились ее унимать и между тем охорашивались, поправляли смятые чепцы, перешпиливали платки.

Капитан уселся подле офицера и просто забросал его словами.

– Я доложу вам, – говорил он, – : сам бы, могу сказать, карьеру бы мог свою сделать, ну да уж, видно, судьба такая. Теперь, сами изволите видеть, женат, семейство, дети пошли. Ну, именишко небольшое. Жить, слава богу, есть чем, не по-столичному, разумеется, а так, как следует штаб-офицеру; соседи есть хорошие; заседатель у нас начитанный человек. Слава богу, живем себе. Ну и доволен. Ну, а вот, знаете, встретишь этакого человека, так вот и поразберет маленько. Поневоле подумаешь: «Эх, брат Василий Фомич, сплошал, брат! Полковником был бы теперь и вот на шее бы имел». Ну да не повезло. Черт меня дернул в отставку подать. Случай вышел такой партикулярный. Служил я тогда, изволите видеть, в карабинерном полку. Полковой командир человек был хороший; он теперь бригадой командует; товарищи были тоже отличные. Кажется, век бы не оставил. Только, вообразите себе, однажды...

Тут капитан приостановился и начал прислушиваться.

– Кого-то еще бог дал, – сказал он.

Действительно, на дворе послышался снова лошадиный храп, завизжали подрези, поднялась суматоха. Смотритель снова засуетился. На крыльце раздалось несколько голосов разом, смешанных с женским плачем.

У избушки остановились две повозки.

Офицер, соскучившись рассказом капитана, хотел было броситься к дверям, но вдруг остановился у порога, пораженный идущей ему навстречу группой. В комнату входила старушка помещица, дожившая, кажется, до крайних пределов жизни. Голова ее тряслась, глаза впали,

лицо было изрыто морщинами. Она охала, шептала молитву и шла, то есть едва передвигала ноги, совершенно согнувшись и поддерживаемая с одной стороны человеком в нагольном тулупе, перепоясанном ремнем, с другой – молодой женщиной.

Офицер остолбенел.

Никогда с тех пор, как он начал заглядываться на женскую красоту, не встречал он подобного лица. Оно не сверкало той разительной, неучливой красотой, которая бросается вам в глаза и требует безусловного удивления. Оно просто нравилось с первого взгляда, но потом, чем более в него вглядывались, тем привлекательнее, тем милевиднее оно становилось. Черты были изумительно тонки и правильны, головка маленькая, цвет лица бледный, волосы черные, но глаза – глаза были такие, что и описать нельзя: черные, большие, с длинными ресницами, с густыми бровями; они свели бы с ума живописца. Повествователи вообще виноваты перед женскими глазами: много вздора было написано им в честь, были сравнения и с звездами, и с алмазами, и бог знает с чем. Можно вдохновенной кистью и даже тупым тяжелым пером кое-как передать их цвет и образ; но как изобразить тот потаенный огонь, который светится в них душой? Как уловить в них молнию насмешки, бурю негодования, яркий пламень страсти, бездонную плубину святого чувства? На это нет ни красок, ни слов, да и быть не может, да и быть не должно.

Она была одета просто, но щеголевато. В ее наряде отпечатывались и достаток и вкус. Усадив бережно старушку, она сняла салоп и шляпку. Гибкий стан ее обрисовался, и черная, как смоль, коса распустилась роскошно до ног... Она слегка покраснела и, свернув косу, обвила ею голову.

Офицер молча ею любовался. В этой женщине все подробности были как-то аристократически прекрасны.

Она сняла перчатку; ручка была восхитительна и, не в укор будь сказано нашим степным дамам, редкой белизны, кроме того изобличала самую внимательную об ней заботливость. Она провела рукой по волосам, и в этом простом, самом обыкновенном женском движении проявилось вдруг столько природной, ленивой ловкости, столько грациозной небрежности, что все красавицы, исключительно занимающиеся этим предметом, могли бы побледнеть от зависти и отчаяния. Офицер не верил глазам. «Как мог, – думал он, – такой

чистый брильянт попасть в такую глушь, и кто она такая и откуда?» Невольно, сам не понимая, как это случилось, он очутился подле нее и стал прислуживать.

Церемониться было нечего. В минуту общего бедствия все сближаются и роднятся. Не прошло полчаса, они были уж как бы давно знакомы. Он вытаскивал пожитки из повозки, поил старушку чаем, усаживал ее как бы получше, клал ей под ноги подушки. Капитан любезничал. Старая девушка улыбалась кисло и значительно. Племянница княгини Шелопаевой вступила с приезжими в разговор. Купцы уступили им место на диване.

На дворе метель бушевала, с ожесточением рвала ставни и разыгрывалась во все степное раздолье, но офицер о ней и не думал. С ним было несколько провизии: он предложил поделиться ею с товарищами заточения. Образовали на скорую руку ужин. Капитан вытащил замороженную индейку. Уселись около стола.

Завязался общий разговор, довольно незначительный.

Капитанша рассказывала, как будут смеяться в Петербурге у княгини Шелопаевой, когда узнают, что она, с детства привыкшая к тонкому обращению, оставалась несколько часов в крестьянской избе. При этих словах офицер невольно взглянул на свою соседку: легкая улыбка едва заметным мерцаньем пробежала по ее чертам.

Они поняли друг друга.

– А вы были в Петербурге? – спросил он.

– Нет.

– И не поедете?

– Нет.

– Отчего же?

– Я замужем.

Офицер потупил голову. «Как, зачем она замужем? Кто просил ее выходить замуж?» Ему стало неловко и досадно. Он продолжал:

– Отчего же вашего мужа нет с вами?

– Он в деревне; он выезжать не любит.

– Как же вы теперь?

– Он отпустил меня с бабушкой в Воронеж, на богомолье.

«Хорош вожатый!» – подумал офицер, глядя на старушку, которая что-то бессмысленно жевала.

– И вы живете всегда в деревне? – спросил он снова.

- Всегда...
- Безвыездно?
- Безвыездно.
- Помилуйте, да там скука, должно быть, страшная.

Она слегка вздохнула.

- Что ж делать, привыкнешь.
- Да как же вы время проводите?
- Да так, как обыкновенно в деревне.
- Да что ж вы делаете?
- Да почти ничего. Занимаюсь хозяйством, вышиваю, читаю.
- У вас детей нет?
- Нет.

Офицеру это было не противно, а почему – бог знает.

- Что ж вы читаете?
- Что случится. Французские книги, русские журналы...

Офицер поморщился.

– Вы люди светские, – продолжала она, улыбаясь, – не понимаете отрады чтения. Книга – это товарищ, это верный друг. Попробуйте прожить в деревне, поживите, как я, тогда поймете, что такое книга. Да без нее просто бы, кажется, можно с ума сойти. Вечера-то, знаете, длинные; деревня наша в степи; соседей нет, а если и бывают изредка, то все такие, что лучше бы их вовсе не было.

– Ваш муж охотник?

– Да, мой муж очень любит охоту. Да, впрочем, в деревне надо же иметь какое-нибудь занятие.

– А позвольте спросить: муж ваш человек молодой?

Она невольно рассмеялась.

– Нет, – сказала она, – да что о нем говорить.

Скажите-ка лучше, вы как сюда попали?

– По делам.

– Надолго?

– Нет, я спешу к брату на свадьбу.

– Вы будете шафером?

– Разумеется. Я даже очень спешу... то есть очень спешил...

– А теперь не спешите?

Офицер нежно на нее взглянул.

– Теперь я вас встретил.

– Бабушка, – сказала молодая женщина, – я думаю, метель утихла, можно бы ехать...

Старушка не расслышала. Присутствующие отозвались, что прежде утра и думать было нельзя о продолжении пути, а что следовало подумать о ночном отдохновении. Наступила глухая полночь. Всех клонило уже ко сну; все более или менее поглядывали с завистью на кровать. Но в подобные минуты голос справедливости всегда торжествует. Общим приговором положено предоставить кровать слабейшим членам случайной общины, то есть старушке и девочке, которая, накричавшись вдоволь, спала уж где-то в углу. Как сказано, так и сделано. Старушку уложили. Она поохала, пошептала, покрестилась и заснула. Купцы расположились на диванчике и на лежанке и вскоре звучным дыханьем объявили, что уж перешли в невидимый мир сновидений.

Капитан расположился на сундуке. Капитанша, сестра ее и черноокая красавица легли поперек дощатой кровати. Под головы положили им подушки, к ногам придвинули скамейки. Капитанша легла с одного края, молодая женщина с другого. Между ними расположилась зрелая девушка. Офицеру оставался стул, который как будто нарочно стоял с хорошего края. Он сел. Все это происходило самым естественным образом, как будто вследствие какого-то безмолвного условия. В комнате воцарилось молчание, прерываемое только стуком маятника, дыханьем спящих и воем метели. Странное кочевье освещалось одной сальной свечкой, с которой от времени до времени неустрашимый капитан снимал решительно пальцами. Но вскоре это занятие его утомило: он свернулся кренделем и заснул взапуски с купцами. В комнате замелькал томный красноватый полусвет. Все заснули, кроме офицера, который шепотом разговаривал с своей соседкой, и старой девы, которая подслушивала их разговор с желчным любопытством.

– Я виноват перед вами, – говорил офицер, – я сказал глупость. Вы, кажется, на меня рассердились.

– Нет, я не рассердилась. Только я женщина не светская, я не привыкла к подобным любезностям. Оно забавно, может быть, с одной стороны, но, с другой, и не дурно, потому что мы не умеем играть словами и говорим только то, что чувствуем.

– Да, и я говорю то, что чувствую.

– Перестаньте, пожалуйста. К чему это? Мы с вами встретились случайно, сейчас расстанемся, никогда не увидимся – нехорошо. Я знаю, вы смеетесь над уездными дамами, и Пушкин над ними смеялся... И подлинно, есть много в них смешного, но, может быть, в то же время много и грустного. Подумайте, – продолжала она, как будто говоря сама с собой, – что такое судьба женщины молодой, знающей только по книгам, что есть хорошего в жизни? Муж ее в отъезде поле. Он, может быть, человек хороший... Да все не то: скучно в деревне... и не то что скучно, а досадно, обидно как-то. Все жалеют об узнике в темниц»; никто не пожалеет о женщине, с детства приговоренной к вечной ссылке, к вечному заточению. А вам весело в Петербурге?

– Весело, – сказал, вздохнув, офицер, – да, мне там очень весело, слишком весело... Я человек светский.

Только что странно: я от излишества, вы от недостатка – мы оба дожили до одного, то есть до тяжелой скуки.

Вы жалуетесь, что в вашей одинокой ссылке вам негде развернуть души и сердца; мы же, вечно ищущие недостижимого, мы чувствуем, что душа и сердце подавлены в нас. Вы знаете холод одиночества, но вы, слава богу, не знаете еще холода общественной жизни. Вы знаете, что любить надо, а мы знаем, что любить некого.

В вас кипят надежда и сила, нас давит бессилие в немощь.

– Вы были влюблены? – спросила она едва внятно...

– Еще бы! Да и как! Да что в том толку... В свете идти на любовь – значит идти на верный обман. Вы что думаете про любовь?

– Я!.. Так... да... нет, ничего...

– Любовь – душа вселенной; но этой душе куда как тесно в свете, и знаете ли почему? Потому, что за ней выплывает тщеславие. Я тоже иногда думал, что меня любили, а вышло что же? Любили не меня, а бального кавалера, светского франта, и я не знал, как совладеть с своими соперниками.

– Неужели? – сказала она невольно. – Да кто ж они могли быть?

– Да мало ли их... Бальное платье, мелочная досада, глупая сплетня, завидное приглашение, маскарадный наряд и тьма подробностей, составляющих, так сказать, всю сущность светских женщин.

– Так вы не верите в любовь?

– Сохрани бог! В любовь нельзя не верить; но я говорю только, что любить-то некого. Для любви нужно столько условий, столько счастливой случайности, столько душевной свежести и неиспорченности. Но, слава богу, я чувствую, что я могу еще любить, но уж не светскую барыню. Дорого они мне дались... Я бы мог любить страстно, неограниченно и свято душу не светскую и доверчивую, которая вверила бы мне всю участь по чистому внушению, без боязни и без расчета... Если б вы, например...

– Пить хочу! – застонала на кровати старуха. Девчонка проснулась и завизжала. Офицер поспешно вскочил со стула, подал старухе стакан воды, успокоил девочку, всунул ей в рот кусок сахара и возвратился на свое место. Но возобновить начатого разговора не было возможности. Молодая женщина закрыла глаза, грациозно опустив ручку со спинки кровати; она или думала о чем-то, или засыпала...

– Вы устали? – тихо спросил офицер.

– Да, устала.

Он замолчал, сердце его сильно билось. Чудно хороша была эта женщина, чудно освещена красноватым отблеском нагоревшей свечи. Матовая бледность придавала ей столько прелести! Черты были так правильны, так тонки! В каждом ее слове выражалась такая глубокая повесть смиренных страданий! Она была так непринужденна, так проста и так сама собой, что невольно хотелось броситься к ногам ее, высказать ей сердце и пожертвовать ей жизнью. Ручка ее, беленькая, маленькая, заманчиво привлекала взоры. Офицер оглянулся: кругом все покоилось тихим сном; на дворе только ревела метель; даже старая дева, утомленная подслушиваньем, заснула. Офицер плядел на ручку... Какая-то невидимая сила влекла, тянула его. Кровь его сильно волновалась. Он чувствовал, что влюблен так, как никогда еще влюблен и не бывал. Разные чувства боролись в нем: и страх, и боязнь, и желание, и любовь. Наконец он не выдержал, оглянулся еще раз, тихо коснулся руки и прижал ее к губам.

Старая дева вздрогнула во сне от ненавистного звука.

Молодая женщина не пошевелилась. Офицер сидел, как приговоренный к смерти.

Прошло несколько минут тяжелого молчания.

Тихо и небрежно, как бы во сне, она вдруг начала приподнимать руку свою и движеньем спящего ребенка положила ее под голову.

Очевидно, она спала. Вдруг она открыла глаза и сказала тихо:

– Вы женаты?..

– Я... с...

– Ах да! Вы говорили, что будете шафером на свадьбе брата, так, разумеется, не женаты... Знаете ли, – продолжала она голосом, полным тихой печали, – когда вы будете женаты... любите свою жену...

– Зачем же это?..

– Так!.. Не то бог знает какие иногда могут прийти мысли... Не надо... Любите свою жену.

– Разве можно так располагать собой?.. Ну, если б я был женат и вдруг бы встретился с вами...

– Так что ж?

– То, что я жену не любил бы более, а полюбил бы вас, потому, во что бы то ни стало... но это свыше сил моих; я покажусь вам глуп, смешон, дерзок... но я люблю вас без ума.

И глаза его разгорелись, голос дрожал... Он говорил действительно что чувствовал. Она взглянула на него с нежным, протяжным упреком и тихо покачала головой.

– Не стыдно ли вам? – сказала она тихо и закрыла лицо руками.

– Нет! – сказал он, воспламеняясь все более и более. – Мне не стыдно, а хорошо теперь. Я высказал вам себя. Вы сами чувствуете, что я говорю правду. Я разгадал вашу жизнь. Так не пеняйте же на судьбу... Знайте, что был человек, который полюбил вас всеми силами своего существования, без замыслов и видов. Их и быть не может... Мы сейчас расстанемся. Что за беда, что знакомство наше продолжалось одну минуту, и минута – хорошее дело. Я люблю вас, как не думал, что могу любить. Это пройдет, может быть, завтра; но нынче я хорошо вас люблю: вы олицетворяете для меня лучшую мечту моей молодости. Таковую женщину, как вы, я всегда надеялся встретить. Судьба нам не назначила быть вместе, но пусть же останется нам сознание, что, когда мы сошлись случайно, мы поняли друг друга, оценили друг друга, и по крайней мере нам будет теплое задушевное воспоминание: вам – в скучной вашей деревне, мне – в скучной моей светской жизни.

Так продолжал он говорить молодо и пламенно, и она, вперив в него свои черные глаза, слушала его с увлечением, как бы

прислушивалась к чему-то давно желанному и ожидаемому. Мало-помалу и она разговорилась; но что было говорено тогда – да будет тайной.

На бумаге оно выйдет вяло и безжизненно. В подобных разговорах то и прекрасно, что невыразимо или понятно только для двоих.

Несколько часов пролетели невидимым мгновением.

Бессознательно предалась она светлому восторгу, расточила богатую сокровищницу долго замкнутого сердца, и, верно, никогда не была она так хороша, как в эту минуту. Он невольно взял ее руку, и она не думала уже ее отнимать. Изба казалась им раем.

Вдруг свеча, зашипев, погасла, и бледный беловатый луч прорезался в комнату из окна.

– Светает, – сказала она. – Мы скоро расстанемся!

Дайте мне что-нибудь на память от себя.

Он поспешно выдернул из бумажника листок бумаги, взял карандаш и призадумался.

– Я не писатель, – сказал он, – другой написал бы вам стихи.

– Напишите что-нибудь.

Он написал: «1849 год, ночь с 12 на 13-е января», а потом прибавил решительно: «Лучшая ночь в моей жизни». Потом, сняв с руки кольцо, он подал ей кольцо и бумажку. Она поспешно их спрятала.

– Кольца я вам не могу дать, – сказала она, нахмурившись. – У меня одно только кольцо – венчальное; а из Воронежа я вам пришлю образ. Он принесет вам счастье; он напомнит вам о нашей встрече и о той, которая вас будет вечно помнить и любить. Вы – один человек, который ее понял; вы, разумеется, рассеетесь и меня забудете, но я буду вас вечно помнить. Я помолюсь за вас.

Она крепко пожала ему руку.

В эту минуту смотритель вошел в комнату.

– Утихает, – сказал он, потирая руки.

Вдруг все зашевелились. Старуха заохала, девочка завизжала, купцы бросились к повозкам. Из сарая начали выводить лошадей; принесли самовар. Через час времени все путники были готовы уже к дороге. Офицер посадил старуху в повозку и поцеловал руку у внучки.

На глазах ее навернулись слезы...

– Прощайте, – сказала она грустно, – навсегда...

Через четверть часа лихая тройка во весь опор обогнала две степные повозки. Офицер поклонился. Тяжко ему было. Из спущенного окна показалось бледное лицо, сверкнули черные глаза, махнул белый платок. Ямщик приободрился, приударил и покатыл еще быстрее. Офицер обернулся и долго смотрел, как две повозки мало-помалу отдалялись, потом стали подвижными точками, потом пропали из виду. Он горестно вздохнул и завернулся в шубу. Снег хрустел под полозьями. Ямщик покрикивал. Во все стороны расстилалась снежная равнина, но между небом и степью уж обозначалась резкая полоса. Ветер значительно утихал. Оловянное солнце вырезывалось пятном на сером туманном небосклоне.

Метель кончилась.

Старушка

I

Отец и дочь

В четвертом этаже довольно грязного дома Офицерской улицы сидела у окна перед пальцами молодая девушка и о чем-то думала. Окно было заставлено растениями и задернуто занавеской. В комнате было опрятно, хотя по скудному ее убранству не трудно было отгадать, что жильцы – люди весьма небогатые.

Диван красного дерева с выгнутой спинкой, несколько стульев, обтянутых некогда голубой, а ныне желтоватой материей, овальный стол, кровать за ширма?и, у кровати сундук, комод, покрытый клеенкой, шкаф с домашней утварью, пальцы, ярко вычищенный самовар и старинные бронзовые часы – вероятно, последний остаток более счастливых времен – вот все, что наполняло низенькую, но, впрочем, довольно вычурно расписную комнату. Во всем проглядывала бедность, но бедность с некоторой претензией, обнаруживающей как будто право на большее довольство. Между окон висело зеркало в почерневшей раме. На столе лежало несколько французских- романов, маленький исписанный альбом и несколько золотых безделок, браслетов, брошек, серег в фарфоровом блюдечке.

Сквозь полурастворенную дверь видна была небольшая кухня, в которой здоровая кухарка с засученными рукавами усердно что-то стирала, приговаривая шепотом несвязные слова.

Молодая девушка, сидевшая у окна, была из числа тех, которые рождаются как будто ошибкою на севере.

Черная как смоль коса едва укладывалась тяжелым венцом над ее правильной, несколько смуглой головкой.

Большие черные глаза то сверкали решимостью и страстью, то вдруг, испуганные своей дерзости, прятались поспешно за длинными ресницами. Густые брови придавали иногда странную суровость детскому личику; но суровость эта скоро смягчалась нежным выражением взора, добродушной улыбкой ребенка, который и в печальной доле не знает еще печали.

Она сидела и думала – о чем, кто это скажет? Кто выразит, о чем думает молодая девушка, когда ей минуло семнадцать лет, когда глаз ее

черен и она без свидетелей забыла свое рукоделье, уронила иголку и носится душой в целом океане упоительных догадок?

Очевидно, в мыслях молодой красавицы не было ничего безотрадного, напротив, в чертах ее лица выражался иногда веселый блеск шаловливого удовольствия, вероятно, при каком-нибудь шуточном, но задумчивом воспоминании. Она вдруг улыбалась и потом, как будто забыв, что она одна в комнате, совестилась своей невольной улыбки, хмурила брови и принимала важный вид. Но притворный гнев не удавался. Молодость превозмогала врожденное чувство женской скрытности, и во взоре красавицы выражалась внезапно не детская насмешка, не выученная холодность, а тихая, глубокая, беспредельная нежность. Душа ее светлела в новом, торжественно грустном упоении. И вдруг ей становилось чего-то страшно. Она как бы желала чего-то, ждала чего-то и потом боролась с тайным опасением, не знала, что ей делать. Наконец она вдруг решительно вскочила с своего места, отодвинула растения, отдернула занавеску и отворила окно. Теплый ветерок пахнул в комнату. Вечер был весенний и светлый, как бывают весенние вечера в Петербурге. Молодая девушка взглянула сперва на небо, а потом, прислонившись на подоконник, с большим вниманием начала слушать шарманщика, который, с фуражкой в руке, жалобно на нее поглядывал, наигрывая из «Фрейшюца» марш. На улице все было по-обыкновенному. По тротуару шел чиновник с портфелем и завязанной щекой. На перекрестке будочник бранил заспанного извозчика. У погребка нищий, в фризовой шинели и с красным носом, нюхал табак. Перед мелочной лавочкой стоял лавочник в переднике и пил вприкуску чай из стакана. Прошли, озираясь, две дамы в кисейных шляпках, а за ними промелькнули, помахивая тросточками, два молодца в фуражках и светлых пальто. Проехало несколько четвероместных ямских карет, нагруженных мирными семействами на возвратном пути с дач. Прошло несколько пожилых женщин с большими букетами пахучей сирени в руках.

В этой подвижной картине весенней петербургской жизни таилась, вероятно, особая прелесть для любопытной красавицы. Она не спускала глаз с проходящих и следила с большим вниманием за каждым их движением. На одно место она только упорно не глядела, а именно: на третий этаж противоположного дома. В этом доме было

тоже отворенное окно, ровнехонько перед окном молодой девушки, но оно не было уставлено растениями, не украшалось занавеской. Из него клубом валил густой табачный дым, слышался собачий лай и раздавалось дребезжащее бречанье расстроенных фортепьян.

При появлении смуглой головки лай собаки превратился в завывание, музыка умолкла и последнее облако дыма вознеслось, раздваиваясь, к небу. Из-за этого облака показалась белокурая голова молодого человека самой приятной наружности. В эту минуту он в особенности был хорош. В чертах его была радость, в глазах – любовь. Пристально, пламенно, страстно глядел он на милую соседку, и глядел так же упорно, как она избегала его взора. Но если справедливо то, что говорится о магнетическом влиянии воли, то она, верно, чувствовала этот жгучий, неодолимый взгляд; и действительно, дыхание ее становилось чаще, сердце ее билось, и недвижимая стояла она и все пристальнее и бессознательнее глядела на шарманщика.

Вдруг крупная серебряная монета звонко ударилась о мостовую подле самой шарманки. Невольным движением молодая девушка быстро подняла голову и опомнилась; но было уже поздно: взоры их встретились. Он стоял перед ней сложив руки и глядел так жалко, так трогательно, что она не в силах была отвести от него взора. Он поклонился и приложил руку к сердцу. Она на поклон не отвечала, но покраснела по уши и в замешательстве сорвала единственный цветок, украшавший ее растения. Так стояла она, перебирая в руках оторванную ветку, смущенная, кроткая, покорная и прикованная сверхъестественной силой.

Молодой человек продолжал свои телеграфические знаки. Правой рукой начал он писать что-то на левой ладони и снова потом сложил руки, как бы умоляя об ответе. Молодая девушка оставалась бездвигна.

Сосед снова начал свою безмолвную речь. На губах его шевелились слова моления. Надежда и отчаяние попеременно проявлялись в чертах его. Он размахивал руками, говорил взглядами. Все это для равнодушных соседей могло бы показаться крайне смешным, но молодая соседка не смеялась. Недолетавшие звуки отдавались в ее душе сладко-болезненным чувством; она уж готова была отвечать и вдруг стыдливо останавливалась.

Тогда, чтоб придать новую силу своей пантомиме и выразить свое отчаяние, молодой человек схватил ножик и устремил его к сердцу.

При этом страшном движении у противоположного окна раздался внезапный крик, и вместо ответа полетел на улицу оторванный цветок. В ту же минуту молодой человек исчез.

Опомнившись от испуга, побледневшая красавица начала робко оглядываться. На улице все утихло. Два извозчика спали, согнувшись, на дрожках. Шарманщик, взбросив шарманку на спину, исчезал за будкой, весело наигрывая «Уж как веет ветерок». Начинало смеркаться. По тротуару спешил маленький старичок в вицмундире.

– Папенька! – прошептала молодая девушка, поспешно затворяя окно и задергивая занавеску. После этого, нагнув пламенеющее лицо на пальцы, она усердно принялась за вышиванье.

Спустя несколько минут в кухне послышался кашель.

Кухарка отворила дверь. В комнату вошел худенький, сутуловатый старичок, отирая лоб бумажным клетчатым платком.

– Что это ты, Настенька, в потемках-то глаза себе портишь? – сказал он. – Точно поденщица какая, а не штаб-офицерская дочь. А все это ваше французское воспитание... в пансионах этому выучилась. Ну, здравствуй, мой ангел. Устал... нечего сказать, стар становлюсь...

Акулина, – продолжал он, бережно снимая вицмундир и надевая довольно засаленный кашемировый халат, – Вздунь-ка углей, поставь самоварчик, мать моя; точно сто лет чаю не пил.

Акулина отправилась в кухню. Молодая девушка поцеловала у отца руку и торопливо принялась готовить чайный прибор.

Старичок, казалось, был чем-то озабочен. Скрестив руки, начал он ходить по комнате, шевеля губами. Вдруг он остановился.

– А, Настя! – сказал он.

Молодая девушка вздрогнула.

– Что, папенька?

– А который тебе год?

– Да вы сами, папенька, знаете; в сентябре восемнадцать будет.

– А, так, так, – бормотал старичок, продолжая расхаживать по комнате. – Да, да... точно... Кто бы подумал? Давно ли ведь, кажется?... А вот уж и невеста...

Вчера родилась, право... А вот и замуж пора... Приданое готовь.

Старичок грустно окинул взором голые стены своей комнаты и снова начал ходить и шептал про себя.

– А легко сказать, приданое... А позвольте доложить, с чего прикажете? Место маленькое, жалованье маленькое, люди мы маленькие – вот тебе и приданое!

Чин, правда, штаб-офицерский, да на одном-то чине далеко не уедешь. И невеста-то хоть куда, да с пустыми-то руками никто не возьмет – такой, уж известно, народ теперь... Вот если б тысяч сто капитала – был бы уж другой разговор, или тысяч пятьдесят... Ну, так и быть, хоть бы десять тысяч... так ничего бы, пристроить можно, женишок бы уж нашелся... Не важный бы... да не в том дело... был бы человек хороший, с правилами, с благородством, пожалуй, хоть обер-офицер...

Дмитрий Петрович правду сказал, большую правду...

Ну, что я зевал... Ну, умри я нынче – что же Настенька? А?.. С кем же – она? Надо же подумать об атом.

Пора за ум хватиться... Да-да-да... и очень пора...

Между тем. Акулина принесла на стол журчащий самовар. Старичок успокоился, уселся и взял из рук дочери стакан чая. Но, принимая стакан, он пристально посмотрел на дочь, как никогда еще не глядел на нее, и спросил странным голосом:

– А, Настя, тебе жаль будет, если я уеду?

– Что это вы? – вскрикнула девушка. – Куда это вы думаете ехать, папенька?.. Я без вас буду такая несчастная.

– А бог милостив, Настенька, может быть, все и уладится, все будет к лучшему. Надо ведь и о тебе подумать... Ты этого, Настенька, не знаешь, а виноват я перед тобой.

Неожиданное признание старика поразило невинную грешницу более, чем самый жестокий упрек.

– Вы виноваты? – прошептала она. – Что же я?..

– А ты, Настя, ребенок, ты этого не понимаешь.

Спасибо Дмитрию Петровичу, вразумил он меня, добрый человек.

– Какой Дмитрий Петрович, папенька?

– А наш Дмитрий Петрович, коллежский советник...

ну, казначей наш... Да, бишь, я тебе и не рассказал, а вот какие странные бывают обстоятельства. Дмитрий Петрович давеча говорил мне в департаменте: «Иван Афанасьич, теперь, брат, некогда, а вот

заходи-ка вечерком на квартиру. Надо потолковать с тобой об одном дельце». – «Хорошо, мол, Дмитрий Петрович, зайду». Поверишь ли, странно мне показалось, что за экстренность такая? То есть в голову бы никак не пришло.

Вечером, как знаешь, пошел. Прихожу. Чай уж отпили.

«Ну, здравствуй, Иван Афанасьич». – «Здравствуйте, Дмитрий Петрович». Ну, хорошо... что, бишь, я говорил?.. Да: «Садись, говорит, любезный». – «Не извольте беспокоиться». Сели... «А вот, – говорит он, – братец ты мой, есть у меня знакомая старая графиня...» – «Знаю, мол, Дмитрий Петрович, вы со всей знатью здесь знакомы...» – «Ну, да не о том речь. Вишь ты, у графини-то богатые вотчины в трех губерниях, тысяч никак пять или шесть душ. Барское, слышно, имение, да запущено. Старушка-то это дело мало смыслит. Ну, где же ей, голубушке, и понимать, живет в таком кругу, дама такого звания – где углядеть? Управители грабят». – «А что же, – говорю я, – Дмитрий Петрович?» – «А вот, – говорит он, – спрашивала меня графиня, не знаю ли я надежного человечка, чтоб поручить можно объездить вотчины, пересмотреть отчеты, завести конторский порядок». – «Знаю, мол, ваше сиятельство». – «А кого же вы это назвали, Дмитрий Петрович, любопытно бы знать?» – «Да тебя, Иван Афанасьич. Экой ты, братец, недогадливый!» – «Меня, Дмитрий Петрович? Помилуй бог, что я за ревизор такой? Тут, чаю, всякие науки нужно знать, а ведь вам известно, я человек простой, учился на медные деньги». – «Да не мошенник, – говорит Дмитрий Петрович, – вот в чем штука! Человеко честный. А вот такого-то и надо. Вот те на». – «Помилуйте, Дмитрий Петрович... что же тут удивительного?

Служу я, правда, по долгу совести и присяги. Формуляр, слава богу, не замарал. Могу сказать, выслужил свой майорский чин. В чужой карман не заглядывал». – «Редкий ты, брат, человек», – говорит Дмитрий Петрович. Поверишь ли, вот так-тгиш и сказал... «Поглядел бы на других... Ну, да это статья особая. В самом деле, чего тебе лучше? Поезжай-ка, брат, славная оказия...» – «Как же, Дмитрий Петрович, а служба-то?» – «Ну, отпуск возьмешь, ведь, верно, в первый раз». – «В первый-с». – «Ну, видишь, едешь, что ли?» – «А как же дочь-то, Дмитрий Петрович, Настенька?.. Ведь не могу же я ее так бросить». – «Ах ты, – говорит он, – старый болван, братец, седая ты

крыса! Ну, умрешь ты, с кем дочь твоя останется?..» А в самом деле, Настенька, коли я умру, с кем же ты останешься?..

– Не говорите этого! – поспешно воскликнула испуганная дочь.

Стоявшая у дверей Акулина перекрестилась и отплюнулась.

Старик продолжал:

– Что, бишь, я говорил... Да! «Ну, говорит, поедешь. Дочку можно будет куда-нибудь пристроить покамест. Да кто знает, может быть и сама графиня возьмет ее в дом. Ведь графиня тем известна, благодетельная дама, любит держать при себе бедных дворянок, многим покровительствует; вот недавно выдала воспитанницу свою, Машеньку, замуж. В тридцать тысяч пожаловала заемное письмо – вот она какая! Тут не то что наш брат... тут, братец, знатная протекция. Ну да и тебе, разумеется, награждение будет хорошее, прогоны, харчевые:) на подъем, жалованье... Торговаться не будет.

Этим грешно тебе брезгать. Ведь ты живешь одним жалованьем?» – «Одним жалованьем, Дмитрий Петрович, а копейки нет на черный день. Помилуйте... где же?..» – «А дочь-то у тебя невеста?» – «Невеста, Дмитрий Петрович». – «Ну, так вот видишь ли, Иван Афанасьич, перекрестись-ка, да и берись за работу. Не для себя, известное дело... тебе и своего на век хватит, а чтоб свою Настасью Ивановну пристроить. Она ведь, я видел, у тебя красавица, а красавицам в Петербурге без денег, ты сам, чаю, знаешь, не то чтобы... а все-таки... относительно... в рассуждении...»

Тут старичок смешался и тяжело вздохнул.

Молодая девушка ожидала с трепетом. Странно ей было остаться одной, жаль ей было отца, жаль, может быть, еще кого-нибудь и другого.

– Папенька, – сказала она умоляющим голосом, – не ездите, не решайтесь! Мне ничего не нужно. Если вашего жалованья для нас мало, я могу работать.

Иван Афанасьевич обиделся не на шутку.

– Вот славно придумала! – воскликнул он вспльчиво. – Уж не в магазинщицы ли идти угодно, в горничные, чего доброго? Вот, можно сказать, утешила! Вот они, ваши пансионы, ваше французское-то воспитание, чему вас учат! Ведь, что ни говори, а ты у меня теперь дворянской крови. Сама благородная, сама, матушка, графиня... Ну, я-то еще ничего, туда-сюда... куда бы ни шло, а ты уж, матушка, пощади

мою седую голову. Не унижай своего звания, не заставь меня краснеть перед людьми – слышишь ли?

– Так вы решились, папенька?

– Ну-ну... нет, не то чтоб еще решился. Как же это вдруг... нельзя-таки. Обещал только подумать, пообсудить хорошенько.

– Не решайтесь, ради бога...

– А ну, перестань ребячиться! Что это в самом деле? Да и спать-таки пора, одиннадцатый час. Утро вечера мудренее. Может быть, что-нибудь еще и придумаем. Прощай, Настенька, прощай, мой светик. Усни хорошенько. Христос с тобой.

Старичок поцеловал и благословил опечаленную дочь, а потом отправился через кухню в чулан, служивший ему спальней. За ним последовала Акулина в звании камердинера. Стащив с барина запыленные сапоги, она, против обыкновения, не пожелала доброй ночи и не ушла к себе в кухню, а осталась с таинственным видом и отворенным ртом перед кроватью надворного советника.

– Ну, спасибо, Акулинушка, – сказал Иван Афанасьевич. – Ступай-ка отдохнуть теперь, мать моя.

– Иван Афанасьич, – сказала шепотом Акулина, – позвольте слово молвить. Выслушайте мою глупую речь.

– А? Что? – с беспокойством спросил Иван Афанасьевич.

Акулина бережно притворила дверь и потом нагнулась на ухо старика.

– Дело молодое, – шепнула она. – Неча пужаться из эвтаких пустяков, а и смолчать-то не совсем аккуратно.

Извольте знать, ваша милость, тут-с насупротив, в балыкинском доме, живут какие-то... Делать, знать, нефчево, песни поют, в трубку курят, прохожих кличат, сущий содом! Ну, оно, извольте знать, ничего, дело молодое...

А уж честных барышень затрогивать, кажись бы, и неладно.

– Что случилось? – закричал старичок, – Да ничего не случилось. А вот я только хотела доложить вашей милости. Сегодня около вечерень стирала я никак носки для вашей милости. Слышу, идут по лестнице. Я отперла дверь. Думаю, Ванька-дворник дрова несет. Вышла на лестницу – ан тут какой-то барчонок, и пригожий такой, кудрявенький, стоит да и сует мне ассигнацию в руки. Не разглядела я, правду сказать, какую, а рублев двадцать было по крайней мере. «Чего

вам надо?» – «А вот, моя красавица...» Ей-богу, так и сказал... Хорошу красавицу нашел! Перед Кузьмой Демьяном пятый десяток стукнет. Тьфу, господи! Такой уж, видно, греховодник!.. Ну, словом, такой лисой подъезжает, что только слушай... «А вот, говорит, красавица, отдай записочку барышне, да смотри, потихоньку, чтоб барин не видал. А будет ответ, так принеси в девятый номер балыкинского дома. Я еще подарю тебя, голубушка». А сам всё деньги сует в руку. Записочку-то я взяла на всякий случай, а денег, говорю, ваших не надо. «Эх, барин, не хорошим, видно, делом заниматься изволите!

Видали мы эфтаких. Ступайте своей дорогой».

– Где записка?... Записка где? – спросил дрожащим голосом Иван Афанасьевич.

Акулина подала черствой рукой нежную ароматическую записочку. Иван Афанасьевич поспешно ее распечатал, пробежал глазами бисерные строки и вздохнул.

Записка была написана по-французски, а Иван Афанасьевич воспитывался на медные деньги. Он не знал французского языка и в эту минуту чистосердечно проклял модное образование дочери, – которым в обыкновенное время несказанно гордился. Он тер записочку, гладил ее, комкал, считал буквы и строки, вздыхал, кряхтел и не понимал ни слова.

Подумав немного, он начал шарить в карманах висевшего на стуле жилета и, не найдя ничего, снова вздохнул.

– Спасибо, Акулинушка, – сказал он, – спасибо, мать моя. Как жалованье получу, непременно подарю тебе... а теперь не взыщи, матушка. Последние отдал лавочнику.

– Помилуйте, за что же? – флегматически отвечала Акулина. – Вишь, что затеяли, пострелы такие! Записочки носят, деньги сулят, красавицей величают – тьфу!

Тут она отвернулась и плюнула в порыве сильного негодования.

– Ну, Иван Афанасьич, не осудите, что маленько потревожила вашу милость, а вот теперь на душе как-то легче стало. Из эвтаких пустяков беспокоиться нечего.

Покойной, сударь, вам ночи, приятного сна.

С этими словами Акулина отправилась в кухню, мигом окончила за шпалерными ширмами свой спальный туалет и немедленно же заснула сном спокойной совести и отличного здоровья.

Старичок остался один в сильном волнении. В руках держал он записку, стараясь по форме букв угадать смысл их, и вспоминал все французские слова, которые пришлось ему слышать на веку; но старания его оставались тщетными: он ничего не понимал. Вдруг в голове его блеснула счастливая мысль. Он поспешно зажег сальный огарок и бросился к старой полке, на которой лежало несколько запыленных книжек, дрожащей рукой отыскал между ними изорванный лексикон и, прижимая к груди драгоценную добычу, уселся к своему письменному столику и принялся за странную работу: он начал переводить по каждому слову любовную записочку, писанную к дочери. Долго сидел он так, согнувшись над столиком и записывая имена существительные, глаголы и местоимения. Фразы не клеились как-то между собою.

Смысл выходил иногда самый уродливый, но Иван Афанасьевич не терял терпения. Пот градом катился по его бледным морщинам; последнее мерцание догорающего огарка отсвечивалось красноватым отливом на седой голове – перевод подвигался медленно.

И в соседней комнате не было тоже покоя: там тоже владычествовала бессонница, но бессонница, в которой было более счастья, чем горя, бессонница молодой девушки, которая боится еще любви, а уж не может не любить.

II

Две бессонницы

Когда душа наша уснула, убаюканная житейскими волнениями, когда сердце состарилось и рублевые заботы заменили волшебный мир фантазии, мы спим глупо и долго. Не возмутительное виденье, а разве докучливость недуга, разве неотвязчивость бедствия сердито прерывает сон наш. И жалко нам тогда тех счастливых ночей, когда не спалось нам вовсе, когда мы так простодушно отчаивались, так бессознательно надеялись и так сильно, так горячо, так молодо желали. Недолговечны радости, недолговечны и печали. Настает время равнодушия. С грустной улыбкой озираемся мы на старину, и грустно нам и больно, что уж нечего горячо пожелать нам на свете, нечем позаняться с нежной задумчивостью, потерзаться бессонницей.

Не спится молодой девушке. Жарко ей, душно. Голова ее горит. Волосы распустились по плечам. Она мечется со стороны на сторону. То вдруг сбрасывает она горячее одеяло, то вдруг, как бы стыдясь ночного сумрака, окутывается с ног до головы и прячет в подушки пламенеющее лицо. Что с ней случилось? Откуда эта душевная горячка, этот новый испуг и неведомый трепет? Отчего перед глазами ее хотя не совсем ясно, но неотступно мелькает образ молодого соседа с кудрявой головой, с умоляющим взором? Отчего он невидимо присутствует при всех ее мыслях? Отчего ей страшно? Отчего ей весело? И скука исчезла, и жизнь изменилась. Она сама себя не узнает. Она едва дышит, она изнемогает, она то зовет, то отталкивает милое видение... Она боится любить – она уже любит.

Но как же могло это случиться, и так неожиданно, так скоро? Давно ли она встретила? Всего какие-нибудь три недели, а точно как будто с того времени прошел целый век. Ей кажется, что она и живет-то всего три недели; вся прежняя ее жизнь – совершенно лишняя, бесцветная, бессмысленная. Да жила ли она, в самом деле, прежде, могла ли что-нибудь понимать и чувствовать?

Что она была прежде? Дитя, девочка неразумная. В чем заключалась ее жизнь? Какие остались ей воспоминания? И вот ее

недавняя старина, как отдаленное преданье, промелькивает перед ней в ночном мраке рядом одноцветных картин.

Сперва исчезают первые, едва уловимые для памяти годы детства. Нет яркой точки в этом младенчестве; все однообразно, бедно, грустно, серовато. И вдруг мрак усиливается. Она вздрагивает в невольном ужасе. Она видит темную комнату и белую кровать. Кругом черные тени, доктор, священник и бледный, дрожащий отец ее.

Ей слышатся глухие рыдания, страшный шепот и последние хриплые стоны умирающей – то смерть матери...

Картина меняется. Небосклон прояснился. Она в зеленом саду, посреди подруг одного с ней возраста. Вот все ее пансионские товарищи, все ее приятельницы *bons sujets* [59], и Маша, и Наденька, и Олинька, и Верочка. Вот и наставница с сердитым видом и доброй улыбкой. Вот все учителя, священник-батюшка, противный немец, обожаемый преподаватель русской словесности, болтун француз, вертлявый танцмейстер, ученый физик... вот все они, которых обожали и ненавидели. Теперь они все равно милы... Как столько лет могло пройти так скоро!

Давно ли она завидовала городским, а теперь она сама городская! И жаль ей прежнего времени, жаль неумолимого звонка, который будил ее утром в шесть часов, когда сон манил еще ее светлыми сновидениями. Пестрый рой молодых девушек подымался поспешно и весело, как покидают свой улей молодые жужжащие пчелы.

Вот наступает час урока. Шумно садятся девицы на места; кто повторяет заданное, кто вытирает черные доски, кто чинит мел для учителя; иные, сидя на лавках, перешептываются и смеются, другие же зевают от скуки. Дежурная дама старается восстановить общий порядок, угрожая, по обыкновению, рапортом. Наконец дверь отворилась, и, громко шаркая, влетел в классную завитой немец, прыгнул на кафедру и начал говорить об экзамене. Плохо учились в то время, но зато сколько было тогда невинных шалостей, беззаботного счастья, ребяческого нетерпения! Какую прекрасную будущность устроила тогда Настенька с своими приятельницами!

Они век останутся сестрами, будут видеться каждый день, будут долго любить кого-нибудь и выйдут замуж, каждая за своего возлюбленного, и все-таки останутся сестрами.

Слово любви произносилось украдкой, но оно сильно волновало молодые воображения. Его отыскивали в книгах, бережно скрываемых от наставниц; о нем толковали вполголоса и долго о нем задумывались. Предмет нежного мечтания олицетворялся иногда самым странным образом, в виде старшей подруги, или классной дамы, или дряхлого учителя, или давно умершего поэта. Иногда обожание образовывалось по подписке, для составления комплекта, и о том шли длинные и тайные разговоры, толки и пересуды. Бывали и другие тайные помыслы, при виде белых султанов и блестящих эполет, на улице или в часы посещения родственниками; но об этих помыслах доверялось только на ухо самой близкой и любимой подруге. День проходил скоро, потому что был однообразен. Наступал вечер, и это была лучшая для них минута. После молитвы, когда дама уходила в свою комнату, они с любопытством и тайным опасением собирались грациозной группой у кровати любимой Олиньки.

Кто садился на кровать, кто на табурет, кто на колени, подперши голову руками. Прочие, обнявшись, стояли кругом. Начинались толки о выпуске, о городской жизни, о том, с кем кто будет танцевать и можно ли отказать неуклюжему кавалеру? Об этом важном предмете начинались споры. Потом толковали о замужестве, потом начинали рассказывать страсти – про разбойников, мертвецов и страшных привидений. Собеседницы вздрагивали от невольного испуга, не смея озираться. Трепетное сияние ночника едва освещало их боязливую кучку. Было страшно и весело. Потом сон начинал клонить к покою.

Подруги расходились. В дортуаре водворялась постепенно тишина, изредка прерываемая перекликиваньем засыпающих девиц: «Mesdames, кто не спит, прощайте. Простите, что я вам сделала. Бог вас простит». Наконец все утихало, и гений-успокоитель осенял молодые вежды радужными своими крыльями.

Непостижимо, как столько лет могли пройти так скоро! Вот уж и наступила пора экзаменов. Настенька пропела с грехом пополам каватину из «Нормы», прелестно протанцевала характерный танец и не заикнулась в выученных наперед ответах о меровингейской династии. Все это было в порядке вещей. Одно показалось странным Настеньке. Подругам ее принесли щегольские обновы с лентами и кружевами; ей принесли простое белое платье, возбуждавшее общее

сожаление. Настеньке было не завидно, а совестно. Действительная жизнь начиналась.

Наденька, Маша, Верочка разъехались в пышных экипажах, едва успев проститься с своей неизменной сестрой.

Иван Афанасьевич увез дочь свою на извозчике... Новая картина, новое впечатление, новое однообразное житье.

Какой прием для девушки, приготовленной для роскоши и удовольствия! Бедная комнатка в четвертом этаже, пяльцы, самовар, Акулина, кухня, департаментские толки, старые чиновники, копеечные расчеты. Старичок радовался присутствию дочери, и дочь была довольна радостью отца. Но понятия их были совершенно разнородны; они не понимали друг друга: он – весь век вкушавший горечь жизни, она – создавшая себе в воображении целый мир идеальный и невозможный... Трудно было отвыкнуть от заманчивых планов целой молодости; трудно было приучаться к невольному покровительственному тону прежних ее подруг, присылавших изредка за ней ларету, но никогда ее не навещавших. Вовсе отказаться от них не было силы; видеться с ними было больно и досадно.

Чтение сделалось для Настеньки душевным убежищем. Но, к несчастью, у нее не было руководителя в выборе книг. Она пристрастилась к увлекательным французским романам современной школы, где вымысел гуляет на счет здравого смысла. Лекарство сделалось ядом.

Настенька зажила двойной жизнью – настоящей, которая как будто до нее не касалась, и вымышленной, поддельной, где все принимало романические формы и льстило молодому, уже заранее расстроенному воображению. Так прошел год.

И вот тому назад три недели случилось с ней что-то такое странное, неожиданное, что она сама еще понять не может, Иван Афанасьевич, как добрый и недалновидный человек, всячески старался развлекать свою Настеньку. С этой целью покупал он ей ситцевые платья, водил и на чиновнические вечера, водил на гулянья, показывал диких зверей и панорамы и даже раз в месяц отправлялся с ней в театр. Все эти увеселения были довольно скучны, но других не было. Из взаимного угождения отец и дочь обманывали друг друга, притворяясь, что находят в них удовольствие.

Три недели назад отправились они, по обыкновению, в Александрийский театр на повторение какого-то бенефиса. Сели они, как всегда, на места за креслами. Представляли какую-то дикую драму с свирепыми возгласами и несколько водевилей с харчевенными остротами, вызывающими громкий смех и одобрение публики. Настеньке было, разумеется, очень скучно. От нечего делать она начала рассматривать сидевшие перед ней в креслах лица и с удивлением заметила одного белокурого юношу, который, обернувшись к сцене спиной, пристально смотрел в противоположную сторону. Это показалось ей странно.

«На что это смотрит он так внимательно?» – подумала она и вдруг догадалась, что он смотрит на нее. Настенька обиделась, рассердилась и покраснела. Иван Афанасьевич дремал. Настенька начала смотреть на ложи, где сидели ее разряженные совоспитанницы, не замечавшие даже ее присутствия. Молодой человек следил за каждым ее движением и, так сказать, на лету ловил ее взгляды. Это становилось нестерпимо. Настенька разбудила отца, сказала, что чувствует головную боль и хочет домой. Они вышли из театра; за ними вышел и белокурый юноша. Они сели на извозчика и поехали за пятиалтынный в Офицерскую; за ними на другом извозчике ехал тот же молодой человек. Настенька была очень недовольна. Ночь спала она тревожно. На другой день утром, накинув легкую мантилью на полуобнаженные плечи, она захотела подышать свежим воздухом и отворила окно. В противоположном доме окно было уж отворено.

У окна стоял вчерашний юноша. Настенька гневно захлопнула ставень и не отворяла уж его несколько дней.

Наконец как-то нечаянно взглянула к соседу: у соседнего окна никого не было. Настенька вздохнула свободно, но ей снова стало досадно и чего-то жаль, а именно ей стало досадно оттого, что не за что было сердиться.

На другой день она ездила по железной дороге в Павловск вместе с прежней своей подругой, Олинькой, которая вышла замуж за небогатого столоначальника и потому не прекратила с ней частых свиданий. Олинька перенесла и в брачную жизнь свой веселый, беззаботный характер. Всякая безделица забавляла ее, а о невозможном она и думать не хотела. Настенька нередко отводила с ней душу воспоминанием прежних шалостей, веселилась ее

неизменным весельем и потому весьма охотно приняла ее предложение прокатиться по железному пути и послушать музыку тогда только прибывшего Германа. Сопровождал их столоначальник, муж Олиньки. Ивану Афанасьевичу было некогда. Как только они поместились в линейку, с ними рядом сели два молодые человека – один черноволосый, другой белокурый, опять тот же. Машина свистнула. Настенька вздрогнула, Олинька засмеялась.

– Не прикажете ли окно поднять? – нежно сказал белокурый.

Эти слова показались Настеньке чрезвычайно умны и дерзки.

Олинька поблагодарила. Столоначальник заметил, что железные дороги – великое изобретение, и такой неоспоримой истиной возбудил общий разговор.

Одна Настенька молчала и внутренне сердилась на подругу свою за то, что она так развязно и смело говорила с незнакомыми. Белокурый заводил речь с Настенькой, но довольно неудачно. Всевозможные замечания насчет вагонов, летнего времени, петербургских окрестностей и северного климата едва удостоились легкого кивания смуглой головки. Черноволосый был счастливее:

остроты его, не всегда удачные, возбуждали веселый смех Олиньки и немедленные ответы.

Подъезжая к Павловску, столоначальник взял его за руку и просил быть знакомым. Олинька успела уж рассказать, кто они такие, где воспитывались и где живут.

Целый вечер гуляли они вместе. Белокурый все преследовал Настеньку своими вопросами и наконец вынудил одно слово, потом два, потом целую фразу, потом едва сдерживаемую улыбку, потом улыбку настоящую. После этого разговор уж пошел своим порядком, разумеется о всяких пустяках, но время прошло чрезвычайно быстро. Возвратились они тоже вместе. При расставании белокурый шепнул Настеньке:

– Увижу ли я вас завтра?

– Где? – спросила та вполголоса.

– У окна, – сказал он нежно. – Если б вы знали...

Более он не договорил.

На другой день Настенька отворила окно, но не взглянула на соседа, а только почувствовала, что он тут.

На третий день ее не было дома. Она его не видела, и ей было очень скучно. На четвертый же села она с работой у окна. Он уж ждал ее... Взоры их встретились. И вот уж третья неделя, как они живут таким образом.

Она знает, она чувствует, что он тут, что он охраняет ее своим присутствием, что он жизнью своей готов для нее пожертвовать... Счастливые годы молодости! Настенька не сомневается, не подозревает, а верит с неограниченной верою души пылкой и молодой. Ее мучит, правда, немного совесть, но в этом мучении таится беспредельное счастье. Они видятся каждый день. Куда бы ни вышла Настенька – в лавку, на гулянье, сосед мелькает издали за ней, как тень. Редко приводится ему сказать ей наскоро несколько слов без связи, иногда без смысла, да не в том дело: быть бы только в одном месте, подышать воздухом, обменяться взорами – неужели это уж не блаженство?

Как устоять бедной романической девушке против такого искушения! И потом, что ж она сделала такое?

Правда, он преследует ее на улице, но улица для всех устроена. Правда, он заговаривает с ней в магазинах и при выходе из церкви, но она ведь с ним познакомилась на железной дороге: с знакомыми говорить можно по правилам простого общежития – дурного ничего нет: все в порядке вещей.

И все-таки не спится Настеньке; все-таки она мечется со стороны на сторону, и дрожит, и пылает, и дышит с трудом, и улыбается сквозь слезы. Настала роковая минута... Не заснет всю ночь бедная девушка!

А там, в узкой своей каморке, старый чиновник тихо задремал над своей безуспешной работой. Старость одолела волнение духа. К тому же в письме, очевидно, было более слов, чем дела. Тут говорилось о небе, о звездах, о государствах неба (*puissance du ciel*) ^[60], о цветах души, о каком-то идеале... о совершенной бессмыслице.

Иван Афанасьевич пожимал плечами протирали глаза, потом, отыскивая какое-то небывалое слово, нагнул голову на лексикон и мало-помалу начал засыпать.

Но прежде он обдумал свой план и решился. Завтра он пойдет к соседу и, собрав о нем подробные сведения, скажет ему: «Молодой человек, позвольте узнать чин, имя и фамилию. Дочь моя штаб-офицерша, и ей неприлично получать записки. А если вам угодно

просить руки ее, так мы еще посмотрим. Позвольте иметь честь познакомиться». Может быть, он и хороший человек, и посватается, и приплянется Настеньке – все в воле божией. Если же этот неизвестный сочинитель записочек просто прощальщик какой-нибудь, то думать тут нечего долго. Иван Афанасьевич пристроит сперва Настеньку к надежному месту, а сам воспользуется предложением Дмитрия Петровича, казначея, и отправится в вотчины старой графини. Крепко, однако ж, не хотелось ему этого. В известные лета привычка становится второй природой. Иван Афанасьевич не понимал, чтоб утро можно было провести иначе, как в департаменте, вечер иначе, как дома, за самоваром, с дочерью и Акулиной.

И как ему, старику, ехать в такую даль, по совершенно для него новому делу? Да притом он к этому делу, может быть, вовсе и неспособен: тут надо действовать от себя, приказывать, распоряжаться, быть самостоятельным, а он век был незаметным колесом в огромной машине. Из него хотят сделать строгого ревизора, ратоборца за чужие выгоды, а он всегда был кроток и тих. Таков уж нрав его. Если сторожа попросит почистить вицмундир щеткой, так всегда приговаривает: «Пожалуйста, любезный; сделай одолжение; потрудись, голубчик». У простого писаря попросит очинить перо и всегда скажет притом: «Извините, что побеспокоил».

И странно, что с таким смирением слилось какое-то детское чувство тщеславия! Чин Ивана Афанасьевича удивлял его и приятно льстил его самолюбию. О том не было в помине, что чин был приобретен тридцатилетним неусыпным трудом.

Иван Афанасьевич никогда ничего не откладывал из жалованья в сторону, потому что обязан был, по его словам, жить по чину. Дочь свою воспитывал он в модном пансионе, потому что иначе по чину было бы неприлично. Покойница его, Марья Алексеевна, была тех же правил. Небольшой капитал ее был давно прожит для поддержания амбиции, чиновных угощений и пустых издержек.

Наконец Иван Афанасьевич опомнился. Смотря на дочь, которая по смерти его останется без пристанища, ужасаясь при мысли обо всем, что предстоит ей в будущем, он из любви к ней почувствовал, что готов был пожертвовать даже своею чиновною гордостью и согласиться на частные условия... Но бог знает, чего это ему стоило.

III

Неудача

А во время двух бессонниц весеннее утро начало оживлять Петербург. Над крышами, позолоченными солнцем, закружился опаловый дымок. Ни одного облака не было на светло-голубом небе. Ласточки ныряли в воздухе, а радужные голуби, воркуя на подоконниках, стучались в окна. Ранние разносчики весело выкрикивали свои заученные напевы. Целые толпы нищих дожидались у питейных домов; по улицам выплядывали дневные извозчики. Лавочники отворяли ставни своих лавок. Обрадованный солнцем, Петербург весело просыпался. Вот он проснулся, оправился, зашевелился и закипел.

Вчерашний день уж канул безвозвратно в вечность, а нынешний торопится жить.

Утро Ивана Афанасьевича прошло как-то странно. Он брился без обыкновенного внимания, пил чай без удовольствия, был весь не свой. Настенька вздыхала и задумывалась; даже Акулина была не в духе. Изредка раздавались между ними кое-какие замечания, но так себе, без надобности, почти без смысла. О вчерашнем ни полслова. Настенька печально склоняла головку. Акулина поддерживала щеку широкою ладонью. Старичок хлебал свой чай с удивительной решимостью и торопливостью.

Наконец пробил час идти в департамент. Иван Афанасьевич машинально приладил изломанным гребнем редкие свои волосы пучком ко лбу, посмотрелся нехотя в разбитое зеркальце, завязал бантик истертой косынки, надел вицмундир, рассеянно поцеловал дочь и, кликнув Акулину, сказал ей на ухо несколько слов; Акулина кивнула головой в знак согласия и послушания. После этого Иван Афанасьевич спустился с лестницы и вышел на улицу, но не повернул, по обыкновению, вправо, по пути к департаменту, а, оглядевшись со всех сторон, прямо вошел в ворота балыкинского дома. Позвонив без всякого успеха несколько раз у конурки дворника, он поплелся, вздохнув, на самый двор, продолговатый и грязный, и наткнулся на кучера, который вытаскивал сбрую из сарая.

– Дома дворник? – спросил приятным голосом Изан Афанасьевич.
– А леший его знает, – отвечал кучер. – Мы господские.

Иван Афанасьевич продолжал путь. Навстречу к нему шел парень в красной рубашке.

– Не знаешь ли, голубчик, – учтиво сказал ему Иван Афанасьевич, – где бы найти мне дворника?

– Чего-с? – сказал, останавливаясь, парень.

– Где бы найти мне дворника? – повторил Иван Афанасьевич.

– Дворника, что ли, вам надо?

– Да, любезный, мне надо бы дворника.

– Здешнего, то есть, дворника.

– Здешнего, братец, здешнего.

– Та-ак-с... Мы чужие, – добавил хладнокровно парень и, не оборачиваясь, вышел в ворота.

Надворный советник стоял в замешательстве посреди двора и жалобно поглядывал на окна, на которых за крашеными решетками стояли банки, бутылки и всякая посуда.

В эту минуту вынырнула неизвестно откуда прямо к нему под ноги запачканная и нечесаная девчонка в оборванном платке по самые пятки.

– Кого вам надо? – запищала она.

– Дворника, милая.

– В лавочку ушел, – пискнула снова девочка.

Из окна почти подземельного жилья высунулась баба с повязанной толовой.

– Кого спрашивают? – крикнула она сиплым голосом.

– Кто здесь дворник? – сказал Иван Афанасьевич, не теряя терпенья.

– Да никак я буду, – отвечала баба.

– А хозяин-то вышедши? – продолжал догадливый надворный советник.

– Вышедши, батюшка, вышедши. Ключи-то оставил на всякий случай, коли фатеры придут нанимать, а сам вышедши, батюшка, точно вышедши.

– В лавочку ушел, – снова начала пищать девочка.

– Врешь ты, окаянная! – закричала баба. – Где опять выпачкалась? Пошла, поганая, домой! К надзирателю, сударь, пошел, пачпорты

прописывать. Скоро, чай, вернется... Да вот никак и сам идет.

В самом деле, на двор вошел багровый привратник дома, с включенной бородой, в армяке нараспашку.

– Терентьич! – закричала баба. – Тебя спрашивают.

После этого баба исчезла в подzemелье. Дворник недоверчиво взглянул на старика.

– Фатеру, что ли-с? Извольте-с. Три стоят порожние: в восемь тысяч, в три тысячи, в три с половиной.

Уступку можно сделать-с. Али дорого для вас?..

Сердце Ивана Афанасьевича сильно билось.

– Нет, – сказал он, несколько оробев и не зная, чем начать свои расспросы. – Квартиры-то мне не надо... а так, спросить только хотелось. Мне говорила Акулина, то есть кухарка моя... да не в том, впрочем, дело...

А вот, видишь ли, любезный... Этот дом купца Балыкина?... а?..

– Балыкина-с.

– Кондратья Иваныча.

– Точно.

– Да-да, знаю... человек с капиталом. Чем, бишь, он торгует? Красным товаром, кажется?

– Не могу знать-с.

– Да-да... славный домик, много стоит. А ну-ка, скажи-ка, братец... Много ли жильцов у вас?

– Жильцы есть, как не быть жильцам!

– А вот, любезный, кто же это у вас с улицы в третьем этаже живет?

– А господь их ведает. Много их там.

– Нет, братец, а вот из молодых, из молодых-то людей.

– Один живет, точно-с.

– А ну... ну... вот... вот... мне этого-то и надобно.

Как, бишь, его фамилия?

– А вам на что? – грубо спросил дворник.

Иван Афанасьевич еще более смешался... С отчаянием начал он шарить в карманах, не отыщет ли залежалого гривенника, но все поиски оказались тщетными.

– Нет... я так... – начал он снова, – ищу одного знакомого... Отец писал... просил навеститься... Стороной узнал, что живет здесь... Ведь

это Балыкина дом, Кондратья Иваныча?..

– А как вашего знакомого-то зовут? – спросил лукаво дворник.

Иван Афанасьевич совершенно растерялся.

– Как зовут?.. Как, бишь?.. Ах, память-то у меня старая!.. Вот сейчас помнил... Ну, помоги, братец... Не взъщи, мелких с собой не взял, а вот ужо-тка, мимо буду идти, занесу полтинничек.

– Пруткова, что ли, вашей милости надо? – сказал дворник более смягченным голосом.

– Да-да... братец, Пруткова, именно Пруткова – вспомнил теперь.

– В третьем этаже, на правую руку, номер девятый.

Вот-с по этой лестнице.

Иван Афанасьевич не продолжал неудачных расспросов и смиренно поплелся по указанному пути.

Дворник посмотрел, ему вслед, а потом, порассудив немного, идти ли самому в конуру или снова в лавочку, крикнул, потрянул головой и отправился уж прямо в распивочную.

Иван Афанасьевич не без труда добрался до третьего этажа. У девятого номера он остановился и начал стучаться, за неимением колокольчика. Ответа не было.

Иван Афанасьевич отворил дверь, которая едва держалась на ржавом замке, и вошел в пустую с грязными стенами переднюю, где начал смущенно пошевеливаться, громко вздыхать и кашлять.

– Кто там? – закричал изнутри свежий молодой голос.

Иван Афанасьевич осторожно отворил другую дверь и увидел смуглого, черноватого молодого человека, который сидел на постели, спустив ноги на пол, и усердно играл на гитаре. Быстрыми черными глазами взглянул он с удивлением на странную фигуру старика, который высовывался из-за дверей. Несколько времени оставались они так, взаимно рассматривая друг друга.

– Кого вам надо? – спросил наконец молодой человек.

Иван Афанасьевич поклонился и спросил довольно учтиво:

– Господина Пруткова.

– Я Прутков. Меня дома нет. Я по утрам никого не принимаю.

Иван Афанасьевич сконфузился и хотел уж идти домой, но потом вспомнил, что дело идет о дочери, что он недаром отец и что он, что ни говори, наконец все-таки надворный советник, что ему робеть нечего

перед мальчиком. Вследствие этого рассуждения он ободрился и подошел к молодому человеку.

– Вы меня, сударь, извините, – сказал он, – а дело вышло теперь экстренное. Я должен переговорить с вами об одном обстоятельстве.

– Уж не денег ли вы привезли от бабушки? – поспешно воскликнул Прутков, вскочив с постели. – Сделайте одолжение, садитесь, пожалуйста.

Иван Афанасьевич сел и, обтирая лицо платком, окинул взором комнату. На стенах нарисованы были бойко углем какие-то карикатуры. Между ними под разбитыми стеклами улыбались кое-какие греведоновские головки.

Вся мебель была переломана и покрыта страшными слоями пыли; небольшое фортепьяно с пожелтевшими клавишами едва держалось на трех ножках. Письменный стол, обтянутый истертым зеленым сукном, был весь исписан мелом; на полу валялись карты и пустые бутылки.

В углу, среди кучек табачной золы, возвышалась пирамида чубуков и изломанных рапир. На самом почетном месте висело ружье с патронташем и прочим охотничьим снаряжением, а под этим трофеем, на дырявом диване, спала мохнатая собака, свернувшись кольцом.

– Вы меня извините, – учтиво продолжал Прутков, – что я вас здесь принимаю. Эта квартира еще не отделана, да и мала для меня. Я намерен на днях переехать к Ляграну. Знаете, там отдается верхний этаж, а здесь, видите сами, высоко и низко. Да, как нарочно, все люди мои разошлись, не успели еще ничего убрать.

Эй вы, Федор, Сидор, Иван, – начал он кричать, – где вы, мошенники?.. Куда спрятались? Это удивительное дело, как нарочно никого нет! Садитесь, пожалуйста, на другой стул, этот, кажется, не очень надежен.

– Не извольте беспокоиться, – отвечал Иван Афанасьевич, осматривая с опасением свой стул и пересаживаясь на другой, не более надежный.

– Нет, нет... сделайте одолжение. Мне, право, совестно, что вы меня так застали. Вчера я одолжал свою комнату товарищам – и вот как они мне ее отделали. Да вы сами знаете, – продолжал он, улыбаясь, – люди молодые...

– Конечно-с... Молодость... Оно хорошее дело. Только, коли смею доложить, не всякое же дело и годится для молодости. Кто молод не

бывал! Вот и я был молод-с. Только не все же и годится. Пошутить, кажется, можно... для чего же нет? Только честных барышень, дворянок, так сказать, штаб-офицерских дочерей заманивать записочками, позвольте вам доложить, не хорошо-с, право не хорошо-с!..

Эти слова выговорил Иван Афанасьевич с необыкновенной твердостью.

Молодой человек закусил губы.

– Я не понимаю, – вымолвил он, – что вам угодно.

– Мне угодно, чтоб вы дочь мою оставили в покое.

Ведь, помилуйте-с, ведь она дочь моя. Ну что, в самом деле, вы в ней нашли? Она, ей-богу, не такая, не таких правил, не так воспитана. Мало ли других, скажите, в Петербурге? Ведь она без матери. Виновата ли она, что господь бог призвал мою Марью Алексеевну – царство ей небесное? Была бы покойница жива, ведь этого бы не случилось, не допустила бы она, моя голубушка...

смея-ка кто сунуться! А теперь дочь-то одна у меня одинехонька дома. Я, извольте видеть, по долгу обязанности целое утро на службе в департаменте сижу. Ну, посудите сами, как же мне усмотреть, как мне, старику, угоняться за вами, молодыми людьми? Долго ли обмануть старика, ну, сами посудите, человек вы молодой. Впрочем, и то позвольте доложить: люди мы небогатые, живем не по чину, а амбиция своя все-таки есть. Да и начальство нас знает с хорошей стороны: в случае необходимости защитит, поверьте, не позволит ругаться над нами.

Прутков начал настраивать гитару.

– А где вы служите? – спросил он рассеянно.

– По соляному ведомству-с.

– И так-таки и служите? И хорошо служите?

– Не могу жаловаться.

– Награжденья получаете?

– Как же-с.

– Скажите пожалуйста, как приятно. Ну, а что же вам угодно?

– Как что-с... Да я объяснил, кажется, относительно записки.

– Какой записки?

– Да вот этой записки, – продолжал Иван Афанасьевич, подавая молодому человеку известное французское письмецо.

Прутков посмотрел записку и отдал ее старику.

– Почтенный старец, – сказал он, слегка всхлипывая, – я вхожу в ваше положение. Позвольте обнять вас...

Вы мне жалки, очень жалки. Но вы ошибаетесь: я не писал этого письма, я не волочусь за молодыми девушками, это противно моим правилам. Я женат, – прибавил он шепотом.

– Вы... помилуйте... в таких молодых летах?

– Это секрет, – продолжал шутник, – не говорите никому. По некоторым причинам я должен еще скрывать свою женитьбу... Но вам, как заботливому отцу, я обязан открыться, не говорите только об этом никому...

А лучшим доказательством того, что я не мог писать записки, то, что она написана по-французски, а я никогда не мог выучиться французскому языку, как меня ни секли, – в этом могут присягнуть все мои товарищи.

– Так кто же писал? – спросил в замешательстве Иван Афанасьевич. – Мне сказала Акулина, что именно отсюда, из балыкинского дома.

– Мало ли здесь живущих! Вот внизу здесь у нас живет аптекарь. Я за ним давно замечаю. Человек уж старый, за шестьдесят, а, верите ли, такой волокита, что боже упаси! Советую вам хорошенько за ним Присмотреть. Должно быть, он, а не он, так уж, верно, другой кто-нибудь.

Иван Афанасьевич перебирал в руках шляпу и не мог собрать мыслей. Он понимал темно, что его дурачат, что ему следовало бы обидеться, но в то же время ему было не до того. Он чувствовал, что в этом молодом человеке нет прока. Писал ли он записку, не писал ли ее, все равно – на него плоха надежда. Во что бы ни стало надо спасти Настю от шалуна. И нечего делать – надо решиться, надо послушаться Дмитрия Петровича, надо принять предложение графини.

Иван Афанасьевич глубоко вздохнул и встал с места.

– Ну, извините... – сказал он медленно. – Не вы, так не вы. Ошибка в укор не ставится. Только странно, право... Как же мне это Акулина говорила, что именно отсюда. Да и записка тут. Ну, хорошо, что дочь об этом не знает. Шутка ли, благородную девицу, штаб-офицерскую дочь позорить такими пасквилями! Как узнать теперь?.. Что ты станешь тут делать?.. Ума не приложу...

Ну, не вы, так не вы... Тут и говорить нечего... Извините, что побеспокоил. А если вы, так бог вам судья... у вас у самих будут дети.

Сказав это, Иван Афанасьевич печально и медленно вышел из комнаты.

Молодой человек проводил его церемонно до двери и потом, притворив дверь, начал выплясывать с ожесточением разнохарактерные танцы и кончил кувырканьем на кровати.

Новый гость застал его во время этого странного занятия.

То был тоже молодой человек, но белокурый, тщательно обстриженный и, в противоположность товарищу, щегольски опрятный. Не удивляясь нимало странным телодвижениям хозяина квартиры, он отправился в угол комнаты, приготовил себе трубку, а потом расположился у окна, нежно и беспокойно поплядывая на окна противоположного дома. У Настеньки сторы были спущены. Молодой человек вздохнул.

– Беда! – начал скороговоркой и запыхавшись Прутков. – Не говорил ли я тебе, что писать никогда не следует?

– Что случилось? – спросил белокурый.

– Твое письмо попало в руки старику, который осчастливил меня своим посещением и вздумал было читать мне проповедь, предполагая, злодей, что я умею писать по-французски. Чуть-чуть не разжалобил меня, старый сапожник, да ты меня знаешь: своих не выдам.

Уж что другое, а на это молодец!

– Что ж он говорил тебе?

– Мало ли что!.. Что он старик, не может углядеть за дочерью, что она офицерша, что грешно заманивать молодых девушек...

– Он прав, – сказал печально белокурый.

Прутков начал смеяться.

– Зачем же ты все это делаешь?..

– Не смейся, Прутков, будь во всем добрым малым.

Я чувствую себя вполне виноватым перед этим стариком. Да что ж мне делать? Началось дело шуткой... а теперь я с ума схожу. Я знаю, что ни для меня, ни для нее не может быть счастья впереди... Но когда я ее вижу – с меня довольно. Я ничего не помню, ничего знать не хочу. Я живу тройной жизнью. Мне кажется, что она одна на земле и что вся земля только для нее и создана.

День, в который я ее не вижу, для меня не день... Время, которое я провожу вдали от нее, совсем лишнее, совсем ненужное; люди кажутся мне куклами, да и вся жизнь без нее как-то мертва. Поверишь ли, она меня успокоила, она возвысила все мои чувства до светлого и тихого сознания моего достоинства и моей силы. Прежде я всегда был взволнован, я все искал чего-то, все был чем-то недоволен, теперь, напротив, дух мой смирился, сердце мое нашло то, чего просило. Я ее люблю потому, что мне следовало ее любить. Старик отец разлучит нас, вероятно, скоро – и я должен покориться, я не смею жаловаться. Но тогда память о ней будет жить в моей памяти, но всегда свято, светло, тихо и грустно. С ней я буду жить, с ней я и умру.

– О-го-го!.. – заметил Прутков. – Да это просто поэзия, мелодрама, сударь ты мой. По-моему, все это, братец, вздор! Мы живем не на облаках, хотя и недалеко... то есть я о себе говорю. Умереть всегда успеешь, а покамест поживи хорошенько. Ты имеешь состояние, молод, хорош – чего тебе еще? Мучиться тут нечего.

Полюбил нынче, полюбишь и завтра. Не удалось нынче, завтра удастся. Все перемелется – мука будет.

Лови, лови
Часы любви!

Да не пройтиться ли нам по хересам?.. Пошли за вином...

Белокурый сел безмолвно у окна. Сердце его билось, глаза его горели. В противоположном доме у заветного окошка тихо подымалась стора... вот она поднята... вот за стеклами рисуется смуглая грациозная головка. Молодой человек, бледный и трепетный, не переводил дыхание. Она его заметила, взглянула на него с невольной улыбкой и лукаво приложила палец к губам.

Читатель! Бывал ли ты молод?..

IV

Знакомство

В Петербурге есть особый класс отлично выбритых и гладко обстриженных чиновников, больших охотников до знати и знатных особ. Люди они не молодые, но чрезвычайно почтительные и аккуратные. В торжественные дни поставляют они себе первой обязанностью записать свою фамилию в швейцарских аристократических домов, до хозяев же доходят редко, и только тогда, когда могут быть на что-нибудь полезны, на основании того светского правила, что мы всегда находим приятелей в нужде, то есть когда в них нуждаемся. В таких случаях им говорится всегда «ты», и они весьма этим довольны, не понимая, чтоб могло быть иначе. Никто лучше их не умеет спросить о здоровье, поздравить с днем ангела или почтительно улыбнуться в случае удостоения какойнибудь шутки. Смеяться они не станут. Смеяться – значит фамильярность, но улыбнуться кстати – совсем другое дело. Улыбка значит: понимаю, радуюсь, чувствую, соглашаюсь, благодарю, но отнюдь не смею ставить себя наравне с вами. Для петербургской знати такие лица именуются нужными человечками. Их никогда не приглашают, но посылают за ними по утрам для деловых переговоров. Они употребляются большею частью для рассылки по разным переулкам светской жизни, составляют деловые бумаги, приискивают денег под вексель и не требуют ни награждения, ни благодарности.

Лестное знакомство для них достаточно; милостивое внимание приводит их в восторг, благосклонная ласка сводит их с ума.

К разряду таких оригиналов принадлежал Дмитрий Петрович, казначей, приятель Ивана Афанасьевича.

Дмитрий Петрович был человек кругленький, маленький, толстенный, чистенький, обстриженный, приглаженный. С утра в вицмундире, с отлично накрахмаленной манишкой, с большой золотой цепочкой на черном атласном жилете.

На службе товарищи посмеивались обыкновенно над его слабостью к аристократии, над его знатным кругом знакомства, но это

было более на словах; некоторые завидовали ему, а весьма многие глядели на него с невольным уважением.

Дмитрий Петрович был человек честный и миролюбивый, добрый муж толстой немки и чадолюбивый отец несметного количества пухлых ребятишек. Он душевно уважал Ивана Афанасьевича и искренно желал ему добра.

Как только, измученный сомнением и неудачей, старый надворный советник явился в департамент, Дмитрий Петрович бросился к нему навстречу.

– Иван Афанасьич! Легок на помине. Мы только о тебе толковали.

– Обо мне, Дмитрий Петрович?

– Да, братец, о тебе. Я сейчас от графини, зашел, знаешь, понаведаться, все ли по-обыкновенному. Швейцар говорит: «Графиня к вам посылать изволила, очень, дескать, нужно видеться». Я тотчас велел доложить, графиня ко мне всегда так милостива, мы с ней попросту, без церемонии. «Чем, мол, говорю, могу иметь счастье угодить вашему сиятельству?» – «А вот, любезный, говорит, помоги, братец, пожалуйста; опять получила письмо из деревни: большие беспорядки. Сходи-ка за чиновником, о котором ты мне говорил; надо ему ехать как можно скорее; сходи-ка за ним». Я уж и знаю, что застану тебя в департаменте, пришел за тобой, а тебя еще нет. Слышишь ли? Что ж ты стоишь как вкопанный?

– Слышу, слышу, – задумчиво говорил Иван Афанасьевич, – видно, в самом деле надо. С этими сорвиголовами не сладишь. На то они молоды, на то они сметливы. Где мне углядеть, старому болвану!

– Что ты, братец, за околесную понес! Пойдем-ка лучше скорей.

– Куда? – с беспокойством спросил Иван Афанасьевич.

– К графине.

– К какой графине?

– Ну да, к графине. Что ты, глухой, что ли?

– Помилуйте, Дмитрий Петрович, как можно теперь... дайте-ка подумать, приготовиться, а то вдруг так-таки и идти. Да вот надо мне еще сшить пару хорошую: совсем, право, обносился. Сами посудите, нельзя же, в самом деле, так показаться: доверия не будет.

– Полно, братец, вздор городить! Большая надобность графине в твоём вицмундире. Ступай как есть.

– Извольте, извольте, Дмитрий Петрович, через недельку.

– Экой бестолковый какой! Говорят тебе, что сейчас.

– Ну, делать нечего, Дмитрий Петрович, хорошо, извольте, завтрашний день.

– Фу ты, братец! Говорят тебе, что графиня сию минуту дожидается ответа; согласен – ступай за мной, не согласен, так убирайся куда хочешь, а я доложу графине. Понимаешь? Ясно, что ли? А уж тогда пеняй на себя. Такого случая не встретится уже ни для тебя, ни для твоей дочери. Ну, едем!..

С этими словами Дмитрий Петрович почти насильно вывел Ивана Афанасьевича в переднюю, приказал надеть на него шинель и калоши и посадил на свои дрожки.

Дмитрий Петрович, как человек светский, держал собственную лошадь.

Во время поезда Дмитрий Петрович, довольный добрым делом, напевал подлым тенором какую-то итальянскую арию. Иван Афанасьевич молчал как убитый.

Через несколько минут дрожки остановились у подъезда графини. Дмитрий Петрович поздоровался с швейцаром как с весьма знакомым человеком и приказал доложить.

Подождав довольно долго в передней, где несколько старых официантов в черных фраках и белых галстуках спокойно остались на стульях, не прерывая карточной игры, чиновники получили ответ, что графиня их просит. Они прошли несколько комнат, красных, желтых и голубых. Убранство комнат отличалось роскошью, но не той молодой, цветистой роскошью, которая радует глаза и располагает душу ко всем покупным удовольствиям жизни. Повсюду была заметна странная смесь современных причуд моды с старинными памятниками давно прошедших времен. Обветшалые формою мебели были покрыты новым штофом. Тяжелые бронзы времен французской империи украшали камин, щегольски одетые бархатом. Нигде не было гармонии, и при виде этих несогласных между собой богатств невольно рождалось то тяжкое и страшное впечатление, которое смущает душу при виде разряженного трупа.

Дмитрий Петрович шел развязно впереди, за ним, как в воду опущенный, скользил по паркетам Иван Афанасьевич.

Наконец, у одних дверей Дмитрий Петрович остановился вдруг, как осаженная лошадь, а Иван Афанасьевич, шедший за ним в

раздумье, едва не сшиб его с ног и не полетел сам на пол для первого своего дебюта в большом свете.

Согнувшись дугой, сколько позволяла ему природная тучность, Дмитрий Петрович начал выступать как старый танцмейстер, перемешивая поклоны следующими изречениями:

– По приказанию вашего сиятельства (поклон)...

имею честь (поклон)... представить того человека (поклон)... который, надеюсь, заслужит вполне (поклон)...

милостивое внимание вашего сиятельства (два поклона)...

Иван Афанасьевич неловко поклонился, заглянул за большие бархатные ширмы и едва не отступил от удивления. Перед ним сидела румяная и молодая женщина в щегольской кружевной мантилье, в чепчике с лиловыми бантами. «Уж не ошиблись ли мы?» – подумал Иван Афанасьевич. Но в эту минуту графиня улыбнулась, и Иван Афанасьевич убедился, что она старуха и вдобавок весьма старая. Тысячи морщин молнией пробежали по ее странному расписному лицу. Хриплым, почти гробовым голосом велела она карлику приблизить два стула и ласково обратилась к Ивану Афанасьевичу:

– Садитесь, пожалуйста. Вы меня извините, я говорю по-русски дурно. В наше время мы не учили русский язык.

В словах графини действительно слышался резкий иностранный выговор.

– Мне сказал Дмитрий Петрович, – продолжала графиня, обмахиваясь большим опахалом и выказывая довольно еще красивые руки, – что вы согласны помочь мне по моим делам. Вы знаете, мы, светские женщины, ничего этого не понимаем, и потому вы можете быть моим благодетелем.

После такого вступления старая графиня начала чрезвычайно отчетливо и ясно говорить о своем имении, вычисляя количество земли удобной и неудобной, объем запашки и сенокосов и распространяясь насчет мельниц, строевого леса и рыбных ловель. В полуфранцузской ее речи резко промелькивали народные технические именованья, свидетельствующие, что она очень хорошо изучила всю подноготную суть деревенских доходов и оброчных статей.

Дмитрий Петрович почтительно кивал головой. Иван Афанасьевич, сидя на кончике стула, слушал с удивлением.

«Аи да старушка, – думал он, – министр, да и только!»

Графиня не умолкала.

В коротких словах коснулась она злоупотреблений, необходимых в управлении имениями при отсутствии владельцев, потом рассказала, как поверенные ее всегда подкупаются сметливыми торговцами, имеющими дело с ее конторой. По этой причине частые ревизии необходимы. С провинившимися надо для примера поступать строго, взыскать по возможности или даже представить в суд, на каковой случай Иван Афанасьевич получит письмо к губернатору. Потом объявила она, что до сего времени не может размежеваться с соседом, который хочет завладеть ее землей, тогда как между ними постановлена была межа и существует живое урочище.

Наконец, она упомянула еще об одном тяжёбном деле с соседом, устроившим какую-то плотину, от которой потопляются ее луга. Все это надо было привести в известность и порядок. Вообще доходы надо было умножить по возможности, потому что она нуждается в деньгах и привыкла много проживать.

– Мне совестно, – заключила графиня, – предложить вам какое-нибудь жалованье. Ваши труды будут для меня дружеским одолжением. Я их никогда не забуду. Впрочем, Дмитрий Петрович должен условиться с вами насчет издержек. С своей стороны, я надеюсь, что вы не откажетесь помочь бедной старухе.

Эти слова выговорила графиня с некоторым кокетством. Иван Афанасьевич встал с своего места.

– Усердие мое... – начал он.

– Садитесь, пожалуйста, – прервала графиня.

– Усердие мое... – продолжал, садясь, Иван Афанасьевич, – может быть, с помощью божией в отношении этих дел, одолеет какие ни на есть препятствия.

Я человек простой, ваше сиятельство, и, как смею доложить, не люблю неправды. Прослужив тридцать с лишком лет, слава богу, я кое-чему и наметался. Исполнить ваше желание не бог знает что такое.

– Так вы согласны ехать? – спросила графиня.

– Позвольте доложить, – сказал, вставая, Иван Афанасьевич.

– Садитесь, пожалуйста, – прервала графиня.

– Позвольте доложить, – продолжал, садясь, Иван Афанасьевич, – я бы с моим удовольствием, да тут явилось одно-с обстоятельство. Небезызвестно, может быть, вашему сиятельству, что при мне

находится единственная моя единокровная дочь. Недавно только кончила воспитание; сами изволите знать, девушка молодая, с собой взять на короткий вояж невозможно. Она у меня сложения деликатного. Здесь же оставить тоже нельзя-с... родственников близких никого нет-с. г – Несравненная девица! – почтительно присовокупил Дмитрий Петрович. – Какая образованная! Какая, можно сказать, воспитанная! Во всех науках была первая. Если б изволили слышать, как по-французски говорит, и какая прекрасная собою, смею доложить, редко видывал таких красавиц... да мало, что красавица, а главное, какая обходительная! Как умеет держать себя, знает, как и чем угодить всякому, – редкая, можно сказать, девица!

– Добрая, добрая девка, – выговорил, немного забывшись, растроганный Иван Афанасьевич.

– Это все можно устроить, – добродушно начала графиня. – Дочь ваша могла бы жить до возвращения вашего у меня. Ей, может быть, с старухой будет немного скучно, да я постараюсь помолодеть для нее.

Дмитрий Петрович выразительно взглянул на Ивана Афанасьевича.

– Это даже будет для меня новым одолжением, Я воспитанницу свою выдала замуж, а теперь живу одна, то есть с моей приятельницей, Клеопатрой Ильиничной, которая, по дружбе своей, меня не оставляет.

Тут только чиновники заметили, что в комнате в уголку сидела еще дама, и дама старая, безмолвная, нахмуренная, в чепчике, с шерстяным вязаньем в руках.

– Клеопатра Ильинична будет неотлучно с вашей дочерью.

Иван Афанасьевич почтительно поклонился Клеопатре Ильиничне. Клеопатра Ильинична сделала гримасу, как кошка, которой отдавили хвост, и продолжала свое вязанье.

Графиня все становилась ласковее. В ней действительно проглядывала добрая душа.

– Как ваше имя? – спросила она.

– Иван-с... – сказал Иван Афанасьевич, вставая с места.

– Садитесь, пожалуйста, а по батюшке?

– Афанасьев.

– Иван Афанасьич, я надеюсь, мы будем хорошими друзьями. О дочери вашей не беспокойтесь, я уверена, что мы скоро полюбим друг друга... я скоро привязываюсь. К тому ж она может сделать

знакомство, у меня многие бывают, может быть, мне удастся и судьбу ее устроить. Знаете ли, Иван Афанасьевич, вы обо мне позаботьтесь, а я буду заботиться о вашей дочери. Может быть, она найдет здесь свое счастье.

– Матушка! Ваше сиятельство!.. – воскликнул, вскочив с места, Иван Афанасьевич.

– Садитесь же, пожалуйста.

– Ваше графское сиятельство, – сказал растроганным голосом Иван Афанасьевич, – коли вы Настеньку мою пристроите, так я не только в ревизоры, для вас сам землю пахать пойду. Это-то меня и сокрушает. Ведь только слава, что обер-офицер, а нынче меня не стало – с кем останется Настенька? Состояния ведь никакого.

Поверите ли, по ночам не сплю. Пенсию дадут, да штаб-офицерскую. А ведь она у меня избалованная, по французскому воспитанию. Что с ней будет? Не оставьте, ваше графское сиятельство! По гроб жизни стану за вас бога молить.

– Клеопатра Ильинична! – сказала графиня. – Прикажите приготовить комнату, где жила Машенька.

Клеопатра Ильинична фыркнула что-то себе под нос и вышла из кабинета, довольно невежливо прихлопнув за собою дверь.

Графиня обратилась с приветливой улыбкой к Ивану Афанасьевичу.

– Итак, дело кончено. Я прошу вас только об одном: поезжайте завтра или послезавтра. Каждая минута дорога.

– Извольте-с... ваше сиятельство... – сказал Иван Афанасьевич, – только как же насчет инструкции?

– Это вам все объяснит Дмитрий Петрович, а мне остается только благодарить вас и просить не забывать обо мне.

После этих слов чиновники встали, раскланялись и вышли.

В передней Дмитрий Петрович принял важную и немного гордую осанку. Иван Афанасьевич тоже несколько ободрился. Мысль, что Настенька будет жить в знатном кругу, льстила его самолюбию. Штаб-офицерство его торжествовало; но по мере того как он приближался к дому, малодушное тщеславие постепенно исчезало и чувство отца все более и более брало над ним верх. Робко вошел он к себе, походил по комнате, побранил немного, без всякой причины, Акулину, спросил у

дочери, не пора ли обедать, поцеловал ее и заплакал. Его томило тяжкое предчувствие.

– Вы решились ехать? – воскликнула испуганная дочь.

Иван Афанасьевич не отвечал.

– Не уезжайте, ради бога. Что я буду одна, с чужими? Я боюсь этого. Не оставляйте меня, не оставляйте, если вы меня только любите.

Акулина принялась было тоже уговаривать, да Иван Афанасьевич сердито прогнал ее в кухню.

– Я дал слово, – сказал он довольно решительно, – слово мое свято, извольте укладываться. Завтра я отвезу тебя к твоей благодетельнице, а послезавтра и покачу молодцом. Да из чего тут, в самом деле, тревожиться?

Еду я всего на четыре месяца. Ты будешь в таком доме, где бы век тебе жить по воспитанию, да и пора было, Настенька. Ты этого, мой светик, не заметила, а тут бог знает в балькинском доме какой народ живет: не посмотрят, что благородная девушка... а там и ведайся с ними.

При этих словах Настенька побледнела как смерть, голова ее тихо опустилась. Делать было нечего.

Сели обедать. Иван Афанасьевич хотел было развеселиться, да не мог. Шутки его не находили отголоска в душе. Притворный смех оканчивался тяжким вздохом.

Акулина была очень сердита. Настенька молчала. После обеда Иван Афанасьевич ушел к Дмитрию Петровичу хлопотать об инструкции и отпуске.

Как только он ушел, Настенька поспешно выслала Акулину в кухню, а сама бросилась к окну. Стыдиться было уж нечего. Они расстанутся; она хотела видеть его, проститься с ним, крикнуть ему, что она его любит, что их разлучают, что не видеть им более друг друга. Сердце ее не предвещало ничего доброго. В балькинском доме окно было затворено, у окна никого не было.

Дорого бы дала в эту минуту молодая девушка, чтоб окно вдруг отворилось, чтоб перед глазами ее явился сосед с его умоляющим, трогательным видом. Теперь она не мучила бы уж его притворным равнодушием, она бы перебросила ему всю душу свою и нагляделась бы на него, налюбовалась бы им. Окно было затворено: у окна никого не было.

Печально начала Настя прощаться с своей комнаткой, и ей показалось, что ничего не могло быть лучше этой простой, бедной комнатки. Она не понимала, чтоб можно было расстаться с этой комнаткой, от которой он так близко, в которой она так часто о нем думала и не хотела о нем думать. Теперь уж притворяться перед собой нечего: она его любит всеми силами души, она готова ему жизнь отдать. И эту комнатку она должна оставить, эти миленькие ширмы, этот красивый комодец, это незабвенное окно – она все это покинет завтра! Она останется одна, совершенно одна, без комнатки, без Акулины, без доброго отца, который не понимает ее, может быть, но которого она так любит...

Грустно начала она перебирать и укладывать свои вещи. Сперва отобрала она тщательно и связала вместе все свои пансионские воспоминания: тетрадки, записки обожаемых девиц, нежные и строго запрещенные стишки, наскоро написанные мелкими буквами, несколько плохих рисунков с заветными вензелями. Потом уложила она свои изорванные книжки, все исписанные по полям восторженными восклицаниями: «божественная», «несравненная» и тому подобное; потом отложила она в сторону образа свои – наследие матери и благословение отца; потом начала складывать свои скромные наряды и вдруг остановилась со вздохом и улыбкой. Вот платье, которое было на ней во время памятной поездки по железной дороге. В этом платье она говорила с ним в первый раз, в первый раз почувствовала мучительную и сладкую тревогу. Кто бы мог подумать тогда, что эта тревога сделается ее постоянным занятием, ее никогда не покидающей мыслью.

И снова подошла она к окну и снова начала плядеть на ту сторону улицы, стараясь чудной силой воли отворить это безжалостное окно и вызвать нежное лицо любимого для последнего, страстного, безнадежного прощанья.

Окно не отворилось. По щекам Насти слезы покатались градом.

Так прошел целый вечер.

Иван Афанасьевич возвратился поздно домой. Дмитрий Петрович успел уж выхлопотать для него у директора отпуск, взял для него место на другой же день в вечерний дилижанс и оказал невероятную деятельность в чужом деле. Иван Афанасьевич не прекословил и повиновался всему, как ребенок.

На другой день он отвез дочь к графине. Графиня осмотрела Настеньку с ног до головы и, по-видимому, осталась довольна. Она сказала ей несколько ласковых слов, сама отвела ее в назначенную для нее комнату и озаботилась, чтоб в комнате было все, что нужно. После этого графиня ушла, сказав, что при прощании она лишняя, что дома она не обедает, а что если Настеньке не будет скучно, то она желала бы, чтоб Настенька пришла к ней вечером разливать чай, как то делала прежняя ее воспитанница. Сказав все это, она поручила себя благорасположению сконфуженного Ивана Афанасьевича и отправилась по визитам, а потом на какой-то званый обед.

Комната Настеньки была чудом роскоши в сравнении с той, с которой она только что рассталась. Большие шелковые занавесы (правда, полинялые) украшали окна. Ковер весь истерся, а мебель тускло отсвечивала почерневшей позолотой.

Настенька глядела печально на все эти жалкие лохмотья отставного богатства, попавшие сюда только потому, что их девать было некуда.

Наступила минута прощанья.

Иван Афанасьевич начал было говорить Настеньке, чтоб она угождала графине, не забывала писать к нему и молилась богу, но он не мог окончить своего наставления, заикнулся и зарыдал как ребенок. Настенька бросилась к нему на шею, и так стояли они, смешивая свои слезы, долго не будучи в силах выговорить ни слова.

– Настенька, – начал шептать, рыдая, старик, – радость моя... светик ты мой!.. Видит бог... не ты бы... не поехал бы я. Да как не ехать, моя душенька... это для твоего же блага. Все будет к лучшему; не забывай только старика, пиши почаще. А мне для здоровья вояж полезен. Доктор приказал: все-де жизнь веду сидячую.

Увидишь, каким молодцом приеду... Ну, прощай, успокойся, мой дружок... На... Настенька ты моя!

– Не оставляйте меня здесь долго, – жалобно стонала Настенька, – мне страшно здесь...

– Ну, ну, перестань же... Господь с тобою. Скоро увидимся. Благослови тебя господь.

Иван Афанасьевич прижал снова дочь свою к груди, перекрестил ее поникшую голову и выбежал, не оглядываясь, из комнаты.

Настенька почти без чувств упала в кресла.

Долго оставалась она так, без движения и почти без мысли.

В голове ее все смешивалось в темный, неопределенный хаос. То слышался ей веселый лепет подруг молодости, то стук железной дороги, то страстный голос белокурого соседа, то прощальные слова старика. Она вдруг неожиданно, внезапно была отторгнута, отделена от всего, к чему привыкла. Душа ее словно осиротела. Она боялась гордых стен своего нового жилища; она боялась графини и чувствовала, что ласка графини так же лжива, как и лицо.

День прошел в грустном одиночестве. В десять часов вечера вошла в комнату горничная и объявила довольно грубо, что графиня просит к себе чай разливать.

Настенька вздрогнула. Машинально встала она с места и отправилась на зов.

Графиня сидела в тускло освещенном кабинете, за ширмами, у ломберного стола, и играла в карты с Клеопатрой Ильиничной и каким-то сладким господином. При появлении своей новой собеседницы графиня приятно улыбнулась и сказала несколько приветливых слов, но Настенька ничего не расслышала, кровь хлынула к ее сердцу; она едва удержалась на ногах. Подле кресел графини, щегольски одетый и поникнув белокурой головой, сидел он, он сам, тот, с которым она только что простилась в душе навек! Он тоже вскочил с места, бледный и трепетный, едва переводя дыхание.

– Настасья Ивановна, – сказала графиня, – позвольте мне представить вам внука моего, князя Андрея.

Молодой человек неловко поклонился и выговорил с трудом несколько бессвязных слов; но взоры его придали им смысл. Настенька покраснела по уши и бросилась к самовару.

– Игра в червях, – торжественно объявила Клеопатра Ильинична.

– Пас! – вымолвил, улыбаясь, сладкий господин.

– Какие вы несносные, Клеопатра Ильинична! – сказала графиня. – У вас всегда огромные игры, а у меня вечно семерки.

Графиня, как все старухи, не любила проигрывать.

V

Старушка нашего времени и молодость всех времен

Европейское просвещение перемешало у нас некоторым образом сословия и даже возрасты. Теперь все светские люди одних лет: молодые чересчур стары, старые чересчур молоды, бабушки пожимают руки корнетам, дедушки курят пахитосы с своими внучками. Над всеми владычествует общий салонный уровень, все одеты одинаково, все проводят время одинаково, все озабочены тем же ничем. Только на иных вид действительной молодости, на других декорация молодости, обман в пользу приличия.

Не знаю, надо ли жалеть о старине; но как, скажите, не пожалеть о наших прежних маститых стариках, составлявших во время оно лучшую опору нашей народной патриархальности? Как не пожалеть о добрых наших старушках, которые берегли семейственность и долговечным примером, благочестивой жизнью охраняли в обществе спасительные начала нравственности?

Роль старушки исчезает у нас с каждым днем. Мы дожили до эпохи странной снисходительности ко всему молодому и бережно скрываем свои года, совестимся своих морщин. Мы малодушно потворствуем легковерию века. Теперь мы все молоды, чересчур молоды, непростительно молоды, но молоды, впрочем, не той живой и здоровой молодостью, которая играет отвагой и силой: мы молоды болезненной молодостью, требующей игрушек и рассеяния, а не свежей мысли, не полезного дела.

Давно ли, кажется, жили у нас в Петербурге добрые, незабвенные, настоящие старушки, которые владычествовали над общественным мнением, которых внимание почиталось за честь, которых слово дорого ценилось?

Мы помним еще ту высокую сановницу, которая любила окружать себя живой беседой и среди волнений жизни умела сохранить мирное доброжелательство, неизменное добродушие и тихое спокойствие ничем не взволнованной совести.

А та, у которой сам Пушкин учился уму, та, которой каждое слово поражало невольно оригинальностью и глубоким знанием человеческого сердца... Кто, видевший ее хоть раз, не оставил навек в памяти своей воспоминания от этой встречи? Когда незабвенная старушка начинала живописными красками изображать времена своей молодости и славы Екатерины – любо было и весело вслушиваться в ее колкую, звонкую речь, и юноши, слушая ее, забывали, что есть молодые женщины на свете. С этим необыкновенным умом сливалось нежное, любящее сердце, молодое и в самых преклонных годах, жаждущее всякого теплого чувства, готовое на всякое доброе и благородное дело. Оттого ей и не нужно было молодиться, чтоб привлечь к себе внимание.

Пишущий эти строки сам долго имел счастье видеть в своей семье такой пример общего уважения. Никогда не забудет он, и многие, верно, не забудут с ним ту нероскошную комнату, где за ширмами, в больших креслах, с зеленым зонтиком на глазах, сидела, согнувшись, восьмидесятилетняя старушка – доживающий остаток исчезающего быта. Всякому был готов дружеский и радушный прием, для всякого был прибор накрыт за сытным, хотя неизысканным столом: чем бог послал, сыты не сыты, а за обед почтите. Всякое родство, как бы отдаленно оно ни было, почиталось святыней, и добрая старушка дорожила им, несмотря ни на знатность, ни на значение родственников. Бывало, приедет из губернии какой-нибудь помещик с сыновьями и, не думая долго, идет к старушке. Едва успел он назвать себя, старушка расскажет уж сама ему всю родню его, кто на ком был женат, кто кому тетка, кто племянник, и наконец отыщет-таки какое-нибудь родство и с собой. Вследствие этого старушка хлопочет за родню, определяет сыновей в корпус и берет их на свое попечение, а помещик, утешенный и довольный, возвращается в деревню. И это было не пустое обещание – слово исполнялось свято: несмотря на слабость преклонных лет, она действительно следила за воспитанием молодых людей, в праздники и воскресные дни требовала, чтоб они непременно являлись к ней, журила их за шалости, ласкала за хорошее поведение, даже заезжала к ним в корпус, когда они были больны, и просила о них в случае надобности наставников и старших. Многие, ныне возмужалые и рассыпанные по России, вспомнят свою

молодость, читая эти строки, и от души почтят благословением прах незабвенной старушки.

Принимаясь за описание современной старушки, мы хотели отдохнуть сперва мыслью и душой над тем успокоительным образом, который так неизгладимо врезался в нашей памяти.

В противоположность прежним старушкам, в старушке, о которой я теперь веду рассказ, не было ничего старого. Привычка к рассеянной светской жизни обратилась в ней во вторую природу. Она нарядно переживала третье поколение сплетней, балов и визитов. В молодости она была красавицей, и единственным ее занятием было обожание собственной особы. Никто лучше ее не умел выдумать какую-нибудь дерзкую прическу, отважиться на небывалую фалбалу и пустить в моду такую штуку, о которой обыкновенная модница и подумать бы не смела. Старость определилась для нее резким образом. Она отказалась от розового цвета и начала играть в карты. Это, кажется, было самым важным переворотом в ее жизни. Правда, злые языки утверждали, что во время оно соблазнительная хроника записала не раз в своих летописях имя прекрасной графини. Сердечные увлечения были и у нас когда-то в моде...

Одного нельзя было оспаривать у графини: она была чрезвычайно умна и отлично знала все слабые стороны человеческого сердца. Светская психология была ей знакома до малейшей тонкости. Родись она мужчиной, она могла бы быть дипломатом или министром; родись двадцатью годами раньше, она бы могла быть президентом какой-нибудь академии, но в ее эпоху старухи не руководили более обществом, а прицеплялись кое-как к нему, из милости, чтоб только не быть отброшенными вовсе в сторону. От этого, весьма естественно, развилось в старой графине чувство постоянного недовольства и странного равнодушия не к свету, а к человеку. Она утратила ту вечную душевную благонамеренность, которая сопутствовала прежним старухам до могилы и позволяла им сочувствовать свежим впечатлениям молодости. Почти неизбежный порок старости – эгоизм – развился у графини в страшных размерах, и надо заметить, что эгоизм такой порок, который всегда находит для себя пристойную личину, не только что извинение. Графиня всегда жаловалась на людей, не понимая, что она сама для них ничего не сделала и не вправе была ожидать чего-либо от них. Единственная ее дочь умерла где-то за

границей, оставив ей сына Андрея, который жил у своей бабушки, учился как мог и выдержал экзамен. Но между старухой и молодым человеком не было никакой душевной связи: ни сердечной заботливости с одной стороны, ни безусловной преданности с другой. Они, впрочем, любили друг друга как могли: она – с величавым пренебрежением, он – с детским малодушием. Она не принимала участия ни в его развлечениях, ни в его намерениях и надеждах. Он боязливо бегал от ее холодных, резких суждений, от которых только сжималось сердце его, готовое на любовь.

Графиня жила открыто, принимала часто гостей, но притом была скупа до крайности. Она сама вела свои расчеты, тушила лишние свечи, поверяла повара, строго взыскивала с людей. Глядя на ее важно аристократические приемы, никак нельзя было полагать, чтоб ей были известны цены съестных припасов и лошадиного корма.

Ей усердно помогала по хозяйству Клеопатра Ильинична, которая держала чай и сахар под замком и бранилась с целым домом, не столько из привязанности к графине, сколько для собственного удовольствия. Клеопатра Ильинична была одним из тех жалких созданий, которые вымещают на целом человеческом роде собственные неудачи. Дочь бедных, но неблагородных родителей, она с незапамятных времен жила в доме графини, отлично знала ее слабости и употребляла их в пользу своей завистливости и желчной досады на судьбу. Оставшись старой девой и отказавшись с ожесточенной решимостью от пылких заманок сердца, она вооружилась принужденной добродетелью, чтоб преследовать и клеймить те чудные впечатления, которые не были даны ей в удел. Как будто нарочно портила она все, к чему только прикасалась, обращала набожность в ханжество, бережливость в скарденность, даже самую привязанность к благодетельнице – в какое-то тиранство, от которого графиня, при всей резкости своего характера, не могла освободиться благодаря привычке и старости. Обе старухи жили в какой-то странной злобной дружбе, знали, что друг друга не любят, и со всем тем до того свыклись, что никак не могли разойтись.

Само собой разумеется, что Клеопатра Ильинична ненавидела все молодое, как бы дразнившее ее, а вдобавок ревновала ко всем кто мог бы ослабить некоторым образом ее влияние на графиню. Едва успела она вытеснить прежнюю воспитанницу, решившуюся на отчаянный

брак, чтоб скрыться только от ее преследований, как вдруг появилась новая цель для ненависти – беззащитная Настенька, не знающая даже о существовании унижительных чувств уязвленного самолюбия и прозорливой скупости. С первого взгляда Клеопатра Ильинична возненавидела свою новую соперницу. Смущение ее при встрече с молодым князем не ускользнуло от ее внимания. Радость, озарившая черты молодого человека, отозвалась в ее душе резким, обидным ударом. В то время как молодые люди, трепетные и безмолвные, не смели даже взглянуть друг на друга и как бы изнемогали под чудным бременем неожиданного и беспредельного блаженства, завистливый взгляд преследовал каждое их движение, и злобная улыбка, как отдаленная молния, предвещала их счастливой беззаботности неминуемую грозу.

Вечер прошел незаметно. Против обыкновения, Андрей, появившийся в гостиной бабушки только на самое короткое время, не думал уходить. Он выпил страшное количество чашек чая и начал рассказывать с большим одушевлением о разных светских пустяках. Настенька слушала его с заметным увлечением, Клеопатра Ильинична с мрачной сонливостью. Графиня несколько раз улыбнулась из-за карточного стола и внуку своему и молодой девушке. Наконец партия кончилась. Все разошлись, кроме двух старух, и Клеопатра Ильинична тотчас же начала свои нападения на новую соперницу. Яркими красками изобразила она смущение и радость молодых людей при встрече, наглое кокетство с улицы взятой девчонки и заключила порывом благородного негодования против безнравственности века. Графиня, напротив, была очень довольна и весела. Может быть, она внутренне тешилась бешенством своей наперсницы. Во всяком случае, внимание, оказанное Андреем Настеньке, ей очень нравилось.

– Я бы очень желала, – сказала она, насмешливо поглядывая на Клеопатру Ильиничну, – чтоб мой Андрей хорошенько влюбился в Настасью Ивановну. Для молодых людей это спасительно: отдаляет их от разных опасных развлечений и, кроме того, доставит мне удовольствие часто его видеть. Ты, кажется, молода не бывала, так тебе сердечных радостей и понижать нельзя.

– Отчего вы это думаете? – обидчиво воскликнула старая дева. – В меня бывали влюблены люди почище вашего внука. Только я была так воспитана, что никогда бы не позволила им никакой вольности. Мне

бы захотеть только стоило, я сама бы могла жить по-барски, да беда моя, что я не так воспитана.

– Так ли? – возразила графиня.

– А вы не верите? Вот благодарность, которую заслужила я после моей тридцатилетней привязанности!

Для вас последняя горничная больше меня значит. Вам только и удовольствия, чтоб разобидеть меня. Впрочем, уж так, видно, создан свет: чем больше для людей делаешь, тем меньше они чувствуют. По мне, пожалуй, берите кого хотите – мне какое дело? Вам будет стыдно, что вы терпите всякое бесчинство в доме, а не мне. Меня, слава богу, подозревать никто не станет. Я у вас хуже всякой тряпки.

Клеопатра Ильинична расплакалась. Графиня рассердилась. Старухи разбранились и разошлись.

А Андрей и Настенька были как сами не свои. При расставанье они улыбнулись друг другу и вместе выговорили: «До свиданья». В этом слове заключалось все счастье, переполнявшее их душу. До свиданья – то есть до завтрашнего дня, то есть до осуществления тайной взаимной мечты. Теперь уж нет ни опасения, ни урывчатых встреч, ни угрызений совести – ничего нет, кроме светлого сознания, что они живут под одним кровом, дышат одним воздухом; желания их никогда далее не простирались. Оба они были как бы под влиянием несбыточного сна. Сладко заснули они оба, и оба, проснувшись, испугались при мысли, что не спят ли они еще. Но нет, вчерашнее случилось точно: они живут в одном доме. Как весело, как свободно вздохнула тогда грудь их! Как ярко сверкнуло для них солнце! Как необъятно показалось им небо! Как хороша явилась им жизнь!

Поутру Настенька, полюбовавшись своей комнатой, которая вдруг показалась ей чудом роскоши и великолепия, сошла к графине; графиня была еще в постели и до окончательного туалета, то есть до трех часов; никого, кроме девушек и Клеопатры Ильиничны, не впускала.

Настенька едва успела выслушать довольно резкий отказ, как в кабинет явился Андрей, тоже привлеченный необыкновенной заботливостью о здоровье бабушки. Настенька покраснела, Андрей взглянул на нее так нежно, что в ней сердце задрожало. Он тихо взял ее за руку.

– Наконец... – сказал он.

– Да... – прошептала она, – странно... не правда ли?..

– Отчего же говорят, – продолжал он, – что счастье невозможно? Что за пустяки! Как невозможно?

А что у меня на душе, как не счастье, настоящее счастье?

Оно пройдет, может статься, когда-нибудь, но все-таки оно было, а если было, так и быть может. Люди вообще не несчастны, а неблагодарны. Им все мало. Как будто минуты, подобные нынешним, могут повторяться часто, как будто одной минуты не достаточно на счастье целой жизни!

– Зачем вы князь!.. – боязливо вымолвила Настенька, выражая тем свою самую задушевную мысль.

Андрей улыбнулся.

– Я князь потому, что счастлив, – отвечал он. – А вы не рады, что меня здесь видите?

Она посмотрела на него выразительно, но ничего не отвечала. В комнату вошла Клеопатра Ильинична, и обратилась к Настеньке с просьбой любить ее и жаловать.

– Вам с старухами, – прибавила она, – будет скучно, так вот молодой человек, который, надеюсь, не будет оставлять вас своей беседой. Графиня поручила мне сказать вам, что до трех часов вы совершенно свободны.

В три часа графиня ездит кататься, и тогда, если вам угодно, вы можете сопровождать ее. Вечером графине будет приятно видеть вас в своей гостиной. Если у вас нет порядочного платья, то графиня поручила мне спросить, сколько вам нужно будет денег, и я их вам выдам.

Настенька вспыхнула.

– Мне ничего не нужно, – отвечала она поспешно, – папенька оставил мне на издержки.

– Как вам угодно. Позвольте еще одно замечание: неприлично вам оставаться наедине с молодым человеком. Хотя наш князек еще ребенок, но все-таки вы должны дорожить своей репутацией. Так как мне делать нечего, то я надеюсь, что вы не откажете в свое свободное время приходить в мою комнату.

Андрей едва не бросился на старую деву за подобное предложение.

Клеопатра Ильинична взяла под руку свою новую питомицу и увлекла ее в свою комнату. Андрей убежал к Пруткову.

Так началось, так и продолжалось новое житье Настеньки. С одной стороны, любовь Андрея – одно присутствие его было для нее неисчерпаемым источником тихой радости, с другой – неотвязчивое преследование.

Клеопатры Ильиничны и величавое, снисходительное пренебрежение графини отравляли ее жизнь. Она узнала всю горечь чужого хлеба. Зависимость, как бы ни была она вызолочена, не согласовалась с ее характером, потому что ей странно было, что никто о ней не заботился, не предугадывал ее желания, не располагал дня по ее назначению. Она становилась принадлежностью, чем-то вроде лишней мебели или опахала; ее брали и откладывали в сторону, не спрашивая ее согласия. К тому ж она скоро познакомилась с новым язвительным чувством, с чувством нищеты среди роскоши. Отказавшись от благодеяний графини по невольному порыву благородной гордости, она не рассчитала, что вся сумма, оставленная ей отцом, едва могла быть достаточна на один день нарядной жизни. Графиня же, с своей стороны, благодаря неизлечимой скупости не обременяла ее новой щедростью. Не зная бедности на убогом чердаке своем, Настенька узнала ее в роскошных покоях, где каждая принадлежность напоминала ей о собственной ее недостаточности. Подобные явления встречаются нередко в большом свете. Глядя на кружева и браслеты нарядных дам, посещавших графиню, Настенька невольно припоминала, что каждая пара перчаток была для нее предметом особого соображения. И со всем тем она скорее умерла бы на месте, чем созналась кому бы то ни было, что белье ее грубо, что башмаки ее изнашивались. Мысль, что Андрей может заметить какое-нибудь пятно на ее платье, бросала ее в лихорадку. Какой молодой девушке не хочется нравиться, в особенности тому, кого она любит? А как Сочетать с возвышенной любовью мысль о грошовом расчете и прозаическом обветшании наряда? Впрочем, эти опасения были напрасны: Андрей, как человек богатый и к тому же влюбленный, не подозревал подобных лишений. Любовь носится в мире идеальном, в-небе душевных наслаждений и не глядит себе под ноги, не замечает, как пресмыкаются на земле сущность и нужда.

Как весьма основательно заметила графиня, Андрей оставался почти всегда дома и почти не выходил из гостиной. Клеопатра Ильинична следила за ним, как заботливая мать или ревнивая жена.

Редко, очень редко удавалось Андрею перекинуть слова два наедине с Настенькой, но и эти слова от постоянного принуждения не были удовлетворительны. Настенька начинала предчувствовать и бояться. Андрей начинал сердиться.

В то время племянница графини вышла замуж. Свадьба была великолепная. Петербург говорил о ней целые пять минут. Графиня, как посаженная мать и ближайшая родственница новобрачной, почла обязанностью ознаменовать балом брачное торжество. Надо заметить, что, когда нужно было поддержать блеск своего имени, графиня забывала природную свою скупость, в душе ее тогда происходила странная борьба между аристократическим тщеславием и обыкновенными привычками. Оттого возникали весьма забавные столкновения. По светскому навыку она знала, что нужно для пышного бала, но, исполняя такие требования, придумывала уловки, достойные Гарпагона. Клеопатра Ильинична усердно помогала ей во всех распоряжениях. Настеньке было приказано быть на бале, но тем и ограничилось дальнейшее о ней попечение.

Наступил день, или, правильнее, наступила ночь, наг значенная для праздника. Графиня, утопая в волнах кружев и лент, принимала гостей с благородной величавостью и отличным знанием приличий. Для иных она вставала с кресел, для других приподнималась вполовину, иным говорила несколько приветливых слов, иным кивала головой, для иных, самых незначительных, просто хлопала глазами. Комнаты скоро наполнились той пестрой толпой, которая составляет цвет петербургского общества. Так как графиня считалась дамой весьма исключительной и допускающей круг только самого чистокровного знакомства, то все приглашенные явились на зов, чтоб доказать присутствием своим неоспоримое свое право на аристократизм. Тут были и тузы, и отцветшие красавицы, и целая фаланга молодых людей; тут были молодые девушки с робкою поступью и бойкими взглядами и матушки в токах, тихо дремлющие под звуки оркестра; тут были иностранцы и русские, люди, приехавшие из видов, и так, просто, потому – что им деваться было некуда и потому что все-таки лучше провести вечер на бале, чем дома; словом, тут был весь петербургский большой свет, с его надоевшими друг другу лицами, с его привычными брильянтами, с его знакомыми улыбками и польками, с прислугой в башмаках, сверкающим буфетом

и утомительной духотой. К двенадцати часам крмнаты были набиты битком, и жара была невыносимая.

Графиня была очень довольна и то и дело представляла внука своего знатным вельможам и важным барыням, вступавшим в бальную залу. Так как всем было известно, что Андрей – единственный наследник графини, то все наперерыв жали ему руки и осыпали его приветствиями. Многие матушки заводили даже с ним серьезный разговор о современной политике, но Андрею было не до того, сердце его было приковано к углу залы, где Настенька, в скромном белом платье, сидела всеми забытая. Две или три подруги детства поздоровались с ней с дружелюбным удивлением и тотчас же унеслись в вихре вальса, опираясь на ловких гвардейцев. Два старика, в белых галстуках и завитых париках, несколько времени постояли перед Настенькой и начали перешептываться, поглядывая на нее и улыбаясь довольно двусмысленно.

Между тем бал понемногу оживлялся. Светская принужденность и официальная скука мало-помалу уступали место молодости, которая всегда и везде возьмет свое.

Шпоры начали побрякивать звонче и чаще; лица танцующих оживились, локоны распустились, глаза засверкали; по мере того как старые и лишние исчезали, настоящие владельцы бала, то есть молодые люди, вступали в свои права. Оркестр заливался упоительными звуками вальса, звуками, полными неги. Андрей стоял у колонны и думал. Он не обижался общим пренебрежением толпы к Настеньке и даже не замечал его, но он чувствовал, что торжественность бала, восторг молодости, даже самая музыка настроивали его душу к светлому вдохновению. Любовь обхватывала его своим жгучим пламенем. Он глядел на Настеньку, и ему казалось, что она в простом наряде царствовала над всеми этими лоскутьями и камешками, которые вертелись кругом него.

Он думал об одном только: как бы броситься к ее ногам, обхватить ее трепетными руками и унести ее туда, где нет ни большого, ни маленького света, где только сияет вечно яркий, вечно прекрасный свет счастья и любви.

Так думал Андрей, и вдруг она вышла из комнаты.

С ней исчезло все – и бал, и люди, и все его окружавшее. Андрей не мог остаться на месте, невидимая сила толкала его. Он вошел в

спальню графини, оттуда в длинный коридор и остановился, опомнился только у комнаты Настеньки. Комната тускло освещалась нагоревшей свечкой. Настенька сидела у стола, наклонив на руку голову, и горько плакала.

– Что с вами? – тихо сказал Андрей, робко остановившись. Прошла минута, каких немного бывает на земле, потому что тогда земля исчезает. Вдруг оба вскрикнули, оба кинулись в объятия друг друга, оба сказали друг другу «ты». Руки их встретились, глаза слились в одном взгляде. Настенька не переставала плакать, но слезы ее были не плачем скорби, а сверкающим покровом тихого блаженства. И как были хороши они тогда! Он – как олицетворенное вдохновение, она – как олицетворенная любовь. Долго ли они так сидели и что было говорено тогда между ними – этого никогда не могли они припомнить. А издали глухо раздавался веселый говор скрипок, шарканья и бальной суеты. Вдруг оркестр остановился. Молодые люди опомнились. В дверях стояла Клеопатра Ильинична с обиженным видом.

– Где это вы, князь? – сказала она. – Вас бабушка два раза спрашивала.

Андрей опрометью выбежал из комнаты.

– А вы, моя милая, что ж не танцуете? – продолжала неумолимо Клеопатра Ильинична, обращаясь к молодой девушке.

– Я никого там не знаю, – едва внятно отвечала Настенька.

– Да, и в самом деле, не ваша компания. Впрочем, вы, кажется, и здесь нескучно время провели... Только что на это скажет графиня?..

Настенька побледнела, а Клеопатра Ильинична, улыбнувшись, с чувством собственной непорочности важно вышла из комнаты.

VI

Убеждение

Несколько дней спустя графиня проснулась довольно рано и завтракала в кровати. По мягкому ковру спальни мелькали три девушки, как тени, приготавливая все снаряды и снадобья таинственного туалета. Сквозь спущенные шторы свет едва проникал в комнату, тускло освещая безобразное лицо графини – еще не подготовленное и не разукрашенное. В спальню вошла Клеопатра Ильинична с торжественною физиономиею, отослала девушек повелительным знаком и спросила о здоровье графини. Впрочем, в этом ежедневном приветствии очевидно обнаружилось только предисловие.

– Что нового? – спросила графиня.

– Да что нового! – подхватила Клеопатра Ильинична. – Вот вы опять дурно почивали. Я удивляюсь, как вы совсем не занеможете. Да и поделом вам, право! Берете себе бог знает кого в дом, делаете себе беспокойство. Мне бы не след говорить, да характер у меня такой: видеть не могу хладнокровно...

– Об Настасье Ивановне опять? – спросила, слегка улыбнувшись, графиня.

– Да о ком же еще? Наделает она вам хлопот – помяните мое слово. Да вот все не верите.

– Ну-ну, что ж? Говори!..

– Говори! Что мне говорить! Меня никогда не спрашивают. Я здесь что у вас? Каждая с улицы больше для вас значит.

– Ну, не сердись; ты знаешь, я в завещании тебя не забуду.

– На что оно мне, ваше завещание-то? Не надо.

И без него проживу свой век. У меня есть свои родственники, такие же генералы, как вы. Сколько раз хотела вас оставить...

– Что ты, Клеопатра Ильинична?

– Да так, я даром что не в молодых годах, а всетаки девушка. Мне неприлично жить в доме, где происходят такие вещи, что девице и говорить о них стыдно.

– Опять напроказил Андрей? – спросила графиня.

– Напроказит он вам, будете помнить его проказы, ничем не исправите потом – вот оно что. Клеопатра Ильинична из лет выживает, и врет она, и ничего – не смыслит она, и дура она, а на поверку дура-то умнее всех ваших умников!

– Да что ж это значит? – с нетерпением сказала графиня. – Говори, что знаешь.

– Ничего не знаю.

– Какая ты, право! Говори, пожалуйста.

– Да что вам говорить! Все толку не будет.

– Да полно же.

– Не скажу ничего.

Как выше замечено, Клеопатра Ильинична пользовалась странным правом прекословить и даже иногда грубить графине, и, по странной снисходительности, графиня, вообще не любившая противоречия, сносила терпеливо капризы своей собеседницы. Впрочем, и то правда, что Клеопатра Ильинична пользовалась своим правом только в тех случаях, когда знала, что перевес решительно на ее стороне.

Обе старухи помолчали несколько времени.

Графиня с беспокойством посматривала на Клеопатру Ильиничну. Клеопатра Ильинична, насупив брови, принялась за шерстяное вязанье.

– Ну, – сказала графиня, – видно, от тебя ничего не дождешься. Позови девушек. Я стану одеваться.

Клеопатра Ильинична бросила поспешно вязанье, вскочила со стула, как черт из табакерки, и побежала к кровати.

– Вот в чем дело. Вот что вы наделали. Честь имею вас поздравить. Князь нашел себе достойную партию, жениться-намерен...

Графиня вытаращила глаза.

– На ком, матушка?

– На ком! Известно, на ком! Вы думаете, Настасья ваша Ивановна теряет время? Нет-с! не на такую напали. И беззащитная она, и сирота она, некому за нее заступиться. А князек, сами знаете, горячка. Бац на колени. Женюсь, говорит. Так что ж вы думаете? Она же не хочет!

– Умна, – заметила графиня.

– Поумнее нас с вами проведет. Я давно заметила и замечаю... с первого раза не полюбилась. Говорила я вам тогда, да нет. Что говорю я, что ветер носит – все равно. Заслужила на старости лет, что всякая холопка больше меня значит.

– Да полно, матушка!

– Нет, правда, правда. Что тут и говорить! Я себе на уме, пляжу, что из этого будет. Стала подмечать.

Вижу, князек-то наш то и дело при ней в лице меняется, а она-то глазенки таращит. Добро, хороши были бы...

– Нет, хороши, – задумчиво возразила графиня.

– Какое хороши, черные, да и все тут. Вот у меня в молодости так уж точно были хороши. А эти что? Знает она свое дело. Вот, думаю я, даром что графиня меня в грош не ставит...

– Да полно, Клеопатра Ильинична!

– Нет, что правда, то правда. Вот думаю я, даром что графиня меня в грош не ставит, я все-таки не дармоедка какая-нибудь, я обязанность свою знаю. Я не какая-нибудь со стороны: буду подмечать за ними, а там и скажу все своей благодетельнице.

– Спасибо, Клеопатра Ильинична.

– Ну, вот, слава богу! наконец и спасибо услышала.

А знаете, ли вы, что они уж прежде были знакомы?

– Полно, матушка, тебе это все кажется, Дмитрий Петрович сказал бы мне.

– Дмитрий Петрович старый дурак, ничего не смыслит, его самого, должно быть, обманули. Нет-с, спрашиваю, каково придумано? Там, на квартире, видеться им было неловко, так чего же легче? Отца-болвана с глаз долой, а они и живут теперь вместе. Нет-с, спрашиваю... каково придумано? Да, впрочем, и отец, может быть, с ними заодно.

– Ну-ну... это вряд ли, – бормотала графиня, – впрочем, кто знает? Аи да Андрюша! Каково?.. Это хоть бы и в наше время. Только жениться – жениться...

Это уж не по-тогдашнему. Да точно ли ты думаешь, что он жениться хочет? Может быть, сказал только...

– Точно. Вы, графиня, теперешней молодежи не знаете. Откуда взяли чувства, правила, благородство такое! Я, говорит, поставлю тебя выше всех за то, что ты мне вверилась без боязни. Я сам от себя завишу, я через два месяца буду совершеннолетним. У меня нет ни отца, ни матери. Я буду богат, я могу выбирать кого хочу. Бабушка посердится... да пускай она! Она старуха, умрет скоро.

– Ах он мальчишка! – воскликнула графиня, которая боялась даже напоминания о смерти, – вздумал шутить со мной... со мной! –

повторила она грозным голосом. – Ну, говори, Клеопатра Ильинична, как ты это узнала?..

– Да уж как бы ни узнала – довольно, что узнала.

– Так скажи же.

– А на что вам? Толку все-таки не будет.

– Ах, какая ты, право!

– Да какая бы ни была. Вам время вставать.

– Клеопатра Ильинична, тебе, кажется, понравился мой клетчатый капот? Я его только раз надевала.

– Так что ж?

– Возьми его себе: он для меня узок.

Клеопатра Ильинична слегка улыбнулась.

– Много милости, – сказала она. – Я это из преданности к вам, а не из чего другого, разумеется, слезу за вашей Настасьей Ивановной. Сами посудите, что мне в ней? В день нашего бала шла я по коридору... Да, впрочем, я вам рассказывала.

– Да, да... Андрюша молод. Молодость должна взять свое. Тут нет ничего дурного. Это лучше, чем другое что.

– Вот не верили вы, что быть беде; а ведь, помяните мое слово: беда будет.

– Неужели в самом деле, вздумает жениться бог знает на ком?

– А разве влюбленный мальчик будет рассуждать, как мы с вами?

– Да когда ж они видятся?

– Во-первых, по утрам, когда вы еще поживаете.

– А потом?

– Мало вам этого, что ли?.. А потом, вы в гостях – они вместе. Вы спать ложитесь – они опять вместе.

– Да где же?

– Да у меня в комнате.

– Как это?

– Да так. Я с ней нарочно поласковее стала, чтоб хуже не вышло, – понимаете...

– Ну...

– Ну... вот вчера я, как будто нечаянно, оставила их вдвоем, а сама притаилась за дверью. Слышу: девочка плачет. «Отец, говорит, скоро приедет, письмо получила. Вот мы-де расстанемся, конечно наше

счастье! Разлука вечная будет!» Нечего говорить, мастерица своего дела.

– Ну, а Андрюша что?..

– Ну, а князь-то наш утешает, даже на колени стал, за руки взял. «Настенька! – говорит он. – Вот перед богом, хочешь быть моей женой?» Она как вскрикнет да кинется ему на шею...

– И больше ничего?

– Да чего ж вам больше? Слышу, плачут оба.

Вдруг говорит она: «Нет, я бедная девушка, незнатная: меня бабушка ваша не благословит».

– Ну, а Андрюша что?

– А он говорит: «Бабушка давно забыла, должно быть, что такое любовь, где ей помнить! Да в ее время могли ли любить, как теперь? Она, я думаю, и не любила никогда... Да я завишу от себя. Через два месяца я буду совершеннолетним».

Графиня задумалась, должно быть, припоминала что-нибудь или соображала.

– Спасибо, – сказала она наконец медленно, – спасибо. Вели позвать ко мне моего проказника.

– Князя Андрея, что ли?..

– Да, князя Андрея.

Клеопатра Ильинична вышла.

Графиня, кликнув своих горничных, начала продолжительную церемонию одеванья, которая длилась не более, не менее обыкновенного. По старинной привычке, графиня любила долго сидеть перед зеркалом. Услужливые девушки попеременно восхищались свежестью ее лица, подавая ей румяна, и неизменной молоджавостью, напяливая на ее седую голову белокурый парик.

Принарядившись как следует, графиня вышла в свой кабинет, уселась за бархатными ширмами на большие кресла и задумчиво начала перебирать в пальцах золотую табакерку. Эта табакерка украшалась портретом какого-то господина в красном мальтийском кафтане, с орлиным носом, быстрыми глазами и напудренным тупеем.

Не знаю, прикосновение ли портрета, или какое другое воспоминание занимало графиню, но она как-то туманно поглядывала на стороны, изредка вздыхала и казалась легко взволнованною. Должно быть, в эту минуту сорок или пятьдесят лет скользнули незаметно с ее

памяти и ей представилось то вечно живущее мгновение, когда из-под напудренного тупея сверкнули страстные взоры и она услышала те речи, которых слова забываются, но смысл которых вечно живет и красуется над самыми ветхими развалинами жизни. У каждой женщины, как бы она ни была стара и испорчена светом, есть в памяти такие отрадные минуты, на которые душа ее грустно и благосклонно оглядывается.

В таких размышлениях застал ее Андрей.

Почтительно подошел он к своей бабушке, поцеловал у нее руку и справился о здоровье.

Графиня приветливо ему улыбнулась.

– Садись, любезный мой друг, – сказала она пофранцузски, – мне надо с тобой поговорить.

Андрей сел. Сердце его билось.

Графиня продолжала:

– Через два месяца ты будешь совершеннолетний, следовательно, власть моя над тобой кончается. Я должна отдать тебе отчет в моих действиях.

– Вы, бабушка?..

– Разумеется. Все твое будущее состояние в моих руках, потому что батюшка твой – царство ему небесное! – промотал собственное имение и, кроме долгов, ничего не оставил. Итак, все, что ты вправе ожидать, заключается в том, что я назначила бедной моей Вареньке, твоей покойной матери, которая при жизни, впрочем, никогда не была выделена. Таким образом, я перед тобой ничем не обязана – понимаешь ли?

– К чему это, бабушка?

– Слушай, мой друг. Когда я была выдана замуж, я имела за собой дом в Москве, подмосковную душ в восемьдесят да шестьсот душ в Саратовской губернии.

Дом в Москве я продала, жила и живу, как видишь, и со всем тем бог благословил, дела мои устроились. Теперь у меня на мое имя восемьсот двадцать душ в Саратове, две тысячи семьсот в Пскове, да тысяча пятьсот душ в Украине, а всего с лишком пять тысяч душ, да дом в Петербурге, да дача на островах, где живу летом. Все это имение благоприобретенное, и я могу им располагать, как хочу. Года мои

старые, пора подумать о завещании. Я хочу назначить все это имение тебе и тотчас же отдать в управление по доверенности.

Доволен ли ты мной?

Андрей молча поцеловал руку старухи.

– В наше время, – продолжала графиня, – так не делалось. Молодым людям не давали воли. Теперь обычай другой, надо применяться к своей эпохе. Только именно в нашей эпохе есть особые требования, особые нужды, о которых я и хотела с тобой поговорить.

Молодой человек озирался с беспокойством. Он приготовился на борьбу, на упрямое сопротивление. Он хотел горделиво объявить о своем непреклонном намерении жениться на Настеньке, а о Настеньке и речи не было.

– Выслушай меня внимательно, – продолжала графиня. – Я старуха, следовательно, много видела, много испытала, могу многое сравнить. В настоящее время (графиня вздохнула), в настоящее время старость утратила свое значение. Отличие по службе, по званию сохранило и теперь свой вес в обществе, но отличие годов, но опытность возраста, но старость, одним словом, не имеет более никакого смысла. Это происходит от самонадеянности века, от гордости молодого поколения, которое, веруя в свои собственные силы, гнушается советов. Оно и глупо немного и очень жалко. Но против очевидности говорить нечего. Внуки наши не хотят зависеть от нас. Итак, мы, старики и старухи, люди бессильные, должны зависеть от внуков...

– Я не понимаю... – нерешительно заметил Андрей.

– Подожди, мой друг, скоро поймешь. Всякий возраст имел прежде свои обязанности и права. Молодые увлекались молодостью, старики удерживали их и журили за шалости; у молодых были страсти, у старых был рассудок. Теперь у молодых нет страстей, иногда разве ребяческое упрямство, а утратили они страсти потому, что вздумали присвоить себе и рассудок – принадлежность стариков. Я не хочу, чтоб ты отставал от товарищей, я готова подчиниться тебе. По летам ты еще молод, но по рассудку ты не можешь, ты не должен быть ребенком. Вот для чего я готова отдать тебе имение, на которое ты не имеешь права. Без денег в обществе нет ни влияния, ни силы. Но, принимая от меня имение и вступая во все права взрослого человека, ты принимаешь в то

же время на себя важные обязанности, о которых надо сказать еще несколько слов...

– Что вам угодно, – сказал, запинаясь, Андрей.

– Мне ничего не угодно, угодно твоему званию, твоему имени, твоему богатству. Ты, я надеюсь, понимаешь, что звание, богатство, имя – не одни простые игрушки, которые даются тебе для того, чтоб тебе было весело.

В них есть значение повыше того глупого тщеславия, в котором давно когда-то обвиняли иных аристократов.

Кто не стоит за свое сословие, тот предает его, и я уверена, что внука моего никогда не обвинят в подобной низости.

– Позвольте, бабушка, – прервал Андрей, – я не избирал своего сословия...

– Ребенок! А разве ты избрал отца своего и мать?

Разве ты избрал свое отечество? А как ты сам назовешь человека, который отречется от семьи своей, изменит своей родине? В жизни бывают разные предопределения, и законы, ими предписанные, принимаются безусловно при самом рождении – не забывай этого. Теперь-то и пришла пора настоящая показать, что такое аристократическое начало. Когда начинается сражение, один трус убежит с поля. Когда братья повсюду преследуются, один злодей бросит в них камнем. Нелегко в наше время быть аристократом. Вот для чего и надо оставаться аристократом. Теперь, когда все убеждения исчезают в Европе, кому поддержать и спасти их, как не дворянскому сословию? Теперь, когда владычествуют слова, а не начала, кому указать толпе «а путь истинный, как не тем, которые выше толпы? Но этого достигнуть можно не умом, а характером. С тех пор как булочники пишут стихи, а сапожники занимаются политикой, ум ничего не значит. Другое дело – характер, но характер крепнет только последовательностью и верою в законы, принятые при рождении. Поверишь ли? Я тебе завидую... во-первых, ты молод; во-вторых, ты имел счастье родиться в стране, которая уж служит и еще более будет служить спасительным примером заблуждающимся народам.

В эпоху беспорядка внушить почтение к порядку, в эпоху разврата обратить к нравственности, в эпоху безверия направить к вечным законам веры – вот что сделает, вот что может сделать Россия, когда каждый русский поймет свое значение, как бы маловажно оно ни было

в общем стремлении, и, как часовой, будет охранять собственную обязанность.

– Конечно, бабушка, но...

– погоди, мой друг!.. Ты учился хорошо, ты знаешь историю лучше меня. Не удержал ли ты из нее следующего урока: «Счастливы те государства, где каждое сословие остается в своих пределах, идет по собственному пути?» И скажи откровенно, не чувствуешь ли ты в себе особой гордости при мысли, что в наш безумный век стремлений к невозможному ты родился в России, то есть в стране порядка, смирения и силы?

– Да! – воскликнул Андрей.

– Итак, помни, что ты обязан жертвовать собою на пользу своего отечества и тех начал, которые могут служить к упрочению его благосостояния. Но ты достигнешь этого только последовательностью, строгим расчетом ума, упорным характером, а не восторженными порывами молодости. Да... – продолжала графиня с каким-то странным вдохновением, – я старого, прежнего века, но зато убеждения мои сильны. Родилась бы я мужчиной, имя мое осталось бы в истории. Суждено было иначе: я женщина, женщина старая, но, как женщина, я сделала все, что могла. Я приготовила поле для твоей деятельности, я упрочила тебе богатое состояние, потому что в современном обществе деньги – важное орудие; но двигателем должно быть убеждение, и это убеждение должно руководствоваться тобой во всех твоих поступках, даже в малейших подробностях жизни. Без убеждений ты никогда не выйдешь из ничтожества, даже при отличном уме, даже при огромном богатстве. Для тебя нет двух дорог, и я уверена, что ты понял мои слова.

– Бабушка, – сказал нетвердым голосом Андрей, – позвольте мне высказать, что у меня на душе.

– Говори, мой друг.

– Я вполне чувствую истину ваших советов, рад исполнить вашу волю, буду стараться, сколько в силах...

– Я уверена в этом.

– Только простите меня... я не знаю, как сказать, как выразить то, что я чувствую. Поверьте, я сам не знаю, как это случилось...

– Ты мне хотел сказать, что влюблен в Настасью Ивановну?

– Как вы это знаете?

– Знаю и не удивляюсь вовсе. Настасья Ивановна очень милая девушка...

– Так вы не сердитесь на меня?

Графиня сперва вздохнула, а потом улыбнулась.

– Нам, старухам, – сказала она, – редко вверяют подобные тайны. Впрочем, за пятьдесят лет и я была молода.

Графиня грустно взглянула на табакерку, а потом обратилась снова к внуку...

– Ну, так что ж, мой друг?

– Как, бабушка? Да ведь вы знаете...

– Я знаю, что ты любишь бедную, может быть, достойную девушку. Так что ж? Это только доказывает, что ты молод, что тебе любить надо, а любишь ты Настасью Ивановну потому, что она кстати подвернулась. Любовь – чувство безотчетное, существующее почти всегда вопреки рассудку. Вот почему она не подчиняется никаким условиям и исчезает, когда мы думаем приковать ее.

– Вы не верите в любовь, бабушка?

– В любовь нельзя не верить, даже и в мои лета.

Но любовь, как ты ее теперь понимаешь, любовь страстная держится только заблуждениями и препятствиями.

Попробуй жениться: препятствия и заблуждения исчезают, поэзия твоя гибнет, настоящая жизнь, жизнь действительная начинается. Поговорим об этой жизни. Что тебя ожидает? Ты понимаешь, что ты уж не будешь моим наследником. Ты сам сознаешься, что при всем моем желании мне невозможно отказаться от моих убеждений и шестидесятилетних трудов для первой любовной глупости, которая завертится у тебя в голове. В Италии живет теперь при посольстве твой двоюродный братец, который узнает о женитьбе твоей с восторгом, потому что я вынуждена буду передать ему свое имение; разумеется, это тебя не остановит. Ты так благороден и так молод, что мысль о бедности не может и не должна тебя останавливать. Ты будешь гордиться своим упрямством. Но что ж из этого выйдет? Вывеска твоей страсти – хорошенькое личико твоей дульциней – подурнеет. Привычкой любовь уничтожится, а предмет твоей любви окажется весьма обыкновенной женщиной, которой ты сам никогда не простишь, что она отняла у тебя все твои лучшие преимущества. Ты будешь

краснеть за жену свою, потому что за неимением настоящей гордости в тебе все-таки таится тщеславие – и тут-то начнется твое наказание.

Ты откажешься от большого света, но ты не можешь сблизиться ни с купцами, ни с бедными чиновниками. Ты будешь один, ты будешь беден, ты будешь несчастлив, и даже вседневные твои отношения с женой будут отравлены сознанием, что она разрушила твою карьеру, лишила тебя собственного уважения и сделала посмешищем товарищей. Призвание твое по рождению, врожденная в тебе любовь ко всему прекрасному ограничатся кухонными расчетами, вечной досадой на судьбу, и мечты восторженного воображения осуществляются самой пошлой действительностью. Поверь мне, мой друг, супружество не заключается в голубых или черных глазах, которые волнуют твою молодость. Женитьба – самый важный поступок сознательного человека, нечто вроде торжественного объявления о внутренних убеждениях.

Женитьбой доказывает он, признает ли порядок общественных обязанностей, или подчиняется безумному учению общего нелепого равенства. Наконец, женитьбой доказывает он, что он последователен в своих поступках или действует как мальчик, который жертвует иногда жизнью, чтобы достать игрушку, которую сам же разобьет. Однако ж, мой друг, я слишком разболталась. Это, ты знаешь, порок всех старух. Следовательно, ты меня должен извинить. Поверь, я больше, чем ты думаешь, принимаю участие в твоей любви. Люби, пока ты молод, но не делай глупостей. Помни, что любовь – роскошь жизни и что только долг составляет ее необходимую потребность. Но прощай, однако ж; вели закладывать мне карету и сказать Настасье Ивановне, чтоб она была готова: я хочу ехать в магазин выбрать ей новую шляпку.

Андрей молча поцеловал руку своей бабушки, хотел что-то сказать, но одумался и поспешно вышел из комнаты.

Графиня глядела ему вслед и долго еще сидела задумчиво в креслах, перебирая в руках золотую табакерку. Губы ее невнятно шептали какие-то беззвучные слова, а в чертах отражалась грустная, насмешливая улыбка.

Комментарии

Сереза

Впервые напечатано: «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838, № 15.

Стр. 23. Князь В. Ф. Одоевский (1803–1869) – русский писатель и мыслитель, близкий друг Соллогуба.

...дилижансы «первоначальной заведений...» – дилижанс – общественная почтовая карета, ходящая по расписанию. Первая компания дилижансов была основана в 1820 году.

Стр. 24. Он читал всего Бальзака... – романы Бальзака воспринимались в 1830-х годах как модное и «опасное» чтение,

Стр. 25. ...о крепости Бильбао, о свекловичном сахаре, о паровых каретах и о лорде Лондондери. – Круг интересов героя составляют модные политические и технические новинки. Бильбао – административный центр провинции Бискайя (Испания), играл важную роль в ходе гражданской войны 1833–1839 годов.

Лондондери – имеется в виду Чарльз Уильям Лондондери – военный, затем дипломат, в ходе путешествия на Восток посетивший в 1837 году Петербург, или его сводный брат Роберт Стюарт, более известный как виконт Кестльри (1769–1822) – английский политический деятель, министр иностранных дел.

...она на английских горах... – светское развлечение, деревянные горы, залитые водой, с которых катались на санях; английские горы устанавливались в Коломне.

Стр. 29. Сереза читал m-me Genlis – Жанлис С.-Ф. (1746–1830) – французская писательница-сентименталистка, ее произведения отличались прямолинейным морализаторством.

Стр. 30. ...испанские дела... – гражданская война в Испании, подробно освещаемая в русской прессе.

...французские романы... – имеются в виду произведения в духе «неистовой словесности» (Ж. Жанен, Бальзак, Фр. Сулье, А. Дюма-отец и др.).

...толкучий рынок нашей литературы... – выражение восходит к строкам Пушкина из поэмы «Домик в Коломне»: «И табор свой с классических вершинок // Перенесли мы на толкучий рынок».

Соллогуб, как и Пушкин, отрицательно относился к «торговому» (по сути официально-мещанскому) направлению в русской литературе (Ф. В. Булгарин, Н. И. Греч и др.).

Стр. 34. ...расспрашивает о «Фенелле». – «Фенелла» (1828) – опера Ф. Обера (1782–1871); балетную партию немой героини исполняла М. Тальони (1804–1884), выступавшая на петербургской сцене в 1837–1842 годах.

«Норма» (1831) – опера В. Беллини (1801–1835).

Стр. 38. ...в пируэтах Сильфиды... – имеется в виду балет (1832, на петербургской сцене – 1837), поставленный Ф. Тальонн (1777–1871); музыка Ж. Шнейцгофера, заглавную партию исполняла М. Тальони.

Стр. 39. ...танцует мамзель Круазет... – французская танцовщица, на петербургской сцене выступала в 1830–1840 годах.

Стр. 42. ...орден св. Анны для ношения в петлице. – Орден св. Анны имел четыре степени: I степени носился на ленте со звездой, II – на шее, III – в петлице, IV – на шпаге.

История двух калаш

Впервые напечатано: «Отечественные записки», 1839, т. I, № 1.

Впоследствии Соллогуб написал пародию на собственный рассказ. (См.: «Новая история двух калаш» – «Литературная газета», 1845, № 1).

Стр. 43. Козлова М. Ф. – двоюродная сестра писателя, дочь известного переводчика и театрала Ф. Ф. Козошкина.

Стр. 44. ...надворному советнику... – чин VII класса; по «Табели о рангах» российские чины делились на четырнадцать классов, XIV класс – низший.

Стр. 46. С Малой Морской... к Синему мосту... в Коломну. – Малая Морская – ныне ул. Гоголя, Синий мост – мост через реку Мойку, Коломна – окраинный район Петербурга.

Стр. 47. Перигурдин – старинный быстрый танец.

Стр. 49. ...о великом Бетховене... – Образ Бетховена введен в повесть, видимо, под влиянием В. Ф. Одоевского, большого почитателя и одного из первых пропагандистов творчества композитора в России, автора романтической новеллы «Последний квартет Бетховена» (1830).

Они учились вместе у Фан-Эндена. – Фан-ден-Энден – боннский органист (ум. 1782).

Стр. 53. ...для аспазийского ее салона... – Аспазия – жена прославленного афинского политического деятеля Перикла, отличавшаяся умом и изысканной красотой, в ее доме собирались поэты и философы.

Стр. 54. ...варияции Герца или концерт Калкбреннера. – Герц А. (1803–1888) – французский пианист и композитор, Калкбреннер Ф.-В.-М. (1788–1849) – немецкий пианист и композитор, в основном живший в Париже. Музыка обоих отличалась технической усложненностью и малой содержательностью, не случайно Ф. Лист назвал Герца и Калкбреннера «рояльными акробатами» (ср. реакцию героя).

Стр. 61. ...аплодирует прыжкам Турньера... – имеется в виду кто-то из династии цирковых артистов, ее основатель Жак Турньер (ум. 1829). был содержателем первого стационарного цирка в России (1827).

Стр. 63. Экоссез – бальный танец.

Стр. 64. Англеz – бальный танец.

Стр. 76. Fur wenige (Для немногих) – изначально название поэтических сборников В. А. Жуковского, выходявших очень малым тиражом, в переносном смысле – «для посвященных».

Стр. 85. ...прогуляться в Елисейские! – Елисейские поля – в греческой мифологии – загробный мир, место пребывания безгрешных душ; здесь иронически: умереть.

Большой свет

Впервые напечатано: «Отечественные записки», 1840, т. IX, № 3. 31 мая 1839 года Соллогуб выслал из Москвы В. Ф. Одоевскому (тогда одному из редакторов «Отечественных записок») первую часть. В сопроводительном письме Соллогуб обещал выслать вторую часть к июльскому номеру и просил у Одоевского ряда советов. (См.: Р. Б. Заборова. Материалы о М. Ю. Лермонтове в фонде В. Ф. Одоевского. – В кн.: Труды ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л. 1958, т. V (8), с. 195.) Вторая часть, однако, прислана не была, возможно, в связи с начавшейся работой над «Тарантасом». По выходе в свет повесть стала предметом бурных обсуждений, в ней находили (слова П. А. Вяземского) «много петербургских намеков и актуалитетов». (См. Э. Г. Герштейн. Судьба Лермонтова. М. 1964, с. 215.) В мемуарах Соллогуб заметил по поводу «Большого света»: «...светское его (Лермонтова. – А. Н.) значение я изобразил под именем Леонина». (См.: В. А. Соллогуб. Воспоминания. М.-Л. 1931, с. 376.)

Повесть воспринималась как антилермонтовский акт, однако этой точки зрения не разделяли ни сам Лермонтов, ни высоко оценившие «Большой свет» А. А. Краевский и В. Г. Белинский. Прототипов имеют почти все герои: Наденька – С. М. Виельгорская (с ноября 1840 года жена Соллогуба), Сафьев – С. А. Соболевский, друг Пушкина, известный остролов и библиофил, Воротынская – А. К. Воронцова-Дашкова, блестящая великосветская красавица, Армидина – Е. А. Сушкова, Щетинин – сам Соллогуб. Следует заметить, что персонажи узнаются лишь по некоторым деталям портрета или манер, прототипические отношения не затрагивают сюжета (С. М. Виельгорская не была сельской барышней-бесприданницей. Соллогуб не служил в гвардии, неизвестен роман Соболевского и Воронцовой-Дашковой и пр.). Позднее Леонин появился в рассказе «Бал. Из дневника Леонина» («Новоселье», ч. III, СПб... 1845).

Стр. 86. Посвящение *** – Под тремя звездами понимаются императрица Александра Федоровна и ее дочери: великая княгиня Мария Николаевна, по свидетельству писателя, заказавшая ему эту повесть (см.: В. А. Соллогуб. Воспоминания, в. 376), и великая княжна Ольга Николаевна.

Стр. 87. Большой театр – не сохранился, на его месте Ленинградская консерватория.

Святочная ночь – Святки – промежуток между рождеством и крещением (25.XII – 6. I ст. ст.)

Стр. 96. ...в Михайловском театре – ныне Малый театр оперы и балета.

...на железной дороге – имеется в виду первая русская железная дорога Петербург – Павловск (открыта в 1837 году). Поездки по железной дороге были одним из светских развлечений.

Вы обедаете у Дюмё... – Дюмё – петербургский ресторатор, ресторан находился на углу Малой Морской и Гороховой (ныне ул. Дзержинского).

Стр. 97. ...несколько литографий Греведона... – Греведон П. Л. (1782–1860) – модный французский гравёр.

Стр. 99. ...в Воронеж, святому угоднику... – имеется в виду св. Тихон Задонский (1724–1783).

Стр. 101. Андреевская лента – лента ордена св. Андрея Первозванного, высшей российской награды.

Стр. 103. ...беранжеровские песни – Беранже П. Ж. (1780–1857) – популярный французский поэт, его песни отличались вольнолюбием.

Стр. 106. Беггров К. П. (1799–1875) – русский литограф и рисовальщик.

Стр. 108. ...санкт-петербургский Faubourg St. Germain – Сен Жермен – аристократический квартал в Париже, подробно описанный Бальзаком.

Стр. 109. ...в «Русской грамматике» Греча. – Имеется в виду одно из нескольких пособий Н. И. Греча (1787–1867): «Пространная русская грамматика», «Практическая русская грамматика», «Начальные правила русской грамматики».

Стр. 112. ...дантановские бюсты... – бюсты работы Ж.-П. Дантана (1800–1869), выдающегося французского скульптора-портретиста.

Кипсек – роскошное иллюстрированное издание.

Стр. 113. ...авось ключ их откроет. – Традиционный для эпохи каламбур, ключ – знак придворного звания камергера.

Стр. 114. ...поеду слушать стихи Л... и повести С-ба... – имеются в виду стихи Лермонтова и повести Соллогуба.

Стр. 126. «Хромой колдун» – имеется в виду балет К. Жида «Хромой бес» (на сюжет повести А. Лесажа), на петербургской сцене шел под названием «Хромой колдун» в 1839 года (постановка А. Титюса).

Стр. 127. ...звезды да толстые эполеты. – Звезды прилагались лишь к высшим орденам, толстые эполеты носили военные, начиная с полковников.

Ловелас – Ловлас – герой романа Г. Ричардсона (1689–1761) «Кларисса Гарлоу» (1748), нарицательное значение – соблазнитель.

Стр. 131. Волкова кладбище – петербургский пригород, традиционное место дуэлей.

...бея шнеллеров. – Шнеллер – приспособление, облегчающее взвод курка.

Стр. 138. ...сделался шематоном... – шематон – бездельник, повеса.

Стр. 139. Allan – Аллан-Депрео Л.-Р. (1809–1856) – актриса петербургского театра (французская труппа).

...видел пятнадцать раз сряду «Гитану». – «Гитана, или Испанская цыганка» (1838), балет на музыку И. Ф. Шмидта и Обера, поставленный Ф. Тальони, в главной роли – М. Тальони.

Кулон, Legrand – петербургские рестораторы. Ресторан и гостиница Кулона находились на углу Михайловской улицы (ныне ул. Бродского) и Михайловской площади (ныне пл. Искусств); ресторан Леграна находился на Большой Морской (ныне ул. Герцена).

Стр. 140. Асенкова В. Н. (1817–1841) – актриса Александрийского театра, играла в водевилях.

Стр. 145. Грандисон – герой романа Ричардсона «История сэра Чарльза Грандисона» (1754), тип абсолютно добродетельного героя.

Аптекарьша

Впервые напечатано: «Русская беседа. Собрание сочинений русских литераторов, издаваемое в пользу А. Ф. Смирдина». СПб. 1841, кн. 2.

Стр. 169. Ландсман, буршеншафтер – названия студенческих корпораций.

Стр. 171. Вассерштифели – высокие сапоги (нем.).

Стр. 174. Камералист – юрист.

Стр. 175. ...кашу под названием офен-гриц... – особым образом приготовленная манная каша.

Стр. 178. ...заниматься, по выражению Языкова, головоломным искусством. – Поэт Н. М. Языков учился в Дерпте в 1822–1829 годах и посвятил множество стихов студенческой вольнице. Здесь цитируется его послание «К А. Н. Вульфу» (1826), где о фехтовании сказано: «Учи ж меня, товарищ мой, головоломному искусству!»

Стр. 181. Майорат – неделимое земельное владение.

Стр. 184. ...ручевский фрак – фрак, сшитый модным петербургским портным Ручем.

Стр. 200. ...жили на Никитской. – В Москве было две улицы с таким названием: Большая Никитская (ныне ул. Герцена) и Малая Никитская (ныне ул. Качалова).

Стр. 201. ...около Динабдрга – ныне Даугавпилс (Латвийская ССР).

Стр. 202. Желая быть Фоблазом, он едва ли не сделался Вертером. – Фоблаз – герой романа Ж. Б. Лувре де Кувре «Любовные похождения кавалера Фоблаза» (1790), блестящий соблазнитель; Вертер – герой романа И. В. Гете «Страдания молодого Вертера» (1774), несчастливый в любви, сентиментальный юноша. Интересно, что возлюбленную Вертера зовут, как и героиню рассказа, Шарлоттой.

Стр. 204. Конвенансы – приличия (фр.).

...я видела в «Ревизоре». – Премьера «Ревизора» в Александрийском театре состоялась 19 апреля 1836 года, в дальнейшем комедия постоянно входила в репертуар. Мнение героини о комедии Гоголя совпадает с оценкой ее дворянским обществом (см. «Тарантас», гл. III).

Неоконченные повести

Впервые напечатано: «На сон грядущий. Отрывки из вседневной жизни. Сочинение графа В. А. Соллогуба». СПб... 1843, ч. II.

Сюжет рассказа основан на истории дерптского приятеля Соллогуба Н. Ф. Золотарева. (См. В. А. Соллогуб. Воспоминания, с. 264, 268–269.)

Стр. 213. Быть так! Спасибо и за то. – Последняя строка стихотворения Е. А. Баратынского «К Амуру» (1827).

Подобно мне любил ли кто?
И что ж я вспомню, не тоскуя?
Два, три, четыре поцелуя!
Быть так! Спасибо и за то.

Стр. 216. Гейдельберг – университетский город в Германии.

Майзедер И. (1789–1863) – австрийский скрипач и композитор.

Стр. 220. Вебер К. М. (1786–1826) – выдающийся немецкий композитор-романтик.

Стр. 230. Рубини Д. (1794–1854) – итальянский певец, тенор.

Собачка

Впервые напечатано: «Вчера и сегодня. Литературный сборник, составленный гр. В.А. Соллогубом, изданный А. Смирдиным», ч. 1. СПб. 1845. События, описанные в рассказе, произошли в августе 1816 года в Харькове. Содержателями харьковского театра были И. Ф. Штейн и О. И. Калиновский; харьковский полицеймейстер – Экк. Прототипом молодого артиста является М. С. Щепкин. (Подробнее см. «Записки актера Щепкина» – В кн.: Щепкин М.С. Записки. Письма. Современники о М.С. Щепкине. М... 1952, с. 16–20.; Т.С. Гриц. М.С. Щепкин. Летопись жизни и творчества. М... 1966, с. 40–42.)

Стр. 375. Ремонтер – офицер, занятый закупкой лошадей для армии.

...землетрясение Лиссабона и долину Шамуни. – Катастрофическое землетрясение в Лиссабоне (столица Португалии) произошло 1 ноября 1755 года.; долина Шамуни – живописная долина в Альпах (Франция).

Стр. 376. Фридрих II Великий (1712–1786) – прусский король (с 1740).

Стр. 395. Красенькая – 10 рублей ассигнациями, беленькая – 25 рублей, синяя ассигнация – 5 рублей.

Воспитанница

Впервые напечатано: «Вчера и сегодня. Литературный сборник, составленный гр. В. А. Соллогубом, изданный А. Смирдиным», ч. 2. СПб. 1846.

Стр. 411. «Калиф Багдадский» (1800) – опера Ф. А. Буальдьё (1775–1834), французского композитора. «Толедские слепцы» – опера Э. Мегюля (1763–1817) «Два слепые из Толедо» (1806); обе оперы были очень популярны в России.

Стр. 412. Колосова А. М. (1802–1880) – петербургская драматическая актриса.

Семенова Е. С. (1786–1849) – петербургская трагическая актриса.

Стр. 418. ...названный доктором с тех пор, как он получил чин коллежского асессора. – Коллежский асессор – чин VIII класса, дававший право на потомственное дворянство и, соответственно, повышавший социальный статус чиновника.

Стр. 433. «Филатка и Мирошка» – водевиль актера П. Г. Григорьева 2-го (1807–1854) «Филатка и Мирошка – соперники, или Четыре жениха и одна невеста» (поставлен впервые в 1831 г.) пользовался очень большой популярностью.

Метель

Впервые напечатано: «Ведомости московской городской полиции», 1849, No№ 31–32.

Стр. 439. Я не посмел изменить принятого им правописания. – Соллогуб не точен. Из двух форм написания слова «метель» (через «е» и через «я») нормированной считалась первая, что было отражено в Словаре Академии Российской уже в 1816 году. Пушкин употреблял обе формы, преимущественно «мятель», так, в частности, он писал это слово в «Повестях Белкина». Форма «метель» появилась лишь в печатном издании, вероятно, по инициативе П. А. Плетнева. Таким образом, в написании через «е» нет ничего специфически пушкинского.

Граф П. В. Орлов-Денисов – светский знакомый Соллогуба.

Стр. 445. Партикулярный – штатский.

Стр. 449. Я знаю, вы смеетесь над уездными дамами, и Пушкин над ними смеялся... – У Пушкина есть ряд иронических выпадов против провинциальных дам (например, в «Графе Нулине»), в целом его отношение к этой социальной группе было сложнее, содержало и положительные начала («Евгений Онегин», «Роман в письмах»), в частности, и те, на которых строит характер своей героини Соллогуб. Отсылка к Пушкину замыкает намеченный заглавием ряд реминисценций (описание метели, постоялого двора, мотив случайной встречи и др.) и еще раз утверждает принцип следования поэтике Пушкина как норму.

Старушка

Впервые напечатано: «Отечественные записки», 1850, No№ 4–5.

Стр. 455. Офицерская улица – ныне ул. Декабристов.

Стр. 457. ...наигрывая из «Фрейшюца» марш – «Фрейшюц» – опера немецкого композитора К. М. Вебера (1786–1826) «Вольный стрелок» (1821).

Стр. 458. «Уж как веет ветерок» – ария из оперы «Аскольдова могила» (1835), слова М. Н. Загоскина (1789–1852), музыка А. Н. Верстовского (1799–1862).

Стр. 459. Чин штаб-офицерский. – Штаб-офицерскими назывались чины V–VIII классов.

Стр. 463. Перед Кузьмой Демьяном – День св. бессребренников Козьмы и Дамиана праздновался 1 июля, 17 октября и 1 ноября, так как действие происходит весной, имеется в виду первая, ближайшая, дата.

Стр. 481. «Лови, лови Часы любви!» – Цитата из «Песни» («Век юный, прелестный...») Н. М. Коншина (1793–1859), музыка А. Л. Гурилева (1803–1858).

Стр. 493. А та, у которой сам Пушкин учился уму. – Имеется в виду родственница жены Пушкина Н. К. Загряжская (1747–1837). Пушкин любил беседовать с ней и записал ряд ее рассказов.

Стр. 494. ...видеть в своей семье такой пример общего уважения. – Имеется в виду бабушка писателя по матери Е. А. Архарова (урожденная Римская-Корсакова) (1755–1836).

Стр. 500. Она узнала всю горечь чужого хлеба. – Ср. у Пушкина: «Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи» («Пиковая дама», гл. II). Дальнейшее описание также ориентировано на пушкинскую повесть. В образе главной героини появляются черты старой графини.

Стр. 501. Гарпагон – главный герой комедии Ж.-Б. Мольера (1622–1673) «Скупой» (1668).

Стр. 508. ...в красном мальтийском кафтане. – Мундиры мальтийского ордена носились в России в царствование Павла I (1796–1801), бывшего великим магистром ордена.

Стр. 511. Теперь, когда все убеждения исчезают в Европе... – Героиня намекает на революционные события 1848 года.

Выходные данные

Владимир Александрович Соллогуб
ИЗБРАННАЯ ПРОЗА

Редактор Н. А. Галахова
Оформление художника А. И. Неровного
Художественный редактор Е. М. Борисова
Технический редактор В. С. Пашкова

ИБ 586

Сдано в набор 08.09.82. Подписано к печати 19.01 83.

Формат 84x108 1/32. Бумага газетная. Гарнитура
«Академическая».

Печать высокая. Усл. печ. л. 28,14. Уч. – изд. л. 29,65.

Тираж 500000 экз. (1-й завод 1 – 150000).

Цена 2 р. 70 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии газеты «Правда» имени В. И.
Ленина.

125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва Архангельского обкома КПСС.

163002. г. Архангельск проспект Новгородский 42.

notes

Примечания

1

Здравствуй! (Большой свет) (фр.)

2

Подруга детства (фр.)

3

Госпожу Жанлис (фр.)

Впрочем, подобные дома в провинции встречаются нередко; они известны под общим названием «домов без архитектуры». (Прим. авт.)

5

По-детски (фр.)

6

Очаровательный голос! (фр.)

7

Розовый (фр.)

8

Добрый вечер (фр.)

Госпожа графиня... (фр.)

Да погибнут те, кто раньше нас высказал нашу мысль, Гете (лат.)

Наказанье божье! (нем.)

Такие Прелестные калоши?.. (нем.)

«Карл Шульц, музыкант» (лат.)

Здесь: низкопробна (фр.)

Компаньонка (фр.)

Добро пожаловать! (нем.)

Давай! (нем.)

Для немногих (нем.)

Воспаление мозга (лат.)

Я узнаю тебя, прекрасная маска. (Бал-маскарад) (фр.)

Я не всеведущ, я лишь искушен. (Мефистофель. «Фауст». Ч. I.)
Пер. Б. Пастернака.»

Предместье Сен-Жермен (фр.)

Знатный молодой человек (фр.)

Он положительно мил (фр.)

Да... он прекрасный кавалер (фр.)

Малыш (фр.)

Моя дорогая (фр.)

Хорошего тона (фр.)

Суета!.. (лат.)

Положение в свете (фр.)

Знакомы ли вы с Чуфыриным и Курмицыным? (искаж. фр.)

Здесь: манер (фр.)

Знакомы ли вы с Кривухиным? (искам. фр.)

Хорошего тона

Здесь: потрясающе (фр.)

Дурной тон (фр.)

Залы фехтования. (Прим. авт.)

Лошак (нем.)

Мой молодой друг (нем.)

Обоих прав (лат.)

Служитель дипломатии (лат.)

Искусство долго, живнь коротка (лат.)

Студенческие пиры. (Прим... авт.)

Смерть (лат.)

Тише (лат.)

Честь и слава в веках! (лат.)

В Россию (нем.)

Хорош» (нем.)

Еще! (нем.)

Увеселительная прогулка (фр.)

Дурного вкуса (фр.)

Па-де-де (фр.)

Умеренно скоро (итал.)

«Воспитанница» составляет второй эпизод «Теменевской ярмарки, или Воспоминаний странствующего актера».

«Скромница из Саланси» (фр.)

Пушкин написал повесть под заглавием «Метель». Я не посмел изменить принятого им правописания. (Прим, авт.).

Сестра (фр.)

Дорогая (фр).

Добрые, милые (фр.)

Сила небесная (фр.). Дословно: «государство неба»